

НИКОЛАЙ
ТИХОНОВ

НИКОЛАЙ ТИХОНОВ

2

НИКОЛАЙ ТИХОНОВ

*ИЗБРАННЫЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ*

В ДВУХ ТОМАХ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

МОСКВА 1955

НИКОЛАЙ ТИХОНОВ

*ИЗБРАННЫЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ*

ТОМ
II

РАССКАЗЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

МОСКВА 1955



ПУТИ
ВОСТОКА

1925 - 1941

*

ДРУГ НАРОДА

I

Над большой китайской рекой стоял шум и гам трудового дня. У берега виднелись маленькие, жалкие лодочки китайской бедноты. Одни из них прижимались к берегу, как собрание досок, соломы и грязи, другие пускались в путь, выезжали на середину реки и там сбрасывали тонкую аккуратную сеть... Соломенные шалаши на их корме продували все ветры, и все дожди заглядывали в них.

Худой желтолицый рыбак Тзе Лу только что съел свой рис палочками, быстро бегавшими в его руках, потом сполоснул их в воде и прислонил к чашке сушиться. Он сидел на корточках перед женой в своей сальной, затасканной кофте и молчал. Жена видела, что он молчит не зря.

Младший сын их Ян Цзы, только что научившийся ходить, бродил по лодке, привязанный за ногу к кольцу в каютной стенке. Когда малыш вываливался за борт, его поспешно вытаскивали за веревку обратно, и дело кончалось без лишнего крика. А падал в воду он несколько раз за длинный летний день.

Обыкновенно Тзе Лу играл после обеда с мальчуганом, но сегодня он думал о чем-то другом. Наконец, он нарушил молчание.

— Жена,— начал он, приставив ладони ко рту, как трубу,— жена, Сун Ят-сен¹ опять здесь. Он опять пришел, и он ходит тайно; говорят, что он переодевается то китайцем, то японцем. И он все говорит и пишет день и ночь, и у него тысяча друзей.

— Чего хочет этот человек, Тзе Лу? Зачем он ходит вверх и вниз по реке, как рыба, и все ему не нравится?

— Он хочет сбросить императора и императрицу и всех мандаринов выгнать из страны. Он ругает их так, как ругают свиней и собак. Если выдать его властям, можно получить за его голову много-много серебра, котел серебра, воз серебра и еще лодку серебра...

— Его никто не найдет. Раз у него тысяча друзей, они его спрячут, и никто не получит это серебро...

— Как знать, жена, как знать. За ним ходят сыщики. Их больше, чем друзей Суна. Я видел одного. Его зовут недаром Ма Куай — быстрая лошадь. Он неумомим и подкован, как лошадь, серебром губернатора. Он сказал мне сегодня: «Ты беден, как улитка, что несет свой домишко на своей спине, и больше у нее нет ничего. И ты, кроме горя, ничем не торгуешь...» Жена, поддержи Ян Цзы, он упадет сейчас в воду... Потяни веревку к себе... Так. Малыш опять на ногах... Что? Веревка оборвалась? Проклятая бедность... Нет даже двух мелких монет купить порядочную веревку, чтобы привязать хорошо собственного сына. Да, и вот Ма Куай сказал мне еще: «Сун скрывается среди торговцев и рыбаков. Если ты хорошо посмотришь, ты увидишь его... И тогда награда не заставит себя ждать и небо твоей жизни прояснится...»

— Не знаю, что сказать тебе, Тзе Лу,— ответила жена.

Она была женщина неумомимая в работе, но измученная нищетой и скупая.

¹ Сун Ят-сен (1866—1925) — великий китайский революционер, крупнейший представитель китайского национально-освободительного движения. В 1905 году Сун основал общество «Гунменхой», ставившее своей целью уничтожить императорскую власть. В 1911 году Китай был провозглашен республикой, а Сун Ят-сен избран президентом, но вскоре вынужден был отказаться от этого поста. Президентом стал Юань Ши-кай. Наш рассказ относится к 1907 году. (Это и последующие примечания автора.)

— Конечно, счастье приходит раз в жизни, но глупцы упускают и этот случай. Наши двое детей умерли от голода, трое других тощи, как мыши, отец твой получил язву желудка и мать в земле от худой жизни. Попробуй поставить свои глаза так, чтобы увидеть Суна,— может быть, твоим детям будет житься лучше...

Тогда Тзе Лу вынул из-за пазухи рыжий платок и осторожно развернул его. Жена нагнулась, чтобы лучше видеть. На ладони Тзе Лу лежало желтое с пятнами яйцо. Когда Тзе Лу надломил скорлупу, густое вонючее облачко окутало яйцо. Яйцо было гнилым до доньшка, но для китайцев такие испорченные яйца — первое лакомство.

— Ему шесть недель,— с гордостью сказал Тзе Лу,— это подарил мне в знак дружбы Ма Куай... Поделится, жена...

— И что же ты ему ответил? Неужели ты был таким бесчестным, что взял этот дивный подарок и ушел молча?

— Нет, жена, я сказал ему, что сегодня я не заброшу сеть в воду, сегодня мои глаза будут смотреть хорошо и найдут Суна...

II

Сун Ят-сен хорошо знал, что будет с ним, если он попадет в лапы мандаринов. Поэтому он призвал всю свою ловкость и выдержку, чтобы не выдать себя как-нибудь глупо и случайно. Он отрастил себе волосы и длинные узкие усы. Так он стал похож на японца, и много шпионов были обмануты этим превращением.

Сейчас он шел по грязным улицам города, смешиваясь с шумной, громкой толпой. Он глядел вокруг и видел, как бедно одеты эти люди. У многих одежда никогда не знала стирки, у многих она была в заплатках одинакового цвета и одинаковой изношенности.

У лавок сидели важные купцы и смотрели, как дрессированные кузнечики сражаются друг с другом; иные из купцов курили трубки и играли в домино. Продавцы вареного риса, кипятка для чая и засушенных ящериц во все горло хвалили свой товар. Пробирались рикши — люди, запряженные вместо лошадей в легкие коляски,—

прибивая пыль своими маленькими, почти женскими ногами. Проходили женщины с черными, похожими на грибы, прическами. Все это было знакомо Суну с детства, и это его не привлекало сейчас.

Немного в стороне за столом сидел бывший студент с осунувшимся, нездоровым лицом. Оловянным голосом он читал о древних героях, драконах и змеях, о том, как они жили и работали. Читал он без всякого выражения, привирая от себя и не обращая внимания на окружающих. Слушатели толпились вокруг него и настороженно смотрели ему в рот, боясь пропустить слово. Они были неграмотны и с удовольствием слушали чтеца. Студент поднял голову, дал глазами знак, что он узнал Суна, и сказал, обращаясь к слушателям:

— Все в порядке. Это замечательные сказки, но завтра я вам почитаю еще лучшие: о драконах, которым скоро поотрубают хвосты!

Сун усмехнулся и прошел дальше. Его спутник зорко оглядывался по сторонам. Сун остановился перед уличным цирюльником. Цирюльник растирал голову своего клиента горячей водой, не трогая только самой макушки, откуда росла коса. Это место никогда не брилось. Потом он взмахнул железным обломком, точно хотел перерезать горло сидящему, и начал брить. Когда он растер своему клиенту спину, расчесал волосы и стал аккуратно заплетать косу, он заметил Суна. Ни малейшего удивления не отразилось на его лице. Сун слегка качнул левой рукой, и цирюльник сказал ровным голосом:

— Все в порядке... Что может остановить тебя! Ты — как это железо...

Он приподнял бритву.

— Ни один волос не будет жить, когда ты обрушишься.

Сун усмехнулся и прошел дальше. При скрещении улиц толпа напирала отовсюду, и только в одном месте было пусто. Там сидел рядом с сундучком уличный писец — находка для безграмотных. Перед ним стоял прибор для туши и лежала кисть, которой пишут в Китае письма.

Перед писцом плакала женщина и не скрывала своих слез.

— Сердце мое тоскует,— говорила она.— О, как тоскует мое сердце! Сына моего забрал мандарин, он бил его бамбуком по ногам, и ноги распухли, как губки, полные воды. О, если бы я умерла! Что мне делать, как не писать матери, чтобы она пожалела меня... Сердце мое тоскует. Возьми кисть и пиши, ты, умеющий писать...

Сун Ят-сен внимательно слушал слова женщины.

Уличный писец взял кисть, обмакнул ее в тушь и, прежде чем приступить к письму, сказал:

— Не плачь, мать, Сун вездесущ, точно ветер; мандарин уже кусает свой хвост, как собака. Недолго твоему сыну питаться палками. Ты еще попляшешь на его свадьбе.

И, обратясь к спутнику Суна, он добавил шепотом:

— Вторая лавка налево, где продаются сорго и саго... Все в порядке!

Сун, закрывшись широкополой соломенной шляпой, хотел пересечь улицы в указанном направлении, но послышались удары гонга и пронзительные крики:

— Дорогу, дайте дорогу! Расступитесь, собаки, дайте дорогу знаменитому сыну Славы, Красоты и Мудрости...

Люди расступались на обе стороны, прижимались к стенам и почтительно склоняли головы. Середина улицы сразу опустела. Показались бегущие китайцы с хлыстами, которыми они били всех, не успевших посторониться. За этими хлыстарами несколько человек несли в руках цепи и устрашающе звенели ими. Кто вызовет гнев мандарина, тот узнает, что такое цепи и сколько они весят. Люди, несшие цепи, сами были одеты в лохмотья и питались подачками. Самого мандарина, знаменитого сына Славы, Красоты и Мудрости, несли в богатом паланкине, занавески которого были откинuty. Он самодовольно щурил глаза и обмахивал веером жирные желтые щеки. Его большой живот колыхался, как пузырь, завернутый в шелк.

Сун побледнел от ненависти. Он стоял суровый и мрачный, и только когда мандарина пронесли, он вытянул ему вслед руку, выбросив вперед средний палец. Этот жест в Китае — жест высшего презрения и оскорбления. Китаец в гневе никогда не сжимает кулаков, а Сун был верен привычкам своего народа.

— И эта жирная обезьяна хочет бороться со мной! Я вытоплю все сало из этой туши, я выброшу из нее кости! — сквозь зубы сказал Сун.

Потом они вошли в темную прохладную лавку. Им поднесли по чашке душистого чая, прикрытой сверху узорным блюдечком. Ящики с сорго и саго подымались к потолку, а черные конторки обступили людей снизу. Кроме хозяина, в лавке никого не было. Хозяин с глубоким поклоном сказал Суну:

— Все в порядке. Сыщик Ма Куай вчера выслеживал тебя, но мы сбили его со следа. Туанг уже здесь. Хочешь ли ты видеть его, небеснорожденный?

— Хочу, — сказал Сун.

Маленькая незаметная дверь в конце лавки распахнулась. Вошел широкоплечий и тяжелый, точно борец, китаец. Длинные рукава его куртки были закатаны вверх. Он оглядел Суна с головы до ног и спросил:

— Ты ли это, Сун, сказавший, что императорам довольно владеть нашими душами, и кошельками, и трудами рук наших?

— Я тот самый, — ответил Сун.

— Ты ли тот Сун, который обрек смерти мандаринов за то, что они украли у нас свободу слова, обложили налогами наш труд и рвут языки за то, что мы смеем говорить, и рубят головы за то, что мы смеем думать?..

— Я тот самый, — сказал Сун.

— Ты ли это, Сун, что дважды взмахнул знаменем восстания, и дважды был в плену, и бежал, и обещал не отсылать рук своих на покой, пока не доведешь дела до конца и не освободишь нас от рабства?..

— Я тот самый, — сказал Сун и взглянул на Туанга.

Их глаза встретились. Туанг отступил назад, вынул из-под полы полотняный мешок и бросил к ногам Суна. Мешок зазвенел тяжелым и гулким звоном.

— Здесь, — сказал Туанг, — в этом мешке все, что я скопил за двадцать лет большого и хорошего труда. Бери это, Сун, бери на дело свободы, на этом золоте и серебре нет ни одной нечестной пылинки. Я ехал восемь дней, чтобы увидеть тебя. Все...

И он вышел в маленькую дверь, такой тяжелый и широкоплечий, как борец.

— За нами следит какой-то шпион, неужели это опять проклятый Ма Куай? — сказал спутник Суна, когда они выбрались из квартала лавок и направились к берегу.

Сун огляделся. Стараясь не попадаться на глаза, за ними шел то быстрыми, то мелкими шагами невысокий человек, сгорбленный или старавшийся казаться сгорбленным. Лицо он закрывал краем своего плаща.

День клонился к вечеру. Накрапывал дождь. Вода в реке темнела, и золотые ряби бежали от джонок к берегу. Рыбачьи лодки возвращались с дневной ловли.

— Пропустим этого человека вперед,— предложил Сун, становясь за дерево.

Прохожих в этом месте было немного, и незнакомец так или иначе должен был обнаружить свои намерения. Вдруг он принял какое-то решение и быстро направился прямо к Суну.

Спутник Суна сказал взволнованно:

— Они подослали убить тебя...

— Нет,— ответил Сун,— так не ходят убийцы.

У него широкий и спокойный шаг.

Горбун подошел вплотную и ясно произнес:

— Где ты живешь, Сун?

Сун чуть вздрогнул. Он не испугался. Сун никогда не пугался. Он вздрогнул от неожиданности, потому что вопрос был предложен очень тихим и значительным голосом.

— Я живу там, где живу,— сказал он.

— Я хочу посидеть с тобой минутку,— ответил незнакомец.

— Тогда пойдем...

Они миновали сарай набережной, шалаши на берегу, пристани, проскользнули по доскам между барок и лодок и поднялись на палубу светлой и новой барки.

Тут незнакомец сел и снял плащ. На теле слабого горбатого человека сидела прекрасная голова с высоким лбом и огромными глазами.

Спутник Суна нагнулся к уху вождя:

— Я знаю, кто это. Я тебе объясню потом. Послушаем, что он скажет.

Незнакомец заговорил уверенным и сильным голосом:

— Сун Ят-сен, я не хочу дожидаться, когда ты будешь президентом Китая. Я хочу работать сейчас, я тебе нужен, как ветер из Печилийского залива для джонки, идущей в Чифу. Вы не можете бороться без армии. Я сделаю из китайцев солдат. Я научу их стрелять, и окапываться, и ходить в атаку, и отступать по правилам. Тысячи лучших бойцов возьмут Пекин на свои плечи и отнесут его в лагерь народа...

— Я слушаю,— сказал Сун.

— Это нельзя откладывать. Я знаю, что не сегодня-завтра, но вы победите. Подумай, Сун, и дай свой ответ... Без армии революция — только ветер, раздувающий костер, с армией она — искусный угольщик, заготавливающий впрок уголья для тысячи костров...

Горбун натянул свой плащ и протянул руку Суну. Сун пожал ее горячо и почтительно. Этот маленький человек внушал ему странное уважение.

— Да,— сказал горбун,— за вами следят, Сун. Один из сыщиков, Ма Куай,— самый опасный. За мной все время шел человек, и я сейчас вижу его, лежащего вон на той джонке. Он прячется за мачту и следит за вами. Будьте осторожнее...

— Я буду осторожен,— сказал Сун, провожая гостя.

Горбун исчез среди толпящихся лодок и людей.

— Кто этот человек? — спросил Сун.— Кто этот маленький горбун, дерзающий, как первый храбрец, на великие дела?

— Это полковник Хомер Ли, дорогой учитель. Это лучший знаток военного дела. И он пришел к нам, чтобы работать с нами. О, мы победим!

Сун отвернулся. Глаза его блеснули. Он скрестил руки и смотрел на реку, одевавшуюся вечерним туманом. Зарев фонарей в городе казалось ему заревом великих наступающих битв.

Сун сидел, задумавшись, у входа в каюту, когда шорох около него заставил его поднять голову. Перед ним стоял китаец, каких десятки тысяч проходили перед Суном каждый день. Он стоял, наклонив голову вперед, как бы кланяясь, и вместе с тем разглядывал Суна. Руки его слегка дрожали, а глаза сощурились в две черные палочки ванили. Он дышал прерывисто и хрипло. Сун сначала подумал, что перед ним больной. Он взял китайца за руку, но тот испуганно отдернул руку и заговорил:

— Я рыбак, Сун, меня зовут Тзе Лу, я нищий рыбак, я, как улитка, что тащит свой дом на спине, и другого дома у нее нет. Я торгую одним горем, так говорит Ма Куай, и это правда. У меня много детей, но они умирают от голода, как мыши. Мой маленький Ян Цзы ходит на веревочке, чтобы не упасть в воду. Ему нет места на земле. Моя жена бьет меня, но нищета бьет меня еще сильнее и забьет до смерти.

Он остановился и взглянул робкими и страшными глазами на Суна. Сун видел насквозь этого трепетавшего человека. Но он слышал также призыв великого дела — дела, от которого у него уже поседели виски и руки стали сухими и крепкими.

— Я понимаю тебя,— сказал Сун, наклонившись к самому лицу Тзе Лу, — я понимаю, тебе предложили сто долларов за то, чтобы ты меня выдал?

— Больше,— ответил рыбак, и желтая кожа на его щеках натянулась, как на барабане.

— Значит, тысячу,— медленно сказал Сун.

— Больше,— прошептал Тзе Лу,— Ма Куай — быстрая лошадь — сказал, что я получу пять тысяч долларов. Он боится тебя, и он ленив, и он послал меня... Сун,— зашептал Тзе Лу, бросаясь на колени перед Суном,— Сун, ты великий человек, ты одинокий человек. Ты стоишь больше тысячи таких нищих, как Тзе Лу! Послушай меня милостиво. Многие тебя ненавидят. У тебя больше врагов, чем у меня волос в косе. Если они тебе отрубят голову, то это никому не принесет пользы.

Ежели же ты теперь отдашь ее мне, я буду богат, я буду счастлив: Ян Цзы не будет ходить на веревочке, как козленок над рекой, жена сошьет себе новое платье, и все мы поедим рису вдоволь. Сун, послушай меня!..

И он ползал и обнимал Суна за ноги своими корявыми, покрытыми мозолями руками. Сун смотрел на него, и кровь стучала у него в жилах.

— Тзе Лу, встань,— наконец, сказал он медленным, глубоким голосом.— Ты прав, Тзе Лу. Я посвятил себя борьбе за освобождение таких, как ты, угнетенных и нищих людей. Я не знаю, когда мы победим. До тех пор многие умрут, как ты, от голода. Это правда. Я отдал свою кровь своему народу. Значит, ты имеешь на нее право, Тзе Лу. Хорошо, ступай и скажи твоему начальнику, что я здесь, на этой джонке. Я не двинусь с места, ступай. Спешу, пока мои друзья не пришли сюда. Я не хочу лишней крови. Спешу, товарищ!..

Тзе Лу ушел, спотыкаясь, неверными шагами, и спина его дрожала.

Сун Ят-сен сидел у входа в каюту, курил и думал. Он вспомнил, как китайский посланник в Америке натравил на него шпионов, и они охотились за ним, как за волком, из города в город, из страны в страну; как китайский посланник в Англии захватил его в плен и запер в комнате, откуда не было выхода,— и все-таки Сун ушел, оставив посланника в дураках; он вспомнил, как первый раз поднял оружие за свободу в Кантоне, как к нему пришли ученики, как он учил их делу революции. Он вспоминал и курил...

Ночь наступила незаметно. Кое-где пели песни, с ресторанных барок доносилась музыка, и вода в реке шипела под ловкими ударами весел... Он задремал. Если бы этот Тзе Лу успел прийти раньше, чем придут его друзья... Если бы сказать последнее прощальное слово Хомер Ли...

Сун Ят-сен устал за день. Глаза его закрылись сами собой. Он уснул. Он не помнил, как долго он спал. Его разбудил странный всхлипывающий звук, точно у его ног скулила побитая собака. Он открыл глаза. Правда, на палубе лежал какой-то жесткий мешок, ворочался и

стонал. Потом мешок поднял голову. Перед Суном молотилось залитое слезами лицо Тзе Лу. Он бил себя кулаками в грудь, и в разорванную синюю куртку просвечивало старое, изношенное тело рыбака, изъеденное ветрами, водой и солнцем.

— Это ты, Тзе Лу? — спросил он, осторожно трогая корчащегося за плечо.

— Сун,— сквозь стоны бормотал Тзе Лу,— я не мог, я не мог донести на тебя, Сун. Прости меня, что я пошел против тебя, как дикий пес идет против хозяина. Я все обдумал, отец мой, убей меня, или я не успокоюсь. Я потерял лицо. Я виноват, Сун, виноват до последней своей кишки, делай со мной, что хочешь. Но я не мог предать тебя. Пусть кости мои прорвут мою кожу от голода, но я не могу предать тебя...

И он стонал и извивался, как угорь.

Сун встал — спокойный и большой. Сун встал и поднял дрожащего рыбака.

— Не будем говорить об этом. Иди домой, Тзе Лу. Иди домой, а то твоя жена ждет тебя и маленький Ян Цзы плачет и спрашивает, почему ты не идешь..

У

На другой день вечером Сун шел с двумя товарищами на военное совещание к полковнику Хомер Ли. Темные узкие улицы, оживленные вечерней толпой, гудели, как переходы улья.

На повороте в неожиданный переулок он сшиб с ног какого-то человека. Сейчас же Сун вынул восковые спички и зажег, чтобы увидеть пострадавшего.

Человек барахтался на земле и вопил:

— Где у тебя глаза?! У тебя вовсе нет глаз! Что ты лезешь прямо на меня? Разве ты не видишь моего фонаря?

Сун Ят-сен и его спутники при бледном сиянии восковых спичек действительно увидели, что у человека в руке висит большой зеленый бумажный фонарь. Они подняли упавшего на ноги...

— Кто ты? — спросили они.

— Я Паир Чан, и я всегда хожу по вечерам с фонарем, чтобы меня не толкали. И только невежи вроде вас...

— Постой,— перебил его Сун,— это верно, что ты ходишь с фонарем, но твой фонарь давно потух, и от него света, как от старой подошвы. Разве ты сам не видишь?

— Как же я могу видеть, когда я слеп с рождения! Я слеп, как курица, наевшаяся темноты, и ношу фонарь, чтобы все мне уступали дорогу, но если он потух, то это негодный фонарь, и его надо бросить. Хорошая пара: слепой человек и слепая бумага...

И слепой, ругаясь, побрел дальше.

Пройдя несколько шагов, спутник Суна захохотал.

— Что ты хохочешь над несчастным? — сказал Сун.

— Сун,— ответил ему спутник,— этот слепец с потухшим фонарем так похож на китайского императора! Ему кажется, что он все еще излучает свет и все сторонится, а на самом деле его фонарь давно потух, а сам он давно ослеп, чтобы заметить это, и мы дадим ему хорошего толчка, Сун. Вот почему я хохотал...

Они шли вдоль канала, густо усыпанного барками и лодками. Луна шла по небу рядом с ними, как желтая собака с разинутой пастью. Облака, похожие на драконов, сопровождали ее. Вдруг они увидели, как от сарая на берегу отделилась нескладная фигура и бросилась к воде.

— Этот человек хочет утопиться,— закричал Сун,— спешим к нему!

Прежде чем китаец разбежался, чтобы прыгнуть в канал, Сун и его спутники окружили человека. Человек испуганно закричал и сел наземь. Сун узнал Тзе Лу.

— Тзе Лу,— спросил он строго,— что ты здесь делал?..

— О Сун,— ответил Тзе Лу, дрожа всем телом,— душа моя не находит покоя, я хотел утопиться, чтобы подлость моя утонула вместе со мной...

— Тзе Лу,— сказал Сун, указывая ему на барки и лодки,— вчерашний день ты звал смерть ко мне, а сегодня сам пришел играть с ней в кости. Стыдись, Тзе Лу! Что сказал бы маленький Ян Цзы, если бы ты подплыл к нему грязный и распухший, как прошлогоднее

бревно? Я успокою твою совесть, Тзе Лу. Клянись, что будешь делать так, как я прикажу тебе, и тишина снова войдет в твой ум и в твое сердце. Собери последние силы и отдай их мне, я позабочусь о том, чтобы маленькому Ян Цзы было хорошо жить, когда он вырастет.

— Пусть будет по-твоему,— пробормотал Тзе Лу,— я вижу теперь, что ты истинный сын света, и друг народа, и восстановитель душ. Дай мне твои спички, я буду беречь тебя, я буду идти впереди и освещать дорогу, чтобы ты не споткнулся и не ушибся о камень, как ушибся этот проклятый лентяй Ма Куай — дохлая лошадь,— которого я утопил в канале сегодня вечером...

1926

ВАМБЕРИ

Глава первая

Незатный серый воробей
Учился сам летать
От себя и к себе, от себя и к себе
Он крыльями начал махать.

И так он махал, и так он хотел
Летать и видеть свет,
Что не заметил, как взлетел,
И прозевал обед.

Он всюду был, он был везде,
На что ему обед,
Когда он видел всех людей
И всем кричал привет.

I

То был маленький хромой еврейский мальчик. Звали его Герман Вамбери. Семья его ютилась в глухом венгерском городке. Вокруг города лежали болота, а в доме Вамбери во все окна и двери стучала нищета. Чтобы не умереть с голоду, нужно было работать всем: взрослым и малышам.

Работу давали окружавшие городок болота. В них водились длинные и тощие пиявки. На этих маленьких чудовищ был большой спрос в те времена. Их ставили

больным, и они высасывали больную кровь. Их охотно покупали в аптеках. Они требовались во множестве. Семья Вамбери продавала пиявок и кормилась этим.

Каждое утро Вамбери, его братья и сестры собирались у большого стола, на котором копошились груды пиявок.

Мальчик отбирал их по длине и толщине, очищал от слизи и купал в свежей воде. Разобрав, выкупав и разложив пиявок по холщовым мешкам, дети мыли руки и шли обедать.

Мать подавала большой горшок с горячим рассыпчатым картофелем.

— А что будет еще, мама? — спрашивали дети.

— Съешьте это, а на второе будет еще картофель, — отвечала мать, — его сегодня много.

Но не всегда она отвечала так. Иногда ни куска хлеба и ни одной картофелины не было в доме.

Заглядывать на кухню было бесполезно. Плита не топилась. Тогда дети бежали из дому на городской пустырь.

Там на смятой траве, между косых кустов и мусорных куч, толпился самый вольный и рваный народ: цыгане с огромными пуговицами, скреплявшими их лохмотья, нищие, безработные, ремесленники и просто бродяги.

Тряпичники продавали свои находки: бутылки, сломанные чашки, лампы, гребенки. Фокусники из прогоревших цирков глотали горящую паклю и ходили колесом.

Цыганки гадали на картах и плясали, звеня широкими поясами из медных колец.

У шарманщиков прыгали в ящиках зеленые попугаи и просили сахара. Дети хохотали и дразнили их.

На пустыре было тесно от людей.

Босой Вамбери, подпрыгивая со своим костылем, пробирался между ними и просил у этого сброда чего-нибудь поесть. Ему давали со смехом или с издевкой. Ему кидали куски хлеба, остатки колбасы, лепешки.

Раз к нему подошел худой старик инвалид, седой и одноногий. Они сели на жесткий желтый камень и заговорили. Малый и старый были оба в лохмотьях и оба калеки. Их глаза встретились.

— Ну что? — спросил старик. — Эх, брат, что же ты будешь в жизни делать? Смолоду на одной ноге скачешь. Кем же ты хочешь быть?

— Я часто хожу сюда, — отвечал мальчик, — здесь много людей, и все они говорят по-разному. И многие говорят так, что я их не понимаю. Я хочу знать все языки, я хочу всех понимать, кто бы что ни говорил.

Инвалид отодвинулся от него с удивлением:

— Хо-хо, клоп! Посмотри на него: он хочет знать все языки — это недурно!

Старик закашлялся и встал, качая головой.

II

Вечером Вамбери снова мыл пиявок, сжимая их двумя пальцами и потом сажая их в мешки. Спали дети на полу в ряд. Под рваным одеялом они скатывались в комок и прижимались друг к другу, чтобы согреться. Почти каждую ночь кто-нибудь из них просыпался и кричал:

— Пиявка, пиявка!

Все шумели, искали свет, — вспыхивал огонь и освещал ногу или руку, на которой примостилась пиявка, удравшая из мешка. Беглянку, а то и трех-четырех беглянок сразу, ловили и снова водворяли на место.

...За городком поля стали серыми, гуси не шлепали по лужам, а гоготали у ворот, деревья сделались больными и тонкими — пришла осень.

Вамбери отвели в школу, и он сидел вместе с другими мальчиками и заучивал букву за буквой. На ночь мать клала под его подушку учебники.

— Это нужно, Герман, — говорила она, — чтобы знание само проходило через подушку тебе в голову.

Вамбери учился с таким жаром и радостью, как будто у него было четыре руки, чтобы писать, и две головы, чтобы запоминать.

Но бедность, стучавшая в окна, вошла теперь и в дом.

Снег лежал на крыше, а в печи не было дров. Мальчик бежал в школу, засунув руки в карманы, грея их горячим картофелем, занятым у соседей.

Сестра Вамбери поступила прислугой к старой чиновнице на другом конце городка.

Мать отвела Вамбери к одной знакомой женщине. Это была портниха. Она должна была выучить его шитью.

Вамбери сидел в неудобной комнате, засыпанной обрезками материй и наполненной лязгом ножниц и шором разрываемых тканей.

Иголка колола ему руки, а нитка непослушно убежала. Хромая нога мешала свободно двигаться, а руки не умели резать правильно.

Над ним издевались и били по рукам аршином. Он плакал по ночам и вытаскивал из угла учебники. Но школа была далеко. В праздники он бежал к матери и жаловался.

Но дома сидели братья, худые, как зайцы, и дрожали от холода, и мать говорила ему:

— Потерпи еще, милый, потерпи хоть до весны, а там увидим.

И весной Вамбери положил ножницы и иголку и сказал портнихе:

— Я больше не буду шить. Я еду учиться.

Рыжая портниха от изумления уронила наперсток и подушку с булавками, а мальчик встал и ушел.

III

По длинным дорогам большие, сильные быки и лошади везут возы с сеном, с дровами, с углем и с соломой.

Долго ехал Вамбери с матерью через низенькие бедные деревушки, рощи и леса, луга и речки, пока не приехали к шлагбауму города Ниска у подножия лесистых всклокоченных гор.

Темные своды школы, которая содержалась монахами-пиеристами, поглотили Вамбери.

Перед тем как отвезти Вамбери в эту школу, его мать выдержала большой бой со своими знакомыми.

— Он знает библию, — говорили они, — в библии есть все. Зачем учить тому, чего в ней нет? Это только погубит мальчика. Пусть он лучше станет сапожником — это богатое ремесло.

Но она настояла на своем:

— Мне трудно расстаться с ним. Мне очень тяжело отдать его чужим людям, но мой сын имеет хорошую голову. Для этой головы библии мало. Пусть он учится всему, что знают люди.

И Вамбери учился в монастырской школе.

Первый год учения прошел, как ветер по роще, — неожиданно и быстро. Латынь звенела в ушах мальчика с утра до вечера, мороз на улице щипал его за нос, но сытный обед редко был гостем его желудка. По ночам ему снилось, что он странствует в диких странах и говорит на неведомых языках. Он просыпался в поту и вскакивал. Спал он где придется — у разных случайных благотворителей на мешках в передней или где-нибудь за плитой на кухне.

Зато когда он увидел в первые каникулы ивы своего родного городка, он торжественно показал им, развернув так, чтобы видел весь пустырь, свой похвальный лист, где было написано золотыми буквами его имя.

— Золотом, вы понимаете, совсем золотом, посмотрите, — хвасталась его листом мать, показывая соседкам.

И все удивлялись. Такой маленький и такой умный!

Ее материнское сердце кипело от гордости. А Вамбери говорил:

— Это еще немного, мама. Я должен знать все, все...

С первыми полосами сентябрьских дождей костыль Вамбери снова застучал по коридорам монастырской школы.

Толстый новый преподаватель позвал его к себе и оглядел с головы до ног, потом презрительно спросил:

— Ты еврей, Вамбери?

— Да, — ответил мальчик, смотря ему в глаза.

— Скажи мне, Мошеле, зачем тебе учиться? Не лучше ли тебе стать резником и продавать мясо?

Вамбери звали не Мошеле, и он вспыхнул, но вспомнил сейчас же ножницы и иголки портнихи, голодных братишек, старый согнувшийся их домишко, и мать с заплаканными глазами, и ночи, отданные книгам.

— Учитель,— ответил он,— я нищ и мал. Я буду слушать вас, как отца. Но я не хочу быть мясником. Монах усмехнулся и сказал:
— Хорошо, я верю, иди в класс.

IV

Этот год упал на мальчика, как черное облако. Знакомые его, у которых он получал обед и ночлег, разъехались из города. Карман Вамбери не знал, что такое деньги. Мальчишки на улице хватали его за костыль, подставляли подножки, бросали камнями в спину, кричали:

— Урод, трус, калека!

Он шел и дрожал от ярости.

Горбун-шапочник дал ему угол в своем чулане. Но есть было нечего. Тогда он попросил в школе работы. Ему сказали:

— Приходи по утрам до уроков чистить учителям сапоги и платье.

Едва зимнее солнце начинало трогать окна, Вамбери уже сидел с сапогом в руке у печки в большом школьном коридоре и одним глазом следил за щеткой, бегавшей по сапогу, а другим глядел в книгу.

Печка сделалась его другом — она грела и успокаивала его. А потом — в нее всегда можно бросить полдюжины картофелин, случайно сохранных от вчерашнего дня.

Кроме печки, его верными товарищами были книги. Зачитываясь, он забывал голод.

Однажды весной школьники дурачились и играли на дворе. Листья яблонь летели им навстречу. Воробьи прыгали по забору.

Веселье кружило мальчикам руки и ноги.

— А ну, Вамбери,— подзадоривал один из них,— побегим, ну, побегим, кто скорее.

— Куда нам с ним,— кричали другие,— он на трех ногах, он нас всех сразу обгонит.

Вамбери побледнел от гнева и вскочил. И он бежал вместе со всеми. Но они далеко обогнали его и, столпив-

шись на другом конце двора, показывали ему языки и строили носы.

Он стоял одиноко, запыхавшись от усилий. Мальчики смеялись.

Тогда он отвернулся и пошел прочь от школы и от своих мучителей. В этом городе было одно место, куда он ходил плакать, когда ему было тяжело. Это была могила его отца. Туда он пришел и теперь.

На могиле он сел и оглядел себя. Рваная куртка одевала его плечи, костыль протер ее, и подмышкой зияла дыра. Из одного сапога торчали пальцы. Морщины выросли на маленьком лбу после этого осмотра.

— А, проклятый,— сказал он, хмурясь, дергая костыль из-под руки,— ты долго еще будешь делать меня посмешищем? Кто сильнее, я или ты,— сейчас увидим. Отец, отец, будь свидетелем!

И Вамбери ударил изо всех сил костылем по дереву, росшему на могиле. Костыль переломился и упал.

Опираясь на палку, ступая с болью, Вамбери пришел домой и собрал свои книги. Собрав, он завернул их в одеяло. Больше вещей у него не было.

— Куда ты? — спросил шапочник.

— Я ухожу,— сказал он,— здесь мне больше нечему учиться. Я пойду дальше.

V

Старый и мрачный город Пресбург впустил Вамбери в свои холодные, как пещеры, улицы.

Он долго ходил от дома к дому, и ему казалось, что дома отворачиваются от него, а лавки играют в прятки. Так неожиданно выскакивали перед ним окна, в которых лежали колбасы, окорока, сладкие пироги и конфеты.

Люди бежали вокруг, но никто не хотел взглянуть на него. Никому не было дела до хромого мальчика.

Он был чужим в этом большом и мрачном городе.

Вамбери остановился на одном углу. Над ним качалась вывеска: «Обеды». Он вошел. Человек с синим шрамом на подбородке спросил, что ему нужно.

— Я хочу есть,— сказал Вамбери.

— Здесь едят только те, кто может заплатить за съеденное,— ответил ему хозяин,— а кто ты такой?

— Я приехал учиться, но могу и учить...

— Ну-ну,— сказал хозяин,— у меня есть оболтус сын, которого следовало бы подучить.

— Что ж,— сказал Вамбери,— я готов. Я могу показать свое свидетельство.

И он показал его.

И Вамбери получил ученика и одну половину складной кровати у господина Леви — так звали хозяина столовой.

Еду он должен был добывать сам. Он садился с книгой в углу столовой и наблюдал за обедающими. Это были бедные и тихие люди, такие же, как и он. Они платили медными монетами за жидкие супы и жесткое мясо. Вамбери подбирал остатки от кушаний. Иногда ему протягивали и целый кусок. Потом он уходил опять в угол и раскрывал французскую грамматику. Он уже знал языки: латинский, немецкий, венгерский, еврейский.

Теперь его страстью был французский язык. Он заговаривал по-французски со всеми, толкаясь по улицам,— с крестьянином, идущим в погребок, с кухаркой, продающей молоко, с немцем, часовым мастером, с собаками, сидевшими у дверей.

У него было дикое произношение и честное упорство.

Его ученик блистал совершенным невежеством. В тусклый вечер, когда Леви, подсчитав кассу, пришел в комнату к Вамбери, мальчик раздевался, чтобы лечь спать.

— Погоди,— сказал Леви,— мой сын сказал, что у тебя появилась сыпь. Что это такое?

— Это, вероятно, лихорадка,— отвечал Вамбери,— не больше.

— Ну-ну,— сказал Леви,— повернись-ка к свету. Эге, а тебе придется, паренек, убираться отсюда. Таких мне не надо. Ты еще перезаразишь весь дом.

Вамбери встал, чувствуя, что удушье схватывает его за горло.

— Ничего, мы сейчас сосчитаемся. За три обеда, что ты мне должен, можешь не платить. Я оставляю у

себя твою подушку и одеяло. А теперь иди — я тебя не держу.

Вамбери исходил все бульвары и переулки: он был отверженным и не мог постучать ни в одну дверь, он не мог показаться ни одному человеку.

Мрачный чужой город окружал его.

Тогда он сел на скамью в глухом углу улицы. Но и тут раздались шаги ночного сторожа. Мальчик залез под скамейку в кусты, лег на землю и свернулся клубком.

— Ничего,— говорил он себе,— крепись, Вамбери!

И он на память читал про себя стихи по-латыни и по-французски, пока не уснул.

VI

Наутро он пришел в монастырскую больницу и постучал в железную дверь. Его впустили и уложили на жесткую, скрипучую кровать. Книг он не отдал. Он их положил под изголовье и только тогда успокоился.

Железная дверь выпустила его обратно только через две недели. К нему на улице подошел тонкий, как гвоздь, старик с кусками белой щетины на скулах. Он слышал, что Вамбери разговаривает с водосточной трубой по-французски, и спросил:

— Ты хочешь работать, мальчик?

— Еще бы!

Вамбери даже подпрыгнул на одной ноге.

— Идем со мной в таком случае.

И старик, который занимался ростовщицеством, привел его в свою квартиру. То была холодная низкая комната с большим сундуком и двумя черными шкафами. К ней сбоку примыкала прихожая, где лежали остатки ковра и пустые бутылки. Это было все.

— Что ты знаешь? — испытующе спросил старик.

— Я знаю пять языков.

— Это меня не касается. А сколько тебе лет?

— Четырнадцать лет,— отвечал Вамбери.

— А ну, скажи что-нибудь по-немецки.

Вамбери сказал.

— А ну, скажи что-нибудь по-латыни.

Вамбери сказал.

— Ты не совсем дурак, мне кажется,—с усмешкой произнес старик.— Ну так слушай: я стар, и мне трудно готовить себе обед и подметать комнату, а потом — меня могут ограбить, так как я не держу собаки. Если ты будешь смотреть за мной и охранять квартиру, этот ковер к твоим услугам.— И он жестом султана, дарящего гостю провинцию, указал Вамбери на остатки ковра в углу прихожей.— Ну, и кое-какой кусок хлеба тебе обеспечен.

— Хорошо,—согласился Вамбери,—я буду служить вам за слугу и за собаку.

Но старик даже крошки не оставлял подчас после себя на тарелке, и Вамбери мстил ему тем же. Он забывал заводить ему часы, убирать комнату и спал ночью так, что его хозяина могли сто раз пронести туда и обратно, и Вамбери не проснулся бы.

vii

Шел 1848 год. Стены тихого Пресбурга затряслись от грохота пушек. Венгрия восстала против угнетателей — австрийцев. Огонь войны перекидывался с кровли крестьянской хаты на крыши замков и стены крепостей. Вена свергла императора. Студенты и рабочие укрепляли город. Битвы перекатывались по краю. Венгерские революционеры собирали отряды.

Но борьба была неравной. Начались казни. Трупы висели на площадях, и грохот барабанов заглушал вопли разоренных семейств.

Вамбери ненавидел насилие. Он бегал по улицам и на всех языках ругал австрийцев палачами. Тогда его стала ловить полиция.

Вамбери должен был бежать из Пресбурга.

В поле у Дуная он встретил нескольких венгерских солдат, спасшихся от плена.

Они были запылены, и поражение читалось на их лицах.

— Все кончено,—говорили они,—будем ложиться и умирать. Пропадай наша свобода!

Тогда поднялся один старый пастух и прохрипел им шатающимся от старости голосом:

— Стойте, дети! Всегда, когда с нами беда, приходят нам на помощь старые мадьяры из Азии: ведь мы их братья,— будьте спокойны, они и теперь нас не забудут.

Это было откровением, которое поразило Вамбери. Его всегда тянуло на Восток. Ему всегда снились пустыни и пальмы. Не там ли он найдет многое множество языков и племен? Там он научится понимать всех, на каком бы языке ни говорил человек. Там он найдет этих старых мадьяр из Азии.

И он ушел потрясенный.

Когда звезды встали над его головой, он сел у канавы при дороге и дал слово, что больше не будет толкаться в учебные заведения. Судьба загнала его в Будапешт. Тогда еще он назывался просто Пешт.

VIII

Самое грязное и самое шумное кафе в Пеште — кафе Орчи. В нем собирались приехавшие из провинции кулаки и фермеры. Там стояла особая скамейка. На эту скамейку, как невольники, садились учителя, ждавшие, чтобы их наняли куда-нибудь в отъезд.

Много раз сидел на этой скамейке Вамбери, много раз уходил он с нее и возвращался снова. Иногда у него оказывались деньги. Тогда была передышка. Он покупал себе потрепанные брюки и даже раза два ходил в театр.

Ученье он не прекращал ни на минуту. Он учился языкам днем и ночью, в поле, в сарае — везде, где можно было раскрыть книгу и положить бумагу. Он заучивал по сто слов в день. Как самоучка, он коверкал слова, приходилось их переучивать снова,— он переучивал по два, по три раза.

Он читал Пушкина по-русски, Андерсена — по-датски, Данте — по-итальянски, Хайяма — по-персидски, Сервантеса — по-испански.

При таком терпении ничто ему не было трудно. Слова чужих стран входили в его голову, как бы играя. Он

забавлялся их пестротой и музыкой. Он видел их, как видят картины или статуи. Они прыгали перед ним, и каждое означало что-нибудь новое, еще неизвестное ему.

Если ему удавалось ненадолго получить себе комнату, он увешивал ее плакатами, на которых писал кратко по-турецки или по-персидски, чтобы никто не мог прочесть: «Работай, всегда работай, будь настойчив — стыдись!»

Он сам задавал себе уроки и, если не приготавливал их к сроку, оставлял себя без обеда.

Но жить становилось все труднее. Люди вокруг него жили в тяжелой, безвыходной нищете. Он решил ехать на Восток.

Деньги не любили его. Ему удалось в Вене достать угол на улице Трех Барабанов, где он переходил с хлеба на воду и худел, как котенок.

Квартирная хозяйка благоволила к нему. Она приходила к нему иногда и становилась перед ним с заложенными за спину руками и тихими овечьими глазами смотрела на него.

— Когда вы встанете на ноги, Вамбери? — спрашивала она.

— Я уж стою на них, — отвечал он, — и ничто не сможет меня сбить с них.

Он вспомнил сломанный свой костыль и улыбнулся.

— А это что у вас? — допытывалась она, заглядывая в тетрадь, испещренную заметками в клетках.

— Я отмечаю всякий день, дорогая фрау Шенфильд, все, что я должен сделать. Если я не сделаю в течение месяца всего, что я должен сделать, я первого числа объявляю себе выговор.

— Вы странный человек, Вамбери, — говорила хозяйка и уходила, недоумевая.

И снова шатался Вамбери всюду, собирая гроши на жизнь. Время шло.

Однажды весной он вошел к фрау Шенфильд. Она обрадовалась ему и хотела угостить его кофе, но он отказался.

— Вы торопитесь, Вамбери? — спросила она. — Может быть, приехала ваша матушка?

— Она давно умерла, фрау Шенфильд.

— Тогда вы, может быть, спешите к своей невесте? — спросила она с улыбкой.

— Нет, — отвечал Вамбери, — я еду в Турцию, в Константинополь.

Глава вторая

Когда тоскует конь,
Он бьет копытом пол —
Он непонятно зол;
Но ты коня не тронь,
Но ты коня не бей,
А выведи на луг.
А ты возьми седло
И выбери страну,
Дай шпоры скакуну —
Увидишь, что болезнь,
Что всю болезнь его
Как ветром унесло.

I

Громадным многоцветным лагерем раскинулся Константинополь. На холмах подымались похожие на шатры мечети. Как копья, в небо торчали белые минареты.

Ржанье вьючных животных наполняло улицы. Их было так много, что казалось, будто вся страна куда-то переселяется.

Рядом с толстыми раззолоченными людьми жили голые грязноволосые нищие, покрытые рубцами и ранами. У ног прохожих дымились жаровни.

Проходили красные, как раки, и синие, как павлины, солдаты. Дворцы султана были отгорожены от всех золочеными решетками. По зеленой воде Босфора бежали, обгоняя друг друга, остроносые лодки. Под их веслами в прозрачной воде играли диковинные рыбы.

Стук копыт, крики торговцев, приветствия и брань оглушали новичка.

В маленькой прохладной кофейне сидели греки, турки, арабы и персы.

На возвышение поднялся худой смуглый хромой человек. Наступила тишина. Не слышно было даже шороха передаваемых наргиле и чашек.

Человек читал нараспев с гортанными ударениями отрывки «Ашик-Гариба» («Влюбленный иностранец»).

Слушатели вскрикивали от удивления и восхищения.

— Кто это? — спрашивали они хозяина. — Кто это?

И тогда хозяин кофейни говорил с улыбкой:

— Это один венгерец, он только что приехал в Стамбул и уже говорит по-нашему, как эфенди. Это не человек, а чудо.

Вамбери кончил стихи. Ему поднесли кебаба и пастирмы (жареного и копченого мяса).

Вамбери съел и ушел в соседнюю кофейню. Он жил, как хромая смуглая птица, перелетая из одной улицы в другую, с базара на базар, и так же, как птица, зарабатывал себе на хлеб пением.

Потом он шел к венгерцу Песпеки, своему другу, в разрушенный домишко, на пустырь. У них на двоих был один ободранный диван.

— Одна половина ваша, — предложил ему Песпеки, — другая моя. Это называется царьградской роскошью.

— Но здесь очень холодно, — сказал Вамбери, — нет ли у вас какого-нибудь старого тряпья?

Песпеки с грустной улыбкой вытащил из угла большое пыльное знамя.

— Накройтесь этим — это вас, наверное, согреет. Под этим знаменем мы дрались за свободу Венгрии... Больше у меня ничего нет.

Но знамя, согревавшее когда-то сердца, больше не грело. Оно уже стало простым куском материи.

С первыми лучами солнца Вамбери вскакивал и шел в город. Здесь перед ним лежал Восток, и он был нужен этому Востоку.

Слава об иностранце, говорящем по-турецки лучше турка, облетела город. С ним искали знакомства. Вамбери зазывали к себе чиновники и паши, чтобы у него учиться языкам Европы.

Прошло четыре года.

Казалось, колесо судьбы круто повернулось. Из худого, скромного молодого человека Вамбери превратился за это время в здорового, сытого турка. С ним говорили писатели и министры.

Мидхат-паша, всесильный зять султана, рассуждал с ним о падении ислама, о происках французов и англичан, об истории Турции. За его знание турецкого языка и турецкого быта он дал ему имя Решад-эфенди, что значит «верный».

— Почему вы не хотите поступить к нам на службу?— спрашивали его.

— Не для этого я боролся, чтобы после десяти лет голода и холода, обладая знанием десяти языков, засесть в кабинете чиновником. Я не могу принять службу султана — я состою на службе у человечества. С каждой новой главой о Турции я вписываю главу в историю человечества. Я привык бегать, и от сидения у меня затекают ноги. А потом я еще не видал Востока...

Турки качали головами и говорили, что он лукавей шайтана.

II

Однажды он шел по берегу Босфора через высокую зеленую рощу. Под деревьями сидел старый турок и сжимал в одной руке трубку с опиумом, а в другой держал чашку с кофе, размахивая ею по воздуху, чтобы охладить.

За деревьями прятались уличные мальчишки, следя за ним с хохотом.

Турок накурился опиума так, что ничего не понимал. Мальчишки подбирались к нему, втыкали в чашку длинные соломинки и высасывали кофе.

Живой скелет смотрел в чашку, убеждался, что она пуста, и, думая, что он выпил ее, кричал слуге:

— Кафеджи, дольдур (подлей еще)!

Ему подливали, а мальчишки снова высасывали кофе через соломинку.

И Вамбери понял, что вся Турция такова. Опьяненная смутными ядами прошлого, она спит и не видит, кто за нее пьет ее кофе.

Ему стало грустно. Он окинул мыслью весь Стамбул. Он видел десятки богачей, у ног которых влачили жизнь тысячи бедняков. Нищета и рабство были хозяевами Стамбула. Чашка кофе или трубка опиума — и день прошел.

Кто-то сказал над его ухом арабскую поговорку:
— Все несчастья в жизни от желудка.

Перед ним стоял лохматый человек в рубчатой чалме. Четки целыми рядами обвивали его шею, а глаза блестяли, как куски меди.

— Кто ты? — спросил его Вамбери.

— Я дервиш, эфенди, — ответил он, — я был в Бухаре, Самарканде, в Мешхеде и Куте. Я был всюду, где лежит тень плаща пророка. Там, где ни разу не ступала нога неверного.

И он прошел мимо, повторяя арабскую поговорку:

— Все несчастья в жизни от желудка!..

Вамбери долго не ложился спать в эту ночь.

— Так я буду там, — сказал он себе, — я буду там, где не ступала нога европейца. Назло всему исламу и всем дервишам, я приду в те места и взгляну своими глазами, чтобы знать, что это такое.

Через месяц пароход «Прогресс» вез Вамбери в Трапезунд, город на Черном море, откуда можно караванным путем попасть в Персию.

III

Вамбери высадился в Трапезунде. Он пересек страну курдов, где высокие дикари, нищие и храбрые, хвалятся конями и оружием.

Нападая на караван, они стреляли с коня так метко, что могли отстрелить пуговицу, не задевая всадника.

Вамбери проехал желтый Тавриз, где на базарах галдят четыре страны света, проехал голубое Урмийское озеро, Казвин, похожий издали на свадебный шоколадный торт, и приближался к Тегерану.

Ему было не по себе. Он думал, что Восток — это земной рай, где под пальмами живут красивые и веселые

народы, а здесь перед ним лежала или соленая пустыня, или пустыня без соли; развалины городов и каналы, полуобвалившиеся и запущенные, походили на кладбища. Башни и крепости торчали, как досадные придатки к скалам.

Персы, между которыми он жил это время, постоянно осыпали его ругательствами, так как он выдавал себя за турка. Они были шииты и к туркам-суннитам питали нестерпимую вражду.

Даже на его осла, как на суннитское животное, сыпались удары бичей.

Рядом с Вамбери постоянно шел злой фанатик в смушковой шапке, длинном халате и в зеленых туфлях и кричал, точно ему платили золотом за этот крик:

— Ты думаешь, эфенди, что Омар, этот паршивый пес, эта дьявольская скотина, эта вонючая гадина, не поступил вероломно? Отвечай сейчас же!

Вамбери мог бы ответить персу: «Друг мой, я не заинтересован в этом, ты можешь успокоиться...»

Но этот ответ был бы равносильен объявлению войны. Его убили бы, приняв за дьявола. Вокруг были темные и бешеные люди. Многие из них никогда не видали европейца.

И Вамбери делал строгое лицо и спорил, как суннит, спорил, как турок, спорил до седьмого пота. Он изучил в Стамбуле все штуки мулл, и его трудно было заподозрить в обмане.

Так было на каждой остановке, на каждом перекрестке, на каждом ночлеге.

Наконец, они увидели ряды тополей и фруктовые сады. Между ними белело что-то большое и бесформенное. Это был Тегеран.

Вамбери загорел и закалился. Его звали Решад-эфенди. Вся его прошлая жизнь, казалось, была отрублена от него. У него завелись новые друзья.

В прекрасные синие ночи Тегерана он пил с ними, читал им стихи Омар-Хайяма и Гафиза. Красное вино — хуллари — темнело в их бокалах. Звучали непрерывные тосты. Они придумывались тут же, на лету.

— Пью за избавителя караванов! — кричали одни. И все пили за избавителя караванов.

— Пью за Бинат-ул-Нашша (Дочь Мертвеца)! — кричал другой.

И все пили за Большую и Малую Медведицу, называемую в Персии Дочерью Мертвеца.

Так пили всю ночь под синим небом Персии.

Потом кричали совы и лаяли собаки предутренним лаем. Звезды бледнели и уходили с неба. Тогда шли спать.

IV

Вамбери пришел к своему приятелю — турецкому послу в Тегеране, Гайдар-эфенди, и развернул перед ним карту.

— Что хочет сказать мой друг? — турок посмотрел вопросительно.

Он сам был человек свободный, без предрассудков, и уважал Вамбери.

— Немного внимания, господин, — сказал Вамбери, — взгляните сюда: вот здесь лежит Бухара, а здесь Хива — там, где тянется великая водяная жила, называемая Оксусом, или Аму-Дарьей. Туда пойдет Вамбери с вашего разрешения.

— Не шутите, такого разрешения не будет.

— Тогда Вамбери пойдет без разрешения.

— Никогда! — вскричал его друг. — Оттуда не возвращаются европейцы. Вы хотите быть разрубленным на куски или повешенным за ноги. Куда вы пойдете? Вы хромаете. Чтобы попасть туда, надо пройти сотни верст пути, и какого пути! Пески, горы, ямы... Терпеть холод и голод. У вас не хватит силы.

— О, — сказал Вамбери, — в Персии мне делать нечего. Я не археолог — развалины меня не занимают. Что касается голода — я голодал пятнадцать лет; это не так мало. Что касается выдержки, то я вскакиваю на лошадь на полном ходу и взбираюсь на верблюда, как акробат. Общество бродяг и разбойников только развлечет меня.

— Но один вы не сделаете и трех шагов.

— А кто вам сказал, что я буду один? Я пойду со своими друзьями.

— Кто же они? Могу ли я видеть их?

— Для этого стоит только подойти к окну.

Гайдар-эфенди взглянул и вздрогнул. Во дворе посольства сидели паломники, возвращавшиеся из Мекки в Центральную Азию. Совершенно истощенные, покрытые грязью и пылью, как загнанные животные, с четками и посохами сидели дервиши.

— С ними, с этими фокусниками и ханжами, пойдете вы, Вамбери? Я не допущу этого.

— Увы, господин, я уже решил.

— Я ничего не понимаю, Вамбери. Что вам нужно в Бухаре? Зачем вы ищете плохого, и только плохого?

— Дорогой эфенди, я человек науки. Пословица говорит: не входи в дом с дурной дверью. Я хочу войти, я хочу увидеть Бухару. Может, всю жизнь я должен был положить именно на то, чтобы попасть в Бухару. Это упорство ученого, меня не остановит ничто. Почему я пойду с дервишами? Я говорю по-турецки лучше любого турка, профессия этих людей — обман. Я знаю, что простых людей обманывают с одинаковым успехом и в Азии и в Европе. Эти люди торгуют молитвами, и четками, и водой из Мекки. Они берут эту воду в любом колодце. С ними легко поэтому ладить. А если я погибну — потеря не очень большая. Родина моя далеко, семьи у меня нет. Поэтому не держите меня, мой друг.

V

Потом к Вамбери заглянул доктор Бимзенштейн. Он был похож на камбалу, которой приделали неожиданно ноги. Он трудно дышал и немного заикался.

— Вамбери, я слышал, вы идете в Бухару?

— Да, иду.

— Слушайте, старина, майор Конолли был там...

— Ну и что же?

— Его голова висит на зубцах эмирской башни. Стоддарт пошел по его дороге. Его пробили копьем, как лист картона.

— Были и другие, доктор, были и счастливее этих.

— Да, были: Блоквилль сидел передо мной, как

сидите вы, и рассказывал о том, как туркмены жгли ему пятки и ломали руки. Вайсберн— крепкий англичанин — смеялся со мной над опасностями. Спросите ветер, Вамбери, спросите ночь, спросите дорогу, Вамбери,— где Вайсберн? Никто не ответит, потому что никто не знает, что стало с ним.

— Я скромней их, доктор. Я никогда не искал славы мученика. Я пойду незамеченным, как блоха на дервише.

— Незамеченным, Вамбери? Сто глаз будут следить за вами день и ночь. Будете ли вы есть, спать, притворяться молящимся — сто сторожей будут стоять за вашей спиной. При каждом шаге вы будете наступать на шпиона. В степи, в монастыре, на базаре, на улице стоит одному человеку сказать: «Это френги» (европеец), — и вы погибли. Вы никак не сможете защищаться. Дрогнувший взгляд, оступившаяся нога, неверное ударение в слове выдадут вас.

— Все так, доктор, но у меня есть одно, за что я ручаюсь.

— Что же это, Вамбери?

— Сила воли, сила воли, доктор.

— Хорошо, — сказал Бимзенштейн, — тогда накануне вашего пути вы зайдете ко мне.

Была теплая южная ночь. Доктор сидел в своей комнате и курил. В дверь постучали. Он отворил ее и отшатнулся.

— Кто это? — спросил он.

— Не пугайся, эфенди, — ответил человек, — я простой дервиш Хаджи-Махмуд-Решад-эфенди, я иду ко гробу Богаэддина.

И Вамбери со смехом бросился в кресло.

Суконный черный колпак стоял на его голове; плащ его оканчивался лохмотьями. Пояс из разноцветных веревок перетягивал стан. За пояс был засунут маленький топор с короткой ручкой. С рук свешивались черные зерна длинных четок.

— Ну, мой друг, я хочу вам сделать маленький подарок...

— Я жду, доктор.

— Здесь три пилюли стрихнина. Когда вы увидите,

что все кончено, эти шарики сыграют для вас роль последних друзей.

— Спасибо,— сказал Вамбери, беря шарики и уходя.

На пороге он остановился и пристально взглянул в лицо доктора.

— Доктор, я думаю, что все же, несмотря ни на что...

Стук двери заглушил его голос и оборвал конец фразы.

Бимзенштейн бросился к двери и распахнул ее.

Никого не было. Одна теплая ночь глядела в глаза доктору.

Глава третья

— Тише шаг, тише шаг,
Шаг, шаг — тише!—
Так поют пески,
Засыпая кишлаки —
Стены, окна, крыши.
Звон и гам, гром и гам,
То не ветер бродит —
Караван по городам,
Весь гремя, проходит.
А один в нем человек,
Точно конь и воробей,
Всех быстрее и всех скромней,—
Настоящий человек.

1

Взад и вперед вдоль каравана разъезжали купцы, кричали и переругивались между вьюков. За ними ездили писцы и записывали, как в лавке, заключаемые сделки.

Чиновнику подавали чай на ходу и знатному персу набивали трубку. Он курил в седле так ловко, точно лежал на диване. Тут же на ходу били провинившегося раба. Часть ударов попадала по лошади. Караванный шут становился головой на седло и рассказывал анекдоты.

Так двигался этот странствующий базар, который называется караваном.

Ослы, на которых сидели дервиши, не смели брыкаться и шли с постными мордами. Лошади стражи

вставали на дыбы и дико вращали глазами. Верблюды купцов качали шеями, точно подсчитывали барыши.

Дервиши пристраивались, как могли. Иные сидели на вьюках, держа в руке склянки со священной водой из Мекки. Склянки были сделаны в Европе, и, значит, одно прикосновение к ним делало любого мусульманина нечистым, но они не думали об этом. Иные шли пешком, иные трусили на собственных ослах.

Дервиши эти были мошенник на мошеннике. При Вамбери одному из них в драке выбили два зуба, и когда благочестивые персы спрашивали его в дороге, где он потерял их, он отвечал:

— У горы Огод в битве с неверными пророк лишился двух передних зубов. Как же я мог не подражать ему?

И слушатели дарили ему деньги.

К ним приходили люди с больными глазами и просили помощи. Дервиши, приняв подарки, посыпали их глаза грязной землей, якобы привезенной из Мекки. Когда вся земля из мешочков, висевших на груди у каждого дервиша, выходила, они наполняли эти мешочки тут же, на месте стоянки, новой землей.

Вамбери закусывал губы и бормотал проклятия.

На остановках в селениях хозяева расстилали ска-терти на земле и выносили блюда с едой. Грязные руки засовывались в мясо или рис и тащили, сколько могли захватить. Желая уважить товарища, скатывали ему куски жира в комок и предлагали с улыбкой.

Вамбери давился, но ел. С каждым днем ему становилось тяжелее.

Пыльный, обросший волосами, усталый, он глядел и запоминал все, проходившее перед ним. Мир, неизвестный европейцу, впустил его в свои владения.

Он смотрел на диковинные вещи. Вот отрядом командует десятилетний перс. У него карманные часы, усыпанные рубинами, и в шелковом мешочке на груди висит его печать, заменяющая подпись. Он ходит с кнутом и подгоняет слуг и животных. Он произносит проклятия и молитвы, как взрослый. Слуги не смеют поднять на него глаза. Он ведет караван с кунжутным маслом.

«Так вырастают деспоты!» — думает Вамбери.

II

Вамбери знал уже всех своих товарищей дервишей по именам. И они знали, что он идет в Бухару, в город, о котором пророк сказал, что всюду с неба видно, как нисходит свет на города, и только от Бухары свет столбом стоит в небе.

Дервиши били себя кнутами, чтобы иметь раны на плечах и на груди.

Они торговали ими, показывая их в городах. Они растравляли порезы на лбу так, чтобы получилась восьмиугольная язва. За это особенно хорошо подавали, потому что это значило, что человек усерден в молитве и, молясь, прижимает свой лоб к восьмиугольному кирпичу.

Вамбери было не до смеха. Среди этих полупомешанных негодяев и бесноватых трудно было притвориться равнодушным. И он пел суры корана, и хватал себя за голову, точно хотел оторвать волосы, и говорил гнусавым голосом, как они, и закатывал глаза. Он от природы имел талант подражания.

В Мешхеде все пошли поклониться в мечеть Имам-Риза. Купол мечети, покрытый золотом, сиял на голубом небе. Стены мечети блистали эмалью. Неграмотные темные люди толпились, задавленные этим тяжелым блеском, и плакали и вопили, следя с жадным вниманием за словами мулл.

За прочтение молитв нужно было платить деньги. Один неграмотный скряга подошел к Вамбери.

— Брат, — сказал он, — у меня нет денег, прочти за меня молитвы, а я буду сзади повторять их за тобою.

Вамбери встал в позу и добросовестно отчитывал ему арабские стихи.

Вдруг он услышал, что голос за его спиной говорит как будто не молитву. Он остановился и прислушался.

— Больше пяти дукатов твоя кляча не стоит.

— Клянусь святым Абасом, ты жулишь. Я сам заплатил за нее двенадцать.

— Не ври, не ври, дорогой...

Вамбери обернулся с притворным гневом, едва подавляя смех.

— О, о,— закричал скряга,— мы немножко отвлеклись от молитвы!

Так, немножко отвлекаясь, молились и прочие паломники у могилы Имама.

Персия кончилась домом у длинного моста и холодной рекой с непонятым именем.

Караван изменился в составе. Присоединились афганцы и люди из Индии.

Вамбери запаршивел. Вамбери кусали насекомые.

Их было столько, что складки одежды шевелились, как живые.

Одежду расстилали над горячей золой, и она трещала, точно палка. Если не было огня, одежду кидали на раскаленный песок, и все насекомые переползали наверх. Если не было огня и песка, отыскивали муравейник. Муравьи поедали всех вшей дочиста.

На ночевках кричали, как дьяволы, бухарские ослы.

Они кричали так, точно их поливали горячей смолой.

Лошади бросались в сторону от верблюдов, потому что верблюды наедались жестких колючек и, не получая достаточно воды, пахли, как зачумленные.

Люди садились группами и беседовали у костров.

Персы хвастались сапогами, на подошвах которых было написано имя Омар. Они хотели непрерывно попирать ногами своего врага.

Индусы держались отдельно. Они были поклонники индийского бога Вишну и на ночь расставляли вокруг себя и своих тюков небольшие палочки, соединяя их тонкой веревочкой, и считали, что теперь они отгорожены от всех и не могут оскверниться.

Афганцы показывали зарубки на рукоятках кинжалов и прикладах. Сколько было ими убито неприятелей— каждый мог видеть.

Дервиши плясали в кругу, вопили и просили подаяния. Им бросали остатки пищи и медь.

Вамбери чувствовал, что он сходит с ума.

Когда все засыпали, он начинал упражняться. Он запоминал выражения лиц своих спутников, их улыбки, их гримасы, их жесты. Он учился передразнивать их

каждую ночь. Через два месяца его нельзя было отличить от других.

Он наружно растворился в караване.

Все считали его ученым дервишем, идущим в Бухару. Тревога иногда сжимала его плечи. Начинали дрожать руки. Смех звучал фальшиво.

«Неужели,— думал он,— я не вернусь?»

И он снова осматривался.

Желтые скалы толпились перед ним. Пыльные кусты выходили из трещин. Бегали широкие ящерицы.

Потом перед караваном раскрылись пески. Они шли во все стороны и нигде не кончались.

Появились кочевники. У них нельзя было отличить мужчин от женщин. У тех и у других были одинаковые шаровары, куртки и рубашки. Те и другие закрывали лицо от песка. Ноги их представляли какие-то колбасы из парусины. Собаки пользовались у них особым почетом. Если у кочевника спрашивали: «Не продашь ли жену?» — он только слабо злился, но если спрашивали: «Не продашь ли собаку?» — он бросался на обидчика с ножом. Это была кровная обида.

За Вамбери шла слава святого хаджи с Запада. Он плясал, как никто, и читал на стоянках длинные звучные поэмы.

Все слушали благоговейно.

Туркмены с оттопыренными от бараньих шапок ушами, с косыми глазами соскакивали с маленьких крепких коней и садились перед ним, прося благословения или позволения дотронуться до его одежды.

Вамбери смотрел на их широкие красные лбы, слушал их странный говор и ничего не смел записывать. Он только смотрел и слушал.

День за днем он только смотрел и слушал. Он стал губкой, которая впитывала все окружающее, как воду. Он думал, что он или ничего не запомнит, или голова его лопнет от множества мыслей.

Кочевники трогали его одежду, его пояс и шептались.

Они приводили жен и детей, и те падали ниц перед Вамбери и простирали к нему руки. Если бы они узнали, что он обманщик, они закопали бы его живого в песок.

Однажды их толпу растолкал старик, голова которого была, как изрубленный кочан капусты. Караван уже ушел так далеко, что вокруг были только одни пески и небо. Этот старик всю жизнь провел в грабежах и убийствах. Все замолчали. Он протянул жилистую, почти черную руку и заговорил:

— Шейким (мой шейх), почему бы тебе не начать большое дело? Ты святой человек — ты все можешь. Давай нападём на персов. У меня пять тысяч всадников, молодец к молодцу. Благослови их волей Аллаха, и они пойдут за тобой. Подумай, шейким.

Вамбери не смеялся. Он думал. Он думал о том, что Персия — нищая, разоренная страна, о том, что войско шаха разбежится, как овечий гурт, о том, что европейские авантюристы в Тегеране поддержат его, о том, что туркмены отнимут у персов последнее добро в деревнях и выжгут поля, — а потом что?

Он думал, и все смотрели на него. Солнце закатывалось за их спинами, как громадное колесо войны.

Вамбери повернул лицо к старику. В его руках были жизнь и смерть тысяч людей. Жалкий мальчик, умиравший от голода в Венгрии, мог бросить народ на народ. Глаза его блестели.

— Я слушал тебя, шейх, — слушай и ты меня.

Старик наклонил изрубленную, как кочан, голову.

— Шейх, пока я не окончу обещанного Аллаху пути в святую Бухару, я не могу начать другого дела. Подожди.

— Я подожду, — ответил старик, — я подожду, пока ты вернешься. Воля божьего человека — закон.

И он встал, прошел между рядов, затаивших дыхание, и вскочил на лошадь.

На другой стоянке появился афганец. Черные ремни его одежды пугали детей. Он ступал мягко, как кошка. На первом же ночлеге он устроился около Вамбери.

— Хотя мы сидим криво, но будем говорить прямо. Кто ты? — спросил он без всякого выражения, но глаза его скосились, как у подбитого ястреба.

— Я иду из Стамбула.

— Зачем ты пришел сюда?

— Воля Аллаха движет людьми,— отвечал Вамбери, зная, что он не сможет смотреть прямо на этого человека.

— Видал ли ты когда-нибудь френги?

— Я не смотрю на неверных, брат.

— Они смотрели на меня,— закричал афганец,— пусть горы упадут на их головы! Они убили моих братьев и отца в Кандагаре. Почему ты опускаешь глаза, дервиш?

— Если бы ты знал, сколько я терпел от них на своей родине,— медленно сказал Вамбери, взглянув на сросшиеся брови афганца,— ты бы давно ослеп от ярости.

Афганец шумно поднялся и ушел к костру.

На другой день он подъехал к Вамбери и, толкая его осла своим конем, закричал:

— Как тебя зовут, дервиш?

— Хаджи-Махмуд-Решад зовут меня.

— А как тебя звали раньше?

— Раньше меня звали мальчиком, потом эфенди, теперь я — хаджи, брат.

Афганец усмехнулся углом губ и поднял коня на дыбы.

В тот же вечер Вамбери, застыв в молитве, а на самом деле прислушиваясь, слышал от слова до слова все, что говорил афганец начальнику каравана.

— Керван-баши,— говорил он,— это русский шпион. Он высматривает все дороги, а потом придут русские. Они отнимут у вас жен и детей. Но я не дурак. В Бухаре есть эмир, а у эмира есть каленое железо для таких людей.

— Не спеши, друг,— отвечал керван-баши,— сначала убедись в этом.

И они пришли утром убеждаться.

Но Вамбери молился. Он стоял, как столб, и глаза его не видели ничего. Он стоял, как камень. Губы его шептали что-то.

Афганец, указывая на него, громко повторял керван-баши свои обвинения.

Начальник каравана смотрел на Вамбери. Вамбери слышал все, он чувствовал, что одно движение лица может выдать его.

Он стоял, как камень. И начальник каравана отвел афганца, и до уха Вамбери долетел его шепот:

— Я не верю — ты ошибся, афганец. Так не стоят френги.

IV

Афганец стал ужасом Вамбери. Он рад был всякому пустяку, чтобы придраться. Увидав у Вамбери одну случайную золотую монету, он подошел и спросил с угрозой:

— Разве ты, дервиш, не принял обета бедности? Или у тебя особые правила на этот счет?

— У меня особые правила, — сказал Вамбери.

— Я хочу знать их.

— Узнай — это не тайна. Золото помогает от желтухи. Я лечу этой монетой от желтухи. На прошлой неделе я исцелил двоих...

Афганец скрежетал зубами. Он был дик, как уступы гор его родины, и хитер простой хитростью. Здесь он чувствовал себя одураченным. Вамбери казался ему колдуном. Караван ночевал теперь у колодцев в маленьких жалких рощах, между громадных песчаных холмов.

Вамбери не спалось. Он повернулся на локте, и холдок пробежал по его спине.

Прямо перед ним лежал афганец и в упор смотрел на него. Но глаза у него были круглые и желтые. Он курил опиум и прихлебывал чай. Искры из трубки освещали его лицо. Сейчас он не был человеком. Он, бессиленный, лежал, как тюк.

Вамбери вздрогнул от неожиданной мысли. Он вспомнил о стрихнине. Одна пилюля, брошенная в чашку с чаем, — и этого человека не станет. Человека, который, может быть, завтра убьет его.

Он достал пилюлю и держал ее у края чашки. Афганец ничего не видел, ничего не чувствовал. Руки его дрожали. Он лежал, как тюк.

Тогда из облаков вышел молодой месяц. Лучи его упали на руку Вамбери. Жгучий стыд ударил ему в виски. Он отдернул руку и спрятал пилюлю.

...И снова тянулись пустынные холмы. Жара убивала животных. Люди стали падать от солнечных ударов. Лихорадка бродила по каравану. Воды не было. Вамбери упал. Глаза его ушли в красные круги, вертевшиеся повсюду. Над ним прыгали дервиши, кричали ослы.

Он приподнимался и стонал. Песок залепил глаза и уши. Горячий песок сыпался на грудь и жег руки.

Над ним наклонился кто-то, и Вамбери услышал запах воды.

Он собрал последние силы и сказал:

— Пить, дайте пить!

Первый раз за все время он не помнил, на каком языке он сказал. Над ним стоял с кувшином воды афганец.

«Что я сказал,— подумал Вамбери,— это конец».

— Пей,— проговорил афганец, наклоня кувшин,— в Бухаре ты уже не будешь пить, дервиш.

В эту минуту караван пришел в смятение. Люди, и вьюки, и животные смешались. Просвистали пули, две стрелы упали у ног Вамбери. Шум все рос.

— Нападение! — кричали со всех сторон. — Кладите верблюдов!

Отдельные всадники выскакивали из толпы и скакали навстречу разбойникам. Их легко отбили после небольшой стычки.

Потом все встали в круг. Посредине круга положили трех убитых.

Вамбери подошел с толпой дервишей. Прямо перед ним лежал афганец. Струя крови выбегала изо рта. Вамбери отвернулся.

Через неделю караван вошел в Бухару.

У

Вамбери сидел на ковре в одном из караван-сараяв у дворцовой площади Ригистана и смотрел вокруг усталыми глазами. Цель была достигнута.

До всего запретного можно было касаться.

Он видел дворец эмира, одиннадцать ворот Бухары, закрытых для европейца, канал Шахруд с зеленой водой,

пересекающий город, Меджид-Каян — мечеть с голубой головой и зелеными стенами.

Вот Мирхараб — башня из жженого кирпича, откуда сбрасывают преступников. Его не сбросили. Вот двор пыток, где его не пытали, вот рынок невольников, где он не был продан в рабство.

Все окружающие его люди считали его своим. Перед ним они занимались своими обычными делами: жарилось мясо у мясника, публичный писец писал под диктовку закутанной женщины любовное письмо, цирюльник плевал на щеки клиента, сбрасывая с пальцев мыльную пену на спину уличной собаки, оружейник стучал по клинку, крича о доброте сабли.

Все вертелось, как колесо, делающее одни и те же повороты.

В эту ночь Вамбери приснилось, что он мальчиком сидит на пустыре в Дуна-Сердагели и перед ним одноногий инвалид. Инвалид говорит ему: «О, ты хочешь знать все языки — это недурно!»

Вамбери посетил бухарского ученого. Ученый принял его, как брата. Он дал ему чаю и трубку с лучшим табаком.

— Пей больше, хаджи, — советовал он ему, — кури больше, хаджи. Чай расширяет наши жилы и разжижает кровь, а табак освежает и мозг.

Сам ученый не курил — у него на поясе висела маленькая тыква, набитая буро-желтым табаком. Он запускал в нее руку, набирал табаку и всовывал в рот между языком и небом и потом выплевывал. Табачные брызги летели в лицо Вамбери, но он не замечал их.

Он держал в руках рукописи, драгоценные пожелтевшие страницы, написанные черными и красными буквами, горбившимися, как кошки и птицы. Таких рукописей не было ни у кого в Европе.

— Хаджи, — говорил ученый, сплевывая табак через плечо Вамбери, — ты очень любишь книги?

— Очень люблю.

— Я тоже — они совсем живые, хаджи. И потом они все знают. Ты еще придешь к нам, хаджи?

— Приду, — отвечал Вамбери, — я еще не раз приду.

— Ты принеси мне из Стамбула что-нибудь тогда из книг. Принеси мне Саадэддина и других, хаджи.

Вамбери вспомнил, как перед отъездом в Персию один доктор просил его привезти из Азии несколько татарских черепов, чтобы сравнить их с мадьярскими, и как ему возразили:

— Пожелаем лучше нашему другу привезти в целости свой собственный череп.

Вамбери вспомнил это и улыбнулся.

— Я принесу,— сказал он.

— А любит хаджи стихи? — допытывался ученый.

— Больше, чем свет дня,— отвечал Вамбери.

— Это хорошо. Как сказано у Гафиза: за одно родимое пятно красавицы можно отдать два персидских города. Это очень верно, хаджи.

И он заплелся табаком так, что стал кашлять.

VI

Потом Вамбери был у гробницы Богаэдина и плясал и кричал с дервишами до утра. Как его ноги выдержали эту пляску, он и сам не знал. Но страх смерти стоял здесь ближе, чем где бы то ни было.

Он видел эмира, толстую золотую куклу. Эмир опирался на саблю и тряс бородой.

Перед приемом у эмира один из его придворных взял Вамбери за затылок и сказал в сторону:

— К несчастью, я забыл сегодня свой нож дома.

Что он хотел этим сказать, Вамбери не узнал никогда. Он стоял, как дерево. Его можно было резать, и он не закричал бы.

Он видел самаркандские сады и зеленый камень Тамерлана.

Потом он ушел из Бухары. Перед выступлением в пустыню сделали оракул из палок и камней и гадали на нем. Толкования Вамбери были лучше всех. Ему принесли подарки.

Когда же караван окружили страшные пески Адам-Крылгана, что значит: место, где погиб человек,— необозримые горы песка, разбитые бурями, белеющие кости между них,— Вамбери сразу повеселел.

С каждым шагом обратного пути у него становилось

легче на душе. На стоянках он наблюдал странную жизнь. Богатый туркмен сидел с широко раскрытым ртом. Его раб затягивался дымом крепчайшего табака и, удерживая самую острую часть дыма, полной грудью вдвухвал остаток в горло своего господина. Это было дико и смешно.

Иногда невольник лукавил, и туркмен получал солидную порцию яда. Тогда глаза его вылезали на лоб, и он хватался за плетку.

Вамбери пил чай, приправленный салом и солью, и он ему очень нравился после тяжелого перехода.

Он видел людей, обмывавшихся песком, и сам мылся песком. Никто не может сказать, что он узнал быт Азии за письменным столом. Он был пропитан им, как его одежда — запахом верблюда.

Глава четвертая

— Кто это там,
Кто это там,
Кто это там?—
Спросил барабан.—
Кто пришел в наш край?
— Гость пришел из диких
 стран,
Друга старого встречай,—
Так ответил караван,
Караван-сарай.—
Что ты там ни говори,
Он вернулся в Тегеран,
Он зовется Вамбери,
Вамбери, Вамбери.

I

Начинался Афганистан. Тянулись обнаженные скалы и черные ущелья. В Афганистане дело дервишей было плохо. Афганские пастухи в полотняных плащах, с длинными ружьями вместо посохов, и купцы, носившие на себе целый арсенал, не хотели знать никакой святости. Они злобно смеялись и бросали камни.

Шпионы шныряли вокруг отряда. Особенно им не нравился Вамбери. Они крались за ним по пятам, и если он открывал их, то набрасывались и били. Есть было почти нечего. Холод пронизывал до костей.

Вамбери вспоминал молодость и улицу Трех Барабанов и ту же стягивал пояс.

В холодный день они пришли в Герат.

Город «ста тысяч садов» напоил его лучшей водой в Азии. В садах можно было есть сколько угодно фруктов. Посетителей взвешивали при входе в сад и при выходе. Плата взималась с разницы в весе.

Сын афганского эмира Якуб-хан сидел в своем дворце и смотрел на площадь, где происходил парад. Прямо перед его окном играли музыканты. Толпа дервишей стояла в своих лохмотьях поодаль. Между ними был человек с диким и упрямым лицом. Он отбивал такт ногой.

— Это европеец, — сказал Якуб-хан, — никто в Азии не делает так, слушая музыку.

И он позвал его к себе.

И он говорил с ним долго о разных святых местах, о науке дервишей, об Афганистане, что это — улей, где есть пчелы, но нет меда; потом дотронулся рукой до плеча Вамбери и сказал, понизив голос:

— Ты ученый, хаджи. Ты много ученей всех хаджи, кого я видел. Ты — френги.

Вамбери понял, что этот человек видит его насквозь. Делать было нечего, но он сказал:

— Нет.

Якуб-хан откинулся назад и задумался.

— Нет, — пусть будет так. Я не хочу тебя губить. Иди с миром. Я ошибся.

Вамбери не помнил, как он вышел из дворца, как он ушел из Герата.

Он мерз по ночам, и афганцы не скрывали злорадства.

Он походил теперь на грязный мешок, в котором стучали кости.

Однажды он приподнялся в седле и засмеялся.

Он смеялся беззвучно и трясся всем телом. Перед ним были темные глиняные стены Мешхеда. Он вернулся в Персию.

Проезжая по дорогам Персии, Вамбери чувствовал себя вновь родившимся; тут он мог выпрямиться, говорить каким угодно голосом, есть, что хочет.

Он громко запел веселую итальянскую песню.

Узбек, его спутник, поразился необычайной перемене. Дервиш с Запада на его глазах стал другим человеком. Наивному кочевнику было очень приятно такое просветление. Все люди равно любят радость.

— Ты говоришь на чудном языке, дервиш,— сказал он,— я не понимаю ни одного слова. Но это язык ангелов. Это — молитвы?

— Конечно, молитвы,— отвечал Вамбери,— это особая молитва на хороший случай. Подпевай, и ты ускоришь спасение своей души.

Песни становились все легкомысленней. Узбек подпевал, как мог. Пот градом катился с него, но он не хотел пропустить случая помолиться на чудном языке.

В одном селении, проснувшись утром, они услышали однообразный звук трубы.

— Что это? — спросил узбек, не знавший Персии.

— Это зовут в баню,— сказал Вамбери,— идем.

Они пошли в баню. Перед баней лежал конский навоз. Стены раздевальни были покрыты картинами битв эпоса Фирдуси, а вокруг лежала грязная одежда. В соседнем помещении они нашли маленький бассейн, полный теплой воды, где сидело десять человек сразу. Вамбери мылся и радовался теплой воде, как ребенок.

В третьей комнате им предложили выкраситься хной. Этой краской красили бороду, подошвы, ладони и ногти, и они становились красными.

Выйдя из бани, Вамбери громко смеялся.

— Чему ты смеешься? — спросил узбек.

— Я смеюсь мудрости. Ты знаешь, узбек, что дервиши должны держаться собачьих правил — всегда голодать, довольствоваться самыми неудобными местами, проводить ночи без сна...

— Я не знал этого,— сказал узбек.

— И все это я делал до сих пор — я был хорошей грязной собакой. А теперь, черт возьми, я вернулся в человеческую шкуру, мой друг,— закончил он по-венгерски.

Потом они зашли в школу.

Увидев дервиша, малыши обступили его со всех сторон.

— Вы знаете географию? — «Знаем»,— ответили они.— Ну, скажите, во сколько времени можно обойти всю землю? — «В пятьдесят пять лет»,— хором ответили они.— На чем стоит земля? — спросил он еще. — «На ангеле».— А ангел на чем? — «На рыбе».— А рыба на чем?

Тут никто из них не мог ответить. Но один закричал:

— Я знаю. Рыба стоит опять на ангеле.

В другом городе Вамбери увидел у караван-сарая европейца-путешественника.

Он был одет с иголки и блестел, как новый наперсток. Ругался он по-шведски очень сильными словами:

— Как сказать этим ослам, что они упаковали мой багаж не так, как нужно?

Смущенные персы, не понимая, чего он хочет от них, молчали.

Вамбери подошел к европейцу и сказал по-шведски:

— Вы ошибаетесь, сударь, такой вид упаковки самый лучший. Ему тысяча с небольшим лет. Он проверен на опыте.

Швед забыл закрыть рот от удивления.

Наконец, он пролепетал:

— Кто вы такой?

— Я дервиш, сударь, и не более того. Но я знаю все языки мира.

И он прочел шведу два стиха из саги о Фритьофе. Швед отскочил от него в ужасе.

— Видишь теперь,— сказал Вамбери узбеку,— Аллах дает дервишам великую власть слова.

— Вижу,— сказал узбек,— но Аллах очень высоко, а наше дело маленькое. Поедем дальше, дервиш.

Так они приехали через месяц в Тегеран.

III

Худой, черный, как уголь, обросший волосами, со шрамами на руках и ногах, Вамбери вошел в турецкое посольство.

Друзья окружили его с удивлением и радостью. Поднялась суматоха. Люди обнимали его и расспрашивали о путешествии; любопытные толкались, чтобы одним взглядом взглянуть на человека, который отважно прошел столько тысяч верст по нелюдимым местам. Ему предлагали деньги и дружбу. Вамбери стал героем города.

Европейцы устраивали обед за обедом в честь его. Целый месяц Вамбери не обедал дома.

Перед отъездом в Европу он зашел посидеть к Гайдар-эфенди.

Они засиделись за полночь. Турок спросил его:

— Ну, а теперь скажите: нашли ли вы то, что искали, Вамбери?

— Нет, — ответил Вамбери, — я не нашел, и сейчас скажу, почему. С детства я хотел узнать как можно больше языков и людей. Я узнал. Я хотел найти в Азии старых мадьяр, о которых живо предание в Венгрии. Я искал их и не нашел. Что делать! Никто мне не заплатил за мои лишения и седые волосы. Но у меня душа исследователя.

— А почему, Вамбери, вы вернулись живым, — вы не думали об этом?

— Думал, — сказал Вамбери. — Я вернулся живым потому, что пошел с чистым сердцем к диким народам, привыкшим видеть нож даже в руке друга. Если бы я хитрил из корысти и шпионил в самом деле, я попался бы. Но я мог смотреть в глаза этим людям, и в этом была моя сила.

— Теперь вы видели Восток и видели Запад, Вамбери. Что они такое?

— Я скажу вам. Я любил Азию давно и издалека. Может быть потому, что мне плохо жилось дома. Но чем дальше я входил в Азию — я находил там однообразие и лень. Это в Турции и Персии. Средняя Азия старше их на восемьсот лет. И Средняя Азия — склеп. Я с радостью вырвался оттуда. Там только рабы и деспоты. Нищета и

пустыня. Подождем лучших времен. Запад полон людей хитрых и сильных. Они любят золото и кровь еще сильнее, чем азиаты. И они уже идут. Англичане заняли Кандагар, русские подходят к Хиве. Когда-нибудь они встретятся. Я думаю, что через сто лет из Венгрии можно будет на поезде проехать в города, где я дрожал от страха смерти. Я пойду спать, эфенди.

...Перед отъездом Вамбери зашел к доктору Бимзенштейну.

— Доктор,— сказал он, стоя в аптеке Бимзенштейна,— я должен вам вернуть обратно ваш подарок.

И он протянул Бимзенштейну три пилюли стрихнина.

— Вспомните, вспомните, пожалуйста, что вы хотели сказать мне, когда приходили ко мне перед путешествием ночью,— закричал доктор,— я не слышал конца фразы.

— Я могу закончить сейчас, и пусть это будет к слову. Я крикнул вам тогда: доктор, я думаю, что все же, несмотря ни на что, жизнь — хорошая штука.

Х А Л И Ф

I

Вице-генералиссимус турецкой армии, убийца Назим-паши, зять халифа, наместник Магомета, «главнокомандующий всеми войсками Ислама», друг эмира, контрреволюционер и авантюрист Энвер-паша погибал в каменных расщелинах, как последний дезертир.

Пленный красноармеец без шлема стоял перед ним. Щека его была рассечена прямым ударом нагайки. Мутные глаза его дымились от усталости. Его так быстро гнали по тропе вверх, что его грудь равнинного жителя ходила ходуном. Штаны и гимнастерка были разорваны. Кроме всего, он струсил и непрерывно переступал ногами, точно стоял на угольях.

Энвер вспомнил свой старый жест, который он называл маршальским.

— Хасанов,— сказал он, дотрагиваясь до пленного концом маузера,— такие люди хотят задержать меня? Жалкий народ. Отпустите его вниз — дайте ему моих прокламаций.

Человек в серой маленькой шапочке закрыл левый глаз. Он негодовал:

— Это ошибка. Зачем оставлять лишнего бойца? Паша...

— Этот солдат — плохой солдат: он немного причинит нам вреда. Дайте ему прокламаций и отпустите... Я сказал...

Энвер отошел в сторону и прекратил разговор. Он поднял бинокль и обвел весь горный ералаш внимательнейшим взором. Он остановился на фигурке пленного, прыгавшей под гору, становившейся все меньше и меньше. Потом он увидел, как около этой фигурки мелькнуло что-то похожее на голубиную стаю. Это взлетели брошенные красноармейцем прокламации. Сейчас же он отвел глаза, и горы восточной Бухары стали подсовывать ему в двойные стекла бинокля многообразие своих троп и пятна осыпей, и оврынки, и балконы, и переправы внизу в густых тенях ущелья, жующего воду и швыряющего камни.

И вот двойные стекла бинокля стали нащупывать легко скользившие серые комочки стрелков. Желтые, кое-где одетые можжевельником, точно в ужасе цеплявшимся за камни, эти горы мучительно походили на Триполитанские горы. Перед ним мелькнуло презрительное лицо Кемаля и ястребиное — Джемаля. Они смеялись. Они называли его великим неудачником.

Да, это было так, но не сейчас. Разве не сейчас? Разве не бежит он по каменным коридорам из одного в другой и серые комочки катятся за ним, как заведенные? Он поднял снова бинокль, и сердце солдата стало ударять в ребра. Там, над осыпями, оврынками и балконами, всплывали дымки. Сильное эхо удесятило звук, и нельзя было понять, с какого расстояния бьют. Изредка, словно набрав злости, ударяла пушка. В бинокль он видел даже винтовки, просунутые между камней, и одного неудачного наблюдателя, высунувшегося до пояса и махавшего кому-то рукой.

Он прикидывал цифры: взвод держит тропинку, три пулемета, несомненно, у переправы, два горных орудия — спешенная кавалерия в ущелье. Красноармейцы сбегают вниз, нарочно показываясь. Значит, начался обход. Пушки берут высоко, перелетами, развлекая басмачей.

Они обходят. Цифры цеплялись одна о другую. 35—50—75 метров они пройдут в полчаса, подъем — час без тяжести: двигаться, нападать бессмысленно. Он вспомнил ночные рестораны Берлина, заряженные гулом толпы, песнями и криками. Наступал ли в них когда-нибудь час молчания? Позиция была пустынна. Басмачи

прятались, как волшебники. Одни тюбетейки можно было найти на месте стрелков, даже подойдя незаметно на несколько метров. Локайцы изменили, будь они прокляты! Изменил Ибрагим-бек, будь он проклят! Изменил Тугай-Сарры, будь он... Но звезда Энвера должна же, наконец, вспыхнуть ослепляющим пожаром...

— Нас обошли,— сказал человек в барашковой шапочке.— Паша, нас обошли!

Два дарвазца держали коней.

Сверху сыпались камни, и две гранаты, ахая, лопнули на скалах. Энвер увидел, как ожили склоны. Пестрые халаты один миг трепетали на виду. Затем раздался свист, и все исчезли. Все обратились в невидимое бегство.

II

Человек в барашковой шапочке лежит на старой кошме. Ему все равно. Он прожил жизнь. Все меньше кишлаков, стоянок — тем лучше; все меньше патронов и пищи — тем лучше; все отвеснее горы и безвыходнее ущелья — тем лучше.

Энвер вечным пером пишет, тщательно расставляя буквы, письмо эмиру бухарскому:

«Прославленный и многоуважаемый брат Газы!

Сегодня Ободжа-Лашафи получил Ваше письмо, узнал о Вашем здоровье, обрадовался. Сообщали мы Вам, что Ибрагим-бек — изменник и желает всех обмануть. Мирахир-баши, еще раз подтверждаю, воистину честный человек и везде и всюду, как я, готов жертвовать своими интересами для Вашего величества. Посему прошу избавить меня от этих горных и степных недоразумений. Пришлите мне, пожалуйста, для того патроны и винтовки Джермэни. Я думаю, что русские скоро не будут мне помехой...»

Энвер курит анашу, и усы его дергаются, как пиявки. Он кончает письмо и говорит:

— Хасанов, ты не веришь, что я одержу победу? Ты не веришь, что я буду халифом? Я бегу — да, но и пророк

бежал... Ты не веришь, что я создам халифат от Волги до Инда — татары, кавказцы, киргизы, узбеки, таджики, туркмены, турки, сейки, афганцы,— ты не веришь... Если поднять их — могущество Европы лопнет, как бычий пузырь под копытом... Ты не веришь...

— Нет,— говорит человек в барашковой серой шапочке,— это план из «Тысячи и одной ночи», а у нас осталось ночей столько, сколько пальцев на одной руке, если закрыть четыре... Может быть, я ошибаюсь... Тогда это счастье... Халифата не будет... Дорогой халиф, скажите мне что-нибудь другое... Как жаль, что у нас вышел коньяк...

— Я послал русским предложение, но оно не исключает первого плана...

— Мой друг паша,— говорит Хасанов,— я был с вами, Гази, под Эдирис и под Саракамышем. Я видел два лица войны. Я видел все.

— Я предложил русским, чтобы они отдали мне Бухару. Я обещал им собрать армию и идти с ними за общие цели на Восток... Ты опять не веришь?

— Накрой беглеца концом плаща, и он будет отдыхать. Мы отдыхаем, паша, но не слишком ли короток наш отдых... У нас нет силы...

— Русские завоевали Туркестан, за пятьдесят лет борьбы потеряв убитыми тысячу человек. Смешно! Неужели мы не сделаем того же...

Они вышли из дому. Кучка людей стояла на горной площадке, обвеваемая холодным ветром. Курбаши шел к ним, дико раздвигая ноги и спотыкаясь. Весь зад был сбит у него в кровь от непрерывной езды. На поясе качался маузер, украшенный серебром, сбоку висел наган, за плечами винтовка, две ручные гранаты выглядывали из мешка, шашку он придерживал рукой. Из-под шашки торчала ручка ножа. Английский патронташ освещен был луной, как неоспоримое доказательство его воинственного характера. Этот ходячий арсенал смутно пролаял приветствие.

Человек в барашковой шапочке разглядывал спутников Курбаши. Все они были горцы в оборванных халатах, удрученные и шатающиеся. Они слезли с лошадей, и только один всадник возвышался над ними. Он был

очень юн. Голову его обвивала чалма из тончайшей кисеи, большие черные глаза остановились неподвижно. Веревки сбегали, извиваясь, с плеч к поясу и, охватывая ноги, скользили под брюхо лошади. Мертвец сидел с оскаленным ртом, полным пыли. Седло слегка скрипело под ним. Пуля прошла около виска. Расшитые одежды и тонкие руки в кольцах были одинаково мертвы.

— Что это? — спросил Энвер.

Курбаши коснулся своей черной бороды, полной пыли, как и рот мертвеца.

— Это сладкая любовь, таксыр. Русские убили его вчера. Я зарезу за него сто голов, но я не могу расстаться с ним. Пусть тень его молодости едет за мной. Он приносил мне счастье, э, таксыр,— это правда...

Он сел на камень и застонал.

Энвер и Хасанов шли мимо спящих и проверяли часовых. Спящие были совершенно неподвижны. Так могут спать бревна и камни. Даже лошади не чесались и не стучали ногами. Ущелье ясно являло собой дыру, в которую побросали этих людей за ненадобностью, как мертвых.

Заунывный крик часового послышался вверху, ему ответил другой, похожий на плач птицы.

Хасанов заговорил, точно сам с собой:

— В Персии я встретил караван с мертвыми. Их везли в Кербелу. Я ночевал вместе с караваном. В садах, во мраке, в запахе жасмина и миндаля, лежали мертвецы рядами, и вокруг них кричали сторожа и пели песню пути. «Вы спите, сторожа?» — спрашивали одни. «Мы не спим,— отвечали другие,— мы сторожим мертвых Кербелаха. Сладко спите, мертвые, сладко будете вы спать в Кербелахе». Мы бодрствуем, мы сторожим! Разве это не похоже,— сказал он, указывая на лагерь,— мы сторожим, но мы скоро уснем. Кто будет кричать о нас, паша?

Энвер выхватил маузер. Визгливые голоса часовых пересеклись хлопаньем винтовочных прикладов о камни и черепа. Рукопашная осветилась багровым трепетаньем гранаты.

— Вайдот! — кричали дарвазцы.— Вайдот!

Курбаши держал за повод лошадь мертвеца и размахивал шашкой. Энвер увидел, как рядом с Хасановым выросло отчаянное круглое потное лицо, пересеченное шрамом от нагайки. Человек внезапно отпрянул. Из-под его рук откуда-то неожиданно выбегал штык. Энвер узнал красноармейца, ушедшего из плена. Энвер проклял его и стал разряжать маузер. Тут его подхватили телохранители, и все провалилось во мрак.

III

— Ты думаешь, настало время защитных рубах и красных звезд? — спросил Энвер, слезая с коня у старого мазара — гробницы, приткнувшейся у скалы.

Хасанов с забинтованной головой указал вниз. Там, внизу, далеко, как будто в другом мире, стоял сигнальный костер, и далеко к северу блуждал он, и еще на тропе, и еще внизу, у переправ.

— Они нарочно зажгли костры, чтобы сбить нас, — сказал Энвер.

— Нас загоняют, — ответил Хасанов, — нам осталась дорога в Афганистан.

— Никогда, — закричал Энвер, черные пиявки над его высокомерными губами вздрогнули. — Мы должны найти хоть одну искру настоящего мужества — и все обернется по-другому.

— Мертвые Кербелаха не всегда доезжают до Кербелаха, — сказал Хасанов, — отдохнем у мазара.

Отряд остановился. У стены гробницы сидел старик. На впалых щеках его, лиловых при заходящем солнце, гнездились клочья ржавых волос. При виде вооруженных людей им овладела необычайная радость. Он царапал землю ногами, похожими на спицы. Головокружение охватывало горцев, когда они встречались с его глубокими, скользящими глазами. Точно ужаленный, он подскокил на месте и простер руки, желая обнять оружие всего отряда. Шапка его ошетибилась, глаза закрылись. Гнусавый голос ударился в узкую дверь ущелья. Он танцевал. Между землей и небом кружился он, подпрыгивая.

— Он молится,— говорили дарвазцы.— Он — «дивана».

— Он танцует мою жизнь,— шептал Энвер.

— Анахронизм,— сказал Хасанов.— Пляшущий мертвец. Ислам умер.

Пена текла по сизой бороде старика, обнажились неровные длинные зубы, один глаз полуоткрылся и обегал сидевших. Ужаснее всего жили его руки.

Они то выпрямлялись, как палки, над головой, то складывались, будто ломались надвое, то извивались, потрескивая, то летели в стороны, сейчас — касались земли, сейчас — отделялись от тела, точно плясали рядом со стариком.

Он шумно выдохнул воздух, кончил пляску и, согнувшись, почти рухнул к ногам Энвера, закричав ужасным голосом:

— Халифат, халифат — Ияхуа — халифат — Айем— Ияхуа — халифат!

Когда они стали разговаривать, все почтительно отодвинулись от них. Энвер рассказывал старику свою жизнь. Через кровь слуги султана, через постель дочери султана, через трупы солдат султана, через пески Триполи, кровавые виноградники Турции, горы Кавказа, пустыни Бухары шел рассказ. Аллах избрал Энвера грозой неверных. Энвер погружался в бездонные глаза «диваны». Он ощущал себя заново, как тогда, когда вскочил на коня, чтобы завоевать Адрианополь, или вошел на палубу «Гамидиэ», чтобы мчаться в Африку. Этот старик встанет за него. Вся история ислама пестрит такими стариками. А кто были первые халифы? Безумные, взявшие меч. Этот старик поедет рядом с ним под зеленым знаменем. Еще не все погибло.

— Халифат,— сказал, вздохнув, старик,— ты отдашь мне халифат. А ты кто?

— Как?.. тебе? — спросил Энвер.— А кто ты?

Тогда старик выпрямился, и лиловая маленькая грудь его надулась, как лоб у жителей Пянджа.

— Я халиф! Ай-Ем. Я халиф,— сказал он,— подлинный и настоящий. Я покажу тебе мой халифат...

— Где же он? — сказал тихо Энвер.— Твой халифат да будет и моим.

Старик, подмигивая и морщась, потащил его внутрь мазара. Энвер вступил в комнату, слабо освещенную последними лучами солнца. Между голых стен валялись трухлявая солома и несколько кирпичей. Совсем в углу в полу он увидел черное углубление, похожее на незакрытый гроб.

— Пристальной смотри. Смотри — вот это мой халифат, — кричал старик, прыгая от радости, — и ты будешь иметь такой...

Он радовался своему голосу, как ребенок новому колокольчику.

«Он настоящий пророк, — подумал Энвер, — он хитер, как Магомет. Он притворяется, как актер. Тем лучше...»

Он нагнулся и сделал вид, что целует руку старика с сыновней почтительностью.

Он не слышал, как басмачи говорили Хасанову, что старик сумасшедший, уже лет двадцать назад он провозгласил себя халифом и требует почестей. Больше всего на свете он любит оружие и всегда пляшет перед вооруженными людьми.

Энвер вышел из мазара, сияя, как победитель. Все будущее казалось ему великолепным. Не может быть, что он жил затем, чтобы погибнуть в безвестной каменной дыре! Грудь его вздымалась яростью первых халифов. Страны, лежащие внизу, казалось, умоляли о пощаде. Он введет своего коня в волны океана, чтобы сказать: дальше некуда...

Он пошел к басмачам, прямой, со светящимися глазами, и они закричали: «Бас á бас!» — и ударили по рукояткам сабель. Победа витала над ним.

На другой день к вечеру его убили красноармейцы.

ГОРЬКАЯ ЗАСТАВА

Афганцы, смущенно улыбаясь, поднимали ладони к небу. Пунцовое солнце, шедшее на закат, мутно освещало черные, покрытые трещинами, как пересохшая земля, ладони караванщиков.

Люди смотрели в стороны, в землю, с которой поднималась пухлая белая пыль. Они не смотрели прямо.

Руки Зернина обшаривали белые рубахи, проникая в лабиринты узких и темных складок; вытряхивая пояса, его пальцы, тонкие и ловкие, выкидывали на песок при общем молчании гильзы расстрелянных патронов,— пальцы задерживались, Зернин говорил спокойно:

— Насобирали в крепости, саранча.

Пальцы задерживались, когда вылезал из тайника в поясе настоящий боевой патрон, потный и тусклый. Зернин оглядывал афганца с ног до головы, потрясая патроном перед его настороженным лицом:

— А это где достал, баранта? Возись с вами!

Афганцы спокойно в очередь разматывали чалмы, вынимали из рубах и поясов таинственные записки, мелкую монетную дрянь, гребенки, огрызки карандашей, куски сахара, амулеты, завернутые в пестрые тряпочки, гвозди, мотки ниток, и только у одного на весь караван нашелся кусок красного, нестерпимо пахнущего мыла.

Зернин рвал записки и письма на мелкие клочки, не достаивая вниманием жалкую вещевую дребедень. Многих людей каравана он видел не первый раз. Он

задумался, обнаружив в узелке примус, поставил примус на землю и ушел, переваливаясь, в развалину, служившую ему пристанищем.

Афганцы, не двигаясь, как зачарованные слушали его голос, кричавший в телефон непонятные и громкие слова. Он разговаривал с крепостью. Все слушали почтительно и напряженно. Зернин был хранителем границы на этом пустынном перекрестке,— за узкой шатающейся водой лежала страна афганцев, желтая и облупленная, и оттуда являлись иногда такие тревоги, что Зернин правильно делал, так тщательно осматривая все эти до черта надоевшие ему белые рубахи, белые штаны неожиданных размеров и возможностей.

Зернин вышел из развалины, оставшейся в старых летописях под названием Саары-Тепе — желтая крепость, но все старожилы этих мест прозвали ее Горькой Заставой.

Вокруг него шествовали четыре пса, большого роста, с длинной шерстью, вытаращенными глазами и раскрытой кровавой пастью. Они обходили остановившийся караван, а собаки афганцев стояли, скучившись, на месте. Они не смели шевелиться, не имели голоса здесь, и они это понимали. Они стояли, прижавшись друг к другу, толкаясь и озираясь. Если бы они могли, они подняли бы лапы вверх и так пребывали бы перед свирепыми глазами сторожевых собак поста, которые, чувствуя себя хозяевами, деловито посматривали на них и обнюхивали верблюдов, низко свешивающиеся тюки, становились около людей, разматывавших чалмы, и люди ускоряли движения при виде их.

Они следили за порядком, пробегая вдоль длинного ряда верблюжьих кривых ног, и посматривали с большим самодовольством на четырех лошадях, стоявших поодаль. Верблюды охали и клохтали, как куры. Афганские псы, обметая землю обрубками хвостов, тихо ворчали про себя.

Зернин поднял примус и передал его афганцу.

— Кала имел дело... Кала имел разрешение,— сказал афганец, прижимая руку к сердцу. Из его рукава выпали белые бумажки. Зернин развернул паке-тики, понюхал серый порошок, лизнул его, сморщился, отдал хину и перешел к следующему.

Рыбальцев занялся верблюдами. Он подходил к животному, как бывалый караван-баши, останавливался, бил его под колена ладонью, нажимал хозяйственно на плечо, и фыркающий серый зверь не без грации опустился на песок.

Желтая развалина стояла на бугре. Внизу белыми пузырями воды тарахтела речка. Дымная пустыня и бурые, как верблюжьи спины, холмы уходили до края горизонта.

Шершавая белизна рубах и штанов то отталкивала, то веселила Зернина. Развеселясь, он находил под одеждой такие вещи, которые никоим образом не подлежали конфискации. Он шутливо щелкал по ним, как бы ожидая от них звона, как от колокольчика, афганец улыбался уже не так смущенно: он понимал, что это дружеская шутка.

Рыбальцев не потел с тюками. Хозяева предъявляли ему бумаги от таможни, тюки не нуждались в таком тщательном осмотре. Осмотренный верблюд, раздувая ноздри над бурундуком, сопел и вставал, скрипя веревочной подпругой, и подхвостная веревка двигалась, как поплавок. Сморщенное кожаное ведро, висевшее сбоку вьюка, напоминало Рыбальцеву походы в пески, проделанные им неоднократно.

Зернин оканчивал осмотр. Он подошел к последней группе людей. Около них, поводя острыми ушами, сгрудились лошади. Зернин взял одну за ногу. Лошади были туркменской породы, в теле, некованные, — так и должно было быть. Если ковать в песках лошадь, рог быстро высушивается и роговая стрелка выкрашивается, — раскаленная подкова — лучший убийца легких и сильных ног.

Зернин стоял перед бородатым, среднего роста, пожилым азиатом. Он не был афганцем. Может быть, он был джемшид, хезаре, белудж, махманд, туркмен, — черт его знает, кем он был, но он первый в караване смотрел прямо в глаза Зернину, и от этого прямого взгляда почему-то становилось невесело. Рядом с бородачом, усмехаясь, съежив черные щеки, заранее растегивался молодец, фатовато отставивший ногу и уже положивший на песок кинжал, большие железные

ножницы для стрижки овец и два цветных платка. На платки он положил выделанную искусно тыковку — наскаяды — для хранения табака.

Зернин протянул руку к бородачу и остановился. Что-то знакомое и забытое, как сон, раскрылось ему в этом скуластом лице, под кожей которого точно катались мелкие камешки и рябь некоторого волнения шла непрерывно. Оба стояли насторожившись и не понимали сами отчего. Бородач шумно выдохнул воздух и слегка поднял руки. Казалось, этот решающий вздох должен был вернуть душевное спокойствие Зернину, но он медлил приступить, и только движение свободных уже от осмотра афганцев, возившихся над тюками вокруг, движение шумное, скрипучее и разнообразное, чуть привело его в равновесие.

Он бросил руки в одежду бородача, как будто он искал ночью в кустах и что-то должно было случиться. Что хорошего в кустах ночью? Веселость его сразу отлетела. Он нашел какую-то книжицу с раскрашенными буквами на мелких, мелких страницах. Увидав в его руках эту чудесную, неожиданную и тонкую вещицу, бородач издал легкий вскрик и качнул голову. Зернин вспомнил...

Тогда он был на год моложе и на голове у него не было еще молниевидного кривого шрама. Он ходил по крыльцу маленькой белой казармы. Предутренний туман покрывал дикие, простые долины, где, он знал, лежит только песок, соль — длинные хрустящие языки соли, горькая вода стремится, как в желтой лихорадке, размыть припадочными плесками тяжелую глину берегов, и вокруг — неподвижные холмы, где расставлены редкие кусты и растет ковыль, гуляют змеи и ящерицы да повсюду ползают черепахи, обиженные, как никто на свете.

Внизу под его ногами, вокруг домика, была колючая проволока, еще раз колючая проволока и еще раз проволока. Легкий окопный ровик лежал внутри. На открытой коновязи спали немногочисленные кони. Убогие доски уборной сиротливо приткнулись в стороне.

Несколько кустов, научное название которых он не запомнил. Если бы его спросили, что можно найти на площадке перед домиком, он с закрытыми глазами ответил бы, что на площадке перед домиком лежат несколько пустых ящиков из-под продуктов, пустые банки, расстрелянные опытной рукой жены начпоста, несколько ржавых подков, стоптанный сапог и две палки от ходуль, сделанные каким-то шутником и брошенные без употребления.

Он посмотрел на туман. Туман поднимался такой же, как в северо-западной области Союза, на Ильмене или на Онеге, но в нем бегали белые точки, и кое-где они поблескивали так, как будто под туманом лежало действительно озеро.

Но ведь под туманом лежала расколотая жарой глина, толстый песок, а соль никогда так не блестит, никогда.

— Что же это такое? — спросил он, снимая винтовку с плеча и готовясь к тревоге. Он встал за выступ, и тут туман качнулся, разошелся местами, и в эти щели стало видно все, что за ним. Зернин сам удивился тому спокойствию, с каким он наблюдал открывшееся ему.

Прижимаясь туго перетянутыми животами к холодной глине, ползли десятки басмачей. Они ползли бесшумно, и восходящее солнце блестело на серебряных струйках винтовочных стволов. Зернин выстрелил. Басмачи залегли. Два пулемета грянули им навстречу. Басмачи кричали и резали воздух выстрелами.

Лошади, кувыркаясь и швыряя в воздух ноги, катались по земле, пробитые многими пулями. Потом они затихли и околели. Позвонили на соседний пост. Басмачи не отыскивали провода и не перерезали его, — так они были уверены в победе.

Соседний пост ответил по телефону: «Держитесь, шлем подкрепление».

Басмачи стреляли как одержимые. Им мало убитых лошадей. Они добирались до людей с красными звездами на фуражках.

Зернин увидел в бинокль камень, каких много валялось в долине, из-за камня смотрело единственное в мире лицо. То утро и все с ним связанное остались для Зер-

нина единственными в мире. Спутанная борода, чуть раскосые горящие глаза; человек качнул вперед голову, как бы укрываясь от пули, и то же самое, как по наитию, сделал Зернин. Басмаческая пуля ударила в верхний край бойницы, отскочила, пробила ему фуражку и прошла, козыряя, по его жесткой щетине и не менее жесткой коже.

Зернин обратился к командиру, и, вытирая кровь, повязав голову бинтом, он выпросил у командира странный и рискованный образ мести. Пост стал отвечать так усиленно, что басмачи несколько минут не поднимали голов от земли, а когда они подняли головы, было поздно: с фланга шел такой нестерпимый и близкий пулеметный вихрь, что самые смелые из них запоблзали, как ящерицы. Они отступали, кляня кяфыров,— потому что все могла перенести их распаленная душа, но пулеметы с фланга она еще не научилась переносить.

Басмачи исчезли, можно было бы сказать — как сон, если бы после этого сна не остались лошади, валявшиеся перед казармой, двое раненых, зигзагообразный шрам на голове Зернина, и несколько тысяч разнообразно рассыпанных гильз, и несколько луж крови, медленно всасываемой песком.

Между камней, каких много валялось в долине, прополз тогда, волоча за собой пулемет, Зернин, чтобы совершенно одиноко и совершенно безумно, выйдя на фланг врагу, обратить его в постыдное бегство. И только лицо, виденное в бинокль, запомнил он как нечто свое, как приз и как символ врага.

Бородач смотрел на Зернина, как тогда из-за камней. Что значит — как тогда? Разве он был тот самый, разве такова память людей и такова судьба, разве начатое утром оканчивается обязательно когда-нибудь вечером? Разве мало их, таких же загорелых, бородатых, непонятных и мрачных, с неизвестной анкетой и еще более неизвестными помыслами, да еще пришедших из-за пустынного рубежа.

Но с такой неожиданной ясностью Зернин вспомнил туман того утра, и то лицо, и убитых лошадей, и раненых

товарищей, что он не смог сдержать себя, и, зная, что делает не так, нехорошо делает, он швырнул эту раскрашенную книжицу об камни, о песок, не все ли равно, к черту!

Несколько листиков отлетело в сторону. Бородач бросился к книжице с проворством юноши. Он поднял ее, он прижал к губам пыльную старую бумагу, он целовал красивые, в завитках, буквы, он кричал уже под ропот окружающих: «Яман, русский закон. Яман, советский закон. Яман...»

Зернин перешел на его соседа и, оттолкнув ногой кинжал и ножницы, атаковал коричневую жилетку того, как будто в ней он мог найти невесту какие тайны. Он нашел за подкладкой кучку бумажек, и в размотанной чалме и в поясе были тоже бумажки, узкие, разноцветные и удивительно знакомые...

Сзади него еще витало визгливое: «Яман, русский закон». Но он не обращал внимания. Его тронули за плечо легонько, и он вскипел окончательно. Как, эта борода еще будет с ним валять дурака?! Он оглянулся и стал «смирно».

За ним стоял помкомвзвода Челюсткин. Он подъехал тихо к желтой развалине, спешил, оставил своих сопровождающих верхом и, замешавшись в разноязычную толпу, прошел к Зернину.

— Товарищ Зернин, зачем вы бросили коран на землю? Вы же знаете, что этим оскорбили их религиозные чувства...

— Оскорбил, товарищ начальник,— начал Зернин.

— Вы перебили меня, товарищ. Я делаю вам замечание, не следует при исполнении ваших обязанностей вести себя вызывающе. Смотрите, что вы наделали.

Афганцы и люди неизвестного племени подняли голоса, жалуясь, размахивая руками, качая чалмами. Бородач кричал, что ноги его больше не будет в проклятой кяфырской стране.

— Товарищ начальник,— вспыхнув, закричал, не помня себя, Зернин.— Я болен малярией, товарищ начальник. А у этого, как с ним мне еще поступить... Я контужен, товарищ начальник. У меня зигзаг на голове... А у них, смотрите, какая петрушка,— у этого вот

самого, что, как змеюка, жмурится, чего у него, товарищ начальник, промеж одежды напрядано...

Он протянул Челюсткину пачку узких и тонких бумажек.

— Что это? — спросил помкомвзвода.

— Квитанции кооперативные. Ордера на мануфактуру. Говори с ним по-русски, ни черта не понимает, а знал, где братъ. Спекулянты. Ему туда-сюда ездить. Саранча.

— Возьми, — сказал спокойно Челюсткин, — отбери ордера, не задерживай, мы его запомним. Я займусь этим потом. И не сильно задерживай караван, а то им засветло не добраться до ночлега.

— Есть, товарищ начальник, — Зернин обиженно тянул слова, — а только я, и при них будь сказано, буду крыть их почем зря.

— Не волнуйтесь, товарищ Зернин. Вы получили замечание и с этим остаетесь. Если вы больны, заявите и идите в госпиталь. Довольно. Проводите меня.

Зернин шел сзади. Караван тронулся. Караван спустился с бугра; медленно вошел он в речку и, разбивая мелкую воду, перетягивался на свою сторону. И когда афганские собаки оказались первыми там, среди кустов и холмов своей стороны, они остановились у самого края пограничной воды и дружно отлаяли долго сдерживаемое молчание свое. Овчарки нашего берега переглянулись, тряхнули головами, понимая и с гулкой краткостью ответили им.

Бородач не мог успокоиться. Он пыхтел и плевался и, переправившись, погрозил синим кулаком желтой развалине. Челюсткин долго распекал Зернина. Делал он это старательно и на виду у трех красноармейцев, с какими приехал. Уже сидя на лошади, он смягчился и сказал:

— Наша служба, товарищ Зернин, не яблочко, в рот — и сжевал его; ее не сжуешь. Так-то, толково?

— Толково, — отвечал красный от возбуждения Зернин, смотря вслед уходящему каравану. — Чего толковей. А все-таки у меня и малярия и зигзаг на голове. Это тоже не яблочко.

Но Челюсткин уже отъехал.

Ушей овчарок уже нельзя было увидеть, их можно было только нащупать, подозвав псов вплотную. В темноту провалилась и желтая развалина, и тропинка на соседнем тыкаре, и речка, чье бульканье почти исчезало ночью в темноте, так оно собственно было ничтожно, — речка явно пересыхала. Желтая лампа у телефона, жесткие койки и обтирающий полотенцем пот Рыбальцев — все, что осталось видимым. Собаки ушли в темноту, ни шорох, ни зверь, ни ветер не могли обмануть собак. Они шлялись где-то в темноте, подскуливая и покрикивая друг на друга.

Зернин вышел из развалины и, облокотясь на винтовку, стоял. Малярия и жизнь на посту плохо отразились на его самочувствии. Ему необходим был отдых, но уходить на отдых он сам не хотел. Тьма чуть-чуть порыжела, и на небе можно было уже рассмотреть игру далеких зарниц. Зернин думал о севере, о прохладе северных лесов, о белых березах, о весне, когда все шумно — и люди и природа, о том лесопильном заводе, с какого он ушел в армию. До чего пусты здесь, в пустыне, эти ночи настороже, в испарине, среди фаланг, скорпионов, змей. Он убил одну гадину утром, кто знает, как ее зовут; долго она не давалась, уговаривал честью — брось наскакивать, нет — скутится вся, того и гляди по ногам ударит; отошел он тогда и прошел ее одним выстрелом — не путайся под ногами. Но как их всех и малых и великих вредителей — от фаланги до басмача — показать дома? Разве шраму поверят? Он снял фуражку, потер белый зигзаг.

«Дураки», — вспомнил он проход вечернего каравана, и тут залаяли собаки откуда-то, очень издали.

— Бородач, — сказал он и понял, что все его тайные мысли вертелись возле этого человека — того ли, кого поймал он в бинокль в бою, или этого, вечернего, так похожего.

— Что же это за чепуха? — закричал он Рыбальцеву. — Эй, послушай!

Рыбальцев вышел на порог, голос его звучал глухо в пересыпаемой бледными зарницами духоте.

— Слышно что?

— Слышно. Собаки брешут. Вот Кучук, его голос, видишь?

— Вижу. Это за чекалкой,— сказал лениво Рыбальцев.— Ты как будто давеча с Челюсткиным поцарапался?

— А, он ретивый больно!..

Зернин отходил все дальше в темноту, и темнота все легчала. Казалось, еще немного, и откуда-то из-за облаков,— была весна, облака шли дружно,— выглянет луна и все станет нестерпимо ясным и нестерпимо печальным. Аспидные бугры и соляные россыпи поднимут опасный тоскливый блеск, а желтая развалина сразу покажется брошенным склепом.

Зарницы продолжали полыхать. Неожиданно налетел легкий теплый ветер.

— Рыбальцев,— закричал Зернин,— стреляют.

— Врешь.

Они стояли на разных концах холма и прислушивались. Собак не было слышно. Люди, ничего не видя, вглядывались в теплый мрак.

— Пойду-ка я возьму на всякий случай запасных патронов,— сказал Рыбальцев и вошел в развалину.

Зернин легко сбегал с холма и шел, взяв винтовку на изготовку. Тень пронеслась впереди него, и сейчас же Зернин услышал выстрелы.

— Басмачи.

Он позвал собак. Где-то как будто ударил гром, зарницы, опять как будто выстрелы. Он шагнул, что-то чернее ночного мрака шло на него, неслышно и явственно.

— Стой! — закричал он. — Стой, стреляю!

Выстрелы, заглушаемые громом, прошли стороной. Он прицелился и выстрелил. Темная масса рванулась и ушла вбок, где-то около возник резкий крик собак.

— Попал,— закричал Зернин. Он побежал на крик и споткнулся. У него с собой всегда был электрический фонарик, и он тщательно берег его; и фонарик никогда его не обманывал. Он встал на одно колено и направил фонарик. На земле спокойно, как на койке, лежал помкомвзвода Челюсткин, с лицом, залитым кровью. Кровь была и на руках и на гимнастерке, старой, потрепанной. Глаза закрыты. Так крепко полагается спать после хорошей работы. Фонарик погас.

— Я? — сказал вслух Зернин, сам не понимая, что он говорит вслух.— Как — я? Как — я сам? Убил Челюсткина? Убил Челюсткина? — Он разинул рот, чтобы крикнуть. Он шел шатаясь. Он разинул рот — и сразу песком забило рот, глаза и уши. Он прошел три шага и в наступившей невероятной мгле услышал шум внезапно налетевшей бури.

Песок лежал по-разному. Легчайшей пылью он залег на перегибах барханов, толстым, как слононая подошва, и жестким слоем одел каменные склоны предгорных долин, несчитанными тьмами тонн усеял равнину за речкой; что касается пустыни, то этот тихий песчаный ад не нуждался в статистике: он не мог быть даже воображаем.

И тогда пришла ночь, ядовито разведывавшая путь буре белесыми молочно-розовыми зарницами. Буря шла с юга, вырастая с каждым движением, как тень исполинского завоевателя, встающая из песчаной гробницы, она загремела на минуту ржавыми доспехами и устремилась. Перед ней шел теплый, легкий, вкрадчивый ветер, потом пески поднялись и закрыли все.

Пески перепутались. Легчайшие и сухие, сырые и вязкие, тяжелые, красные, желтые — мчались вместе стеной, доходя до неба, закручиваясь в колонны; колонны с грохотом сшибались, то они выравнивались в стену, стена эта обрушивалась горой и пугала стоявшие песчаные горы, то буря сметала все это сооружение, тут же рассыпала его заново и, поднимая снова на воздух, гнала его.

Песок мог покрыть и караван, и колодец, и город, и лес саксауловых призрачных деревьев с ветвями, тонкими, как руки паралитиков, он мог рухнуть в речку, мог долететь до моря и смешать свою пену с пенными брызгами прибоя на отмелях Чикишляра — ему было все равно.

Темные шквалы его шли, наполняя пространство, не встречая сопротивления. Дымящиеся тучи его бушевали на всем пространстве пустыни. Если же падала ярость плотного тяжелого песка и он припадал к земле на время, то в воздухе оставалась пелена мелкой песчаной пыли и реяла, как завеса, затем, как бы отлежавшись, снова вста-

вала в воздух тяжелейшая тьма и продолжала мозжить и терзать пространство. И затравленное пространство, наполняясь свистом и стонами, корчилося под этой то взлетающей, то ложащейся дичайшей силой, бесновавшейся так, точно ей не предвиделось конца.

Никто не мог сказать на всем просторе песков, когда будет этот конец — через несколько часов или через несколько дней.

Нелюбопытный гость лежал, истомаясь от жары, лениво вытянув ноги на ковре в так называемом саду. Сад ничем не был отгорожен от улицы. Когда гость, отрываясь от записной книжки, зевал и смотрел сквозь кусты, он видел желтый уют горы, на нем кое-где лепились казармы, поверх казарм стояли ветхие форты, похожие на запыленный макет Порт-Артура. Вдоль по улице проходили нечестные пешеходы, больше по двое, торопясь и стараясь идти в ногу. «Гарнизонная привычка», — подумал гость. И еще подумал, что дальше этого места ехать ему некуда. Дальше шли пески и холмы. Непонятность и неподвижность. «Никакого чувства истории», — сказал вслух гость. — Тут разве геологу покопаться, да и то до одной малярии докопается человек». Гость был нелогичен и нелюбопытен. Профессия статистика позволяла ему держаться цифр и таблиц, не удаляясь далеко от них.

Днем еще он чувствовал себя веселее, но к вечеру на него напала хандра. Он не мог видеть домики с окнами, закрытыми глухими серыми ставнями, с громадными пустынными верандами без перил, с высушенным деревом кривых столбов, подпиравших выложенную старой бурой черепицей крышу; пепельные ветви унылых, с опаленной листвой, деревьев, ложившиеся на крышу, гулкие, пустые дорожки в так называемом саду. Даже собаки, лежавшие поперек открытых дверей кое-где на верандах, серые большоголовые псы, молчаливые и огромные, удивительно подходили к оловянной безвыходности вечера. В старое время в этом городке люди тихо стрелялись от скуки, ежевечерне звенели рюмками о бутылки, после службы валялись в меланхолии на кроватях весь остальной день, изнывая от жары или в тесных объятиях лихорадки, высасывавшей всю влажность из тела и превращавшей человека в сухой кокон.

Советская власть изгнала много пороков и болезней из жизни маленького городка, но изгнать жару она не могла. Жара осталась, и только редкий человек, даже будь он крайний весельчак, мог относиться к ней, как к незаметной мелочи. Увы, она была заметна, даже слишком.

Гость потянулся особенно, по-кошачьи, и сел на ковче.

— А, товарищ Карташев. Откуда в такое пекло?

Карташев пришел из-за города, с купанья. Он влезал в холодную бурную мелкую воду горной речонки, он сидел в воде по пояс между старых поломанных столбиков проволочных заграждений с порыжелой порванной проволокой, он сидел, омываемый жидкими пенистыми струями, и, посидев немного, вылезал по намокшей глине на выжженный травянистый берег. Это называлось купаньем. Карташев бесцеремонно сел на плетеный стул, достал толстую великолепную папиросу. В крепости был запас самых отборных папирос, и этим гордились все старожилы-курильщики.

— Ну, как вам наша буря понравилась? — спросил он гостя. — Здоровый трам-тарарам, свист и гром? На постах, знаете, не сладко.

— Видел такую на Аму-Дарье, — отвечал гость лениво. — Мура! Вы завтракали?

— Дважды. — Карташев окликнул проходившего красноармейца, поговорил с ним, перекликаясь через кусты, и обратился к гостю, когда красноармеец удалился: — Видали этого героя?

— Да я его каждый день вижу в столовой. Я согласен тут всех считать героями. Жить в такой печке, да еще дела делать! Это чудно. Тут и рука не поднимается. Человек что студень, ей-богу. Разморит с утра, какое тут геройство в ум придет.

Карташев засмеялся.

— Опустились бы вы здесь, батенька, как генеральская кухарка, в один год с такими мыслями. Вот тут-то и нужно человека испытывать, как железо. Тут у нас такая работа, что жара в расчет не принимается. Никакой поправки на жару не полагается. Вот этот парнишка, что давеча проходил, поехал прошлый год с заставы в пески веников нарубить для кухни. Нарубил на верхушке холма. Глядит сверху, а внизу четыре басмача сидят. Мы бы с

вами наутек пошли, а он осмелился. На такого арапа пошел, что, говорит, и вспотеть не успел. Сел на лошадь, выхватил шашку, веники в сторону, показался басмачам наверху, шашкой размахивает, как закричит: «Эскадрон, шашки!..»

Басмачи внизу ни живы ни мертвы: вот на них обрушится сейчас лавина сверху! Слово-то «эскадрон» им, стало быть, хорошо знакомо. Они руки вверх. Побросали оружие, как сидели, так и сидят. Он ручкой в воздухе какой-то знак сделал и орет назад: «Эскадрон, отставить! Я иду один, чуть что — залп!» Ну, и пошел вниз. И всех перевязал, прикрутил друг к другу и привел в крепость по жаре, — вот по такой жаре, что вы бы вконец запарились. А басмачам, конечно, прохладно было. А на постах в пустыне как живут: соль лежит, вода горькая, всякие там стервы вокруг ходят, а держать надо границу. Здорово?

— Здорово, — сказал гость.

— А где же хозяин-то? — спросил, помолчав, Карташев.

— В госпиталь вызвали.

— Вызвали? Что-нибудь любопытное?

Гость развел руками.

Приблизилась важной походкой женщина, самоуверенная и высокогрудая. Младенец шел, спотыкаясь, за ней и тянул на веревочке черепашку. Черепашка отказывалась за ним следовать. Малыш энергично ударял ее по крошечному щитку, сердясь и фыркая, садился рядом с ней и старался запихать в нее кусок обслюнявленного и запачканного яблока. Женщина оглядывалась и говорила, как большому:

— Петечка, оставь ты ее, да она же с этого места не ест. Ты ей в ротик, в ротик дай.

Черепашка высовывала голову. Наконец, малыш стал кататься по траве, швыряя черепашку ногами, как заводную игрушку. Женщина умилялась:

— Вот они все такие интересные в эту пору. А вырастут, так беды не оберешься. А сейчас ишь, как принц какой, катается...

— Василиса Петровна, — сказал Карташев, — принцам сейчас не жизнь, это факт. Вы знаете, — обратился он к гостю, — я настоящую принцессу видел...

Гость оживился.

— Ну-ну, расскажите, какая принцесса. Придумают тоже, принцесса. Кино какое-нибудь?

— Да не кино. Это был подлинник самой жизни, уважаемый. Вызывают меня и говорят: «Юрий Сергеевич, а не хотите ли вы в Герат прогуляться?» — «Я в Герат? Виноват, не понимаю». — «А видите ли, говорят, там принцесса, сестра падишаха, рожать собирается. Она замужем за каким-то турецким или персидским принцем. Ну и собралась к мужу рожать и не доехала, застряла в Герате, и требуется ей помощь. Запросили нас». — «Да что же, говорю, помочь нужно. Только как-то это мне одному несколько неловко». — «Ну, говорят, вы такой специалист, какие разговоры». — «Специалист-то специалист, говорю, а все-таки азиатская страна, женщина на особом положении. Я мужчина, какое случится осложнение, как я там с ней объяснюсь? Разрешите взять с собой Анну Николаевну — акушерка, знающая женщина; вдвоем будет покрепче».

— Ну и что же, разрешили? — спросил гость.

— Разрешили. Приезжаем в Герат. Ну, город системы «Багдадского вора» — стены, минареты, глина; но уже так намеки на новое есть: фонари стоят, улицы поливают, мороженое продают; и врачей целых четыре. Английский — морда, как сырое мясо...

— И трубка, конечно, — сказал гость.

— Никакой трубки, даже не курит вовсе. Персидский врач — с пехлевицей на голове, в сюртуке, купец какой-то. Афганский врач — это прямо уникал: с кораном и четки, ногти длиннющие на руках. Но уж последний врач — это какой-то столетний знахарь, старым козлом пахнет. Я бы его на пушечный выстрел ни к одному больному не подпустил, мошенник так из него и брызжет. Собрали мы, значит, такой небезинтересный консилиум, а принцессы нет. Мы даже не знаем, за кем право на ее пользование останется; что со мной женщина-акушерка — и решило все. Надулись мои коллеги, как индюки. Англичанин здороваться перестал. Перс с шарлатаном косятся вполне определенно. Один афганец сказал скороговоркой что-то вроде «бог велик» и исчез. Хотел я освидетельствовать больную, говорят — нельзя. «Вы просто так скажите,

что нужно сделать». — «Позвольте, говорю, должен же я видеть принцессу». — «По закону, докладывают, не полагается». Я спорить.

— Вот идолы,— сказал гость.— На чем же вы договорились?

— А вот на чем. Она лежит с закрытым лицом и вся закрытая, а я вхожу с Анной Николаевной и осматриваю руками под простыней, глазом не моргнув и не заглянув никуда. Ну, пошли. Тут у меня после осмотра беспокойство кончилось. Баба оказалась здоровенная, трех может родить. Потом подошел срок, передал я бразды правления Анне Николаевне, и все прошло, как в тысяче и одной ночи. Принц родился, пушки стреляли, какие-то дикари приходили, баранов пригнали, золотые и серебряные монеты перед младенцем сыпали, ковры расстелили всюду, ели три дня каких-то фазанов, плов розовый, черт те что. Потом мы откланялись и восвояси. Принцесса счастлива, раболепство вокруг, стены, башни, мороженое продают, подарки,— одним принцем больше. Приехали мы домой, а через три месяца знакомый из Герата приезжает и рассказывает, что там кавардак несусветный. Головы на палках таскают, человеческие головы. Фонари разбиты, мороженого никакого нет, губернатор в какой-то канаве валяется без носа и без ушей: войска Баче-сакао, оказывается, власть падишаха в Герате прикончили, новый это, так называемый Наиб-салар, полководец по-ихнему, Абдурахим-хан главенствует, а принцесса уже в подвале каком-то со своим детенышем сидит,— сидит и дрожит, как бы ее замуж за какого-нибудь такого пастуха с дубиной не выдали в переполохе в этом. Мальчонка болен, никакого великолетия, розовым пловом и не пахнет. Уехала она, наконец, в Персию. Вспомнил я, каким золотом и серебром осыпали этого младенца, а вот теперь и изнанка. Нет, наши ребята не принцы. Вон, гляди, черепахе в задний проход яблоко пихает, и жара ему нипочем, и почета ему не надо, и жить веселее. А вот и хозяин. Ну, ну, какие новости, Андрей Степанович?

Андрей Степанович вытер потные руки о край форменного кителя.

— Басмачи погуляли немного.

— Басмачи? — сказали собеседники. — Кто же это отличился?

— Установят. Тут Мамед-Клыч и Назар-бек путались неподалеку. Подшибли на посту помкомвзвода Челюсткина. Чуть в бурю человек не погиб. Насилу отыскали, лежал на песке без сознания. Это его, представьте, и спасло. Да он еще и ударился обо что-то при падении с лошади. Пулю вынул. Характерная пуля. — Он порылся в кармане и ничего не нашел. — Один красноармеец без вести пропал, то ли убили, то ли в плен взяли. А Челюсткин здоровяк, не всякий, знаете, такую двойную тяжесть перетащит — и пуля и буря.

— Да, — сказал гость, — а что же вы насчет пули?

— Да вот найти не могу, завалилась за подкладку, что ли. Подождите, я ее, кажется, в кошелек положил. Да, так и есть.

Гость покатал на ладони кусочек белого металла и, зевнув, вернул его доктору.

— Ничего не вижу характерного. Пуля как пуля.

— Батенька, — сказал Карташев, — да пуля-то английская. Вот то-то и оно, винтовки у них английские. А вы говорите, чем характерна. Тем и характерна, что не наша. Ну, пошли обедать, время уже. А где же это было, дело-то?

— Около Горькой Заставы.

— А, Саары-Тепе, — сказал Карташев, — место гиблое, ничего не скажешь.

Человек проснулся, сел, потер глаза, огляделся. Он сидел в ковчеге, почти на вершине холма. Перед ним сотни таких же холмов, похожие на застывшие волны, несли свой окаменевший прибой к подножью Паропамиза. И сам Паропамиз, сверкая мертвой надменностью своих снегов и тусклыми громоздся ледниками, вставал, как лестница к небу, далекая и, собственно говоря, несколько необязательная.

Поднявшийся неподалеку сокол пронес мимо лица проснувшегося человека ящерицу. Ящерица, захваченная неумолимым клювом, барахталась и выписывала всевозможные фигуры, скребла воздух короткими ножками, но все уже было кончено. Сокол исчез.

Тогда человек встал и увидел, что рядом с ним лежит винтовка, а на поясе у него ручная граната. Он вспомнил все сразу и сел от волнения. Ноги его сами подкосились. Человека этого звали еще вчера стрелком Иваном Зерниным.

Вчера еще он стоял в твердом списке сторожевых постов на границе Советского Союза, он знал свои обязанности, у него были заслуги и товарищи, любовь и дружба. Сегодня он беглец. Что же стало домом беглеца, как он выглядит, этот дом?

Унылые холмы афганских предгорий, пустынные травы, космы ковыля, огромное синее небо и далекие чужие снега. Что делать?

Он расстегнул ворот и шаг за шагом пробовал вспомнить вчерашний день. Осмотр каравана прошел в его памяти как далекий, десятилетней давности сон. Чем же он отрезал себя от жизни? Он убил помкомвзвода Челюсткина. Песчаная буря, сквозь которую он прошел в полном беспомоществе и очнулся в Афганистане, идя без всяких троп вперед. Как это случилось? Сколько ошибок зараз может сделать растерявшийся человек. Надо было взять помкомвзвода на плечи и внести в Саары-Тепе. Надо было позвонить в крепость и все сообщить. Надо было, многое надо было сделать, но теперь уже поздно. Теперь он стоял на границе двух миров, не принадлежа ни к какому из них. Один мир он видел с высоты холма, на котором стоял.

Это была крепость. Она, как макет игрушечного Порт-Артура, лежала в ущелье и лепилась по его стенам. Небольшой вокзал железной дороги, сады, мачты радиостанций, белые домики Красной Армии, красный флаг... Там шел трудовой день, размеренный, жаркий. Это было видение одного мира.

Другой начинался тут же, на холме. Гривы ковыля захватили холмы. Кое-где кривились уродливые фисташковые деревца, шуршали ящерицы, ни одного человека не было видно; правда, внизу, поодаль, можно было разглядеть жалкое скопление домиков и шалашей и темное пятно, понятное только знатокам этих мест.

Знатоки знали, что это сложены машины для несуществующей гератской фабрики, привезенные из далекой

Германии через крепость и сданные в ближайшее афганское местечко. Перевезти их дальше в Герат было невозможно из-за полного отсутствия подходящего транспорта. Верблюды не годились для этой цели, а других способов перевозки не было. И машины стояли годами под дырявым брезентом и ржавели, досаждая начальнику селения своим мрачным и непонятным видом. В селении жили темные, нищие, грязные люди, и сегодняшний день их походил скорее на день шестнадцатого века.

Пустыня окружала Зернина. Он чувствовал, что погиб. Ящерица, пролетевшая мимо его лица в клюве сокола, представляла как бы образ его собственной судьбы. Жара положила ему на плечи свои тяжелые руки, и так как ни одного пятна тени не было вокруг, он слабел с каждой минутой. Полный упадок духа походил на спуск в жаркий колодец, когда нога ищет дно, а дна нет, и нужно было найти дно, нужно было найти какую-нибудь опору.

«Сижу, сижу,— думал он,— а что сижу? Такого наделал, что уже все равно. Досижусь до басмачей, придут и зарежут. И так и надо. Таких сволочей и нужно резать зазря...»

Зернин коснулся дна, и некое успокоение сошло на него, и он неподвижно созерцал огромную картину одичалого полдня, величавого и страшного в своей раскаленной раскинутости и безнадежности. Потом апатия начала очень незаметно слезать с него, как облупившаяся кожа, кусками. Он рвал траву и жевал ее бессознательно и бросал изжеванные клочки.

Чем больше он думал, чем больше он снова и снова проверял себя, тем больше он приходил к одному выводу: нет никакого оправдания тому, что он по какому-то недоразумению убил командира и бежал, правда заблудившись, в состоянии полной растерянности и испуга. Скажут: как может красноармеец так растеряться?

— Не знаю, не знаю,— говорил Зернин,— как там ни рассуждай, а я вот растерялся и сижу на этом дурацком афганском холме.

По выбитой тропинке далеко вниз пробирались всадники. Привычка бойца заставила Зернина лечь и спря-

таться. Он успел только заметить, что всадники не были афганцами. На них были черные туркменские шапки.

День продолжался, поджаривая Зернина на медленном огне. Есть ему не хотелось, пить — об этом он боялся думать, но в горле пересохло и глаза ввалились. Ящерица перебежала через его колени.

«Уж как по мертвому бегаешь», — подумал он.

Басмач Мамед-Клыч с закрытыми глазами сидит на черной кошме, но он не спит. В юрте он один, и великий покой полдня стоит вокруг юрты, и великое смятение качает старое тело песчаного волка. Внезапный ли удар старости так плотно прижал его к старому войлоку и прочертил две новые морщины на лбу и посеребрил бороду? Болезнь ли ударила, как нож в поджилки коня, и лишила всех способностей?

Нет, не старость. Нет, не болезнь. Пословица, узнанная им в юности, прошла перед ним жарким сном: жители Мерва отличаются щедростью, но относительно женщин они слабее малых детей, надо быть очень уверенным в своих силах, чтобы отправиться в Мерв.

Он может отправиться в Мерв, и он знал, что такое женщины Мерва, и он знал, что такое пустыня... Ему захотелось сала, горячего сала. Он видит, как берут курдюки, свежие, пышные курдюки, и вытапливают их медленно и с увлечением. У него слюна липла на языке: мускулы и жилы курдючные превращаются в уголь, остается светлая жирная жидкость, мясо погружается в нее, как солнце в реку; поджаренные лепешки макает он в растопленное сало, и пальцы его испытывают наслаждение, и он больше не может терпеть, и он по праву старшего берет миску и пьет через край горячий жир, — как будто огненное небо опрокидывается в горло, потом он вытирает жирные пальцы о халат, сладостно рыгает, поднимает глаза и видит Гулям-хана, нависшие брови мертвого Гулям-хана, которого он предал.

Слюна высыхает у него во рту. Открываются пески, в которых он провел жизнь. Борозды, проведенные телами змей, следы волков, ночные костры, тени бархана... Кулху алла ахат дала... Я, Магомет, смиренный раб божий,

знайте, что ваше имущество и кровь запрещены друг другу. Именем бога говорю вам, если один из вас пошлет подарок другому, то он должен быть передан по назначению. Пуля, посланная в голову Гулям-хану, не была задержана, и назначение ее была смерть. Бог велел верить в загробную жизнь. Большевики не признают ее. Будут ли они жить вечно, кто сокрушит их?

Джунаид, царь песков, — слабая усмешка появляется на черных губах Мамед-Клыча, — он предал и Джунаида. Он хотел истины, но она — как колодец в песках: до нее, как до воды, нужен долгий канат и верблюжий труд; и никакой воды иногда нет. Истина — как вода: живет не во всех колодцах. Он знает цвет воды, он знает вкус воды от Ташкепри до Андхоя и от Ильял до Саары-Тепе...

Саары-Тепе... человек бросил коран о землю, безумный большевик, и он не сдержал сердца и в тот же вечер убил кафыра с квадратиком на воротнике. Буря прижимала его к земле, как ветку саксаула, но разве мало он видел бурь.

Он служил большевикам, и он служил ханам, и опять большевикам и Джунаиду, и снова большевикам, и снова Джунаиду и самому себе. Извилист путь в барханах, а пророк оставил жизнь барханами. Кто прав?

Перехватили его письмо, посланное в Зульфугар, и в этом тоже истина. Он открывает глаза и смотрит вперед, в открытый вход юрты, видит он дрожащий знойный воздух, синюю эмаль, и верблюжье седло, и котел у входа. Одеяла сложены в юрте ровными толстыми пачками, и пиалы вложены одна в другую. Он поднимает голову, и широкий поток зноя вливается в верхнее отверстие юрты через решетку.

Куда идти Мамед-Клычу и где склонить голову? В Ашхабаде он видел женщин на фабрике, и это были туркменки в красных платках; и он видел в Мерве туркмен, и они шли в короткой одежде и в фуражках, и дети пели песни, не похожие на песни его юности.

Гулям-хан лежал с разбитым черепом; и много других лежали в барханах с глазами, полными песку, с ушами, полными песку, и по ним бегали толстые ящерицы.

Томление, не имеющее ничего общего со знойным днем, идет по жилам все выше к сердцу и охватывает его, — так пиалой накрывают цыпленка, цыпленок видит только мрак и стучит крылышками о толстые стенки и ничего не может сделать.

Ухо Мамед-Клыча слышит стук копыт. Он знает, что войдет не женщина с кислым молоком, и не мальчик, утешение глаз, и не русский большевик с одним квадратиком на воротнике. Он сжимает губы, как будто откусывает нитку, и нитка не рвется, и зубы напрасно лязгают по ней. Полог откидывается шире.

Вошли четыре туркмена. Они смотрят на него, как на сундук, который надо погрузить на верблюда, но нужно сначала окинуть глазом, чтобы сообразить, как удобнее взять.

И он смотрит сначала на их пояса, потом на их подбородки, потом на их шапки, потом поднимает глаза к небу, и ему кажется, что в небе уже звезды.

Ближайший к небу туркмен вынимает нож, вонзает нож ему в горло, мясо расступается, шипя, освобождая кровь; туркмен не торопясь водит нож налево и направо, потом валит ударом Мамед-Клыча на землю; смотря, чтобы кровь шла в сторону от его халата, он расширяет влево и вправо широкую черную полосу и, наконец, говорит: «Эйтдинг (слушайте)», — он больше ничего не говорит, он ударяет ножом за ухом еще, и еще раз — за другим, и голова Мамед-Клыча лежит отдельно от плеч. И тогда туркмен ударяет ножом поперек лица.

Второй туркмен подает мешок, и убийца поднимает голову, держит ее над мешком, смотрит на нее, плюет в полузакрытый правый глаз, говорит: «Э, итли мунаарыг!», спускает голову, как арбуз, в мешок и вытирает нож о халат убитого.

Зернин идет по щелям, заросшим ковылем, заваленным камнями, и мысли не в ногу с ним и все разные. То он видит себя дома на севере, среди товарищей и друзей в уличной демонстрации, на заводе, потом в казарме, в крепости, где одеяла сложены без единой складки, на наволочках вышиты звезды, на окнах висят прозрачные занавески, прохлада наполняет помещение особой сладостью; потом приносят щи и кашу и чай, горячий, как

чайник, в котором его приносят; потом он видит заставы, пески... Он начинает вспоминать чужие ошибки, чужие промахи, неудачи, — не подвиги, не преодоленные трудности, не замечательные случаи находчивости, подмоги во-время, храбрости, а чужую слабость, чужую растерянность, чужую гибель.

Один командир погиб потому, что слишком неразумно стал целиться в басмача, лежавшего на дне ямы, встав на край ее во весь рост. Оба выстрелили сразу, и оба убили сразу друг друга.

Красноармейца укусила змея, и он засмеялся, проколот ее штыком и не принял никаких мер, а к вечеру умер.

Разъезд заблудился в песках, и вместо одного колодца вышли к другому, потеряв всех лошадей.

Много случаев приходит ему на память, но чем они могут помочь? Один арестованный, подкопав глиняную стену крепости, бежал в эти же холмы, как и он, и сам пришел обратно через неделю, чуть не сойдя с ума от страха за жизнь, от жажды, голода и ужаса пустыни. Солнце идет опять на вечер. Долгий и страшный день прошел. Один день. А на сколько таких дней хватает одинокого человека в пустыне. Он помнит караванную дорогу, усеянную костями людей и животных, и пески назывались — «Конец человеку».

Тоска охватывает окрестности. Она рождается на горизонте, в мутном наплыве зеленовато-радужных теней и идет босыми ногами, хрустя солью долин, царапает ноги о кусты и камни, поднимается по щелям, по ковылю и трогает Зернина за руку; он сидит на пустом склоне и плачет, как последний мальчишка.

Зачем ему умирать? Ну какой смысл ему умирать? Он страдает малярией, и контузия мешает ему жить иногда, и он убил собственного командира. Если бы все это ему почудилось. Если бы припадок неизвестной болезни помутил ему голову — и есть какое-то оправдание его поведению, и ничего вчерашнего не было.

Солнце село. В небе растет ночь. Надо принимать решение тому, кто хочет принимать его. Ночью можно делать большие дела и можно тихо спать. Может ли тихо спать стрелок Иван Зернин, идущий по хребту с винтовкой на изготовку и с гранатой у пояса?

Он клянется в вечной ненависти к басмачам, которые мешают жить, мешают работать, мешают всюду, жизнь в этих песках и без них тяжелей тяжелого. Он видел, как живут пастухи и стада, изнемогая в голоде и лишениях.

Отыскать бы этого вчерашнего с его кораном, приставить штык к его груди и потребовать ответа. Где отыскать его? Ночная птица насмешливо прошелестела над ним.

Он сел, вглядываясь в темноту. Из-за одной каменной стены шло тихое и мягкое сияние. Искорки взлетели в воздух и растаяли. Он стал на колени и пополз. Если есть костер, то есть и люди. Если есть люди, то...

Он лежал на краю щели, и под ним, как будто на каменной узкой ладони, сидели три человека. Костер потрескивал, разгораясь быстро, и Зернин наблюдал их с пронизательностью разведчика.

Скат, отделявший его от них, был не сильно крут. Сбежать вниз не представляло никакой трудности. Костер разгорался все больше. Лица людей, сидевших у костра, становились медными и особо четкими. Рядом с людьми лежали винтовки, и, повидимому, за скалой были спрятаны лошади. Лежавшие были хозяевами этих мест, они не принимали никаких мер охранения. Они сидели и тихо разговаривали.

— Чему подвергаются люди, пьющие грязную воду? Рано или поздно они выблюют грязь, или грязь съест их изнутри. Это говорил человек в Андохе.

— Разве ты бывал в Андохе?

— Я видел лицо человека из Шибергана, которого звали Халиф Саиб Кизыл Али, или же Ишан Халифа, я его видел, как тебя...

— А какие дела завели тебя к Андохю?

— У меня около Пальварте жил брат. У моего брата жена ушла с батраком, они снюхались на нечистом деле. Брат мой ездил с нами, и его застрелили в пустыне. А они прятали его золото. Я пришел вечером в аул и вызвал батрака, положил его в поле и оставил в нем кин-

жал, чтобы знали, кто это сделал. Я хотел сделать то же с женщиной, но она уехала из аула.

Один из туркмен взял мешок, поставил его на самое светлое место, запустил в него руки и вынул такой странный арбуз, что в глазах Зернина заколебался костер и сама каменная щель, в которой те сидели. Больше они не сказали ничего, потому что Зернин сорвал с пояса гранату, кольцо соскочило ему в руку, граната упала вниз, зловещим веером обметая костер. Затем наступила тишина, и в нее Зернин полез, как в воду, пробуя глубину ногой.

На другое утро в крепость въехал худой, мрачный красноармеец с блуждающими глазами и полуоткрытым от волнения ртом. Он сидел на поджаром карабаире и вел в поводу еще двух коней под туркменскими седлами.

Проезжая мимо госпитального сада, где на лужайке стояли кровати, он, жадно пробежав по лицам больных, круто задержал лошадь, соскочил с седла и бросился с самой дикой поспешностью к кровати, на которой лежал побледневший и забинтованный Челюсткин.

Челюсткин открыл глаза и не сразу понял, кто стоит перед ним. Приехавшего узнал хромой Подгорский. Он закричал:

— Без вести пропавший объявился! В плену был, товарищ Зернин?

Зернин, не отрываясь, смотрел на забинтованное плечо помкомвзвода, потом — в это утро он делал только решительные движения — он бросился к лошадям, отстегнул от седла пыльный мешок и, стараясь не раскачивать его, понес к больным. Уже несколько человек, любопытствуя, смотрели на это происшествие.

Он стал отгибать концы мешка, закатывая их, как рукав, стараясь не смотреть на мешок, за него смотрели другие. Когда его пальцы натолкнулись на твердое, он вздрогнул, сам не заметив этого, и быстро поставил мешок на кровать. Все увидели спутанную бороду, один полузакрытый глаз и сизый череп неправильной формы.

— Кто это? — закричал Подгорский, наклоняясь к голове. Продольный легкий порез безобразил и без того страшное лицо.

— Не знаю,— сказал с внезапной вялостью Зернин, не узнав голову того, чей коран он швырнул оземь на Саары-Тепе.

— Кто это? Кто это? — спрашивали вокруг.

— Колдун, сволочь его душу, басмач,— сказал Зернин и резко вытянул мешок вверх.

— Убери прочь,— закричал Челюсткин, повернулся и застонал.— Вези в комендатуру. С ума сошел.

— Есть, товарищ начальник,— сказал Зернин, взял мешок и с четкостью лунатика сделал поворот и пошел к лошадям не оглядываясь.

КЛЯТВА В ТУМАНЕ

Так вот! Клянусь изредка
бывающим у меня уважением к
истине...

А. Лондр

Рассказ первый

Ее прозвали Йоржи — зеленая, потому что первое слово, которое она произнесла, когда начала говорить, было «йоржи» — зеленая. Она же не могла не сказать этого слова первым в своей жизни. Однажды мать показала ей на висящий далеко в небе, сияющий раскаленной белизной треугольник, недосыгаемо господствовавший над провалом, в котором лежало селение. Но маленькая дочь ее смотрела не на этот смущающий неправдоподобием призрак, а на ту тусклую нежную прозелень неба, что обтягивала искристые его ребра, и эта нежность, переходившая и на снег и его делавшая прозрачным и ласковым, конечно называлась «йоржи», и девочка закричала: «Зеленая, зеленая!»

На всю жизнь она осталась Йоржи. И ей нравилось это прозвище.

Откуда-то сверху, из-под самого свода, падал робкий и тонкий, как тесьма, луч света в каменное жилище, где она родилась. На черной, задымленной цепи висел над очагом котел, из углов смотрели живые коровьи глаза и живые рога, со стен свешивались мертвые рога горных козлов. С восьми лет Йоржи была просватана за

Кацию из соседней долины; и Кация знал с десяти лет, что Йоржи со временем достанется ему и никому другому. Он знал еще, что если он откажется от нее, то его убьют из-за угла, потому что такое оскорбление смывается только кровью.

Так как вещей в окружающем мире было очень немного и они должны были во что бы то ни стало заполнить все пространство жизни, то они волей-неволей дробились, становились невесомыми и меняли очертания и жили как вымысел, иначе жизнь была бы чересчур бедной и суровой.

Цепь, связанная с очертаниями огромного котла, и огонь, плававший под ними и охватывавший их, не были осознаны раз и навсегда. Огонь мог быть зимним и мог быть летним, веселым, ночным, праздничным или мог стлаться по земле, как бы ворча и притворяясь псом с короткой шерстью; котел был — как всадник, пробиравшийся в бурных порывах дыма через огненную пустыню к сидящим и ожидающим ужина хозяевам, а цепь временами была той лестницей, по которой можно, если захочешь, влезть на небо, в соседство с той зеленой нежностью, что лежала на склонах Тетнульда, — так называлась слезившая взор пирамида, висевшая над селением.

На мысу, над бурными арканами воды, ловившей стада прыгающих камней, стояла низкая церковка красными всадниками, нарисованными на стене неизвестно когда, держащими копьа для удара, но она не имела никакой власти над Йоржи. Церковка была всегда заперта и была такая маленькая, что в ней могли собираться полевые мыши, но не рослые люди горного селения. Поп же давно снял волосы и рясу и косил и пахал вместе со всеми на полях, дыбом стоявших по горе. Демоны не имели власти над Йоржи. Они жили или на льду Тетнульда, или в лесах ниже его, но ни там, ни там Йоржи не бывала и поэтому никогда не видала демонов.

Около их дома, как полагается, стояла старая башня, ослепшая и глухая. Шаги в ней звучали, как воспоминание. Она была некрасива, как столетняя старуха, но вызывала удивление, как столетняя старуха, стоящая без костылей и смотрящая, не жмурясь, на солнце. Йоржи знала все ее переходы и этажи. Когда она была маленькой, она лезла храбро по бревну с зарубками, заменяю-

щему лестницу, из этажа в этаж, до самого верхнего этажа, где лежали только кости,— кости убитых на охоте и съеденных животных. Эти кости нельзя было выбрасывать, потому что тогда исчезли бы горные козлы и медведи и не было бы никакой охоты. Она всегда испытывала один и тот же трепет: ей казалось, что сейчас все эти кости оденутся мясом и огромное стадо, ринувшись на нее, собьет ее с ног, ворвется вниз и обязательно опрокинет котел и раздавит собаку, спящую у входа во двор. Она бежала из этой последней комнаты, не хлопая дверьми, потому что никаких дверей в башне не было.

Смуглое самодовольство, утвердившееся с годами на ее лице, не привлекло к ней никого. Предпочтение, отдаваемое другим девушкам, она не относила к числу обязательных в жизни неудач. Она сама не знала, какая она,— красивы ли у нее плечи, или нет, какие у нее ноги и руки; она не думала об этом ни тогда, когда собирала камни, очищая поля от валунов и каменных осыпей, ни тогда, когда, разгорячившись у очага, с красными щеками, выбегала во двор колоть дрова тяжелым колуном.

Ни церковь, ни демоны не влияли на нее. Оставались люди. Люди жили размеренной и сложной жизнью земледельцев-горцев, удрученных мелкими заботами первобытного хозяйства. И Йоржи не любила их. Она только никак не могла понять, почему вся земля такая однообразная и невещественная. Там, где она бывала в соседних селениях, все жили одинаково, все имели одни и те же очаги, и такие же цепи висели с потолка, и такие же котлы ехали сквозь огонь и дым, торопясь навстречу людям, такие же кости съеденных животных лежали в верхних этажах башен. И над всем стояла в небе белая пирамида Тетнульда, увенчивая непроходимую стену снегов.

Йоржи не была злобной или глуповатой. Она была обыкновенной. Когда умерла ее мать, она вместе с сестрами и родственницами из других селений сделала густой фасольный суп на всю округу, испекла груды лепешек и потом прошла сквозь толпу разодетых женщин с опухшими глазами и взглянула на тусклые лбы завывающих плакальщиц с тем удивлением и отчуждением, с каким смотрит стыдливый человек на предлагаемое неесте-

ственно и вычурно, для обозрения, настоящее простое горе.

Она посмотрела на мужчин, — некоторые плакали, — и ей стало стыдно, что, увлекшись мрачными и живописными голосами плакальщиц, войдя в их почти праздничную торжественность, она не могла сама плакать, и только дыхания ей временами не хватало и дрожали руки.

Потом пришел поп без длинных волос и с ключом от запертой церкви. Его уговорили сказать что-нибудь божественное, так как покойница была старухой. Поп прочитал что-то недлинное и свое, чего никто не понял, и гроб унесли на кладбище, а всем роздали черные платки на память.

Приехал Качия. Он был молод, и револьвер оттягивал его узкий кутаисский пояс, и он выпил у входа в селение два деревянных стаканчика араки, перецеловался со всеми мужчинами и женщинами, но он не поцеловал Иоржи. Он протянул ей руку, и она только вложила свою руку в его, не согнув ладони, потому что Качия ей не нравился ни за что на свете.

Все сидели и пели, пили араку, съели гору лепешек, убили барана, собаки бегали по двору, волоча багровую трубуху. Качия курил папиросы и говорил о предстоящей зиме. И все соглашались, что зима будет суровая и снегу будет, наверное, поверх крыши.

Иоржи стало так грустно и плохо, что она ушла на крышу, а сделать это было очень легко, потому что из комнаты, где пили, дверь была прямо на крышу, и оттуда была видна гора Лагильда, отделявшая Иоржи от долины, в которой жил Качия, и был виден Тетнульд, но на нем жили демоны на льду так же скучно, как овцы живут на лугах летом. Иоржи заплакала, потому что из ее страны никуда не было выхода, а мир состоял из котла на цепи и коровьих глаз, смотрящих из темноты на яркий огонь с тупым сладострастием скотской сытости. Иоржи не захотела возвращаться вниз к пьющим и ушла спать на сеновал.

Летом она очень волновалась и переживала разные воображаемые события, но к зиме она стала спокойней и сильней. Когда с сестрой они перебирали картофель, чтобы спрятать его на зиму, она споткнулась о бревно,

и сестра поддержала ее, задев ее грудь. Задев ее грудь, сестра засмеялась и стала с ней возиться. Они забыли про картофель, пока отец не крикнул, чтобы они не портили погоду, потому что и так ждут долгую и суровую зиму.

Она солила мясо, искала в горах между камней шелковую траву — запас для зимы, чтобы набивать ею бандули и лапти. Когда выпал первый снег, она выбежала во двор и вымылась им; зима скоро надоела ей, потому что зимой жуткая бедность мира представлялась ей еще беззащитней, чем летом, и люди жили, ничем не отличаясь от животных, только ели больше, чем животные, и пили араку, которой животные не выносили.

Она пила араку и, пьяная, лежала на кровати раскинувшись; и когда ее начали душить кошмары, она вышла на двор и увидела все ту же висящую в воздухе, исходящую серыми молниями пирамиду Тетнульда, как бы шатающуюся слегка; она погрозила ей пальцем, и в следующую минуту ей стало страшно, потому что от горы отделилось черное облачко и побежало по небу: она испугалась, что это облачко, может быть, работы демонов и причинит ей зло. В ту ночь ей снился Качия с накинутой на голое тело буркой, и она ненавидела его всем сердцем.

Через несколько дней была «ночь мертвых» — канун крещения. Все хозяйки мыли жилища, чистили, мыли и приводили в порядок вещи. Дым стеной стоял над очагом и ел глаза. Аракой были налиты большие бутылки и деревянные плоски, низенький столик накрыт скатертью.

Иоржи не чувствовала страха перед мертвыми, и, когда их зарывали в землю, они уходили из воспоминаний и не возвращались. Она говорила о них, но только иногда и всегда без сожаления. Что изменилось у них в судьбе? Они на том свете так же зимуют, как и здесь, и только они живут зимою на Тетнульде, где еще холоднее, и, может быть, пьют меньше араки, а потом они приходят в гости каждый год, и их угощают, как никого.

Столик был уставлен и простым мясом, и хачапури, и простыми лепешками, сыром, курами; и сияние свеч мешалось в легком дыму приглушенного огня. Отец, про-

бормотав молитву, просил дорогих усопших не обидеть его дом и на этот раз и посетить оставленное ими хозяйство.

И когда он сказал: «Дорогие мои, вечная память! Не будем ссориться, дайте нам то, что вы имели в жизни, не забывайте нас, будем помнить одно добро. Милости прошу, входите, дорогие наши!» — за дверью послышался шорох, дверь стукнула, крещенская ночь вошла в комнату, ветер рванул вниз пламя свеч, и дым упал ничком, — в комнату вошел Гиго, их дальний родственник, белый, как покойник.

Отец затрясся, думая по простоте души, что это оборотень, но Гиго, сделав поклон, перецеловавшись со всеми, сел в угол и рассказал, как он с приятелем два дня не может пройти в Халде по делу и вынужден был свернуть даже ночью — такие заносы и морозы на горах.

Он тер аракой руки и ноги, пил ее так много, что хотел танцевать, но его уложили спать, чтобы не обидеть покойников, которые к этому времени наполнили жилище. Они должны были, не видимые никому, жить в доме до ближайшего понедельника и уйти обратно, сытые и довольные оказанным им приемом.

Гиго прожил в доме еще три дня. Он пил, ел, спал, рассказывал о Джвари, где он бывал; и это был совсем другой мир, совсем другие вещи, чем здесь в горах. Он видел много, и он был не чета Кации.

Он вынул тонкую книжку и читал из нее разные удивительные вещи, но налицо был только котел на цепи, и коровьи глаза, и арака, которой было в изобилии. Иоржи взяла книжку, и так как она немного читала, то по складам прочла две строчки, но ничего не поняла, потому что там говорилось об электричестве, паровозах, а она никогда не слыхала про такие вещи.

Когда она, запинаясь, прочла вслух две строчки, все стали смеяться, а Гиго посмотрел на нее, усмехнулся, схватил ее, приподнял от пола и поцеловал. Она вдруг смутилась, ударила его кулаком по плечу и ушла колоть дрова на двор. Мороз был очень сильный, и она колола долго, чтобы согреться.

Гиго, уезжая, поцеловал ее еще раз, уже не при всех, и она, сама не зная почему, облизала губы. После

его отъезда зима стала еще суровой и темней. К весне скотине не хватило корма. Одна из коров заболела: она сначала шаталась и икала, потом упала на передние ноги и рыла солому рогами; ее пришлось зарезать, и все очень жалели, что она не дотянула до весны. Иоржи выходила из селения по глубокому снегу и смотрела на дорогу, но Гиго не было.

Иоржи не любила начала весны, потому что это было время мертвых. Они плыли в мутных потоках, — потоки несли трупы тех, кто зимой погиб в заносах и обвалах. Теперь снега растаяли и возвращали свои жертвы вниз, в те долины, из которых поднялись в горы несчастные. Селения обменивались теми, что пошли в гости зимой, загостили у соседей в сугробах, заболели и умерли или погибли на пути и до весны лежали в гостях, а теперь их нужно было положить в землю родной деревни; и вот носилки с покойниками качались по всем тропинкам, и унылая торжественность плакальщиц клубилась в легком и зеленовато-голубом воздухе.

Вечером, отбившись от стада, вниз к потоку убежал баран, и за ним с горстью муки побежала Иоржи. Она подманивала барана на муку. Баран пил воду с камня и, увидев ее, начал играть с ней, бегая с камня на камень. Тут же стояли мельницы, и вода гулкими потоками проходила под маленькими бревенчатыми домиками.

Иоржи поймала барана и вела его за рога, большие, изогнутые, и когда она проходила у самой мельницы, кто-то оттолкнул барана и, схватив ее за плечи, втащил в мельницу, в гул и холод маленького домика. Сердце ее прыгнуло к горлу, и она ударила бы и свалила с ног любого, потому что она была сильная, и темное самодовольство ее характера не позволяло грубо шутить с ней кому вздумается, — но здесь вся сила ее была ни при чем, потому что она сразу узнала в полумраке мельницы Гиго. Он говорил ей в самое ухо:

— Когда у мингрельца шалаш горит, то и мингрелец немного согревается.

Она вдруг поцеловала его руку и охватила руками колючую шею под страшный грохот бешеного весеннего ручья, мчавшегося через мельницу. Он бросил свою бурку на холодный пол, они упали, превратились в

такой гулкий ручей, что Иоржи показалось — мельница падает им на головы. Но мельница не упала, и когда она подняла голову и сняла с себя руки Гиго, не выпуская их из своих горячих, потных пальцев, она засмеялась и сказала:

Бедный Кация! Бедный Кация!

— Не говори мне о нем,— мрачно сказал Гиго, вскочив и поднимая бурку. И она засмеялась вторично, потому что в дверь мельницы смотрел баран смеющимися глазами и блеял, как человек, желающий подразнить другого.

Праздник в Мужале переливается всеми красками платьев, поясов, юбок, туфель, кофточек, и даже старые однообразные женщины с пчелиными тальями и козьими глазами, выпитыми и высохшими, не портят его; они пьют тихо, как покойники.

Громогласно режут быки, замедляя свой последний шаг. Глухо стучат обухи по их черепам, шипя вонзаются ножи, и льется душная струя крови на разноцветную траву,— ничто не может испортить праздника.

Сванские шапки и папахи, газыри, бурки балкарские, бурки имеретинские, домашние пиджаки и куртки из кооператива, бандули, сапоги, туфли, чабуры, револьверы в кобурах — простых, и вышитых, и выложенных серебром, кинжалы всех оттенков...

Чего-чего только нет на столах! И то, чего не хватало у самих, заняли у соседей и принесли с собой гости и вытащили из ларей, из печей, а главное — всюду стоит арака. Это радость и бедствие. Вино, созданное нищетой, разбавленное горем,— кислая пьяная радость праздничного свана, отдающая аптекой. И все чаще ходят маленькие рога, круглые чашки, кружки, убогие деревянные стаканы с аракой, и уже начались пляски. Хороводы женские, хороводы мужские и хороводы смешанные ударяют по земле веселой ногой, и каждый сегодня может показать себя во всем великолепии однообразного своего веселья, от которого завтра еще не опомнятся участники пиршества.

Возвращаясь по домам, еще по дороге будут они останавливаться, пританцовывать, пить, обниматься и

возглашать тосты и по-грузински чествовать «тамаду» — председателя пира, забыв, что они уже не на празднике в селении, а среди голых скал, в дикой лесной чаще, на узкой тропинке, где, подпрыгивая, кренятся сани, влекомые быками, смущенно заглядывающими в пропасть загадочными лиловыми своими глазами.

Пляски затягивают, как петли; люди бьются в этой паутине всеобщего веселья, не жалея ног и глоток; и дым из множества трубок и дым от цхундаров смешивается в одно ликующее облако, в котором кружится песня, коронуемая танцоров на веселье топающих ног и летящих глаз, с восхищением провожающих ястребиное кокетство и козлиную выносливость танца.

Иоржи не сводит глаз с Гиго. Но тот нарочно, поговору, не танцует с ней. Качия может появиться здесь, и выдадут они себя с головой, если они будут танцевать при всех, и он догадается сразу о том, что если здесь они танцуют так, то как же они сами себе назначают праздник.

Хорошо веселятся в Мужале!

Иоржи смотрит, ударяя — пьяная — руку об руку. В заколдованном хоре живут Гиго и девушка из Жабежа, его двоюродная сестра. Они не знают устали, и искусство их безмерно и равно их неутомимости.

Танцоры, шатаясь и подскакивая, чтобы скрыть усталость, садятся на траву, на бревна, им подносят араку. И тогда к Гиго подходит человек, как все — праздничный и избитый танцем до потери сознания, и одним выстрелом прохватывает насмерть голову Гиго и исчезает среди дикого плеска криков и вихря еще неоконченной пляски. Мертвый Гиго еще задорней живого, и только струйка крови портит лицо, — она идет по щеке, как тогда, когда его укусила Иоржи, и губы его, наверное, еще пахнут аракой, и самое страшное — что его нельзя поцеловать. Что его никогда больше нельзя будет поцеловать.

...Значительно позже приходит имя. Это имя звучит так: Семен Гарселиани. Это имя убийцы, ушедшего в горы.

Кто знает запутанные нити кровной мести и подходы ее, таинственные, как чума? Когда отец удовлетворенно

встает и говорит вместо защиты сына: «Конечно, это убил мой сын и никто другой» (и он говорит с гордостью); когда партийный председатель совета укладывает наповал своего односельчанина и пробивает его еще раз пулей, уже мертвого; когда ночная пуля разбивает лампу судьбы накануне суда над кровником — как предупреждение, что осуждение кровника самого судью схватит петлей кровничества; или когда сам убийца приходит и громко говорит, что убил именно он, чтобы не подумали, что убитый просто жертва случайности.

Проходит лето, мрачное, как зима, и наступает зима, мрачная, как это лето.

Иоржи плохо переносит мачуб — зимнее помещение, где скулят овцы, где коровьи бока шатаются от худобы и кости стучат о кости, когда коровы чешутся ночью. Иоржи ежедневно отсеивает крупномолотую муку и печет в золе на шиферной плите лепешки пополам с травой, с особой травой, потому что не все есть скоту: иногда и человеку нужна трава, когда муки мало. Болтушка из трав шипит в котле. И следующая зима будет, как эта. Откуда ждать перемен, раз в страну нет дорог, а из страны нет выхода?

Скулят опаршивевшие овцы, и коровы кашляют, высовывая худые понурые морды в дым цхундара, и люди сидят, курят маленькие трубки с длинными вишневыми мундштуками, — маленькие, потому что у них очень мало табаку, и мучная болтушка, густо посоленная, ворочается на дне черного котла, фыркающего, как опоенная лошадь. Огонь взвивается и падает, потому что на него с потолка сыплется снег. Надо выйти из дому, но сугробы выше дома, и зачем ходить куда-нибудь, когда все, что можно, запасено, и надо только еще подкормить борова и закрыть соломой покрепче картофель, спасающий от голода; все свободное время прясть, чинить, штопать, мыть посуду, колоть дрова, ходить за скотом и ни о чем не думать.

Приезжает к весне, как первый гость, сообщить, что дороги снова свободны, Качия. У него новый костюм и пояс, оттянутый вороненой тяжестью револьвера. Качия сильно вырос, возмужал. Качия хочет поцеловать Иоржи, как жених. Она отступает от него, пока не по-

падает ногой в болтушку для коров, и он начинает смеяться и хлопать себя по бедрам, — недалекий Качия... Иоржи убегает, заболевшая странным страхом — боязнью мужчин, она сидит среди женщин или одна в темном углу и старательно избегает того места у цхундара, где на длинных низеньких скамейках курят маленькие трубки огромные мужчины зимнего дома.

Иоржи поздно поняла простую правду плакальщиц. Искусство прощанья — одно из древнейших искусств на земле, и овладеть им, конечно, не под силу молодой девушке. Мраморные щеки плакальщиц, серебряные глаза их и глухое горло, издающее дикие, но размеренные вопли, — все было чуждо ей и не являлось утешением. Но правда их искусного отчаяния заключалась в том, что они сами так много теряли в жизни, что отчаяние выработалось у них в гармонию, своеобразную и страшно простую.

Иоржи ходила с черным платком на голове и смотрела в землю, и только по ночам она кусала себе руки и пугала сестру внезапными порывами печальной нежности.

В селении был дом, куда раньше почти никогда не ходила Иоржи и где она пропадала теперь каждую свободную минуту. В этом новом доме без башни жили два молодых комсомольца и две комсомолки — их жены, — Мария и Тамара.

Когда к ним приходила Иоржи, они разговаривали с ней, они усаживали ее в комнате, увешанной разноцветной бумагой, картинками, в которых Иоржи скоро научилась разбираться.

Она уж знала, что это вещи из того мира, что лежит за горами и называется «Москва». Все, что было нарисовано у них на стене, все, что было рассказано Марией и Тамарой, уложилось в ее голове под одним именем — Москва.

Машина на четырех колесах, мчащая куда-то толпу с раскрашенными флагами, окруженная домами громадной высоты, освещенными невидимыми цхундарами, была Москва. И другая машина с трубой, из которой шел дым,

но не по земле, а расстилался по небу, и она везла много домиков на колесах,— и эта машина была Москва. И ястреб с громадными крыльями, полный людей, и много дорог, и много людей, и многое множество незнакомых вещей — назывались Москвой.

Однажды, задержавшись в доме у Марии и Тамары, она увидела молодого загорелого человека, устало сушившего у цхундара мокрые свои одежды. Он осматривал всех прищуренными глазами через очки и на все вопросы отвечал охотно и много. Он говорил, что он послан правительством искать золото в Сванетии. Сваны, толкая друг друга локтями, таинственно перешептывались, а когда он ушел спать, обыскали его мешок, но не нашли никакого золота. Так вот — этого молодого человека когда спрашивали, откуда он, то он отвечал одно слово: «Москва». И когда Йоржи сравнила его с людьми на картинках, на нее сошел старый детский трепет, преследовавший ее в верхнем этаже башни, когда ей казалось, что все мертвые кости оживают; так и сейчас ей показалось, что все люди, нарисованные на картинках, сойдут со своих мест, станут большими, похожими на сидевшего у цхундара человека. Ей стало страшно, и она убежала.

Похудевшая, забывшая умываться, забывшая есть и пить, сидела иногда часами Йоржи в комсомольском доме перед картинками, и каждая картинка была больше ее маленькой жизни, а у самого потолка висела перегоревшая лампочка, и ее любопытно трогала Йоржи, веря теперь окончательно, что вещи, нарисованные на картинках, существуют в действительности, но до них нужно добраться.

Про Кацию рассказывали, что он уехал в Кутаис и нес скоро будет в их краях, что он хочет жениться на другой и не хочет брать за себя Йоржи и боится ее мести; но она слушала и мрачно улыбалась, потому что ей было все равно. Затем умер ребенок у соседки, и она сама попросилась оплакать его. И когда она встала в комнате, где стоял звон от косматых и мерных воев, издаваемых седыми женщинами, и откинула черный платок, все приятно удивились той тени настоящей печали, которая лежала на ее лице. И в тот день она победила

лучших плакальщиц, потому что она оплакивала свою собственную жизнь, не жалея слов и воплей, гораздо более свежих и мрачных, по контрасту с молодыми чертами ее лица, чем все искусство плакальщиц, громкое и холодное. После этой жестокой церемонии, когда ее вынесли на руках на воздух и она очнулась на траве перед домом, поддерживаемая благодарными родственниками покойного, она вздохнула, как после болезни.

Потом она собирала свои вещи, пересматривала их и чинила. Она отобрала две пары бандуль, свои праздничные туфли — те, в которых она плясала на празднике в Мужале, — она сидела и усердно зашивала рваные платья, скромные, как поля ее родины. Она достала толстые чулки и много шелковистой травы для бандуль, потом она вырезала хорошую палку и наточила нож, с которым не расставалась в последнее время.

Ночью она проснулась от странных всхлипываний. Сестра сидела над ней в темноте и, услышав, что она проснулась, нагнулась к ней и спросила ее, обжигая лоб жарким дыханием:

— Йоржи, Йоржи, что ты задумала?

Йоржи села, обняла сестру, и они молча плакали, потом Йоржи, вытирая руками слезы, шепотом рассказала ей все о Гиге и о его смерти, но ничего не сказала о Москве и заклинала ее страшным проклятьем никому не говорить ничего и не беспокоиться о ней.

В щель крыши смотрела луна, дряхлая совсем, белая, как будто ее слепили демоны на Тетнульде из прошлогоднего снега и пустили ее катиться по ребру страшной пирамиды, и она прокатилась по ребру и пошла по воздуху дальше и дальше и теперь проходила над селением.

Йоржи сидела в темноте на постели полуголая, царапала грудь и щипала руки, закусив губы, чтобы не закричать, затем она встала, прошла к потухшему цхундару, отыскала в горячем пепле уголек, раздула его и прижала к руке. Она держала уголек, пока он не насытился болью, и тогда она бросила его обратно в пепел, полная самых смутных чувств, повторяя про себя: «Гиге, Гиге!»

Она вернулась на постель. Сестра приняла ее в свои

объятия, и тишина нарушалась только хлопанием крыльев проснувшихся внезапно кур.

Через три дня, перед рассветом, Иоржи ушла из селения, и никто не видел, по какой дороге и куда ушла она.

Рассказ второй

Борис Никитич Швецов, высунув голову за край черного уступа, опасно огляделся.

Несколько в стороне от себя увидел он башню. Башня была прозрачная, бледно-голубые стены ее дрожали, взмыленная вода каскадами бросалась на ее подножие, подтачивая его непрерывно. Голубое великолепие трещало по всем направлениям. Вода уже хлестала широкой струей из трещины сбоку, смертельно разъедавая узкую ледяную перемычку. Две небольшие льдины покатались и, пролязгав по отвесу, упали в поток. Голубая башня лопнула с оглушительным гулом.

Борис Никитич в испуге втянул голову во впадину уступа. Глыбы летели впереди него, грохоча, разбиваясь, выбрасывая облака мелкой ледяной пыли, эхо швыряло глухие свои раскаты в мертвое аспидное небо. В нем, как бы гудя, громоздились стены, окованные сизым льдом, исполненные непревосходимой энергии пики, очерченные точнейшим резцом вершины, видные в мельчайших подробностях. Ледяные кулуары, сжатые черными и желтокрасными скатами, отпугивали глаз синевато-мертвенной своей неприступностью, черные трубы каменных каминов уходили в недосыгаемые изгибы горы, и под ними, за хаосом аспидного цвета, бессмертной неразберихой морены, как будто вырубленные исполинской саблей, лежали бледнозеленые и бирюзовые поперечные трещины. Каждый кусок этого могучего и неповторимого пейзажа отрицал человека, отметал его за ненужность, и слабость его и сила его равно бледнели перед грохотом этой сброшенной и обращенной в гремящие куски ледяной долины, многотрубно гремя о своей гибели.

Борис Никитич выглянул снова. Там, где недавно красовалась алмазная прозрачность, многоэтажно заду-

манная и укрепленная волей случая, теперь зияла темносиняя пасть широкой пропасти. И только в одном месте через нее остался висеть мостик, прихотливо изогнутый и нерадостно легкий. За мостиком вздымалась ледяная стена, очень крутая, бугристая и темная, как бутылочное грязное стекло. Борис Никитич заколебался.

— Идите, идите,— сказал Франк Иванович твердо.— Там будем рубить ступени кверху, к площадке. Идите, идите. Ну, скорей!

Борис Никитич все еще не мог оторвать глаз от остатков башни, захлебывавшихся в мутной битве потока. На предложение Мольца он слабо помахал рукой, нахлобучил балкарскую свою шляпу поглубже, поправил дымчатые очки и стоял, опершись на низкий ледоруб, как бы в раздумье.

— Нет уж, вы идите. Нет уж, вам тут и путь,— ответил, наконец, он.— Вы это придумали — и извольте идти вперед. А уж мы с Семеном за вами. Правда, Семен? Правильно так будет, Семен?

Семен Гарселиани, бесцветно усмехнувшись, вытер потное лицо рукавом, сказал по-свански что-то длинное и непонятное и по-русски добавил:

— Я тут не ходил. Иваныч ведет. Я тут хода не знаю. Тут человек не идет.

Франк Иванович легко перешел мостик, ощупывая его ледорубом, и начал вырубать в твердом грязном льду редкие и маленькие ступени, быстро приходившие в негодность от воды, катившейся ручейком сверху.

Борис Никитич, скрывая под желтизной очков тяжелый блеск утомленных глаз, поднимался медленно, задыхаясь, широко разевая рот, на ледяную крутизну.

Гарселиани, изнывая под тяжестью ноши, плотно стоял на туроподобных ногах, готовясь поддержать Бориса Никитича в непрочном его равновесии. Едва передвигая ноги, они карабкались, упираясь коленями и локтями в лед, пока не открыли скалистый склон, гладкие, наклонные и скользкие камни которого никак нельзя было назвать утешением.

Камни эти — узкие и отвесные — висели над причудливо изорванной трещиной, и один неправильный шаг

грозил последствиями самыми ужасными. Не глядя вниз, Борис Никитич, прижавшись плечом к выемке, долго переводил дыхание, потом, сопя и кряхтя, неуклюже, как медведь, осыпанный снегом с ног до головы, он лез по обрыву, и далекий плеск сорвавшихся из-под ног камешков, бесконечно ударявшихся на лету о зеленые бока ледяного зева, наводил его на грустные размышления.

Когда они, обойдя ледопад, вышли на ровные ледяные поля, пошел снег. Пушистые хлопья его сначала падали не торопясь, равнодушно, равномерно, потом их подхватил пронзительный ветер, и метелица, густая и тяжелая, разыгралась не на шутку. Утопая в снегу по пояс, они брели, движимые самосохранением и злостью. Скоро снежные хлопья перешли в крупный сухой град, но уже белым панцирем лежал снег на груди и на спине, залепляя глаза, руки заледенели и не держали ледорубов, усталость клонила головы, шея болела от тяжести мешков, очки приходилось поминутно протирать, и сквозь их мутную слюду все казалось еще мрачнее, чем на самом деле.

Снежные облака, разрываемые железными взмахами ветра, наконец остались позади. Снова начался великий барьер морены — шатающиеся, неровные, узколобые, широкоплечие глыбы, неукрепленные, похожие на гигантские увеличенные предметы из окаменевшей детской игры «гусек». Потом был молчаливый отдых на площадке, сухой, но холодной и такой узкой, что ноги почти свешивались в пропасть.

Гарселиани меланхолично вынул запасный ком шелковистой травы для своих бандулей. Трава в бандулях быстро перетирается, и нужно ее часто менять. Он снял бандулю, размял ее, потом положил в нее свежей травы и начал натягивать сначала на пальцы, точно тонкую перчатку, держа пятку до отказа отогнутой, потом набил в бандулю еще травы, натянул пятку и крепко завязал мокрым ремнем. Ту же операцию он проделал, не спеша, и со второй бандулей, потом он вынул, так же молча, кусок сыра и съел его, без удивления оглядываясь по сторонам. Борис Никитич, прислонившись к мокрому камню, лежал, не замечая в возбуждении мо-

кроты его, и старался как можно глубже дышать, и только Франк Иванович Мольц, расширив огромные голубые глаза, полные тихого восторга и уверенности, с удовольствием ел сырые сухари и бросал крошки в пасть леднику, не обращая внимания на мрачное состояние своих спутников.

От зари до зари шли они, и от зари до зари вокруг них клубились льды, скалы, туманы, которыми нужно было во что бы то ни стало любоваться, чтобы оправдать мученичество двухдневного опасного пути.

— Пошли! — сказал Франк Иванович.

Они поднялись по отвесным уступам, обошли новый ледопад. Швецову было все равно. Он шел, подняв очки на лоб, почти не опираясь на ледоруб, пренебрегая опасностью. Темное утомление, раскачивавшее его существо, сменилось тупой покорностью, и он только не мог забыть той чудной голубой башни, которая лопнула на его глазах так внезапно и так шумно.

Он шел, как телевокс, и, только налетев на спину Франка Ивановича, на его двадцатикилограммовый мешок, остановился.

Они стояли на высоком карнизе, и под ними, где-то внизу, в разорванных тучах, мелькало что-то зеленоватое, серое, неясное, как земля с парохода в промежутке между двумя волнами.

Борис Никитич посмотрел и ничего не понял. Он спросил чугунным голосом:

— Куда ж теперь?

— Дайте сообразить.

Франк Иванович спокойно посмотрел на часы, на компас. Сзади них вверху гулял гром и сыпался град, ветер гнал серые и черные завесы, ударяя ими о холодные ребра вершин, изображая зиму, и только там, внизу, в разорванные облака, — как вдруг догадался Швецов, — смотрел самый настоящий теплый, летний, благоухающий день.

— Сюда! — сказал Франк Иванович и с неумолимостью конвоира повлек за собой изнемогшего Швецова к новому ряду препятствий. На этот раз это была осыпь. Нога входила в черный, мокрый, холодный каменный мусор сначала по щиколотку, потом почти по колено;

когда тонула, скользила, подвертывалась, потом человек, цепляясь ледорубом, кое-как перескакивал дальше и снова тонул, спотыкался, сползал, и казалось, что осыпь никогда не кончится.

За осыпью опять стояли гладкие скалы с таким карнизом, что сначала умещались на нем две ноги свободно, потом уже не так свободно, потом умещались не целиком, потом нужно было обнимать круглый, висевший над пропастью камень и, обняв его, переносить ноги на другую его сторону.

Швецов, задыхаясь и не имея мужества отказаться от столь любопытного и рискованного перехода, быстро перебросил одну ногу и повис на руках. Вторую ногу он перетягивал медленно, с ясным ужасом, ощущая, как сползают его руки, вцепившиеся до судорог в ледяные желобы камня. И когда его руки пошли вниз с самой страшной поспешностью, ноги уже стояли по ту сторону камня, и это уже было хорошо.

Он подул на посиневшие пальцы и пошел дальше по карнизу; так идет человек, измученный многолетней голодовкой и болезнями, не чувствуя тела, и только какая-то геометрическая стойкость костяка напоминает еще о том, что он не совсем призрак.

И вдруг пошел спуск — быстрый, скачущий спуск, — можно было улыбаться и перескакивать через три камня сразу. Облака внизу расходились, и все ближе открывался благоухающий, теплый летний день, и в этом дне стояли зелено-бурые леса, и далеко, где-то в другом мире, виднелись башни — не голубые, прозрачные, ненадежные, а черные, каменные, без трещин, без гула, башни какой-то удивительной страны.

— Жабеж, — сказал Гарселиани, садясь на камень. — Сейчас Сванетия. Дай тютюн покурить, Борис.

И они остановились покурить. Франк Иванович смотрел с удовлетворением на тонкие зерна снега, набившие складки его шаровар, на ледяные сосульки, висевшие с отворотов его альпийских чулков, потом поднял глаза на испепеленное лицо Швецова.

— Скажите, — голосом тихим и хриплым спросил Швецов, — сознайтесь, что вы вели нас по такому пути, по какому можно было и не идти?

Немец отрывисто засмеялся и ответил, подумав:

— Разве вы не испытываете в ногах дрожь победы?

— Дрожь-то я испытываю. Это действительно, вы верно сказали. Дрожь испытываю,— сказал смущенный Швецов.— А уж какая она, эта дрожь, потом увидим.

Немец пожал плечами.

— Эта страна,— он показал вниз,— с трудным входом. Больше ничего. А наш путь — обыкновеннейший путь альпиниста, я бы сказал — даже легкий.

— За хороший скот, хозяин! За хороший урожай, хозяйка!

Семен Гарселиани пьет. И он знает, как пить с почетом в компании, с уважением, после такого перехода; он показывает сванам на сидящих поодаль Мольца и Швецова:

— Он ведет. Я веду. Никакой дороги нет; такой дорогой — другой раз давай деньги, не иду больше. Налей,—говорит он русскому, почтительно слушающему его.

Этот человек с подобострастием прислуживает сванам. Он в рваных штанах, синее тело глядит сквозь дыру штанов; у него нет белья, у рубашки один рукав закатан, один оборван. Он всем видом выражает последнюю степень унижения и пресмыкания: бегаёт за дровами на двор, точит поспешно нож о точильный камень, наливает араку, разносит почтительно стаканчики, подает лепешки. Сваны пьют, не приглашая его садиться. Они не замечают его. Смотря дымными глазами в огонь, в котором качается котел с широкими зелеными бобами, они пьют, заедая араку сыром и лепешками.

Он, махая оторванным рукавом, вытирая им губы после проглоченного стаканчика араки, косится на Швецова и Мольца, сидящих отдельно. Сван хлопает его по плечу, что-то говорит ему шутливо и предлагает араку. Он наклоняется и целует свана в плечо и в руку.

— Вы видели? Какой позор! Европейец — не господин, а слуга,— говорит Мольц, растягивая слова.—Такой позор! Вы понимаете, в чем дело?

— Бросьте! — говорит Швецов.— Это просто какой-то бродяга.

Человек поймал их настороженные взгляды; он, незаметно отодвинувшись от компании, подходит, придерживая оборванный рукав. Он говорит, кося один глаз на сванов:

— Товарищи, простите, великодушно простите. Я,— он оглядывается на сванов,— не могу иначе здесь. Убьют. Вот те крест! Видели, ручку поцеловать пришлось. Нельзя иначе, поверьте,— убьют. Такой народ, убьют ни за что.

Немец поднимает глаза к потолку, будто разглядывает там паутину на балках. Швецов досадно морщится.

— Нам-то какое дело? Как вы попали в Сванетию? Что вы тут делаете?

— Я нутром заболел,— говорит он.— Я рабочий, не сомневайтесь. Вон — рукава болтаются. Я из Баку ушел. Сезонником был. Там легкие у меня схватило от ветров бакинских. Доктора говорят — легким и легкий воздух нужен, иди в горы. Я в горы и ударился, сюда еле-еле добрался, а уж жрать — извините. Воздух легкий, а уж жрать — извините. И они, эти сванеты самые, араку еще дают туда-сюда, а уж жрать — извините...

Он икнул и смутился.

— Честное слово, не подумайте худого, я извиняюсь, что такое увидели. Неудобно, сам сознаю, но они народ дикий, убьют, если что. Ну, я пойду, простите.

Он отошел к сванам и начал, мешая уголья, раскладывать заново дрова на очаге.

— Это просто бродяга,— сказал облегченно Швецов.— Вы говорите — европеец, это мне ничего не говорит. А вот что не рабочий он — так это сразу видно. Это раскулаченный какой-нибудь скрывается. Рабочий устроен у нас: заболел — на курорт отправят. А это так, люмпен-пролетариат.

— Его надо убить,— сказал немец просто, намазывая масло на хлеб.— Его надо убить, чтобы он не портил такой прекрасной страны, как Сванетия.

— Я что-то вас не понимаю.

— Сванетия,— сказал немец,— это горы. О, не для

России я совершил сюда такой большой путь из Германии. Я хорошо знаю «матушку-Русь». Я три года в ней сидел, как на цепи собака; я был пленным и так хорошо учил русский язык и русский народ, что стал даже немного знатоком того и другого.

Он засмеялся и, кончив мазать масло, щелкнул перочинным ножом.

— Да, да, я пришел именно в Сванетию, именно сюда, именно в горы. Я живу тем комком фосфорного белка, который есть у меня здесь.— Он показал на лоб.— И когда я стою на вершине горы, я стою над всем человеком. Понятно вам? И в том комке фосфорного белка, что у меня здесь,— он вторично коснулся лба,— понимаете, все, что я хочу. Я хочу, чтобы такую прекрасную страну, как Сванетия, не трогала никакая культура. Пусть она живет, как райская долина для немногих. Я нарочно вел вас такой дорогой, где ваши ноги, ваше сердце, ваша душа радовались работе; и когда мы с вами будем идти на вершины, вы скажете, как я: пусть будет так всегда здесь. Не надо железных дорог, не надо гостиниц, не надо цивилизации, пусть там, внизу, остается все: пролетарий, буржуй, военный, фабрикант, революционер, но не здесь, наверху. Скажите, кому принадлежат вершины? Можете вы сказать?

— Смотря какие,— отвечал Швецов, внимательно слушая немца.— Сванетские принадлежат СССР.

— Вершины принадлежат тому, кто их завоевал, кто вошел на них собственными ногами, кто приветствовал солнце с единственного независимого места.

— Какой-то у вас альпинизм подозрительный.

— Это высшее очищение человечества. Сейчас, когда люди испытали сплошные годы убийств, войн, революций, их бросает к первоисточникам. Одни жаждут моря, воды— просто воды; другие идут в лес — им нужны просто деревья; третьи ищут гор. Это и есть искание первоисточника.

— М-да,— сказал Швецов.— А вот мне, признаться, советскому человеку, прямо фантастично слушать такие вещи. По-нашему, по-моему, то есть, альпинизм — это дорога ученых и дорога ученым. За альпинистом идет геолог, скажем, топограф, метеоролог, кооператор и так

далее. К тому же это воспитание молодежи, хорошая закалка, скажу я вам.

— Хо! — воскликнул немец.— Я вас поймал. По-вашему, мы идем с вами на вершины, за нами идет геолог, за ним топограф, за топографом инженер, за инженером идет дорога. Так?

— Так,— сказал, пожимая плечами, Борис Никитич.— Ничего не вижу здесь странного в этой ситуации. Тем более...

— Тем более что Сванетия бездорожна. Так идет дорога, и за дорогой — все остальное. Эти горцы, эти сваны, которыми мы сейчас любимся, свободные охотники, простые земледельцы, через год-два будут чистильщиками сапог и лакеями в гостиницах. Они будут пить водку и коньяк вместо араки, и всюду в горах будут лежать жирные английские, американские туристы, которые с удовольствием покинут Швейцарию ради этих гор, которые прекраснее Альп и Гималаев, и будут бродить повсюду эти ваши, — как это говорит Максим Горький? — да, да, ваши мещане. Как же вы, альпинист сами, можете этого хотеть? Разве вы, идя смело на вершину...

Борис Никитич слабо, но протестующе помахал рукой.

— Идя к вершине, разве вы смотрите в глубину?

— Остерегался смотреть,— сказал тихо Швецов.— У меня голова кружится иногда.

Немец, не слушая его, продолжал:

— Вы работаете ледорубом в забвении, вы боретесь с горой, как с живым врагом, как в бою, и вокруг — стены, лед, снег, вода, буря. Гора бросает в вас камнями. Она швыряет лавины, но вы, сохраняя гордое одиночество, свободный от всех покушений всевозможной морали, вы достигаете вершины. Польза ученых? Какая польза от того, что на Тетнульде лежат миллионы тонн снега и он имеет четыре тысячи восемьсот метров высоты? Но на вершине ничего нельзя купить, а в долине покушается все...

— Ну, тут и в долине ни черта не купишь,— сказал Швецов, явно превратно поняв смысл последней фразы.

Сваны начали есть бобы. Швецов снова прервал немца:

— Извините, но мы хотели купить курицу. У нас нет никакого ужина, и мы еще не обедали. Сейчас как раз котел свободен. Я поговорю со сванами. Семен, эй, Семен! Поди-ка сюда.

Гарселиани подошел, веселый и румяный, с расстегнутым воротом, со «сванкой» — серой маленькой шляпой, закинутой на резинке за спину.

— Хочешь курицу, Борис, да? Каттеле хочешь? — сказал он со всем добродушием, на какое был способен. — Сейчас, подожди. — Он вышел из комнаты и, через минуту вернувшись, сказал: — Можно брать курицу. Не курица, петух только; и хозяйка говорит: «Только сами пусть режут, я не буду».

Оборванный бродяга, закрывая ладонью новую дыру на колене, подошел тоже.

— Прикажете петушка зарезать? — сказал он. — Они куриц-то не продают, берегутся. Я вмиг, вмиг зарезу. Разрешите топориком воспользоваться? Я и общиплю его, и общиплю вмиг. Не сомневайтесь. Которого петуха?

Немец молчал. Борис Никитич кивнул головой в знак согласия. Оборванец, взяв топорик, направился в угол пиршественной залы и поднял петуха с зелено-рыжими перьями под неистовый вопль откуда-то взявшегося маленького мальчишки, схватившегося за петушинный хвост, — петух был его любимцем.

— Ах ты, воробей! — закричал бродяга, махая топориком и петухом. — Уйди с дороги, уйди сейчас!

Мальчишка наступал на него с кулачками. Сваны захохотали. Жирные бобы висели на их усах и лежали на коленях. Новая кадушка с аракой стояла перед ними. Мальчишка раздирал уши рыданиями. Швецов наклонился с табурета, запустил руку в свой походный мешок и достал горсть сухого компота. Мальчишка недоверчиво взял черносливину в рот, облизал ее, вынул, посмотрел на нее удивленно, облизал снова, снова вынул и замер в диком восторге. Он лишился языка. Он только сладко охал и сосал, боясь проглотить неведомое и никогда ему не попадавшее лакомство. Оборванец унес петуха.

— Ну вот, — сказал немец, — спросим самих сванов. Семен, ты хочешь паровоз?

— Что такое паровоз? — недоверчиво спросил Гарселиани. — Ты хочешь паровоз? Зачем паровоз? Я пешком хожу.

— Вот и нашему разговору конец. — Мольц ударил себя по колену. — Зачем ему паровоз? Правда ведь — не зачем?

— Ему незачем, потому что он не знает, что такое паровоз. А подождите, трех лет не пройдет, как он узнает, и очень ему паровоз понравится.

— Это ужасно! — сказал Мольц. — Не будем спорить. Ну, я не мелкий человек. Мы с вами не будем говорить, как глухонемые. Я скажу вам одну легенду; она мне очень понравилась, и в ней есть наше примирение. Слушайте! Я уже раз был на Кавказе, в Осетии. Там в горах мне показали развалины старинной крепости, которая называлась «Клятва в тумане». Я спросил, что это за название? Мне объяснили, что в этой крепости однажды, давно, очень давно, собрались для одного важного дела осетины, втайне от всех, и дали клятву, что об их деле никто не будет знать. И когда они клялись в этом самом главном, поднялся туман, густой туман, и отделил их, как занавеской, от земли, так что никто не мог помешать их клятве, потому и назвали крепость «Клятва в тумане». На этом мы с вами и помирился. Каждый из нас когда-нибудь в жизни дает такую клятву, не известную никому, не правда ли? Я дал свою клятву, которую вы не знаете, вы дали в своей крепости свою клятву, но эта клятва живет с вами, отделенная от других высотой и туманом. Так выпьем немного коньяку за нашу общую и разную «клятву в тумане»...

Он налил в походные стаканчики коньяку, и они чокнулись.

— При таком расположении фактов выпить можно, — сказал Швецов. — Вы ведь смущаете меня не духом этим вашим, заграничным. Дух я, как человек советский, чувствую и от него застрахован, а вот техника у вас, это да...

Мольц довольно засмеялся и потрепал маленькую острую бородку.

— От техники, как от женщины, никуда не уйти, — ответил он медленно.

— Как вы сказали? От техники, как от женщины, никуда не уйти? Знатоно сказано! — пробормотал Швецов.

— Послушайте, вы советский человек, а ходите один по горам. Это ж не коллективно, это же одиночное блуждание, *Alleingänger* — совершенное одиночество.

— Я никак не один, никак не один,— запротестовал Борис Никитич. Он даже взмахнул рукой на Мольца, как будто отказывался от знакомства с ним.— Я с товарищами шел из Нальчика. Большая группа, десять человек. Вот из них будут в самый раз альпинисты, но у них темпы к моим годам не под стать. Я их и покинул скоро и ушел, но с ними совместно кое-что исполнил, а не так просто ушел. Я в одиночестве не нуждаюсь, извините.

— Вы нуждаетесь в технике,— сказал жестко немец.— Как вы ставите ногу? Я заметил, как вы ставите на льду ногу. Как это можно! И вы шли без кошек. Почему вы их не надевали? Что это за русская неряшливость. Вы же не кровный горец, чтобы идти, как Семен,— в бандулях. Почему вы не надевали кошек?

— Черт побери! Сказать стыдно.

— Говорите, говорите.

— Сомневался в них, потому и не надевал. Черт их знает! — смущенно заговорил Швецов.— Сомневался. У меня ледоруб начал давеча гнаться: дермо такое делают. Ну, я и в кошках усомнился. Думаю, надену — да как ухну со всех катушек!

— Покажите ваши кошки.

Борис Никитич достал из-за себя кошки и отдал Мольцу.

Мольц рассматривал их со всех сторон. Швецов продолжал:

— Вы интересуетесь ими, а я на вас смотрю: сказали вы здорово — «от техники, как от женщины...» Ну, а возьми вас? Ваши сапоги эти красные поди воды не пропускают?

— Нет, не пропускают.

— Вот видите. А мне чуть резиновые подошвы не всучили. У вас чулок на чулке, что на выставку. Загибчик с рисуночком, с узором. А у меня запросто—лыжные, самые семейные.

Тут приблизился бакинский бродяга с ошипанным и вычищенным петухом.

— Как вашей милости разрешение будет — варить или жарить птицу? Я и так и так умею. Нужда научит. Не сомневайтесь, как прикажете.

— Вари! — крикнул Швецов.— И не мешай нам, провались!

— Я никак не беспокою, никак. Вот поспеет уха из петуха, вот уж побеспокою тогда. А до тех пор только вот сольцы у вас попрошу, потревожу. Соли-то у меня нет.

— Поди спроси у Семена, Семен даст... Да, так вот, теперь возьмем брюки ваши: плисовые они, темно-коричневого цвета, английский бридж. Куртка...

— Она называется windjаске...

— Ну, это все равно, как она называется. Она из очень крепкого, но легкого брезента. Воротник наглухо застегивается, а у меня этого ни черта нет. По недостатку в этом альпийском деле у меня и куртка и штаны сооружены домашним порядком. Ледоруб мой — мерзость, а у вас это какой системы?

— Это «Академикер», полтора кило веса весь.

— Знатный ледоруб! Спальный мешок ваш на гагачьем пуху, а у меня — вата из двух одеял. Тяжесть — что трехдюймовку на плечах несешь. Но это пустяки, Франк Иванович, это пустяки. Мы еще молоды в этом деле. Мы еще и не такого гагачьего пуха добьемся. Я вам политически не завидую с вашим гагачьим пухом.

Мольц вернул ему кошки.

— Кошки выдержат.

— А где мы ночевать-спать будем сегодня?

— Олиси! — закричал Семен Гарселиани, услышав слова о ночлеге.

Маленький сван, серый, как белка, тихий и быстрый, явился на этот зов.

— Олиси, — сказал Семен, — товарищи будут спать на воздухе. Дай им постели туда.

Олиси взял из угла две тонких постели, но Мольц остановил его:

— Нам не надо постелей, Семен. Это буржуазный предрассудок, — засмеялся он. — Мы спим в наших спальных мешках. Я бы и дома спал на полу в мешке, для тренировки, если бы мне позволила семья.

— Вы, кажется, говорили, что вы инженер? — спросил Швецов.

— Да, я инженер, но мой завод все равно сейчас временно стоит. Ну, жена получила немного наследства, и я поехал отдыхать. А вы?

— Я работаю в рабоче-крестьянской инспекции. Нахожусь в законном отпуску.

— Это же безразлично, — сказал немец, — горы всех равняют. Я видел в Швейцарии министра и сапожника, и горца и профессора, они спали на одной соломе в одной хижине и ели один гороховый суп.

Бродяга извлек дымящегося петуха из котла. Швецов и Мольц вынули ножи и ложки.

— Уж прикажите мне остаточки, после араки бульончиком опохмелиться. Страсть хорошо! — сказал бродяга, делая жалостное лицо.

— Его надо отравить, — прошептал Мольц. — Европейец, унижающийся так среди дикарей, достоин только уничтожения.

Борис Никитич не отвечал. Кости сванского ветерана затрещали на зубах альпинистов.

— Мир еще вернется к одиночному человеку, — сказал немец и вдруг в упор посмотрел на Швецова. — Борис Никитич, мы завтра выходим в пять часов утра.

— Как, куда? — спросил с набитым ртом Швецов. — Опять выходим?

— Как мы уговорились, время дорого.

— Франк Иванович, я не иду. Я не иду, Франк Иванович! Я не должен идти.

Мольц качнул головой, как будто он хотел забодать Швецова. Глаза его гневно вспыхнули.

— В таком случае вы трус. Но я не могу допустить, что вы трус. Я воспитаю в вас человека вершин. Вам не хватает техники. Вы ее получите только таким путем.

Борис Никитич помрачнел, но ничего не сказал.

Жабез! Когда на Ингуре будут царить автомобильные гудки, черный холод туннеля пройдет под окаменевшими страстями великого хребта и теплое зарево гидростанций пленит изумрудное ночное небо Местии,

ты тоже изменишься, маленький Жабез; но сейчас сторожевая одинокая башня у входа в Твиберскую тропинку и малахитовая волна курчавого потока неотделимы от твоего спокойного и простого лица. И уходя к благоухающим полям Сгималука, и к медовому роднику под широким камнем на тонкой лужайке Угыра, и поднявшись по исполинским ступеням Цаннера — отсюда я вижу тебя, маленький Жабез, стоящий на темной зелени луга, где синие генцианы, белые и голубые колокольчики и чудовищные ромашки похожи на твои синие и желтые дни и ночи, чудовищный маленький Жабез!

В это утро Семен Гарселиани наотрез отказался вести Швецова и Мольца к подножию Тетнульда.

— Но почему? — спрашивал Швецов. — Мы тебе заплатим хорошо. Ты недоволен чем-нибудь?

Гарселиани, теребя край сванки, подмигивал и подманивал к себе Швецова вплотную, и когда тот приблизил свои распаренные, обожженные, с висящими в стороны кусками восковой кожи щеки к черному спокойствию гарселиановского носа, Семен сказал:

— Такое дело одно есть у меня... Такое одно дело. Не могу идти в Адиши, никак не могу.

— Ну хорошо, ты дойдешь только до Адиши и сложишь вещи. Ты дальше не пойдешь. Там же сейчас убивают хлеб, никого дома, одни женщины.

— Нет, не пойду. Видишь, в Адиши и женщины стрелять умеют.

Швецов понял, что Семен боится за свою шкуру, и боится неспроста. Он переговорил с Мольцем. Немец, оставив упаковку вещей, очень просто вышел из затруднения.

— Есть беспроводниковый туризм, — сказал он. — Это даже модно на Западе. Мы понесем вещи сами, и деньги у нас будут лежать в кармане. Дорога очень ясна, заблудится на ней только мальчик.

Гарселиани снова отозвал Швецова.

— Ну что, ты согласен?

— Борис, — сван показал украдкой на Мольца. — Я не согласен. Я уже сказал тебе, я своих слов не кушаю. Борис, не ходи с ним. Он как пьяный ходит. Без разбора ходит. Помнишь, как мы сюда шли?

— Ну, ты это зря, — примирительно начал Швецов. — Ты мало людей видел, Семен.

Гарселиани ударил с силой себя в грудь.

— Я мало людей видал?! Американцев видал. Англичан видал. Вот я в Балкарию ходил, в самом Пятигорском был, сено косил, убирал. Мало людей видал! Как Иваныч, таких мало видал, правда твоя. Он больной от высоты, понимаешь? Беда с ним идти. Ну зачем он тебе? Иди один. Я тебе хороший человек дам.

— Ну, ну, — сказал Швецов, — ничего со мной не будет.

Тогда Гарселиани пожал ему руку и ушел. Они взвалили на себя рюкзаки, спальные мешки, взяли ледорубы и тронулись по верхней тропе. Нет ничего превосходней этой верхней тропы, идущей через Сгималук на Адиши. Высоко над головой, прибитые к синим просторам, висят крылья ястребов, лиловые снега Лайлы холодными пальцами стараются достать зеленые потоки лесов, стремительно убегающих вниз к Ингуру. Нога идет по травам, переполненным непонятными цветами, и, конечно, у этих цветов есть названия, но не хочется знать их, так великолепны они, и стройны, и простодушны. Над ними же стоит белая пирамида Тетнульда, неповторимая в могуществе белизны.

Мольц вонзил ледоруб в землю, остановился и показал на Тетнульд. Легкое облако курилось около его вершины.

— Как прекрасна смерть альпиниста! — сказал он голосом проповедника. — Звери умирают темно, в грязной норе. Больной умирает в постели, согретой жаром болезни. Но альпинисты, как и моряки, умирают в море — в ледяном море вершин. Так умер Донкин с товарищами на Коштан-Тау, так умерли Фишер на Алечгорне и Винклер на Вейсгорне, так умер Сигмонди на Менж и Меллори и Ирвин — на Эвересте; и волны ледяного моря сомкнулись над ними. Никакой вздох не потревожит их праха, и никакая слеза не оскорбит могильного камня, потому что его нет. Разве вы не хотели бы погибнуть такой славной смертью?..

Эта прекрасная речь произвела на испуганного Бориса Никитича очень тягостное впечатление. Он вспом-

нил слова Гарселиани и с опаской посматривал теперь на задумчивое лицо своего спутника. Он взглянул на Тетнульд и, увидев облако, как траурной мантией закрывшее вершину горы, почувствовал, что ему необходимо ответить.

— Так вот я говорю, что есть коммунисты, которые борются и безвозвратно погибают в какой-нибудь далекой стране, их смерть так же прекрасна, по моему, как смерть вашего Сиг... Зиг... Как вы сказали?

— Сигмонди...

— Вот именно.

Немец ничего не ответил. Он вырвал ледоруб из земли и пошел дальше, сгибаясь под тяжестью мешка.

Швецов не отставал от него. Некоторое время шли молча. Внизу показался Адиши — его крыши, переложенные камнями, и башни, относившие его к сирийским замкам времен крестовых походов, замкам разбойничьим и очень прозанческим.

Они шли и мирно беседовали о системе сельского хозяйства, о совхозах и колхозах, о сортах пшеницы, о разведении винограда в горах, и вдруг немец спросил:

— А вы заметили, как в этой стране мало женщин?

— У меня в путеводителе сказано: это оттого, что они убивали долгие годы маленьких девочек — засыпали им рот горячей золой или просто не давали есть...

— И что же, больше не засыпают? — спросил насмешливо Мольц. — Ну, так если придет культура в эту страну, девочки вырастут и научатся делать аборт.

В эту минуту он проходил через ручей, прыгая по камням, но на иных камнях приходилось задумываться, куда прыгать дальше. И у Мольца от вида кружащейся воды закружилась голова.

Перейдя ручей, он вынужден был снять мешок и сидел опустив голову, смутный и красный, недоумеая:

— Я глядел в пропасти без всякого волнения и вдруг не мог посмотреть на эту мыльную пену. У меня закружилась голова. Странно! Давайте есть. Может быть, желудок соскучился по горячему.

Они давно прошли Адиши, не заходя в него, так как они очень торопились.

Теперь они сели у ручья.

Немец достал первым долгом из мешка походную масленку — алюминиевую коробку с завинчивающейся крышкой, в которую плотно входил стеклянный стакан, низкий и широкий; сверху, чтобы он не ерзал, его придерживал резиновый кружок. Немец опустил масленку в воду, чтобы остудить растопившееся за дорогу масло; затем он достал сухой спирт и развинтил свинченные вместе две алюминиевые кастрюльки. Швецов достал спички, но все спички отсырели и не горели. Тогда просто, как он все делал, Мольц вынул коробку спичек, на которую Швецов уставился с непонятной веселостью: маленькая коробка была залита растопленным парафином, завернута в вощаную бумажку, и швы ее были проклеены резиновым клеем.

— Ох, вы и осторожны и предусмотрительны, товарищ дорогой! — сказал он с детским восхищением.

— Я просто опытный человек, — отвечал Мольц. — А сейчас я буду немного успокаивать себя. Я буду купаться в этой холодной ванне.

Он разжег огонь, поставил воду на сухой спирт, разделся и начал бросать на себя пригоршнями мохнатые хлопья пены горного потока. Швецов сидел в стороне совершенно изморенный, и плечи его ныли от дороги, от тяжести, и он не мог смотреть без зависти на механические движения Мольца, мывшего себя, как будто он мыл железную куклу, а не свои загорелые и широкие плечи.

Стеклянный блеск льдов, утесы, выточенные из полированной стали, мутные лунные цирки, усеянные голубыми клыками, меловая тишина и полное безлюдье высокой альпийской ночи были причиной бессонницы Бориса Никитича. Он лежал, скорчившись, в своем неуклюжем спальном мешке с вешевым мешком под головой, надев на себя все теплые вещи, какие были при нем.

Впрочем, Мольц тоже не спал. Он, облокотясь о стенку пещеры, смотрел глазами фанатика на вереницы блестящих иголок, бегавших в сизом тумане ледниковых пропастей, на темносиние дымные завесы, восходившие на скалы у него на глазах, на небо, изображавшее в августе декабрьскую ночь, морозную и нестерпимо глубокую.

— Вы не спите? — наконец, спросил он, и голос его свернулся какой-то ледяной трубочкой.

— Нет, я не сплю,— отвечал Борис Никитич.— Такой ночью спать не хочется. Скажите-ка еще раз, как это мы пойдем завтра.

— Мы пойдем на вершину Тетнульда по маршруту, каким никто не ходил. Я два года назад уже делал разведку.

— А такого маршрута, быть может, и вовсе нет.

— Такого маршрута нет,— отвечал тихо немец.— Мы взойдем вот на тот снежник и оттуда на скалы под самым карнизом по ледяной стене и потом, держась гребня, перевалим через вершину.

Оба замолчали. Темный, далекий гул лавины прошел где-то сбоку.

— Человек изобрел могучую музыку, архитектуру, скульптуру. Согласитесь, что ни Бруклинский мост, ни Вагнер, ни Сикстинская капелла не дадут такого напряжения и такой колоссальной простоты,— почти молитвенно произнес Мольц.

— Я не видал ничего этого. Я вам верю,— также тихо сказал Швецов,— хотя думаю,— мне так кажется,— что Днепрострой тоже не хуже... Как вы все это соединяете? Я вот так не умею. У меня все отдельно. И музыка отдельно, ну и прочее,— все отдельно.

Ледники и скалы точно пробовали страшные свои мускулы, вытягивались и вздымали синие жилы под лунной, потом дрожь неистовства оставляла их, и они лежали, дымясь, как будто в головах у них потухали факелы.

— Культура,— сказал Мольц,— это призрак, сон, галлюцинации. Вот это, что вокруг, это — Вечность. Вы рады, что я вас привел сюда?

Борис Никитич беспокойно заворочался.

— «Клятва в тумане» здесь не фраза, вы правы. И странно как-то: тут людей не хочется видеть и небо неживое, но соблазн какой-то есть. Только согласиться с тем, что это явление безобразных форм, удручающих в общем и целом форм, упадочное явление, хранит радость для человека, я не могу, тут надо пожить, привыкнуть, что ли...

— Подождите,— Мольц поднял руку,— послушайте ночь!

Несколько минут они молчали. Хрустальная, сквозная, холодная, бесследная тишина окружала их. Невесомые громады были беззвучны. Полярной безысходностью веяло в лицо. Грозное одиночество простертых и забытых в пространстве камней было непонятно, будто какой-то исполин распоряжался здесь, обуреваемый гигантскими замыслами, набросился на эти камни и начал извлекать из них самую совершенную и самую неистовую форму, и бросил, истощив свои силы, и не привел плана в исполнение,— и потому одни уступы поражали точностью фигур и поворотов, а другие уступы носили вид дикий, как материал, приготовленный для работы и неиспользованный.

Борис Никитич задремал. В сонном его сознании так ясно видна была его семья, поджидавшая его в Пятигорске, сидевшая сейчас в теплой комнате за чайным столом, так неуютно было лежать в холодной угрюмой тишине полярной ночи.

Зачем ему, человеку пожилому и уважаемому, оставив семью и культурный отдых со всеми развлечениями, прилагаемыми к оному, зачем ему нужно было заняться этим почти страшным делом, бывшим едва ли под силу его годам и его возможностям?

И если Мольц бесспорно наслаждался суровой этой неприязательностью, то он, Швецов, лежал при нем наподобие полярной собаки, переносящей холод и лишения ледяного путешествия, но никакого удовольствия не испытывающей.

Он с испуганной жадностью смотрел и не мог насмотреться на кривые карнизы Тетнульда, загнутые по концам ледяными бараньими рогами. И вдруг он решительно толкнул Мольца и уставился на него такими голубыми лунными глазами, так резко очерченный луной, что Мольц увидел его черный силуэт, как бы висящий в голубом стекле, дрожащий и точно посыпанный синей пудрой.

— Что с вами?— спросил он, сразу проснувшись.— Вы больны?

— Я должен был вам сказать давно... Как это называется, сказать одну вещь,— бормотал Швецов.— Я,

видите ли, как это сказать... Вы это поймете... Я не боюсь, я несколько не боюсь, но вы поймите только правильно...

— Вам страшно? — просто спросил немец.

— Нет, я вам скажу вот что, — залпом говорил Швецов. — У вас создалось впечатление, что я бывалый старый альпинист, а я — нет, я ведь первый раз в жизни в горах, первый раз за всю жизнь. У меня было умственное стремление, и я приобрел всю эту сбрую, — он хлопнул по спальному мешку, — сдружился с молодыми и пошел; и поначалу ничего шло, но я умирал каждый день от страха и от усталости, а вот такую гору... я вот смотрю на нее, глаз не спускаю, — вот такую гору... я уж не знаю как... Как я на нее заберусь?

Немец взял руку Швецова и пощупал пульс.

— Сердце здоровое, ноги здоровые?

— Ничего, — поспешно сказал Швецов, — но сражаться я не хочу.

— Спите! Я разбужу вас перед рассветом. Мы должны победить какой угодно ценой.

Кошки, снятые во время карабкания по скалам, были надеты снова. Еще на скалах Швецов вынул карту, и ветер сейчас же вырвал ее из его рук, и она полетела, ударяясь о камни, и снег поглотил ее.

Теперь везде светился зеленоватый лед, гладкий, как полированная доска. Глухо звенел вверху ледоруб Мольца, и куски зеленого льда то проносились мимо со зловещим шипеньем, то ударяли Бориса Никитича по голове и по ужасному мешку, который он тащил на себе.

Задыхаясь, фыркая, стоял он, зажмурив глаза, и под ним тускнела туманная глубина пропасти. Над собой видел он ноги Мольца, тяжелые красные сапоги, исцарапанные ледяными осколками и камнями, и сапоги эти, сопровождаемые железным визгом и скрежетом, восходили все выше.

Мольц работал, как каменотес, и лед действительно был подобен камню. Вся тевтонская мужественность Мольца уходила в широкий размах и короткий удар, и

лед откалывался не сразу ровно, а отлетал пластинами, неровными и острыми.

Борис Никитич знал всем существом, что, продлись эта пытка еще несколько часов, — и он умрет от разрыва сердца. Он вздыхал, он начал отставать, ноги дрожали, кошки начинали скользить по льду. Его ледоруб не входил в лед, он только оставлял на льду узкие порезы.

И вдруг сразу пахнуло сыростью, и серое облако окутало их. Мокрый от пота, стекавшего ручьем, стоял Швецов и, наконец, закричал. Туман заглушил его крик. Ледяные осколки перестали падать. Повидимому, Мольц остановился и прислушался. Облако разорвалось, понизу шла еще большая стена тумана. С бледными щеками, трясущимися губами, Швецов застрял. Он не мог ни за какие блага двинуться дальше. Он стоял, почти не владея собой и не чувствуя ничего, кроме стыдного, узкого, страшного голоса, шептавшего ему из синего тумана: «Ни шагу дальше, ни шагу дальше. Смерть».

— Где же вы? — донесся до него сверху туманный голос Мольца.

Он закричал в ответ, и через несколько минут туман донес еще глуше крик Мольца:

— Unmöglich, да?

Но это был голос чужой и не принадлежавший человеку. Швецов не ответил. Тогда где-то наверху разразился целый ураган. Обломки льда полетели вниз, свистя, роко-ча, шумя, и один осколок ударил в лоб Швецову и разрезал кожу до крови. Швецов сполз на ступеньку ниже. Он погибал. Ничто не могло остановить бегства, и, однако, бежать было так жутко, как будто опоры не существовало, ему приходилось шагать прямо в туман, как в загробный мир. Тут он начал бормотать ужасные слова, за которые он цеплялся, как за ледяные ступени. Потом он испытал припадок бессильной злобы. Он кричал и харкал, окутанный туманом, он исходил всеми стонами, какие полагаются человеку, стоящему на дрожащих ногах над неизмеримой глубиной, он был как канатный плясун, чувствующий, что ноги сейчас оставят натянутый канат.

Затем он раздвоился. Кто-то чрезвычайно властный сжимал ему кости и передвигал почти окоченевшие ноги

со ступеньки на ступеньку, все ниже и ниже. Второй человек, внутри Бориса Никитича, мог только стонать и плакать. Да, Швецов плакал, и слезы стыли, мешаясь с потом, и совершенно непонятно — по какому закону он еще держался, а не летел, широко раскрыв рот, помахи-вая ледорубом. Он держал ледоруб в руках и спускался, темный, как лед, гулко отсвечивающий вокруг. Времени туман расходился и обнажал всю безысходность его положения.

— Никогда... никогда... я... никогда, никогда я... — барабанили его побелевшие губы, и он остановился снова, потому что нога не могла найти ступеньки дальше. Ступенька исчезла, точно ее никогда не было.

— Стоять, стоять, — сказал он себе, но он не мог даже переменить позу и вслепую искал шипами углубления в зеленом ледяном щите. Наконец, он нащупал ступеньку, и лед хрустнул, когда шипы вонзились. Так спускался он неизвестно сколько времени, когда сверху, в белой мгле тумана, прошумело что-то недалеко от него, как легкая лавина или чересчур большой кусок льда. Он прислушался. В полной тишине тумана сердце билось уже не так сильно. Он спускался спокойно, вспоминая все советы, когда-либо полученные им ранее. И вдруг его ноги попали в снег. Тогда он сел и сидел, помня только одно: что лед кончился и ему осталось одолеть свежий склон, чтобы его отступление имело какой-либо смысл.

Туман не хотел рассеиваться, начался колкий дождь; он встал и встряхнулся. Мокрый снег был в руках, набился за пояс, за ворот, в карманы. Кругом из тумана над снегом начали торчать черные камни. Несколько больших темных предметов летели по воздуху слева от Швецова, прямо на него — и вдруг удалились, снова возникли и снова повторили странный полет. Когда они приближались, Борис Никитич наклонял голову. Он прошел по снегу двадцать шагов и нашел на снегу летавшие предметы. Это были камни. Они сейчас спокойно торчали из-под снега и не думали выходить больше из этого спокойного состояния. Тут он поскользнулся, потому что кошка выскочила из-под ноги — то ли лопнула неправильно повязанная тесьма, то ли он плохо завязал ее и она раз-

вязалась, но он упал и умчался вниз по снежному склону, пересекая полосу тумана и теряя сознание.

Никогда после он не умел рассказать и не мог вспомнить, что именно спасло его от гибели. Когда он очнулся, он лежал на снегу, в снежной воронке. Ноги его упирались в камни, и над ним сияло голубое небо, и только сзади него, на той высоте, где началось его бедствие, стояла черная туча, и изредка удары грома отлетали оттуда, как удары каменного молота по ледяной накопальне.

Тут он увидел, что он один. Весь мучительный бред подъема и спуска предстал перед ним в таком обнаженном виде, что клятву, данную на вершине бедствия, на месте остановки, среди тумана и хаоса, он подтвердил не слышными никому и выразительными словами.

Что же стало с его безумным проводником? Спасло ли его необыкновенное искусство горовосходителя, или его безмолвное тело промчалось тогда в тумане мимо Бориса Никитича с таким незаметным шумом? Ждать его в снежной яме было и глупо и опасно, потому что, пока он сидел, притулившись и раскаиваясь, он увидел две лавины, мощно содрогнувшие ледники напротив и взлетевшие пыльной тяжестью перед уступами внизу, устлав снегом место, и без того пересыпанное глыбами обвалов.

Он встал, ощущая неловкость в ногах и разбитость во всем теле. Оглядев себя, он обнаружил новый позор, не менее тяжкий, чем весь зловещий позор этого дня: он потерял кошку и ледоруб во время своего стремительного падения.

Поискав их поблизости и не обнаружив, он медленно пошел, ища дорогу к пещере, где они ночевали. Пещеру он отыскал, лег сразу и заснул. Проснувшись, достал из мешка теплое белье, переоделся, выпил коньяку, закусил рыбными консервами и вдруг закричал от радости. Так ведь он жив! Вот здорово — жив!

Тут он вышел из пещеры и устремил взгляд на вершину. На вершине носилась буря. Туман спустился уже и на тот снег, с которого турманом летел Швецов, и даже достиг той воронки, что остановила гибельный полет Бориса Никитича.

Швецов ахнул, и дрожь прошла по его телу. Он выпил весь коньяк и, сидя перед пещерой, не сомкнул глаз в эту ночь. Он ждал, что вот-вот из темноты выйдет знакомая высокая фигура с острой бородкой и скажет что-нибудь такое фигуральное,— и никто не вышел.

Мольц не вернулся и утром. Бүря бушевала всю ночь. Утром свежий выпавший снег лежал на всех черных уступах, злорадно сверкая.

Борис Никитич смотрел на девушку не без удовольствия,— хотя шел он, сгибаясь под тяжестью тяжеленного мешка, дав себе слово в первом селении нанять носильщика, но, встретив туземную девушку, он не преминул остановиться и поговорить.

Его удивило, что девушка идет как раз в сторону тех гор, откуда он так счастливо бежал. Разочаровало его то обстоятельство, что девушка не знала ни слова по-русски.

Она подняла руку и сказала:

— Москва.

— А! Да, конечно Москва,— отвечал он, думая, что она его спрашивает о его постоянном местожительстве; но, повидимому, девушка вкладывала иной смысл в это слово, потому что, проведя кривую линию от его истоптанных сапог к высотам, где горели снеговые щиты, она повторила, как заклинание, несколько раз слово «Москва».

— Эге! — сказал Борис Никитич.— Да не собралась ли ты, матушка, в Москву?

Он представил ее себе на Тверской или на Кузнецком мосту в разгар московского делового дня, среди трамваев, автомобилей, пешеходов, в этом черном платке, теплой кофте, в бандулях и с палкой, окованной железом.

— Эге! — повторил он.— Так ты думаешь, за этим холодным дермом тут так сразу и Москва? Здорово!

— Москва,— твердо проговорила девушка, и слезы заблестали у нее на глазах от злости, что он не понимает ее.

Он вспомнил исчезнувшего немца, не желавшего пускать никакой культуры в эту страну ради спасения населения от соблазнов, и он провел такую же линию обратно — от снегов к ее бандулям, от них вверх по долине, к Жабежу.

— Вот так — Москва, а так, — он показал назад на хребет, — нет тебе никакой Москвы.

А так как она не понимала, он взял ее за плечи. Девушка, подозрительно следя за его руками, позволила ему это движение, и он, повернув ее спиной к Тетнульду, показал ей вверх по долине. Девушка пошла по указанному направлению.

— Стой! — закричал он, догоняя ее. — Стой!

Девушка остановилась на крик.

— Не надо Москва, — сказал он. — Не надо тебе Москва. Сиди себе спокойно. Москва сама придет к тебе. Вот я — Москва, я уже здесь.

Но она опять ничего не поняла, протянула ему руку и пошла скорым шагом.

В Лалхоре, куда Швецов пришел после обеда, молодой грузин, стороживший школу, тренькал на гитаре и пел одну и ту же строчку по-русски:

Стояла на дикой скале...

Стояла на дикой скале...

Он пристал к Борису Никитичу, чтобы тот написал ему все стихотворение. Сгоряча Швецов стал вспоминать, вспомнить не мог и, вспыхнув, сказал, что он голоден и хочет купить хотя бы лепешек.

Грузин ушел, тоже разобидевшись, и Швецов сидел один на камешке, пока не начал накрапывать дождь. Облака спустились очень низко, и погода испортилась на целый вечер.

Когда совсем стемнело, грузин пришел в сопровождении неопрятного старика с клоками седой пакли и с таким носом, точно его когда-то основательно прищемили дверью. Грузин сказал, что этот человек продаст ему несколько лепешек, если он пойдет за ним, — лепешки лежат в его селении, вон там на горе.

Швецову хотелось спать, но он все-таки пошел за стариком. Тропинка сразу повела их в гору и скоро, сузившись, примостилась на мгlistом, скользком обрыве. Она потянулась невесть куда. Старик бодро шагал, бормоча себе под нос что-то подходящее, дождь начался снова, и мокрый Швецов шагал, уже раскаиваясь в своей опрометчивости.

Совсем стемнело, внизу ревела река, обрыв неизвестной глубины начинался под тропой, старик не отвечал на окрики Бориса Никитича и все шел и шел — согнувшись, непонятный и темный. Теперь они шли полями, мокрая трава была выше пояса и вымочила ноги.

— Это надо кончить! — сказал Швецов.

Но когда он подумал, что ушел уже далеко от Лалхора и зря, то ничего не оставалось, как следовать за стариком. За мокрыми полями пошли какие-то изгороди, они перелезали их бесконечное число раз, старик молча, Швецов вслух ругаясь, накальываясь на острые сучья; потом какое-то строение, похожее на часовню, встало слева, и они зашагали по крутым улочкам. Вокруг были пустые мокрые стены, не светилось ни одного огонька, не встретилось ни одного человека.

Башня загородила дорогу, и старик, отыскав дверь, пропустил Швецова внутрь помещения. Помещение поразило Бориса Никитича вопиющей бедностью. На земляном полу стояла длинная скамья и кресло, деревянное резное, с тяжелыми короткими ногами. Из темноты выходил ларь, и больше никаких вещей глаз Швецова обнаружить не мог. Жалкая светильня плавала в плоске, наполненной неизвестной маслянистой жидкостью. Мрак стоял во всех углах. Очаг был пуст и холоден. Связка сучьев валялась в стороне. От коптящей светильни шло не больше света, чем от гнилушки. Тьма около него сгустилась и приняла вид старухи. Шмыгая носом и крутя пальцами, старик что-то рассказал ей, и она подвинула Швецову кресло.

— А лепешки где? — спросил он.

Тут старик лег на пол и раздул очаг. Потом он подкинул дров. Огонь, повизгивая, начал пожирать сухие ветви. Ветер где-то под крышей замычал ксровой. Старуха при свете внезапно воспрянувшего очага стала не

спеша раскатывать тесто на доске. Тут понял Борис Никитич, что он дал ошибку, — лепешки существовали еще только в задуманном виде.

Он сел поглубже в кресло и стал смотреть на старуху, катавшую тесто; потом она приготовила несколько лепешек и, подув на шиферную доску, около огня положила лепешки. Глядя на этот как бы отгороженный кусок света, в котором двигалась старуха, наклоняясь и переворачивая то одной, то другой стороной тонкие лепешки, он с ужасом подумал, что она была когда-то молода.

Она плясала в хороводах и кружила голову этому инвалиду с пучками седых волос, воткнутыми в каменные трещины его щек. И всю свою долгую жизнь оба они провели возле этой коптилки и шиферной доски, в уединении старой башни, стоящей на горе за облаками!

Он вздрогнул. Казалось, в клубах дыма, долетевших до него, он видел всю нехитрую повесть этой страшной и простой жизни.

Она народила детей, их дочь где-нибудь также в башне этим августовским вечером дует на огонь; и ему надо было проехать тысячи километров и пройти еще сотни километров, чтобы сесть в это древнее кресло, пережившее много поколений, и увидеть таинство повседневной жизни людей заброшенной страны этой.

Что-то вроде жалости шевельнулось в его сердце.

— Ведь была же революция? — сказал он себе. — Неужели они так и останутся, как сейчас?

Старуха встала и протянула ему четыре лепешки. Он взял их из ее морщинистой и горбатой, как совок, руки и чуть не закричал от боли: он обжег руки, — лепешки были прямо из огня. Но старуха, удивленная, не поняв его крика, смотрела на него. Он вынул два рубля сорок копеек и отдал старику. Старик отошел к огню, и глаза старухи уставились на деньги. Швецов стоял и раздумывал, каким образом он понесет лепешки, они жгли ему руки. Но тут старуха ринулась к нему и с криком, похожим на плач, начала вырывать у него из рук лепешки, одновременно грозя головой мужу.

Чутьем понял Борис Никитич, что он дал мало. Он, не выпуская лепешек, держа их правой рукой, левой полез в карман, наловил немного серебряной мелочи и

подал старухе. Она отпустила лепешки и ушла вглубь помещения, забыв о существовании гостя. Швецов рад был покинуть этот замок нищих, но когда он выбрался на пустую и совершенно темную улочку, он попал под сильнейший дождь и остановился в совершенном недоумении.

Стоило ему пройти десять шагов, чтобы убедиться в том, что он навсегда заблудился. И в эту минуту появились собаки. Они рычали и лаяли оглушительно и злобно, наскакивая на него, стараясь вырвать лепешки из его мокрых и горячих рук. От лепешек шел пар, дождь мочил их. Он спрятал лепешки за пазуху, и пар шел теперь под рубашку, грел его и выходил наружу где-то около уха. Собаки прыгали, оставаясь невидимыми, только пасти их белели клыками у самого носа Бориса Никитича. Он стоял в этом маленьком каменном аду, прижавшись к холодной стенке, и будущее его было темнее закоулков этого заколдованного и забытого местечка.

Собаки удвоили усилия, и нежелание быть растерзанным навело его на мысль бросить лепешки собакам и бежать в холодной темноте по скользкой тропинке над обрывом, под которым редела река, но тут он нечаянно прижался к стенке посильнее, стенка подалась, и он чуть не упал на руки какого-то человека, поспешно отступившего в сторону. Стенка оказалась дверью, и он теперь стоял в комнате, на земляном полу которой пылал большой огонь, и на огромной цепи висел обычный котел, в коем — он узнал позже — варились кости барана и картофель. Дым ел глаза. Протирая их, Швецов сделал пируэт, чтобы удержать равновесие, и очутился нос к носу с человеком в прекрасном европейском костюме, невероятном для такого дымного и ночного места.

Человек в костюме приветствовал его легким кивком головы.

— Турист?

— Нет,— решительно сказал Борис Никитич и сел на скамейку, услужливо подставленную ему.

— Экспедиция? — спросил человек, несомненный сван, и, заметив слишком удивленный взгляд гостя, добавил:— Я свой человек.— Он показал на стены.—

Мой родственный дом. Зачем вы в Сванетии? Хотя сколько ходит разный народ; посмотришь, иной — в чем дух, — идет. И зачем идет, — сам не знает, зачем идет. Я понимаю, надо ходить, смотреть, дышать, учиться, но надо нам помогать. Разве так живут люди? Как темно, а?

— Отчего у вас столько воды и нет гидростанций? — сказал Швецов.

— Отчего у нас такие горы и нет дороги? — ответил сван. — А все ходят, ходят издалека смотреть, что мы так живем. Что мы — музей? Кладбище? Чучела? Мы живые люди, товарищ! Мы сильные, очень красивые люди.

Он поднялся и пошел к огню закурить.

— Иностранцы идут через нас, — сказал он, помолчав, — и все говорят: «Такой второй страны в мире нет». Я уложил одного спать на камне здесь, у цхундара, он сказал утром: «Второго такого ночлега в мире нет». Вы смотрите на мой костюм? Я делал его в Тифлисе. Я в Москве был, учился.

В дверь постучали. Вошел сван, отряхивая мокрую бурку.

— Виссарион, — сказал он человеку в европейском платье, — пойдем!

Виссарион заговорил с ним по-свански, потом пошел в угол, достал бурку и сванку, взял винтовку и сказал Швецову:

— Пейте араку, ешьте барана, я скоро вернусь.

— Вы на охоту, что ли?

Сваны засмеялись и ушли под дождь. Швецов не стал ни пить араки, ни есть бараньего супа. Ему дали постель, и он упал на нее, как человек, выброшенный во время кораблекрушения благодетельной волной, падает на камень; но предварительно он с жадностью горца съел все четыре лепешки, запив их чашкой холодного голубого мацони.

Он проснулся среди ночи.

Сваны пили араку и пели длинную, скачущую, как тяжело вооруженный человек, песню. Дирижировал сван в европейском платье. Увидев, что Швецов проснулся, он подошел к нему и, присев на край постели, сказал задушевым голосом:

— Какие бывают дела, дорогой! Одного кровника надо было доставлять в Кутаис, так он не идет, говорит: убьют по дороге те, что родные убитого. Мы обманывали их сейчас. Они пошли сторожить Мушур, а мы через Латпар его сейчас отправим.

— Такой ночью! Дождь! — сказал с испугом Швецов.

— Жизнь дороже такой ночи, дорогой! А теперь мы возлились и озябли. Будем греться. Вставай, если хочешь.

Он уже говорил «ты» Швецову, и Швецову было все равно. Вдруг он так ясно вспомнил встреченную им девушку. «В Москву хотела, а? Тут от такой жизни и не в Москву побежишь! Первопричина! — Он вспомнил немца. — Вот тебе и первопричина».

Пропустив огромные сани с оранжевыми быками, тащившими одно бревно, Швецов поднялся по холму, прошел между рядами тесно стоявших палаток Местийской туристской базы и зашел в крайнюю — зарегистрироваться.

В палатке на кровати сидел молодой человек, обложенный ледорубами, матрацами, подушками, одеялами, талонными книжками, папками и прочим инвентарем центрального пункта. Он ел руками мятую малину и запивал ее прямо из чайника нарзаном из близлежащего источника.

Борис Никитич сел и предъявил свои документы.

— Один? — спросил молодой человек, отправляя новую горсть малины в переполненный рот.

— Что один? — спросил Швецов.

— Я спрашиваю, вы один отстали от группы и один шли через Цаннер и сюда?

Швецов заколебался и вдруг покраснел. Было смешно краснеть в его годы, и молодой человек удивленно уставился на него.

«Сказать про немца? — подумал Швецов. — А в чем дело? Чужой человек, случайная встреча, у него какой-нибудь особый учет... Не стоит. Заявлю в Москве. Все равно не спасти».

— Один, конечно один; тут же видно из бумаг.

— Да мне все равно, — сказал регистратор. — У нас,

что один, что двадцать, — место есть, пожалуйста. Места нет — на тот берег посылаем ночевать. А едят все там, внизу. Сколько дней пробудете? На одного, значит, обеда, завтраки и ужины?

— Я же сказал, на одного, — уже с раздражением отвечал Швецов и поднял голову. У входа в палатку стоял тот самый русский, что пресмыкался перед сванами в Жабеже. Он стоял и смотрел подобострастными своими глазами в упор на Бориса Никитича, и тут Борис Никитич покраснел вторично, сам уже не зная почему. Регистратор оторвал ему талоны, и он поднялся идти. Жабежский подхалим пропустил его и, улыбаясь, сказал:

— С благополучным приходом вас! Один сегодня вы?

Швецов, ничего не ответив, быстро прошел в столовую, потому что было уже время ужинать.

«И почему я не сказал про немца? — морщась, думал он, поглощая макаронный суп. — Теперь он, вроде пиковой дамы, начнет меня преследовать по ночам».

После ужина он выбрал пустую палатку и лег спать. Разбужен он был ночью, потому что три молодца, загорелых, с облупленными носами и подбородками, складывали на свободные койки свои, похожие на тюки, заплечные мешки.

— Откуда? — спросил он спросонья.

— Мы с Эльбруса.

— Взяли Эльбрус?

— Взяли, да не все. Трое не дошли, двое были на вершине. Снег по пояс. Из ста человек десять дошли только в этом году, — сказали они. — Ну что ты копаешься, Володька? Доставай скорей!

«Они опоздали к ужину, разведут тут в палатке ночью хозяйство. Вот не повезло! — подумал Швецов. — Надо кончать с этой цыганской жизнью. Отпуск проходит, и семья в Пятигорске заждалась. Сейчас они будут вонять сухим спиртом и жарить яичницу...»

Он задремал, но громкие голоса разбудили его уже через десять минут. Сразу он даже не понял, что происходит. Свеча, воткнутая в бутылку, освещала палатку. На сдвинутых койках лежали три молодца и с быстротой

сумасшедших швыряли карты. Дикие полосатые их физиономии были сосредоточены до ужаса. Руки, привыкшие к ледорубу, хлопали по карте, как по рукавице. Глаза горели огнем одержимых.

— Во что это вы? На деньги? — полюбопытствовал он.

— Какое на деньги! В подкидного дурака всю дорогу режемся. Прямо страсть обуяла. На «Приюте одиннадцати» — мороз, бутылки с водой рвет пополам, руки сводит — играем. На «Кругозоре» — играем, на Бечо — играем. В дороге, чуть привал, — играем!

И они далеко за полночь швыряли мохнатые, измызганные, дырявые карты, обмениваясь почти бессмысленными восклицаниями.

На другой день Швецов познакомился со всей пестрой ярмаркой базы. Люди приходили и уходили каждый день. Каждый день, как на фронте, где-то в горах возникали боевые стычки, и донесения с ответственных участков поступали каждый день: те прошли Местийский перевал, эти завалили на Бечо лошадь со всеми одеялами и палаткой в трещину; там человек упал на Чалаате со скал и требуется помощь, лавина замела кого-то около Шхельды; собираются желающие на Лайлу, одни поднялись и не нашли Лайлы среди других вершин. Прославленный советский альпинист взошел на Миссис-тау. Ишаки, известные знаменитыми перевалами, трубили на всю Местию; собака, перешедшая Твибер, в столовой нагло требовала подачки и пила только нарзан, отказываясь от простой воды. Серьезные альпинисты проверяли снаряжение.

Геологи сдавали на хранение ящики с образцами пород; врачи проявляли снимки с изумительными зобами Нижней Сванетии и хвастались, у кого зарегистрированы зобы побольше и позатейливей; начинающие альпинисты мазали сапоги охотничьей мазью; радисты рассказывали, как они испугали одну сванскую девушку и она убежала, не оглядываясь, от их громкоговорителя; у женщины-метеоролога все спрашивали погоду на неделю вперед, и она не знала, что отвечать; пришедшие ночью туристы требовали вчерашний ужин. Ссорились проводники. Плановая группа выбирала в двенадцатый раз нового ста-

росту. Какой-то безумный фотограф, довольный собой, вылезал из-под груды одеял, где он перезаряжал пластинки, вопя на всю Местию стих собственного сочинения:

И вся моя аппаратура —
Для ваших опытов натура...

Это была настоящая ярмарка темпераментов. Отдельно от деловой суматохи сидели хвастуны.

Один рассказывал:

— Вы знаете «Греческую лестницу» в Чегеме? Вы идете, смотря по вашей храбрости. Один, два, четыре карниза. Узость невероятная. Нога не помещается, вы идете без сапог, держась только большими пальцами. Сто двадцать саженей обрыв. Я шел почти до конца. Балкарцы смотрели на меня снизу и падали в обморок от страха...

Поднимался хохот.

— И вы не упали?

— Как видите.

— Мы прыгали через трещины, — говорил другой, — с разбегу. Воткнешь альпеншток — и сажени три летишь по воздуху.

— Мы жили три дня на одном сухаре...

— Мы съели своего ишака.

— Мы траверсировали двух жандармов. Это было ужасно!

— Что такое «жандармы»?

— Вы не знаете что такое жандармы? Какой же вы альпинист? Это же особые башни, скалы, требующие специального обхода.

— Где же вы траверсировали?

— Мы заблудились на Дангусорунском перевале.

— Ах, на Дангусорунском, который ишаки без проводника переходят!

— Я предлагаю издать все альпинистские рассказы под названием «Вечера на хуторе близ Местийки».

Карты всевозможных масштабов шелестели, переходя из рук в руки. Хозяевам «двухверсток» все завидовали.

Швецов уходил, не смеясь и не присоединяясь ни к хвастунам, ни к серьезным высокогорникам.

— Пора кончать цыганскую жизнь, — твердил он себе.

Вечером была смычка туристов со сванами. Из двух бревен и горы стружек был сооружен такой пышный костер, как будто собирались жарить быка. Местные жители составили культурный хор, исполнявший народные песни сванов. Швецов сел тоже вместе со всеми у костра. Его тихонько толкнули. Он увидел рядом с собой русского из Жабеза. Ему захотелось сказать подхалиму что-нибудь обидное, но он сдержался. Бродяга сказал тихо:

— Извиняюсь, я спросить хотел, почему это вы один пришли? А где же ваш товарищ?

— А какое вам дело? — сказал с пеной у рта Швецов.— Идите вы!..

— А зачем же это вы смущаетесь, гражданин? Уж если вы смущаетесь, значит тем интересней выходит. Да вы не сомневайтесь...

— Послушайте, если вы приставать будете, то я вас выкину отсюда. Вы лечитесь прибыли? — Он так и сказал: «Прибыли». — Ну и лечитесь, а то я вас так уморю...

— Да неужели же вы немца уморили? — сказал бродяга.— Я вас и толкнул тихонечко, что в Жабезе разное говорят.

Швецов не знал, встать и уйти или вступить с бродягой в открытые пререкания.

— Да вы не сомневайтесь, — шептал бродяга, — ничего, я вам не помешаю существовать. Только, как я лечусь, лечусь...

Швецов молчал.

— Гражданин, — он тихо тронул за рукав Швецова, — гражданин...

— Не мешайте мне слушать, — яростно сказал Швецов.

— Гражданин, — не унимался бродяга, — в кооператив нынче вино привезли.

— Я не пью, — сказал Борис Никитич. «Ну зачем я с ним разговариваю? Черт знает что!»

— Я для лечения нуждаюсь хоть в литре, больше ничего, ничего больше, не сомневайтесь, гражданин. Живите один, мне что. Я прошу, если будет милость ваша, для лечения мне, хоть пол-литра. Не могу больше араки, душа не принимает...

Швецов дал ему три рубля, встал и ушел, не дослушав песен и не посмотрев пляски. А пляски действительно были хорошие.

Напротив шумного бивуака туристов стоит небольшой холмик — скромное возвышение, на котором любопытный может найти — даже несколько неожиданно для себя — две могилы. Около одной есть могильный камень, стоящий отдельно, с каменным медальоном, не имеющим портрета. Могила огорожена заборчиком, слишком высоким для могилы.

Накануне своего ухода из Местии Швецов увидел, как с этого могильного возвышения спускалась несколько необычная группа. Старый почтенный человек с большим достоинством и не спеша вел под руку немолодую женщину во вдовьей черной одежде. Женщина шла легко и печально. Несколько пожилых сванов ее возраста сопровождали ее, идя несколько поодаль, а сзади шагали юноши со значками КИМа, в свежих юнгштурмовках; около них шли еще сваны, и среди них Швецов узнал того самого ночного свана — человека достопамятной ночи путешествия под дождем за лепешками.

Швецов поздоровался с ним, и сван сейчас же оставил группу и остановился. Он был в том же европейском костюме, так же изящно небрежен, и белая сванка сидела на его голове слишком кокетливо.

Он сразу сказал, что его вызвали в Местию, чтобы сделать ему выговор, так как той ночью никого обмануть не удалось, и беднягу, направленного в Кутаис, все-таки убили на дороге, потому что засады были и на Мушурском и на Латпарском перевале.

— Ничего, — добавил он, — за него убьют еще кого-нибудь.

Швецов ужаснулся дешевизне человеческой жизни в стране и спросил, что это здесь была за процессия.

— Это на могиле Пимена, — отвечал сван. — Пойдемте, я вам покажу. Разве вы не были?

Они поднялись на холм и остановились у надгробного камня.

— Сегодня годовщина смерти Пимена Двали — двадцать седьмое августа. Он погиб на Тетнульде.

— На Тетнульде? — переспросил Борис Никитич. Что-то екнуло у него в сердце.— Как же он погиб?

— Сядемте здесь, в сторонке, я вам коротко расскажу, как было. Он погиб в двадцать девятом году. Они шли втроем: он, Джапаридзе Симон, Николадзе. Там есть такой лед, в котором даже трудно рубить ступени. Ну, они поднимались, поднимались. Симон, говорят, рубил очень маленькие ступени и очень высоко одна от другой. Пимен был маленький ростом и не мог так широко шагать. Пимен поскользнулся, хотел падать, Симон схватил его за плечи, и оба они упали и разбились насмерть. Их очень долго искали, их не сразу нашли; лучшие охотники — Зарабиани и Авалиани, Курашвили и другие — искали их. Симон завяз по грудь в песке и в снегу, — почти голый стоял так. Ну, Симона увезли в Грузию, а Пимена Сванетия очень любила, он был predispolкома, его положили здесь. Ну, каждый год вдова идет на могилу... Приходите ко мне, если вас интересует. У меня сам Курашвили, расскажет вам все. Ну, прощайте пока.

Весь день Швецов ходил, посматривая на могильный холм, и когда солнце начало свою закатную игру, он снова поднялся к могилам и сел у камня.

Прямо впереди могил, по ту сторону долины, над зелеными горами, над снежным барьером висела дымчато-белая пирамида Тетнульда. Точно внезапный стыд поколебал равновесие его ледников — они залились багрянцем, и багрянец прошел тончайшими потоками в самые отдаленные трещины, обволок ребра, растекся по исполинским контурам фирновых полей и начал трепетать. Оттрепетав, этот багрянец уступил место легкому румянцу, который исчез, как бы сдунутый порывом внезапного ветра, и сменился гневом. Зеленая мгла пронизала каждый уступ, и вся ледяная машина, переходя от изумруда к неясной нежности слабого аквамарина, начала новый трепет, как бы звуча в неимоверном просторе всеми оттенками, предательскими и нежными до того, что можно было заплакать от непереносимой сладости этого предательства. Но солнце уходило на запад все ниже, аква-

марин схлынул, и Тетнульд предстал таким свежим исполненным мертвецом, как будто у него только что вынули сердце. Бездыханная синева, сковывавшая ледники и снега, как судорога проходила по могучему торсу, и вершина его стала дышать сизым туманом, а ребра втянулись и почернели. Тени на нем стали до того холодными, что казалось, холод их долетает через всю долину до Местии, и на гору глядеть уже больно и страшно. Лучшего символа вечности нельзя было бы и придумать.

«И там лежит он, — подумал о Франке Ивановиче Швецов. — Один! Где-нибудь в снегу, голый по пояс, как Джапаридзе, и никто никогда не узнает, где он погиб. Так нельзя оставить, нельзя!»

Тетнульд вспыхнул последним смешанным взрывом красок и потух. Тучи начали наползать на него.

— Ишь ты, убийца! — сказал Борис Никитич и пошел скорым шагом прямо в палатку регистратора, но в палатке регистратор был не один.

Там сидела женщина-врач, специалистка по зубам, а Борису Никитичу лишних свидетелей не требовалось.

Поэтому он изложил вперед случай с летающими предметами на Тетнульде, оказавшимися после камнями, и просил научного объяснения. Мнения разделились. Регистратор говорил, что это признак усталости и, несомненно, признак начала расстройства нервной системы, а женщина-врач уверяла, что быстрое движение камней в воздухе было лишь оптическим обманом, вызванным неоднородностью изменений преломления и видимости. Регистратор продолжал спорить со всем задором молодости. Врачи же стало скучно, и она ушла.

Тогда, набравшись духу, Борис Никитич сказал, слегка волнуясь:

— Тут я отложил одно дело до более высоких авторитетов...

Он подчеркнул, что он настаивает именно на этих словах: «отложил до авторитетов», но так как все же надо внести ясность в это дело, то он просил записать следующее: он был не один на Цаннере и позже.

— Ага! — сказал глупо молодой человек.

— Почему — ага? Я попросил бы не шутить в таком, собственно, серьезном деле.

— Я не шучу,— отвечал бойкий молодой человек.— Но тут один человек говорил, что вы были с немцем.

— Да, я был с немецким альпинистом Франком Ивановичем Мольцем, инженером из Германии; откуда — точно не знаю. Мы совершили с ним переход через Цаннер и неудачное восхождение на Тетнульд, причем я благополучно вернулся, а он погиб на вершине.

— Погиб? — молодой человек широко раскрыл глаза.

— Да, погиб,— сухо сказал Швецов.— Вы не открывайте рот, а слушайте. Он погиб славной смертью, как гибнут все альпинисты, как этот... ну, вы должны знать, как этот... Сиг... Зиг... опять забыл.

— Как Симон Джапаридзе? — подсказал молодой человек.

— Ну да, и как погиб Джапаридзе.

Молодой человек растерялся.

— Почему же вы раньше не сказали? Почему вы молчали?

— Я вам повторяю, что я вам сообщаю все вкратце, а история эта будет разбираться не здесь, понимаете? И потом — я был нервно потрясен.

— Но спасательный отряд теперь поздно...

— Какой там спасательный отряд! Вы слушайте.

И он рассказал, как погиб Мольц, не упоминая ничего о себе и о своем поведении. И когда рассказал о буре и о смерти бравого немца, он почувствовал громадное облегчение.

Рассказ третий

Путешествие Бориса Никитича приходило к концу. Он устал, стал привередлив, в природе не находил ничего потрясающего; идя по болотистым дебрям Накры, он ругал себя за потерянное время, за лишние, ненужные ему переживания и, отмесив несколько километров снега, перевалил Донгус-Орун и, наконец, оказался в Тегенкли, где все ему не понравилось.

В бараках текло; хлебаник к обеду, ни к ужину не было, не было подвоза из Нальчика, гулять было негде, да он и не пошел бы гулять, компании подходящей не

было, да он и не искал ее; автобусы не ходили из-за дождей,— словом, он допустил тут одну ошибку, какую допускает или очень неопытный или слишком уверенный путешественник. Он пошел пешком в Верхний Баксан, сам не зная точно, как он очутится в Пятигорске, ибо из Верхнего Баксана расстояние сравнительно с Тегенекли уменьшается только на двенадцать километров, а вопрос дальнейшего передвижения осложняется раз в сто.

Вот почему в вечер, сильно похожий на осенний, когда по стеклам сбегал почти московский дождь и потолок казался еще ниже, а люди еще скучнее, он сидел в комнате дома, похожего на странноприимный, вернее— в бывшей кунацкой бывшего баксанского князя, и нехотя пил чай.

Узкий мельхиоровый самовар, окутанный жидким паром, плоское блюдо с мокрой малиной, яичница с сыроватым картофелем не могли развеселить его.

Его единственным собеседником являлся застрявший по делам в Верхнем Баксане работник кооперации Ибрагим Гурджиев, человек словоохотливый и, по его словам, истосковавшийся по свежим людям.

Он снял кубанку, расстегнул шинель и сидел, весь жилистый, худой, жестковолосый, похожий на африканского ворона, и, тонкими, почти женскими пальцами крутя ложку в мутном стакане, повествовал о себе.

— Я, признаюсь, даже ловлю прохожих, и когда они задерживаются здесь — очень рад. Редко здесь бывают люди. А чего им здесь делать? На эту грязь смотреть? — Он презрительно махнул в окно.— Ну, уж если сюда попал человек, он как в беде сидит. Тут я его и устраиваю. Я всех люблю устраивать. Я и вас устрою. Вам куда нужно? Вы из Сванетии или с Эльбруса?

— Из Сванетии,— сказал довольно вяло Швецов.— Мне надо в Пятигорск. Я хочу идти пешком. Тут дня четыре ходу, не больше, через Гунделен.

— Через Гунделен? Пешком? — почти испуганно сказал Гурджиев и даже повернулся на стуле.— А зачем вам пешком? Вам пешком не надо.

И при этих словах Борис Никитич ощутил род неловкого волнения, точно он дал обещание совершенно ненужное.

— Почему пешком? Вам нужно сидеть здесь со мной и ждать машину, машин будет две. Я же все знаю, я же всех устраиваю. Одна с поломанным колесом, она сейчас чинится и будет из Тегенекли завтра утром, — та вас не возьмет.

— А почему вы знаете, что она меня не возьмет? — обидчиво спросил Швецов.

Гурджиев сделал хитрое лицо.

— Я же горский еврей. Вы думали — я кабардинец или я балкарец, а я — нет. Я горский еврей. Есть такие особые евреи. Они самые особые евреи. Особей всех евреев. Даже джигитовку могут. Они все знают. Я же горец. Я же здесь родился. Почему вы не поедете? А потому, что вы не иностранец. Та машина только иностранных туристов возьмет и рабочих со стройки из санатория... А вот попозже будет ваша машина; она сейчас в Зеюкове застряла в грязи, ее трактором вытаскивают; так всегда там вытаскивают. Вот она вытащится и к вечеру будет здесь, но у шофера масла не будет, и он пойдет за маслом в санаторий. А в санатории масла не дадут, тогда он пойдет из санатория в базу, а в базе будут спорить, ну и он будет спорить: как же без масла ехать? Ну, а потом он достанет масла, но у него не будет бензина, и он будет просить хоть керосина в кооперации. А кооперация — это я. Вы понимаете, почему вы поедете на этой машине? Вы будете в тот же день вечером или утром на другой день в Баксане-городе, если грязь у Зеюкова поотлежится, потяжелеет, или на другой день к вечеру, если грязь не потяжелеет, не отлежится, а наоборот; а из Баксана-города, если будет почтовый автобус, то вы будете в Пятигорске через четыре часа чай пить — с вашей семьей, кажется?

— Кажется, — ответил, помрачнев, Швецов. — Это вы от скуки так порядки выучили?

— Я решил, знаете, людям пользу оказывать всякую. Вот, скажем, он, — Гурджиев живо обернулся и указал на молчаливо стоявшего у двери зрителя бывшей кунацкой, человека толстого и темнощекого, точно выкрашенного охрой, со странным именем Бабаш, что за все чаепитие не присел ни разу и не сказал ни единого слова, — вот, скажем, он: завтра вы спросите, сколько стоила эта яичница, эта малина...

— Я малины не ел,— перебил его Швецов.

— Ну, все равно как если вы ели, вы спросите, сколько стоит этот самовар и ночлег, и он, положим, скажет, двенадцать рублей, а я подойду и скажу: «Не платите, с ума вы сошли платить! Довольно четыре рубля, дайте ему четыре рубля!» Верно, Бабаш? Вы и заплатите четыре рубля и ни копейки больше. Верно, Бабаш?

Бабаш кивнул головой, скрестив руки на животе.

— Почему это так? — осведомился Швецов.

— Натура такая, с запросом,— сказал словоохотливый Гурджиев и начал жадно пить чай с блюдечка.— Я много тут пользы оказывал. Давеча, дня четыре назад, идут себе две дамочки — к Бабашу, конечно. Переночевали и, слышу я, собираются через Кыртык идти,— такой перевал есть на Кисловодск. Я думаю: «Дамочки, милые, не пойдете. Я вас не пушу». Завожу разговор, как с вами: «Почему это так одни вы идете?» — «Да был, говорят, у нас мужчина, вчера отстал и до сих пор нет». — «Где же он отстал?» — «Не знаю, говорят, пришла ему надобность, и отстал». — «А вы что же не беспокоитесь?» — «А что же нам беспокоиться, он не чужой, а свой. Был бы чужой — беспокоились бы, а свой догонит нас, и все тут. Хотим идти без него через Кыртык». — «Нет,— говорю я,— вы на Кыртык сейчас не ходите». — «Почему это так?» — говорят. «Бандиты, опасно на Кыртыке. — А я нарочно говорю, чтобы испугать их. Ну куда им двум по горам идти? — Ждите, говорю, вашего близкого». И приходит так через два дня в сумерки близкий мужчина с палочкой. А оказывается, он шел и захотелось ему купаться в Баксане. Прыгнул в реку, где мелко, и сразу камнем порезал ногу. И два дня у балкарцев лежал. Ну, я собрал их троих вместе, и они уехали. Так вот никакого «пешком» и не вышло. И вы не пойдете пешком. Я против, чтобы пешком.

И вдруг этот человек начал нравиться Швецову, и кубанка его стала очень милой, и расстегнутая шинель располагающей к себе. Борис Никитич опрокинул стакан вверх дном в знак окончания чаепития, отодвинул его на самый край стола, чтобы не мешал, и — жаркий, обветренный, сутулый — сел поглубже на доски, прикрытые кошмой.

— Я сам дал себе клятву пешком не ходить больше... по опасным местам,— поправился он.— Я шучу, конечно, что клятву, но все-таки, пожалуй, клятву. Никогда больше по снежным горам ни на какие вершины не лазать. К черту!

— Многие этим занимаются с увлечением, многие; мне пока это мало понятно немножко. Я вам расскажу, какие бывают...— начал было Гурджиев, но Борис Никитич решительно остановил его и продолжал:

— А почему? На моих глазах погиб человек. Какой человек и как погиб? Знаменитый альпинист, немецкий альпинист! Мы с ним на пару ходили. Мы лезли с ним два дня по таким ледяным стенам, что руки начинают дрожать, когда вспоминаешь; и, наконец, уже лезть некуда, некуда — стена! Я говорю ему: «Уже держаться не за что, назад»,—говорю, а он все лезет. В чем дело? Тут туман поднимается, все принимает зловещий вид, холодно, Северный полюс!.. Стоять не на чем.— Борис Никитич вытянул ногу.— Видите, сапог? Полсапога помещалось на скале, остальное — в воздухе. Ей-богу! Я догоняю его и спрашиваю: «Сейчас же назад?» Но он глядит, у него в глазах я вижу явное безумие...— Борис Никитич сказал с особым удовольствием, как бы любуясь словами:— Явное безумие! И тут нас закрывают облака. Я зову его, я плачу... да, да, слезы, как у бабы, замерзают на щеке... И нет выхода. Голая смерть! И в этом облаке я отступал, не помню как; а когда облако ушло и буря окончилась, немца больше нет.— Он перевел дыхание.— И никогда не будет. С того числа я не охотник пешком лезть на небо. Спасибо! Я работник инспекции, тут мне никакие джунгли не страшны, никакие кошки не надобны, а вы — работник кооперации. Понятное всем дело. А этой непонятной фантастической профессией, неопределенной по существу, определенно смертельной, я больше не занимаюсь. Я нервно потрясен.

Гурджиев почесал свою смолистую бородку.

— Ужасная история!— сказал он, помолчав. Еще помолчал из уважения к мрачности рассказанного, тихо свернул папиросу, взяв табак прямо из кармана, где он лежал у него вперемежку с огрызками карандашей, клочьями бумаги и кусками сахара.— Да, ужасная исто-

рия. И вот я вам расскажу. Пришла из Сванетии сюда одна девушка-сванка...

— Пришла?! — вдруг воскликнул Швецов. — Неужели та самая?! Я же встретил одну, она мне еще говорила: «Москва, Москва», но я думал — это шутка. Позвольте, но как же она пришла? А перевал как же, снег, лед?

— Один старый охотник ее провел через перевал. Я ее в Нальчик отправляю. Я по-свански говорю, я же всюду жил здесь. Ну, расспросил ее: «Москва, Москва». Думаю, пусть едет, почему не ехать? Хорошая девушка! Пусть едет в Москву, пусть едет. Я всем помогаю, почему ей не помочь? Дал ей письма к знакомым партиям в Нальчик.

— А где же она сейчас?

— Она в соседней комнате, где и вы спать будете. Она с немцем своим сидит.

— С каким немцем? — спросил подозрительно почему-то Борис Никитич, точно его немец был единственным на свете.

— Так ведь я вам не досказал. Она даже научилась его по имени звать. Все имя не выговорить: Франк Иванович, так она...

По странной неловкости Швецов так переставил ноги, что стол качнулся, стакан упал и разбился.

Не спуская с него внимательных глаз, Гурджиев подобрал осколки и положил на стол.

— Вот за это Бабаш скидки не даст! В дополнение к вашему немцу этот Франк Иванович отделался дешевле: он тоже лазил много, и на Тетнульд лазил, и на Шхельды, и где он только не был, и все — один. И около нас уже, здесь в горах, там, на льдах, лавина бросила его в трещину, и он сам говорит, — по-русски очень хорошо говорит; в России в плену был, — что никакие бури не страшны были, как эта лавина. Он два дня прожил в трещине; чуть ноги поморозил и расшибся, конечно. Ну, вылез из трещины, пошел по ледникам — идти не может, упал. Тут как раз девушка с охотником и подобрали его. Если вам интересно, вы с ним поговорите, если хотите. Вам, наверное, очень интересно. Может быть, он вашего немца даже знал.

Борис Никитич промычал что-то невнятное.

— Как его фамилия? — спросил он.

— Фамилия? Мольц, Мольц его фамилия. Наверное, какой-нибудь фон дер Мольц, но скрывает.

— Как вы сказали? Мольц или Гольц, фамилия? — выдавил Швецов с таким усилием, что Гурджиев раскрыл глаза, как настоящий африканский ворон.

— Мольц его фамилия, эм, эм...

— А! — пробормотал Швецов.

— Нелюдимый он очень, — продолжал рассказывать Гурджиев. — Лежит и со сванкой все знаками объясняется.

— Так, так, — сказал, смотря в сторону, Борис Никитич. — Чего же это она из Сванетии убежала? Хорошая страна, красоты неописанной! Но скучная, скучная, — он начал сбиваться. — Вы, кажется, в кооперации работаете здешних мест?

— Я много здесь работаю, — уклончиво сказал Гурджиев.

Борис Никитич, наконец, преодолел досадное волнение.

— Я вот интересные наблюдения сделал по дороге. Вот в долине Накры, здесь, за перевалом, — леса замечательные! Еловый лес, орешник — сколько угодно, хмель, плющ, виноград; мрамор лежит глыбами — неиспользованный. Буковый лес — неиспользованный. Три человека одно дерево обнять не могут. Этакie стволы, больше, чем в тайге.

— И мышей много там, — сказал Гурджиев. — Мыши по вас бегали? Мыши, когда вы спали?

— Не замечал, но, кажется, бегали... кажется, бегали.

— Вот! Где мыши, там и буковый орех. А где буковый орех, там и медведь. Мы этот год какие деньги платили за буковые орехи, знаете? Что? Вы спорите, куда они идут? Они на масло идут, на экспорт.

— Так ведь надо нам туда забраться! — воскликнул Борис Никитич, увлекаясь новой темой. — Надо туда залезть, в эти чащи. Там же все безхозное. Ведь это какие доходы! Вот давайте прикинем, подсчитаем. Это же в общем и целом чертовски рентабельно!

И, с преувеличенной быстротой достав блокнот, Борис Никитич начал его исчерчивать выкладками и цифрами будущих доходов накрских лесов, если туда провести дорогу и организовать правильный сбор буковых орехов. Он вернулся в эту минуту к своей основной профессии, и здесь его уже трудно было выбить из седла.

Они так засиделись, что когда пришло время идти спать (Бабаш уже давно ушел), Гурджиев на цыпочках пошел впереди него, делая знаки и говоря шепотом:

— Все спят уже. Я в лампе приспустил фитиль, вы раздевайтесь и ложитесь. Как ляжете — погасите.

Вторая кунацкая бывшего балкарского владыки была огромных размеров комната с пятью ложами самого странного вида: тут были и скамьи, покрытые постелями, и диваны, и даже двуспальная кровать. Борису Никитичу достался узкий диван у входа. Он быстро разделся и, не рассматривая спящих соседей, погасил лампу, натянул одеяло на голову и заснул.

Проснулся он поздно. В комнате никого не было. Солнце играло на стеклянных графинах изумительной формы, изображавших стебли каких-то стилизованных лилий, — остатки былой роскоши феодальных времен. Никто не рассказал ему, что рано утром, когда за немцем пришли, чтобы проводить его к автомобилю, Гурджиев остановил Франка Ивановича и, указывая ему через комнату на безмятежно спящего Швецова, сказал:

— Этот гражданин вчера спрашивал про вас. Мне кажется, что вы знакомы. Посмотрите, пожалуйста. Что?

Мольц поспешно оглянулся на спящего, на ходу сказал равнодушно:

— Нет, вы ошиблись, — и вышел.

Гурджиев пошел в кооператив, Франк Иванович прощался со сванской девушкой, немцы-туристы приветствовали его из автомобиля. Он вдруг спросил:

— Что это на дороге? Еще машина?

— Вы разве не видите, что это лошадь? — удивленно возразили ему.

— Я не вижу почти ничего,— сказал он холодно.— Я ослеп на ледниках. Лавина разбила мне очки. Я буду видеть только через две недели. Помогите мне сесть.

Все дружно кинулись ему помогать.

Гурджиев не солгал. У маленькой терраски кооператива стоял грузовик, полосатый от трудной жизни, и шофер снимал грязь с колес дырявой лопатой. Грузовик был окружен такой тесной толпой, точно все население Баксана хотело уехать на этом грузовике и только не знало, с чего начать.

Все ближайшие окна были полны любопытных глаз. Любопытные прибывали с каждой минутой. Они уже сидели на мосту, на крышах, они стояли на всех уступах аула, они появились даже на тропинках над селением. По всему было видно, что население Баксана, не имея представления о театре, жаждет зрелища.

— Вы поедете! Я вам говорю — вы поедете! — Гурджиев проталкивал Швецова в самый первый ряд.— Вы и девушка обеспечены.

— А где она?

— Она боится еще, когда много людей. Что я сделаю? Она едет в Москву. Ха! Как будто там мало людей. Но пусть едет. Я приведу ее, когда будут все садиться.

Совещание сельских и кооперативных вождей было окончено, они появились на балконе кооперации, и началась посадка. Первым взошел на грузовик балкарец с винтовкой. Он сел прямо на борт, и рядом с ним сели еще два балкарца, перед которыми сейчас же заволновалась кучка женщин, очень удрученных и озабоченных. Три старика смотрели на двух балкарцев пепельными глазами. Рядом с этими балкарцами сел, легко вскочив в машину, сван, судя по одежде и по лицу.

— Семен! — закричал Швецов, узнавая в нем своего спутника по Цаннеру.— Как ты попал сюда?

Он протиснулся к свану и взял его за руку. Да, это был Семен Гарселиани, но без его беззаботного самодовольства. Как подбитая птица, сидел он согнувшись и

ничего не ответил Швецову, вынул мятую папиросу и закурил так меланхолично, точно он сидел не посреди множества людей, а на камне, на леднике, в полном одиночестве.

— Ты что же это, говорить разучился? — закричал Швецов. — Семен!

Человек с винтовкой величественно сказал Швецову:

— Не беспокой его. Пожалуйста, прошу, не надо.

— Почему это, кто же он такой?

— Они арестованы, — сказал гордо балкарец, играя винтовкой.

Гурджиев уже объяснял вполголоса:

— Два балкарца едут в Нальчик за конокрадство, а сван за то, что перегонял бычков, бычков из Балкарии в Сванетию. А это запрещено: тут же мясозаготовки.

На грузовик набросились женщины. Они молча лезли, срывались, подсаживали друг друга, толкаясь и смяв свежие свои юбки и содрав весь блеск с начищенных туфель и ботинок; они уселись и враз заговорили, нарочито весело и громко.

— Куда, куда? — вскричал шофер. — Думаете, залезли, так и оставлю вас? Как же, ждите!

Женщины еще больше сжались и не хотели слушать его угроз.

— Почему они такие веселые? — сказал Швецов. — На свадьбу, что ли, едут?

— Они едут на похороны, — сказал Гурджиев. — Все равно, веселиться же им надо? Шофер зря кричит, он их, конечно, подвезет. Тут недалеко, через три селения. Он так просто кричит, за свой престиж кричит...

Потом пришли учителя, ехавшие на районную конференцию. Они вошли на грузовик, как на трибуну. Разноцветные кафтаны и щегольские френчи их как будто сошли с плаката. Учителя уселись с почти напыщенной серьезностью, но сразу оказались веселыми балагурами.

— Ну, садитесь и вы, — сказал Гурджиев. — Я побегу девушку сажать; вы уж за ней посмотрите.

Борис Никитич влез в тесную толпу пассажиров и сел на свой мешок так, чтобы видеть приход сванской девушки.

Внимание его, однако, невольно перешло на другое. Женщины, молча оплакивавшие конокрадов, засуетились, шепот пошел по их рядам, и затем девочки, примчавшиеся из глубины селения, принесли арестованным бурки и новые рубашки. Арестованные с большим самообладанием, принимая, как должное, эти вещи, сели на бурки и сложили рубашки на коленях. Девочки побежали снова в аул и появились, таща на плечах подушки и одеяла. Девочки убежали снова в аул и принесли новые сапоги, блестящие, как куски антрацита. Арестованные сидели молча, переглядываясь со своими родственниками. Потом девочки принесли им новые шляпы и новые кафтаны. Тогда они стали переодеваться тут же на грузовике во все принесенное. Постепенно они переодевались, как актеры, на глазах толпы, превращаясь в фигуры скорее свадебные, чем подсудные.

Борис Никитич подумал о том, как мало мы в сущности уделяем места какому бы то ни было ритуалу в быту. Он вспомнил, как он лихорадочно натягивает штаны, швыряет через голову рубаху, завязывает криво шнурки ботинок; он представил себе, что его семья несет ему утром так же торжественно, как здесь, принадлежности туалета.

Теперь люди на грузовике имели вид толпы легких путешественников. Как только прекратились передачи, арестованные, ничем не выдавая своего волнения, начали пожимать руки плачущих женщин. Подошли старики, подошли знакомые. Образовалась прощальная очередь. Наконец, им принесли напоследок пачку денег и четыре пачки папирос.

И тут Швецов увидел долгожданную сванскую девушку. Он сразу узнал ее. Конечно, это была та самая, что он встретил около Адиша. Она только почернела и похудела, но красивей не стала. Гурджиев осторожно подводил ее к грузовику, по дороге объясняя сложное чудо впервые явившейся ей телеги, едущей без быков и имеющей столько толстых колес. Но девушка, слушая его, смотрела — как с удивлением заметил Борис Никитич — только на Гарселиани. «Свой своего узнает», — подумал он. Девушка всматривалась в свана, однако, не совсем равнодушно. Казалось, она в чем-то сомневается.

— Гарселиани! Гарселиани Семен! — закричал балкарец с винтовкой. — Папирос нету? На папиросу, кури!

Гарселиани повернулся к говорившему. Девушка побледнела, оглянулась по сторонам, и рука ее схватилась за винтовку стоявшего рядом с ней милиционера. Тотчас же она опустила винтовку, опустила глаза и, уже не смотря ни на кого, подошла к грузовику. Гурджиев помог ей влезть, и она сохранила спокойствие до самого отъезда. Когда грузовик тронулся, она закрыла глаза.

— От техники, как от женщины, никуда не уйдешь, — с облегчением сказал Борис Никитич, когда грузовик тронулся, и тотчас же вспомнил своего немца.

Странное сочетание чувств прошло внутри его. Ему было жаль, что немец не погиб, что он не может теперь с легким сердцем рассказывать трагическую историю восхождения своего; ему было досадно, что он дал такую торжественную клятву себе — не вступать больше в горы ни ногой; ему, наконец, было обидно, что все в грузовике занимались анекдотами, шутками, рассказами, обменивались впечатлениями, и только он да сванская девушка сидели безмолвные, как тюки. Он взглянул искоса на девушку.

Иоржи смотрела такими нехорошими глазами на Гарселиани, такими холодными, полными стеклянной злобы, что Швецову стало неуютно.

Грузовик мотало над пенистым Баксаном, но девушка не замечала этих толчков. Она смотрела только на свана, точно мало было человека с винтовкой для его конвоя и ей поручили не сводить с него глаз всю дорогу. Она ни слова не сказала ему. Он же не обращал на нее внимания, то ли занятый обдумыванием своего печального положения, то ли не подозревая, что она сванка, и принимал ее за балкарскую учительницу, спешащую на конференцию, или за балкарку, едущую на похороны.

Грузовик часто портился и останавливался то на лужайке, где все валялись по траве, не исключая и арестованных, то среди скал, и тогда все лазали по камням, собирая цветы или отыскивая горный хрусталь, которого не было; и арестованные уходили за кусты одни, лазали

на скалы и вообще никак не выделялись из общей толпы пассажиров. Человек с винтовкой смотрел за ними вполглаза.

Иоржи уходила в сторону и сидела одна, издали рассматривая людей, с которыми ей придется жить; изредка она хватала за руку Бориса Никитича, если машина на сокрушительном толчке слишком кренилась, но она тотчас же находила мужество никак не отразить, ни криком, ни смущенной улыбкой, свое беспокойство и свой страх.

Изредка попадались арбы, и с них кричали разные приветы; попались всадники. Один всадник долго состязался с грузовиком, посрамляя его как угодно. Он подъезжал, ехал сбоку, разговаривал со знакомыми, потом прощался, и грузовик уходил далеко вперед. Тогда он гнал коня, и конь с растрепанной гривой, клокоча всей собранной в одно движение силой, легко догонял грузовик, опять шел рядом с ним, опять отставал, делался игрушечным, превращался снова в вихревой столбик и снова догонял. Все развлекались этой благородной игрой, прекрасным конем и прекрасным наездником.

Горы становились все меньше, все больше теряли в грозной своей красоте, и только река бурлила еще по-прежнему вызывающе.

Неистовые думы одолевали Бориса Никитича. Мысленно переносился он к сияющему зловещему румянцу фирновых полей Тетнульда, так странно вошедших в его жизнь, к немцу, едущему среди своих соплеменников и рассказывающему о нем, Борисе Никитиче, сухим и железным альпинистам с их странной, нечеловеческой страстью к холоду, одиночеству и опасности, то вспоминал он добрых наших ребят, взявших Эльбрус и ночи вместо отдыха проводивших за дурацкой игрой в подкидного дурака, то вставала жуткая фигура сганского старика, ползающего со старухой по земляному полу, раздувая ночной огонь тоскливой башни, — как бы замурованного навеки, — и некая грусть нисходила на него и осеняла его, как вечернее сияние, устало пробежавшее по сторонам дороги и меркнувшее с каждой минутой. Так, суровым, ехал он посреди веселого гама дорожных разговоров.

И только тень улыбки изобразили его губы один раз, когда, после краткой остановки у колхозной лавочки,

грузовик, отъехав уже несколько десятков саженей, был остановлен громкими криками догонявшего его человека. Человек спотыкался и бежал, крича неистово и не прерывая бега.

Уже крикнули шоферу, чтобы он не обращал внимания на эти крики и ехал спокойно, что брать больше некуда новых пассажиров, как оказалось, что это бежит забытый в лавочке балкарец-конокрад. Общий смех встретил беглеца в грузовике, а он сам, стыдливо улыбаясь, вытирал пот.

К ночи грузовик въехал в тяжелые волны грязи и забуксовал. Это были места, прославленные авариями, проклятые шоферами и омытые слезами несчастливцев, попадавших сюда после дождей.

Единственный фонарь отказался светить. Море грязи бушевало у самого грузовика. Слезать можно было только в грязь. Ночевать приходилось в грузовике или выбирать другие способы. Начались летучие сговоры.

Обнаружилось, что недалеко от грузовика есть небольшое селение, но к нему могли попасть только знающие дорогу туда. Луна медленно выходила, и мертвое пространство грязи стансвилось зеленым и фиолетово-свинцовым. Балкарцы-учителя соскакивали один за другим.

Сванская девушка сидела, закрыв лицо руками, на дне грузовика.

Арестованные балкарцы стелили себе княжеские ложа на бурках и кошмах. Они даже хотели положить ноги на ноги сванской девушки, и Борис Никитич самолично сбросил их тяжелые сапоги, на что они заворчали, а их страж обеспокоенно сказал:

— Что ты? Они же арестованы. Они должны спать.

— Какого же черта они хотят спать, как князя, если они арестованные? — ответил раздраженно Борис Никитич, завернулся в одеяло и впал в сонное, настроженное оцепенение, прерванное только раз за всю ночь, когда его толкнули, и он увидел, открыв глаза, как сван перелезает через борт, и услышал, как человек с винтовкой говорит: «Там бревно на речке, мост плохой, осторожней, Семен». На что тот ответил, прыгая в грязь: «Я те места знаю. Был здесь уже...» Ему стало холодно,

он начал подвертывать под себя одеяло и заметил, к своему удивлению, что сванской девушки в грузовике нет.

«Наверное, она с кем-нибудь ушла ночевать в селе-ние», — подумал он и заснул.

Проснувшись перед рассветом, он увидел в голубом сумраке широкой долины, что девушка спит рядом с ним крепчайшим сном.

Рано утром пассажиры, невыспавшиеся, хмурые, начали собираться со всех сторон к грузовику. Подсохшая грязь все еще была грозной; она держала машину, как магнит. Когда собрались все, произошла своеобразная поверка. Не хватало одного свана. Все остальные были налицо. Начались поиски. Конвоир, растерянно моргая глазами, махал винтовкой. Все говорили разом. Конокрады давали советы. Потом составили группу, которая отправилась на хутор за рекой, где ночевал сван.

Не сильно заинтересованный всей этой суматохой, Швецов спокойно сидел на своем мешке, не вступая ни в какие споры по поводу беглеца.

Через полчаса ходившие на хутор вернулись ни с чем. Гарселиани не ночевал на хуторе, но если он бежал, то бежал без сванки, без своей неразлучной войлочной серой шляпы с обрезанными короткими полями, потому что она плавала около берега в тихом затоне, и ее выловили и принесли как доказательство — чего?

Всласть поговорив и поспорив, вручили шляпу конвоиру, и грузовик тронулся. Борис Никитич взглянул на сванскую девушку.

Она приобрела тот характерный оттенок черствости, какой свойствен женщинам после бессонной ночи, но сквозь эту мирную черствость сквозила такая воинственная тень торжествующей ненависти, что Борис Никитич, как зачарованный, долгую минуту не мог оторваться от ее лица.

М И Р А Б

— Я проспала,— закричала Гуль-Джамаль, отбрасывая одеяло.

Поля из Иолотани стояла на пороге с ворохом плакатов. Она была инструктором по шелководству на контрактации грены; среди синих халатов она проходила из аула в аул, без шляпы, без пальто, как на прогулке. Из аула в аул, день за днем — неделями. Когда случайные люди спрашивали ее, где она научилась так хорошо говорить по-туркменски, она делала удивленные глаза: среди народа жить да язык не знать, на что это похоже!

— Как ты чулки-то надеваешь, Гулька,— сказала Поля,— шиворот-навыворот...

Гуль-Джамаль пропустила свои быстрые пальцы под легкую кожуру чулка и сбросила его с ноги.

— Тебе хорошо смеяться,— сказала она,— ты родилась в чулках, а я, ты сама знаешь, как давно я стала носить европейское платье. Я тебе скажу: первый раз надела платье, чулки, туфли иду по улице — все смотрят, все злобятся, все смеются, от стыда деваться некуда. И правда, все непривычно. Платье выдали узкое, грудь, как облитая, наружу, юбка короткая — это после наших длинных штанов до полу, чулки спускаются, без халата, без рубашки нашей громадной. Теперь привыкла. А чулки всегда не той стороной надеваю.

— А я вот туфли на высоких каблуках не обожаю.— Поля сложила в угол плакаты и рассматривала свои заго-

релье руки. — К чему они — туфли. В наших песках с ними некуда. Нам форсить, Гулька, некогда. И верхом с ними неудобно — стремя цепляют. Ну, Гуль-Джамаль, скорее одевайся, я тебе помогу помыться да побегу. Я уезжаю в Хотаб.

Солнце сидело на кромке желтых барханов, уходивших в немыслимые шири пустыни.

Люди в халатах и люди в одних рубахах работали кетменями в узких и глубоких коридорах арыков, среди однообразных гулких шлепков выбрасываемой глины. Зеленые ковры люцерны и черные косматые шары знаменитых карагачей селения ощущались как стоящие в другом мире. Техник не раз опускался на самое дно арыка и щупал палкой толщину земли, задавившей воду.

Слово «вода» в этой стране было самым драгоценным словом. Распределителями воды по выбору селения всегда назначались опытейшие бородатые люди, знатоки законов водяной жизни, хранители бесчисленных порядков арыков, разносивших благословенные воды на сожженные солнцем глины. Их звали, этих почтенных людей, мирабами.

— Где же мираб? — спросил техник. — Черт его знает, как быть с тем ответвлением. Я запутался прямо — налево поворот, налево поворот, направо пошло и опять направо, который настоящий арык — черт его знает...

— Мираб здесь, — закричала Гуль-Джамаль.

Да, Поля из Иолотани могла гордиться подругой. Гуль-Джамаль легко несла тяжелый труд мираба. На хошарных работах, когда Аму-Дарья в одну ночь, срезав головы арыков, заваливала их глиной и песком и нужно было часами расчищать арыки, она всегда наравне с техником руководила работами.

Она родилась с гулом воды и крови. Вода пела в ее ушах особым голосом, ей одной понятным. Она знала наизусть порядок пуска воды по бесконечным жилам арыков, она сейчас угадывала, где нужно перекопать легкий вал, чтобы вода, задавленная глиной, снова, играя, пошла бледной струйкой к селению, все узлы этих голубоватых потоков были в ее тонких руках. До революции ее не подпустили бы и близко к священному труду

мираба. Она бы носила на голове тяжелый котел «саммока», обвешанный монетами, яшмак зажал бы ее узкие губы, она спотыкалась бы по глине с ведром из верблюжьей кожи, теряя с ног рваные туфли.

Тоскливо, выворачивая душу, скрипели чигири. Верблюды с завязанными глазами, чтобы не сойти с ума от бесконечного кружения, тащили из колодцев одни и те же сосуды с водой. Перед ними сидели старики, тупо уставив глаза в землю, водя по земле тонкими ивовыми прутиками.

Полдень вывел людей из огромной глиняной пропасти. Положив кетмени на плечи, рабочие шли обратно в селение. У карагача на деревянной шатучей скамейке сидел старик, распахнувший халат и злобно чесавшийся. Увидав Гуль-Джамаль, он сплюнул:

— Что толку, правоверные, если дехканин увидит осенью, что он получил меньше люцерны, хлопка и пшеницы, и спросит: «Зачем твой колхоз?» Ты будешь каяться и бить себя по бесплодным чреслам: зачем твой колхоз?

Гуль-Джамаль подошла так близко, что край юбки коснулся пестрого, как язва, халата.

— Хаджи-кули, почему ты опять пришел? Нечего делать баю в колхозе, бывшему баю...

Старик улыбнулся, как улыбаются больные обезьяны. Он вынул из-за пояса тыкву и вытряс горсть синего порошка на ладонь. Он не проглотил порошок, он скатал его в шарик и спрятал шарик между языком и губами.

— Люди,— зашамкал он, перекатывая во рту шарик,— люди растерялись, женщина, они не знают, живут они или не живут... с твоим колхозом.

— Ты черный человек,— сказала серьезно Гуль-Джамаль.— Ты не понимаешь новых дел. Как сказала Тойдже: «Я потеряла сына-батрака, я прошу успокоить мое сердце — пусть уйдут все, кто не хочет,— я останусь в колхозе». Как сказал Измаил: «Гоните меня из колхоза— я не уйду, я батрак, а колхоз — это дом батрака».

Старик глядел полными отчаяния глазами на стройные ноги девушки в рыжих новых чулках.

— Женщина без стыда — как пицца без соли,— сказал он,— отойди от меня. Я гляжу, милая, чтобы не умереть с тоски. Придет, о, придет Али-Мухамед и, как огонь,

пожрёт твой колхоз. И ты заплачешь, женщина, и будет поздно.

Тогда Гуль-Джамаль внимательно посмотрела на старика и вспомнила историю милиционера Али-Мухамеда, бежавшего в Афганистан и ставшего басмачом,— милиционера, бывшего вором и чилимщиком, человеком безнадёжным и опасным.

Старик равнодушно тянул сквозь зубы старую, как он, песню. Гуль-Джамаль прошла между глиняных башен, воскрешавших в памяти древнюю славу Египта, и вступила во двор, обставленный тяжелыми дувалами.

Посреди двора в юрте сидели три человека и молчали. Один держал свою шапку на коленях, и она была такая огромная, курчавая и неподвижная, что казалось, у него на коленях спит черная овца. У другого молчальника глаз был завязан красным платком с белыми цветами. И это походило на рану, сочащуюся кровью. Третий носил гимнастерку под халатом, и это был председатель колхоза. Он сидел и писал, очки ездили у него на носу, и пот смазывал их, как деготь колеса. Пиалы стояли в беспорядке на коврике, и туфли валялись между огромными чашками, и рыльце чайника засматривало в одну из туфель с удивлением, потому что в туфле бегал жук и не мог найти выхода.

— Гуль-Джамаль,— сказал председатель,— можно ли дать бумагу на девочку, которая говорит, что ей шестнадцать лет, а вот люди говорят, ей нет четырнадцати?

— Про кого ты говоришь, Курт-Мурад? — спросила она и налила себе зеленого чаю.

— Я говорю про Нур-Мамеда и Анту-Наяз.

— Но ведь Нур-Мамед купил ее у родителей.

— Тсс, Гуль-Джамаль, тсс... кто говорит так — нехорошо говорит. У нас нет слова о калыме, а есть слово о том, сколько ей лет...

— Ей нет и четырнадцати лет, и ты это знаешь. Пусть они едут в Керки и там в исполкоме все скажут... Слушай, Курт-Мурад, Магомет-Оглы пришел снова и сидит под карагачом и зовет на нашу голову басмачей. Я думаю, он пришел все высмотреть. Сегодня в кооператив привезли мануфактуру и чай. Дай знать на заставу...

Она встала и споткнулась о хомут, лежавший рядом с ковриком. Председатель смотрел на хомут и жевал губами.

— Хомуты прислали, Гуль-Джамаль, — для лошади узки, для ишака широки, верблюду — никуда не годны, хоть сам носи.

— Это вредительство, — говорит Гуль-Джамаль, — напиши об этом в Керки и задержи сегодня же Магомета-Оглы.

— Что ты говоришь, женщина, — председатель откидывает полные влаги стекла на лоб, — ты хочешь его арестовать?..

— Да, я хочу его уничтожить, — просто говорит Гуль-Джамаль и уходит.

В вечернем сумраке старик у карагача останавливает ее, и его белая иссохшая рука как старая ветка саксаула.

— Гуль-Джамаль, женщина потеряла стыд — и стала как пища без соли. Ты предаешь дядю своего, ты — дочь брата моего, Гуль-Джамаль...

Ярость потрясает узкое тело девушки. Она стала кочевницей, забывшей европейское платье и привычки города. Она стоит перед стариком, как женщина пустыни, наездница и охотница, мать бесчисленных орд, с перекошенными ястребиными бровями.

— Кто загнал в могилу мою мать — рабыню и батрачку, Магомет-Оглы? — говорит она. — Кто стер ее с лица земли? И я сотру тебя, Магомет-Оглы, как глину между ладоней.

Она проходит, и старик смотрит ей вслед глазами сумасшедшего верблюда, облизывая губы толстым, распухшим языком.

На коврах, в Госторге, едят плов. Приезжий практикант показывает фокусы со спичками. Армянский лев Госторга, Назарьянц, уверенный и ловкий, как жонглер, смотрит шкурки баранов и старые ковры, привезенные из пустыни. Гуль-Джамаль идет в темноту двора, где фыркают лошади и бегают огромные псы, сторожа Госторга. У Гуль-Джамаль свои дела, свои тайны: она ищет назарьянского вестового, чтобы узнать, сообщено ли на заставу о том, что Магомет-Оглы снова пришел.

Большой туркмен-салор, улыбаясь, говорит ей на ухо: «Еще звенят кокача, а уже звон там записан», — он показывает в сторону заставы.

Гуль-Джамаль хочет вернуться на террасу. От столба отделяется человек. Это Нур-Мамед.

— Здравствуй, Гуль-Джамаль.

— Здравствуй, Нур-Мамед...

— Это ты сказала, что Анту-Наяз нет четырнадцати лет?

— Я, — говорит она. — А ты ничего не скажешь другого. А если ты возьмешь ее силой — ты будешь в тюрьме. Это мое слово! А теперь дай мне пить мой чай спокойно. Одна суматоха с вами.

И она идет прямо на него, и Нур-Мамед уходит за столб, как будто он никогда и не выходил.

Гуль-Джамаль пьет чай, и смотрит привезенные из пустыни серые полосатые шкурки и пыльные старые ковры, и слушает практиканта. Она знает теперь наверняка, что сегодня ночью из пустыни придет безумный милиционер Али-Мухамед. Ну что же, у нее на стене висит винтовка. Маловато патронов, но на заставе уже знают. Комсомолу все равно придется сражаться, не в первый раз.

Жаль, что Поля уехала в Хотаб. Вдвоем было бы веселее.

Назарьянц пьет двенадцатую пиалу зеленого чая и смотрит на нее львиными глазами.

— Ты придешь сегодня? — спрашивает она, смотря в широкую и душную темноту двора.

— Приду, — говорит одними губами Назарьянц.

— Тогда захвати с собой четыре обоймы. Четырех хватит.

— А, Али-Мухамед? — говорит Назарьянц и наливал себе тринадцатую пиалу. — Хорошо, захвачу...

СИМОН-БОЛЬШЕВИК

Слышал я от людей разные истории, большие дела, которые были. А какой такой герой есть, я не знаю. Я сейчас тоже немного расскажу.

Я осетин. Такая страна наша Осетия: день идешь — стоит гора, и второй идешь и неделю идешь — каменная гора кругом стоит. Когда лес за ней растет, когда лед лежит, когда снег лежит, вода льется, непрерывно льется, реки большие и маленькие, разные реки бурлят, бурлят, прямо как сумасшедшие, голоса не слышать. В гости ходить — через гору надо, и в лавку идти — через гору надо, покойника тащить — через гору надо, плясать идти — через гору надо. Затруднительно жить в Осетии.

Земля очень большая у крестьянина была, — бурку бросил, поля не видно уже: бурка закрыла. А поле под самым небом лежит. Ну, конечно, и нищета кругом. Каменная сакля холодная. Костер посередине — руки греть, обед варить; столик, трехногая скамеечка — такая азиатская роскошь, деваться некуда, прямо хлев.

Ну, я горец, конечно. Был совсем молодой человек, необразованный. Очень много думал, как это жить надо. Революция наступила, гражданская война наступила, — я брал винтовку, коня, пошел за народ сражаться. Очень трудно было нам воевать. Соглашатели, шовинисты, белогвардейцы на каждой горе сидели, в степи сидели. Владикавказ генерал Шкуро взял. Назначил править Осетией Бету Хабаева. Негодной души человек был этот Бета Хабаев. Селения палил, соломой обкладывал, как свиней

палил, доносы читал — радовался. А мы рассыпались тогда, — как волки, ходим вокруг, белых в тревоге держим. Зима наступила, снег громадный насыпался, тропы закрыл, сакли закрыл, леса закрыл — совсем плохо, общаться нельзя, ходить опасно. Скажешь слово — лавина идет, не пробраться сквозь снег, кони встают; а воевать надо. Бета Хабаев в ладоши хлопает, коньяк пьет, радуется: сдохнут большевики в горах, до весны никак не доживут.

Стою я на переправе с товарищем, вестей жду. А уже вечер, с гор пахнуло, вот-вот туман сойдет, снег закружит. Река же не замерзала никак, гремит под ухом, как в чайнике. Вода пузырями ходит через камни взад-вперед. Непонятно, чего хочет, точно на месте бунтует без толку.

Жду я с того берега человека, в воду гляжу за камнем. Удивляет меня, какая это сила в этой воде — ворочает большой камень, стучит о другой, бросает деревья с камнями, рвет их бока, ущелье стонет. Очень тоскливо стало у меня на душе. Такие мысли пошли, что не выдержу я до весны, Бету Хабаева обрадую — сдохну.

Вижу, плывет коряга и тонуть не хочет и так правильно путь держит — на волну набежит, как на крышу, оглядится и нырнет между камней — и снова плывет; а река ее за голову вниз тянет, за ноги тянет и утянуть не может. Жива коряга и путь дальше держит. Подумал я: «Эй, Симон, — Симоном меня зовут, — ты, как коряга, умеешь плавать, имей большое сердце дышать глубоко, не выпускай винтовку из рук! Что ты пойдешь домой, как медведь лапу сосать, а тут надо борьбу выносить!» И как подумал я, так сразу тепло мне стало. Думаю теперь только: что это товарищей с того берега нет? Вижу, темнеет уже в ущелье и спускаются на другом берегу к воде шесть человек.

Спустились, глядят в воду. Понял я, что брод плохо знают или коням не доверяют. Кони устали, вода ледяная, боятся идти в воду кони. Присматриваюсь я: что за гости? Думаю: пусть как знают переправляются. Не буду им голоса подавать. Если враги — не жалко, пусть тонут, а если друзья — должны голос подать, знак подать.

Ступили кони в воду, и пошла играть ими вода. Правильно ступили в воду, да не все враз. Некоторые идут

хорошо, двое поотстали, а одному плохо — относит его не туда, к камням несет; гибель коню будет, не справляется конь. Пар идет от коней, а всадники голоса не подают. Взял я винтовку, нацелился в первого, — показалось мне, что погоны у него на плечах, в какой-то куртке теплой. А товарищ мой берет за винтовку, говорит:

— Симон, а это разве не Дебола, вон тот с краю, у него лошадь мучится!

Стал я глядеть, глядеть — узнал Деболу.

— Наши, значит, — говорю. — Кричи им, Уасил, что это мы, кричи!

— Дебола, это ты? — закричал он им.

И я закричал:

— Дебола, это ты?

А он лошадь не может направить, хоть и подобрался к берегу, — отбивает лошадь вода. Обернулся он на крик, кричит тоже:

— Это ты, Симон? Это ты, Уасил?

Мы вышли из-за камней, сели на лошадей, кричим:

— Это мы, Дебола! Это я, Симон, это я, Уасил!

Всадники из реки выбрались по камням, а Дебола с конем вот сейчас опрокинется. Одну минуту осталось ему держаться. Прыгнули мы в реку с лошадьми. Я и еще молодой какой-то простой человек. Он только что из воды вышел и опять в реку. Река как грянет в уши — дышать нечем. Схватили мы за повод его коня с двух сторон, а он шатается, сейчас упадет. Зажали между двух коней своих и на берег тащим его изо всех сил, а Дебола побледнел, головой мотает, говорит только: «Ма-хадзар, ма-хадзар», что значит: боже мой, боже мой, погибну сейчас.

Пошли мы греться в селенье на гору, сели у огня. Я гляжу, кто такой со мной в реку прыгал, не боялся, — молодой такой человек, усов нет, бороды нет, бодрый такой, глаза горят, смеется, говорит:

— Не знаешь, Симон? Я Цаголов, зови меня Георгий.

— Хорошо, — говорю, — ешь, пей, Георгий, ты хорошо поступил, что в реку бросался. А скажи мне, кто ты есть такой?

— Я керменист, — говорит, — и борюсь за свободу, революционер, — говорит, — а родился я в селе Христианском.

Тут подходит Дебола и за спасение жизни много говорит слов, очень больших и приятных, и руку жмет. Георгию на меня показывает:

— Это Симон, дигорец, наш человек.

— Ну что ж,— говорит Георгий,— братья большевики, отдохнем да за дело возьмемся.

Стал я присматриваться с того дня к Цаголову. Хочу знать, что такое: я молодой, он молодой, а мы с ним разные. Огонь в нем какой-то есть, нет у меня такого. Это правда — ученый он, а я в грамоте очень плох тогда был. Глаза его шире смотрели, а я, как ястреб, прищурясь оглядывался. Но я думаю, что в реку ему трудней было прыгать, чем мне. Привычек у него горских не было. Городской он был человек. Для гор — не свой. Рассуждал он зато, как мудрец какой, а я тогда думать совсем не мог, просто коня хлестал и бежал не оглядываясь.

Раз строили мы засаду белым. Пришел к нам старик, поглядел и сразу идет к Цаголову,— угадал, что начальник,— говорит ему:

— Воевать будешь, с белыми воевать будешь?

— Буду,— говорит Цаголов,— а ты что?

А старик — старый, мохнатый, сто лет на плечах, трясется:

— И я буду воевать, дай мне ружье, стрелять буду.

— Иди спать,— говорит Цаголов.— Дед, послушай, спать иди. Куда тебе воевать.

А дед подошел, и взял его за руку, и дрожит сам, как огонь.

— Не хочу спать, не иду спать. Меня и Такоев спать посылал, а я и тогда воевал, и Такоев мне ружья не дал, а я и тогда воевал.

— Как же ты воевал?

— Да я шел вверх и со скалы камни бросал им на голову. Вот как воевал.

Тогда Цаголов взял деда за руку.

— Дед, иди спать! Мы тебе отвоюем старость, будешь помирать в тепле да еще до смерти белую кашу есть будешь.

Замотал дед головой, говорит:

— Не дашь ружья? Не хочу каши, не хочу белой каши,— буду камни бросать на них. Я большевик, а ты

меня гонишь. Не наш ты после этого, какой ты наш после этого!

Засмеялся Цаголов, обнял его, поцеловал. А рассказал я этот случай потому, что, знаешь, про большевиков тогда слухи нарочно пускали. Приходит ко мне другой старик, в чем душа, хватается за палку, чтоб не падать, спрашивает:

— Где здесь Симон-большевик живет? Покажи мне Симона-большевика!

— Это я,— говорю,— дед. Не хочешь ли ты в нашу партию записаться? Помолодеешь сразу.

А он отшатнулся от меня, замахал руками и палкой, смотрит на меня, говорит:

— Сними шапку, сними шапку!

Снял я шапку, он голову мне погладил, полазил в волосах, рассердился.

— Зачем обманываешь ты меня? Стыдно тебе, молодому, над стариком смеяться. Какой же ты большевик?— говорит.

— Настоящий, дед, большевик,— говорю,— весь с головы до ног большевик, и конь у меня и ружье у меня большевистские.

— А где же рога твои? — спрашивает он и все оглядывается, оглядывается.

— Какие рога, дед? Рога у коров, у быков бывают, а мы с тобой люди.

— Да мне говорили, что все большевики рогатые и на людей не похожи,— говорит дед. — А ты как будто человек и рог нет.

Вот какие старики были. Разные были у нас старики, и молодые разные. Но много удивлялся я Цаголову. Сидели мы у реки в сакле, и такая ярость была в реке — словами не рассказать. Не могли мы говорить и слушать друг друга. Перекричала река голоса. И говорю я Цаголову:

— Умен ты, Георгий, а скажи, зачем это такая сила реке дана? Такая сила, Георгий! Смотри, мост рухнет, все в реку пойдет — арба пойдет, лошадь пойдет, бурка пойдет, кинжал пойдет, женщина пойдет. Зачем такое сделано, чтоб зря такую силу пустить и день и ночь, и даже лед ее не схватит никак, и лед ломает она?

Он посмотрел на меня и говорит:

— Сила реки, Симон, служит людям.

— Какие слова ты сказал, Георгий? Дурным людям служит она. Какие разбойники или белые кого убьют — в реку бросают, и она, — как русские товарищи говорят, — концы в воду. А как будет в ней сила большая от дождя или от снега — выходит из камней, сакли зальет, скот душит, людей душит. Не такие слова сказал ты, Георгий.

Он посмотрел на меня еще и говорит:

— Если взять и поставить плотину, и задержать эту воду, и направить ее в особые машины — всю Осетию можно электричеством осветить. Не доживу я до этого, Симон, не увижу, а ты пойми мои слова, и я тебя не обману. Увидишь ты, как укрощают эту реку, будто свирепую лошадь. И она, как лошадь, станет первой работницей.

Замолчали мы все, и я испугался. Какие же люди должны с такой водой бороться, если и лошади и буйволу не справиться с самым мелким местом, а где глубже — туда, как в могилу, и глядеть никому не хочется?

Еще раз улыбнулся Георгий.

— Ты сам, Симон, будешь с ней бороться. Не с этой именно, с другой, а поработать придется. И ты поработаешь не жалея рук.

Я посмотрел в воду, и голова у меня закружилась.

— Воевать я буду — сказал я от всего сердца, — с белыми до конца, а с водой остерегусь

Засмеялись все надо мной, и первый Георгий.

— Не то будет, — сказал он, — обе Осетии вместе будут — и та, что за хребтом, и эта. Из Христианского в Цхинвали будешь по шоссе через туннель зимой ездить, Симон, в гости.

— Не будем, Георгий, сказки рассказывать, не те времена сейчас, — сказал я. — Конечно, книги многое могут описать, но не все книги в один час перескажешь.

— Погоди сердиться, — сказал Георгий, — осетинам, тем, за горами, знаешь, хлеба хватает с трудом на пять месяцев, а потом они сидят и глядят в огонь, а печь им нечего. По тропинкам, на себе, через снег, вокруг, в такую зиму носят хлеб. А что это стоит! Люди гибнут в дороге, лошади гибнут. И это не книги, Симон, это правда; и

любой человек скажет, что это правда. И сказкой большевики не питаются. Мы хотим дать Осетии свободу и хлеб, а не одну бумагу, где написано о свободе и хлебе. И ты не за бумагу воюешь и себя тратишь, Симон, жизни своей не жалея. Правда, Симон?

Я замолчал и думаю: «Нет, не придет такой день, что я буду с такой сильной рекой бороться. Да как бороться, я не знаю, — я только стрелять и умею, а в воду стрелять ни к чему».

Уехал от нас Цаголов в другое место, а я все не переставал думать о нем. А я был очень маленький человек, прямо камешек, а кругом такие горы стояли — солнца не видать, зима к тому же. Но я, знаешь, если сказать другими словами, не унывал. Радовался очень за Цаголова, что он такой молодой ум носит. А печалился я за него, что он так горько говорил мне: «Ты увидишь, ты доживешь; я не увижу, я не доживу». Почему так он это говорил? Я спрашивал товарищей, и они удивлялись такому разговору и ничего сказать не могли. Так жили мы, воюя день и ночь, и, как волки, сторожили белых. Где у них слабое место, там сразу кусали, чтобы помнили, что мы к весне не подохнем, мы еще живы и зубы у нас на месте.

Поймали мы шпиона, кулака. Спрашиваю я:

— Ну, как Бета Хабаев, тепло ему, хорошо спит, не беспокоится ни о чем?

Шпион говорит:

— Спасибо, ничего, хорошо спит. Ты ему снишься на виселице, и тепло ему, конечно. Это ты дрожишь и сдохнешь от холода.

— Ты раньше сдохнешь, — говорю я ему, — а нам живется тоже тепло, даже жарко.

— Живется, да не совсем, — говорит шпион, — махадзар, — говорит, — многим очень плохо из ваших, хуже, чем мне у тебя.

— Кому же, — говорю, — так живётся? Скажи перед смертью и умри спокойно.

— Спокойно я умру, — он говорит, — потому что Цаголов наш и другие со мной помрут.

От этих слов было со мной, знаешь, как на горе, когда обвал всю ее потрясет и такой пустит дым и огонь — где деревья были — пусто, и где камни были — пусто.

И сказал шпион, что предали Цаголова осетины-контрреволюционеры и держат его в плену, в таком далеком месте в горах, откуда к белым не добраться и к большевикам далеко.

Стал я болен такой мыслью, что сейчас говорю другу одному: «Едем; так или не так — узнаем». И он сказал мне: «Едем». И уехали мы в такую глушь, где я бывал, правда, но так редко, что меня там и не знали. Взяли мы все на дорогу и поехали. Знаешь, страна моя Осетия такая большая и гористая, что если бы ты эти скалы видел, плакал бы и говорил: зачем я сюда пришел? И слезы бы у тебя выступили на глазах и замерзли бы на ресницах, потому что была зима. И мы были как охотники. И ехали, веселясь, чтобы внимание отвлечь, а сами дрожали, как скрипки во время праздника, но только не весело, а как на могиле.

А скалы там — родных забудешь, дом забудешь, все забудешь,— как чугун черные, как чугун тяжелые, как утюги гладкие, снег не лежит. И люди там нехорошие, больше чем в другом месте нехорошие.

— Зачем,— спрашивают, — едете?

А мы отвечаем:

— На свадьбу едем.

— Почему не везете вина с собой?

— Кто же на свадьбу вино возит?

— Смотрите, чтоб на ту свадьбу ружье звать не пришлось.

Мы молчим и едем. Спрашивают другие: не охотники ли мы?

— Охотники,— говорим.

— Так вам нужно помнить, не забывать пословицу: на медведя идешь — песни поешь, на кнура (кабана, значит) идешь — попа зовешь. Вам поп не понадобится ли?

Мы молчим и едем дальше.

Приехали мы в то место, какое указал шпион, и стали на отдых к одному знакомому человеку. И сказал он: — Все так и есть. Видеть Цаголова и других можно, только обдумать надо.

И сели мы думать. И сказал знакомый так:

— Идем и будем пировать здесь со всеми, и говорить об охоте и тяжелых временах, и ругать большевиков, а

там, за саклей, есть ход в гору, и там пещера, и в этой пещере у башни держат их... и нельзя ли их выкупить.

Были с нами деньги, и мы пошли. И мы познакомились с людьми того места — истинными злодеями; и руки мои дрожали от бешенства к этим предателям. И я мигал товарищу, и мы купили им араку, и сидели у огня, и ели хабдажин — пирожки с сыром, и ели дзика — сыр, накрошенный в масло, и ругали тяжелые времена, и говорили об охоте, и я мигал товарищу.

И вот затянули мы песни, и стал я говорить с ними полголоса; и, пьяные, они стали хвастаться, говорили: «Больших людей продавать будем и разбогатеем к весне».

Я сказал тоже, как пьяный, что я охотно куплю их, если меня пустят посмотреть. И мне сказали: пустят на другой день.

И на другой день с утра пили они нашу араку, а я пошел, как пьяный, за сакли и товарища оставил с ними, чтобы они в мое отсутствие не подозревали. Взял я одного из них, шатался он, и я его держал и чуть не душил, и бросил его в сугроб, и вошел в башню, где пещера.

И встал, смотрю: лежат они в лохмотьях на соломе, не шевелятся, хрипят все, кашляют, больные, и молчат. Думают, я из бандитов какой есть. Я подошел и не мог смотреть, слезы пошли, понимаешь, от горла назад; не мог я плакать в таком месте. Я смотрел: Цаголов спит и болен, и я потолкал его в плечо, и он очнулся, и сел, и шатался. Я вспомнил, что он говорил мне, и какой он был бодрый и веселый, а теперь лицо его как стена, — не могу забыть его никак. Я стою, и язык мой, как у пьяного, ходит во рту. Я слова потерял. Он посмотрел на меня так, будто умирает, и сказал:

— Вот опять бред. Симон говорит со мной, откуда прийти Симону?

Тут схватил я его за руку, держу руку, говорю:

— Это не бред, это помощь.

И что дальше говорить — не знаю, что дальше говорить. И как помочь? И товарищи его — какие лежат, как мертвые, какие храпят. Холод большой стоит в башне — овца и та смерзнет, бык и тот смерзнет. Не знаю я, что

тут делать, но входит пьяный, тот, кого я в сугроб кинул, и говорит:

— Большая болезнь у них, и они сдохнут. Давай деньги, пока живы.

Лежала там чеури — доска с осколками камней для молотбы,— и хотел я разбить ему голову о ту доску, и я хотел дать ему денег, но он замахал рукой и ушел. И я ушел, и ушел сам, как мертвый. И меня спросили, что со мной, там, куда я вернулся. Я сказал:

— Много пил, и мне нехорошо.

И отошел с товарищем и говорю:

— Что будем делать?

И он сказал, что вел разговор, и они пленных не продают, не соглашаются. И я хотел еще ночевать, но мой знакомый пришел, говорит:

— Уезжай, Симон, сейчас же, иначе будешь сам в той башне. И арака вся, и они уже трезвеют, и дурное может для твой жизни выйти.

И уехали мы, как с кладбища,— и ехать нельзя и не ехать нельзя. Я вспотел от злобы, и холод меня не берет. И думаю я: что такое делать? И смотрю: журчит ручеек; гляжу — снег тает понемножку; гляжу в небо — и небо улыбается, весна скоро. Вот вспомнил я Бету Хабаева: «Сдохнут большевики к весне»,— и проклял его, и погнал коня, и уже знал, куда еду я и что делать. Приехал я к другу моему Гастыеву, другу моего сердца. Увидел мое серьезное лицо Гастыев, велел женщинам выйти, и женщины вышли. У нас тогда с женщинами не советовались, это теперь они место получили, а тогда они стояли в тени и доверия им не было, хотя были среди них и замечательные.

Гастыев говорит:

— Что с тобой? Вижу — далеко ездил, что привез?

Я сел, и молчал, и смотрел на него. Я так долго смотрел, что он спросил:

— Что смотришь?

Я сказал:

— Люди, Гастыев, погибают, большие люди погибают, надо им помощь дать. Или пусть погибают?

Он оглянулся, как бы не доверяя ушам и словам, и сказал:

— Надо давать помощь.

— Тогда скажи мне, кто такой Цаголов?

Гастыев посмотрел мне в глаза и нашел, что глаза мои тверды.

— Ты есть большевик?

— Да, я есть большевик.

— Ну, так и Цаголов большевик.

— Что делал он, я хочу знать. Я вижу, что он большой человек.

— Он родился у попа, но поп сбросил бога и рясу и стал керменист, а сын обошел всю Осетию, голосуя за список большевиков, и он собрал много голосов.

— А что он делал потом? — спросил я, как бы пропускающая слышанное мимо. На самом деле я хотел все знать сначала и говорил, как говорят о подарках невесте, таким голосом.

— Потом он ехал в Тифлис, и товарищ Шаумян, чрезвычайный комиссар... ты знаешь, что значит комиссар?

Я кивнул головой.

— Он делал его председателем Реввоенсовета, — ты знаешь, что значит председатель Реввоенсовета?

Я кивнул головой.

— Он должен был закончить турецкий фронт и пустить домой трудящихся.

— И он всех отпустил и все исполнил? — спросил я.

Тут Гастыев кивнул головой и продолжал:

— И потом Шаумян взял его в Баку, и они работали вместе.

И он сказал еще:

— И ты знаешь, что, когда погибли Дебола Кесаев, Андрей Гостиев и Коля Кесаев, Цаголов стал председателем Реввоенсовета Осетии. Это большая голова и светлая, как снег на заре.

Тут я встал и сел, — это выдало мое волнение. Гастыев сказал:

— Ты думаешь, мы не знаем всего? Ты думаешь, мы забыли товарища, который так боролся и так отдавал все на борьбу? А, ты плохой большевик, если так думаешь. Скажи мне, ты ехал сказать, что осетины, самые черные

из осетин, предали его, и взяли его в плен, и держат его в башне, в пещере и на морозе?..

Тут я не мог больше терпеть.

— Он болен,— закричал я,— и он говорит, как с того света!

— Ты устал, Симон,— сказал мне Гастыев. — Возьми бурку и ляг в теплое место. У Георгия тиф, и он бредит, он не узнал тебя?

— Дело разве такое? — закричал я опять. — Дело не такое! Что узнал, что не узнал? Его надо брать оттуда. Я ехал к тебе, чтобы говорить о таком деле, где кровь кипит в моих жилах. Зачем я спрашивал? Папа-мама мне его интересны? Да, очень мне интересны его папа-мама! Зачем ты меня мучишь? Говори до конца.

Гастыев сказал:

— Ты не знал до конца, кто такой Цаголов, и я тебе сказал — теперь ты знаешь.

— Ты понимаешь, — кричал я (я как сам заболел и говорил в бреду), — он хотел не дожить, не увидеть, как река будет работать на людей; и мы должны сделать так, чтобы он дожил, чтобы он увидел, — вот о чем я говорю.

— Погоди, Симон,— сказал мне Гастыев,— осетины просят за него десять тысяч рублей. И мы дадим их, и они привезут его. И товарищ Хусина, и товарищ Уртаев, и Миша Келагов поедут за ним и за товарищами — вот какова истина дела, и ты теперь знаешь все.

— Гастыев,— сказал я, — большие деньги просят за него, и он стоит — ма-хадзар! — таких толстых денег. Но нам, большевикам, нужны такие деньги. Я беру людей, и когда они поедут обратно с деньгами, я буду пить их кровь, я отниму у них все до гроша и все верну тебе.

И, несмотря на крики Гастыева, я бежал из сакли, и за мной гнался народ, и я забыл дисциплину партии и пошел один, потому что любил этого человека. И я поехал собирать людей, делать отряд — напасть и отбить деньги. Ехал, и люди шли на мой зов, и я ездил один с ружьем и никого не боялся. Ехал я вечером, и уже был март. И я ехал, и горы шли по сторонам, как лиловые облака, и я любовался и не увидел, как надо мной поднимаются по узкой тропе. Конь стал вдруг, и сверху закричали

мне. Я взглянул и узнал, что кричит мне Цыца, — а Цыца был мой родовой враг, но я забыл про него и никогда бы не трогал, как стал большевиком. Но он сам кричал сверху:

— Готов ли ты к смерти, Симон?

Тут я стал стыдить его и ругать всеми словами и не отстегивал винтовки, а он кричал:

— Вы перебрали три года назад, на двоих перебрали убитых в моем роду, и я тебя сочту за двоих. Готов ли ты к смерти, Симон?

— Цыца, — кричал я, — когда Осетии нужен каждый человек, ты дурак, если убьешь меня! Вспомни, как забыли сейчас кровничество! Как сражались с белыми Такоев и Уруймагов и убиты вместе, а они были кровники; как сражались вместе Галиев и Дзарогов, а они были кровники.

Но он ругался и кричал только свое:

— Вы перебрали двух убитых, вы перебрали двух убитых!

Тогда я покраснел до корня волос и закричал ему:

— Убивай скорей, дурак!

Он выстрелил и попал мне в плечо. Я упал с лошади и разбил лицо и зубы. Я встал, залепил снегом плечо и освежил лицо. Влез на лошадь и с трудом доехал, проклиная Бету Хабаева и всех его слуг. И по причине этой моей горести я не мог украсть десять тысяч, и осетины привезли Цаголова и других на берег Фиагдона и уехали, забрав грязными руками эти деньги. А сам я валялся и кричал, потому что на ране стала гнилая боль. И я спрашивал: как, будет рука у меня или не будет рука? И мне говорили: будет. И я спал, а когда просыпался, очень досадовал, что не убил Цыцу и не перебрал третьего в его роде.

Вылечился я, когда уже солнце грело, как печка, и я ходил и шевелил рукой, я радовался, что могу шевелить. Тут я узнал, что Бета Хабаев вызвал белых, и они идут на Христианское, и что надо идти в горы и скрываться. Я взял лошадь и одной рукой владел хорошо, а другой плохо. Сел и поехал в Христианское, а не в горы, потому что там лежал Цаголов, и я хотел увезти его — и не успел в том.

Меня догнал один человек, молодой, чужой мне человек, и сказал:

— Пойдем пешком в Христианское. Идут казаки, и если мы будем верхом — лошадь отнимут, а нас убьют.

Я сказал, что знаю, где можно прятать лошадей, и мы спрятали их рядом и хотели пойти, но уже все было окружено, и генерал Вадбольский ездил по полю, и восемь тысяч казаков ездил и ставили сто пушек, а генерал усмехался, и к нему звали делегацию, а он ругал делегацию, и велел все население выгнать из домов, и усмехался. Тогда я сказал студенту (он мне сказал, что он студент), чтобы он стерег лошадей и что я пойду в селение за Цаголовым. Студент признался, что ему велено вывести Цаголова из селения, и он попробует это сделать, а я пусть караулю. И я караулил, и сердце мое было, как будто я переезжал реку, и лошадь падала в воду и тонула, и я тонул вместе с ней. Я слышал выстрелы, и заболело мое раненое плечо, и несчастная рука заныла так, что я не знал, что делать. Не дождавшись студента, я пошел сам, оставив лошадей, — и никого не нашел. И едва ушел от казаков, и вернулся к лошадям; у лошадей лежал студент и плакал в траву. И я поднял его, и он плохо стоял на ногах и от страха ничего не мог говорить. Тогда я поставил его на ноги. Боль у меня сразу прошла. Я приступил к нему, и он сквозь слезы рассказал:

— Цаголов скрылся в сарай, и сарай указали казакам предатели, и казаки стреляли по сараю и пробили его пулями, а Цаголов был невредим, потому что он лежал на полу. И когда пули пробили сарай, он встал и поднялся на крышу и увидел казаков. И они перестали стрелять, и он соскочил с крыши и стал перед ними. Ему было двадцать один год и девять месяцев, а казаки верили, что большевики — чудовища с рогами, и не хотели его слушать, но он им сказал:

— Да, я большевик, я Георгий Цаголов. Да, я — свободный осетин. Что вы идете с оружием против трудящихся? Я сам жил, как барин, я сам рос на жирных цыплятах, я рос на сливках, а теперь погибаю за равенство народов и за вас в том числе, трудовые казаки. Зачем же вы боретесь, слепые люди? Вы ослеплены мироедами,

капиталистами и вашими офицерами-белопогонниками, и они хотят поработить вас, быков сделать из вас, лошадей сделать из вас, рабов сделать!

Тогда казаки стреляли в него, но он не упал и сказал:

— На моей крови, на крови других борцов будет, хотите вы или не хотите, создан коммунизм! — И спокойно умер.

И студент все больше плакал, а я сказал:

— Ударим на них вдвоем и убьем столько, сколько сможем.

Он стал белый, как зима, и затрясся. Я вынул винтовку из чехла, и несчастная моя рука упала, как плеть, и боль была такая, что я кусал язык; и я ехал прочь, проклиная Бету Хабаева и всю контрреволюцию. Всю ночь была боль, и еще другую, и третью.

Потом мы хоронили Цаголова в селе Христианском и ставили памятник. Я помню только, как говорил он. А что он сказал мне о реке — я больше всего запомнил. Ни один человек не говорил мне, дикому горцу, что такое может быть, чтоб от реки был свет. И я уже совсем потерял сон от безумной мысли, и мне казалось, что я стану как сумасшедший, что я брошусь в реку.

И тут пришел конец белым, и рука моя стала как здоровая, и плечо мое вернулось ко мне тоже. И вот был праздник, и люди скакали на красивых лошадях, и много ели, и много говорили речей, и пели песни, и танцевали в хороводе — танцевали чепен, танцевали симгу и танцевали касгонкавд, — потому что война давно кончилась и было начало строительства.

Дебола мне говорит:

— Слышал ты, Симон, что строят станцию на Куре у Зем-Авчал? И от этих работ на пол-Кавказа светло будет. Будет свет гореть до самого Коби и до самого Тифлиса.

И рассказал он, как на Куре давно уже работают и воюют с рекой; и так хорошо изобразил он, как покойный Цаголов, но словами такими, что вся душа моя пошла хороводом, — и я плясал как помешанный чепен, и симгу, и касгонкавд и все приговаривал:

— Белых воевали, пойдем воевать реку, белых воевали, пойдем воевать реку!

И я собрал свои вещи и пошел на Загэс. И стал там работать чернорабочим сначала, потому что ничего в жизни, кроме горя, не знал и ничего не умел. И такое я увидел там, на Куре, что никакой университет не покажет, ни в какой книге так не описано. И потому я немного скажу вам об этом, что я такое увидел.

Две реки там сливаются вместе, и в одной вода голубая-голубая, как бирюза, и зовут реку Арагва, и в другой вода желтая, как будто чистят песком большой котел. И строят на второй реке — Куре — большую плотину, одну плотину, другую плотину, и день и ночь роют, и такое множество народу, что можно заблудиться, как в лесу, между людей. И все кричат: «Хабарда, хабарда!» — что значит: берегись, — и кладут динамит, и рвут скалы так, что грохот больше, чем в реке. И смотрю — река присмирела, и как будто ей все равно, что с ней делают, но это не так.

Я работал внизу плотины, где убирали камни, и там стучали пневматические молотки. Я теперь техник на Гизельдонстрое и знаю все такие вещи, а тогда ходил, нюхал и лизал, как коза соль, и все казалось вкусно и все непонятно, как во сне. И там мы работали, как быки и как буйволы, потому что не жалели сил на такое строительство. Одни раскалывали большие камни на куски, другие увозили их, третьи сверлили сверлами гору, и сверла дрожали, и люди дрожали, как зимой на ветру, — а между прочим была такая жара, — и маленькие паровозики пытели, и маленькие вагончики бежали вверх и вниз, и камни падали, и река ревела вдруг, что ее обижают, и блоки скрипели.

Мы все работали в лохмотьях: от камней и от осколков одежда вся горела, как на пожаре, и никто не жалел одежду, и все стирали пот другой стороной руки; и было так шумно и так весело, как ни на одном празднике. Тогда еще не знали ударных бригад, товарищи, но все мы были как ударная бригада; и бараки себе, чтобы жить, мы ставили в четыре дня, и здесь я научился работать плотником.

И когда я стал смотреть, какое множество народа вокруг, то увидел, что все разный народ, и дивился, что вот как мы живем хорошо, а раньше все, как собаки над

костью, грызлись. Работали здесь осетины, грузины, абхазцы, русские, шведы, армяне и татары и много других. Я понял, что это и есть интернационал, потому что за эту мысль давно бились в гражданскую войну. Мы сражались за кабардинцев под Пятигорском, за грузин трудящихся — в Раче, и теперь все строили мирную жизнь.

Так много языков было вокруг, что я стал со всеми иметь большое желание говорить и понимать каждого. И по-русски я говорил хорошо, потому что много слов у нас было общих. Я говорил «мад», а по-русски это значит — мать, и я говорил «мит» и «мазг», а по-русски это было — мед и мозг, и по-нашему «сердсе» — по-русски значило: сердце, и «зима» по-русски — по-осетински будет — зимег. Так что объясняться я стал очень скоро и удивился, что у грузин мать говорится «деда», а отец — «мама»; и по-грузински я уже говорил утром на работе: «Гамарджоба, амханнаго», или: «Хогасахард, кацо?» — что значило: «Здравствуйте, товарищи», или: «Как здоровье, человеки?» И, уходя, говорил «до свиданья» по-грузински — «мшвидоб». И так нравилось мне, что я понимаю многих трудящихся. С каждым хотелось мне говорить о наших делах и о нашей работе.

Если же я не понимал товарища, который пришел только что или был тюрк или абхазец, то я говорил одно слово: «Ленин», и он говорил: «Ленин», и мы объяснялись знаками или находили переводчика, но я уже знал, что это — наш человек.

И раз говорил я с человеком, и он был мрачный и голый, потому что камень повредил ему руку. Я показал ему, где фельдшер и как идти. И он не отвечал мне, а кивал головой, и когда я сказал: «Ленин, товарищ», он поднял глаза, большие, как у кошки, и сказал: «Магомет». Он не сказал: «Ленин». Я думал, что это есть закоренелый мусульманин, и сказал:

— Нет Магомета, но ничего, ты проживешь без него.

Но он заговорил по-грузински, — он был аджарец, — и все повторял: «Магомет, Магомет». Тогда я сказал:

— Зачем ты не отвечаешь мне, раз ты понимаешь язык? А если ты долбишь все «Магомет, Магомет», то, значит, ты дурной человек, и тебя обвели муллы и попы,

и ты должен быть с нами, а не с ними, раз мы вместе боремся с рекой за строительство.

И он погрозил мне кулаком, а я ему ничего худого не сделал. Но я запомнил этого человека, и он был до конца плохой человек, и как стали у нас болеть рабочие, — пили они нездоровую воду по своей неосторожности и получили разные болезни живота, — то он ходил в бараки, говорил тайком, что все от болезни умрут, так как против бога и Магомета дело делают. И я поймал его за углом, когда он говорил отсталым элементам, что тиф нарочно разводят — народ извести, и столько согнали в одно место.

Он говорил, как делают тиф: берут гнилое мясо от шеи, мочат его три дня и три ночи, выжимают, варят, потом три столовые ложки дают мышам, и мыши едят и разносят тиф.

— Какой ты большой дурак, и дураки, кто тебя слушает! Мы, большевики, плевали на мышей и на таких, как ты, — сказал я.

И он испугался моих слов, и больше не работал, и ушел, откуда пришел.

А рассказал я это потому, что стал думать опять над собой, и учиться, и все смотреть — и труд какой, и машины какие, и уменье какое нужно пролетариату. И вспомнил дорогого товарища Георгия, как это он верно говорил, а я ему не верил, что вот я действительно буду с рекой бороться, такой, как наша, и будем строить, чтобы был свет от Коби до Тифлиса. И такое большое хозяйство развелось у нас в этом месте. Тут и овраг Пация-хеви надо было взять в трубу, и канал строить тридцать метров ширины, восемь глубины, и плотины класть, и мосты ставить, и дно бурить, и камни убирать; и шла работа в три смены — днем и ночью. Я работал и смотрел, какие разные случаи мешают нам еще и какая еще контрреволюция где притаилась. И первая контрреволюция была, скажу тебе, река. Она то так тихо шипела, как будто ее нет, вся вышла, то вдруг бросалась хватать, как кошка мясо, все, что попадет. И вторая контрреволюция была — дикость нас самих, жителей, что не все ходили с разумением, а носили арбузы на плечах, а не головы. Гулял я в соседний городок Мцхет — такой маленький городок, старый,

ничего себе городок. Там сидели иногда с приятелями в духане, вспоминали разные времена и очень хорошо говорили. Я люблю танцевать и человек был совсем молодой, но, я тебе скажу: когда это красиво выходит, я стою за такой танец.

Прихожу в Мцхет, у духана остановились два воза с хворостом. Буйволы поворачивают головы, нюхают и хлюпают ноздрями. Грузины соскочили с возов и пошли в духан. Они выпили по кварте вина и больше ничего. И один стал сразу вытанцовывать, и совсем не оттого, что пил, а так, от души: просто живости в нем много и уходит она в ноги. Очень хорошо! Сначала танцевала одна нога, потом другая пошла рядом, потом танцевали обе ноги уже вместе. Потом так ловко стал он вертеть поясом, что приятно смотреть. И вижу — плечи не выдержали, пляшут, и только голова смеется, не пляшет; ну, потом сейчас и голова особенным образом качнулась и поплыла.

Второй грузин, маленький, смотрел, смотрел. Хозяин вышел из-за прилавка и стал подталкивать его слегка к старшему товарищу, а тот летал в воздухе, уже уставать стал.

Вдруг маленький подбоченился, согнулся, как ящерица, ударил в ладоши, подмигнул мне и пошел тоже. И летали они, как змеи, не касаясь пола, так что было весело смотреть на них, потом разом крикнули, и вскочили на возы, и стегнули буйволов, и буйволы хлюпнули ноздрями и скрылись, как появились. Вот так это даже очень занимательно веселились, трудовой процесс не нарушая при этом. А то прихожу я в духан другой раз, сидят сплавщики и хотят плясать, с самоваром чтобы на голове. Хозяин самовара им не дает и правильно рассуждает: зачем пьяный будет горячую воду на себя лить, жизни лишаться. Они пьют, как лошади, ржут и копытами бьют, — нехорошо очень.

Вдруг один говорит:

— Кацо, кацо, хорошо ли ты плоты увязал?

— Кому твой бревна надобны, — говорит другой, — пей на здоровье и сиди!

— Плохо привяжешь — река унесет, — говорит первый. — Кура подымается, ночью что будет, в горах дождь шел.

Я думаю: «Вот дурные головы, лишаются заработка такого утомительного, и все нипочем». А они сидят, пьют; один ушел — пришел, едва идет, говорит — едва говорит.

— Кацо! Нехорошо выходит, бревна вниз идут сами.

Тут стали люди смеяться, думали — шутка. И я смеялся и пошел со всеми посмотреть. И вдруг мне так холодно стало, как бревну в воде.

Оторвала река плоты, била об камни и разорвала веревки, все бревна пошли вниз и гремели, как пушки. И бежал я из Мцхета как есть, шапка в руках, и другой рабочий народ бежал, потому что у нас переходный легкий мостик был у городка; и вот видим: мчатся бревна и ударяют в мост, и мост наш кое-где обвалился и утонул, доски упали и поскакали за бревнами вниз.

А мы бежали вдоль берега и кричали, потому что там дальше, на реке, стояла на плоту забойная машина для свай, и бревна несло прямо на нее, и если бы они ударили прямо на нее — хоронили б мы забойную машину и не видели б ее никогда больше. Но, к счастью, обнесло ее бревнами; и они шли все вперед; и мы опять кричали, потому что впереди стояли на мелкой воде буравные плоты и бурава были загнаны в дно — и конец им грозил от бревен.

И я хотел уже достать свое оружие и стрелять этих дураков, так я рассердился. Но бревна были умней этих людей, и они нырнули под плоты и кряхтели, кряхтели, вытащили на своей спине бурава, загнанные в дно, и не повредили их, а ушли себе вперед. И плоты только качались, ничего им больше не сделалось.

Вот люди какие разные бывают!..

Мы бежали, и кричали, и боялись за машины, за наши работы. А сплавщики посмотрели — бревен нет, пошли себе в духан, и плясали с самоваром на голове, и облили горячей водой головы, и пошли спать тут же на полу, и это были очень безобразные люди, смотреть на них не хотелось.

И тут стал я понимать, какое есть новое обстоятельство и какое старое. Новое было — наша работа с утра до утра, а старое — стояло, смотрело и сложило руки, и это был наш враг. Вот почему надо было бороться и жить

по-новому, а не как сплавщики или как человек, что говорил: «Магомет, Магомет». А что такое Магомет, когда есть много выдающихся товарищей, партийных? Что сделал трудовому народу Магомет?

Вот еще один раз говорят мне:

— Товарищ Симон! Почему это товарищ Серго ходит в монастырь почти каждый вечер и как это так выглядит?

Я сказал:

— Нехорошо это выглядит, и я сам пойду посмотреть, что нравится ему в монастыре, товарищу Серго, который так хорошо работает на социализм.

Монастырь один был там у нас, наверху горы, туда в старое время лазили богу молиться; а другой — пониже, там и сейчас еще живут разные несознательные элементы. Я пошел, конечно, вечером, как услышал колокол, в этот монастырь. Я пришел и начал всматриваться, что там за люди, и увидел такое, очень любопытное.

Вот, понимаешь, зазвонил колокол, и по лестницам пошли монахини. Старушки, старушки такие, сморщенные, как лимон, и хохолки, как у куриц, и молодые — без кровинки, восковые, — тащат аналой такой и ставят; и выходит баба, главная монахиня, и читает, читает, точно спешит на тот свет, жует старыми зубами и глядит на всех. Как взглянет недовольно, так все петь начинают.

Ну, я тебе скажу, что мы, осетины, так себе считались верующие, никто не шел креститься к попу. В старое время два рубля платили и платье давали, как придешь креститься. Мой дед четыре раза ходил, лез в воду, и в пятый пошел, но его поп стыдить начал.

Прежде мы к поповскому богу очень плохо относились, и сейчас я не мог смотреть больше, как они поют.

У нас в кооперативе продают спички, папиросы, булавки, и там лежала утром большая рыба, «чинари» называется, «усач» — по-русски. И она лежала на прилавке, трепыхала жабрами, мухи по глазам бегали, и она открывала рот быстро-быстро, черная такая чинари, усач из Куры.

И вот — смотрю — монахиня совсем как рыба: черная, и раскрывает, раскрывает рот, и дышать не может. Я стал смеяться про себя, искать, что делает Серго тут. И вижу, он стоит у колонны и усмехается скрыто. Я делал

ему знак, чтобы он вышел; и он вышел, и мы сели на кладбище, и я говорю ему:

— Товарищ Серго! Кинематограф бывает у нас свой на Загэсе. Зачем ходить такие картины смотреть? Вредно такие картины долго смотреть, дураком станешь. У нас чистая работа — руками, а здесь, как говорят русские товарищи, вола вертят.

Серго усмехнулся и тронул меня, говорит:

— Я смотрю не на них, я смотрю на одну девицу.

— Какую девицу?

— Я хочу урон им причинить.

— Какой такой урон?

— Хочу одну монашенку в комсомол переманить.

Вот я стал смеяться, чуть с могилы не упал, вот я придумать бы — не придумал! Удалось ему вытащить ее оттуда, она на Загэсе у нас работала, белье стирала, и очень неплохо стирала.

Смеялись мы с Серго потом, как я его за монашескую жизнь укорять хотел, как думал, что он хочет в святые пролезть на народные деньги.

Такие разные случаи бывают в жизни, а теперь особенно, потому что собирается большой народ для большой работы и тут происходят геройские дела и обратные случаи.

Не спится мне вдруг почему-то, и удивительно тревожное смущение у меня, и плечо начинает ныть. Сижу я на берегу, передо мной Кура ходит серыми гребешками; и вспомнил я наши реки, как похлебка с камнями, и не верю Куре, никак не верю.

Сижу и смотрю на эту воду, и как будто в ней голоса ходят — и хотят меня поддразнить, и проговориться боятся. А я сижу уже совсем другой человек, чем сидел тогда у переправы, когда Дебола тонул. Я уж и политграмоту знаю, и рабочие навыки показал, и уже думаю — иду на курсы, как работа кончится, и уже сознательно дальше двигаюсь по дороге. Но почему у меня настроение — как будто бревно поперек дороги лежит? Что такое?

А ночь была теплая, и я стал вспоминать работы, что сделали. Выдолбили мы двадцать метров в скале, уже дно реки проступило, и надо заливать его бетоном. Очень хорошо.

Думы эти хорошие взяли верх, и я иду спать, оглядываясь на реку. Иду в барак — и спать не хочется. Однако встретил Серго, и стали мы курить папиросы, и говорить, и дремать стали, и так дремали, что сон прямо сразу одолел, и все стали спать, только ночная смена пошла работать.

Вот тут, понимаешь, рассказ наступает самый страшный. Сначала идет сон. Нехороший сон. Иду я по тропинке — и навстречу Цыца. И Цыца говорит: «Я стрелял в тебя, стреляй теперь ты в меня». — «Не хочу стрелять», — говорю я. «Стреляй, говорит, или я тебя утоплю». Смотрю — на тропинке вода, по колено вода. Цыца меня толкает в воду, и я стою уже по колено в воде. Открываю глаза — меня Серго толкает, кричит:

— По колено в воде!

— Что, Серго, кто по колено в воде?

Серго трясется.

— Все по колено в воде!

— Что такое, что такое?

— Кура пришла, Симон, все бегут туда. Кура пришла!

Шум стоял, как будто паровоз шумел. Сколько людей жили в бараках и сколько работали, все бежали и говорили разными голосами. И все бежали к одному дому, где жил строитель наш главный, Баграт Михалыч. Все кричали на ста языках: «Выручай, Баграт Михалыч! Вставай, Баграт Михалыч, выручай!» И я так ясно представлял Цаголова, как он говорит: «Повоюешь с рекой, товарищ Симон», и я кричу: «Выручай, Цаголов!» И вот Баграт Михалыч вышел, в одной рубашке, в одних штанах, и побежал с нами вниз.

И тут я увидел Куру и понял, что такое предательство. Никаких тебе серых гребешков, никаких тебе таких голосков — вся светится прямо от злобы, и зубы скалит, и шумит, и шумит; и товарищи уже все в воде, и машины все в воде, реке конца не видать в темноте, и только гул идет, как ветер из пещеры.

— Вот, — говорю, — пришла контрреволюция!

Я хватаю лопату и прыгаю вниз — и прямо в воду по пояс. Вода хватает людей, инструменты, и надо класть плотину тут же в воде.

Баграт Михалыч командовал, командовал — голос потерял. Весь народ как будто купаться пошел — сразу все, сколько было, бросились в воду, и женщины прибежали, и все чернело от народа, и все шло в воду. Стали кидать камни, и песок, и землю, и фашины, — и вода свистела между камней, как змей, и казалось, этой ночи не будет конца, не выдержим мы. И стену разрывало раз за разом, раз за разом, и мы толпились, безумные, в поту и в воде, и руками и ногами катали камни и крепили плотину, как могли. Все сказали как один: «Не пустим реку!» И никто не ушел, все дрожали и страдали тут, в общей толпе.

— Симон, — сказал я, — тебя не убили пули, не убьет и река. Делай, Симон! Цаголов на тебя смотрит, Ленин на тебя смотрит, весь пролетариат на тебя смотрит.

И я уже забыл, где плечо больное, где сон, где усталость, — так мы работали всю ночь напролет, до рассвета. Я вошел в ужасное безумие и не помнил ничего. И так в забвении таком диком все передавал камни, передавал камни. И вдруг Серго говорит: «Смотри, брат Симон». А я смотрю и не вижу. И Серго опять говорит: «Смотри». А я смотрю и не вижу. И тогда он взял меня за руку и приложил ее к моим ногам, и своей рукой я увидел, что вода только до колен и еще ниже, — и это была победа.

Я посмотрел вокруг — светло уже было.

Все спали, знаешь, как птицы на перелете, две тысячи людей спали; и Кура была синяя и вздулась, как жила на руке, — ничего не сделала.

Потом мы кончали Загэс. Кончали станцию, пускали воду, ставили большого Ленина лицом к горам, давали свет в Тифлис. И люди в Тифлисе видели всю ночь, как днем. Это была наша работа.

Ехал я в отпуск домой и в гости, вижу — рабочие работают, значит и тут строительство. И я спрашиваю:

— Что такое делаете?

И люди говорят:

— Шоссе будет в Цхинвали, товарищ.

Подумал я: «Будут юго-осетины тоже получше жить».

Душа у меня прыгнула, как у лошади глаз, когда

она видит вдруг огонь. Подскочил я на седле и спрашиваю:

— Туннель будете делать?

— А ты откуда знаешь? — говорят.

— А вот знаю, — говорю, — мне один человек сказал.

— Ну, так, — говорят, — этот человек большое место занимает.

Я говорю:

— Очень большое в моем сердце, прямо трудно сказать, какое место.

— А кто ж он такой?

Я говорю:

— Наш брат — большевик.

— А, — говорят, — тогда все в порядке.

— И я так думаю, — говорю, — что все в порядке.

КАВАЛЬКАДА

Я ездил изучать эйлаги — летние пастбища, меня очень интересовала жизнь чабанов. Вдосталь наговорившись с пастухами, нагледевшись на бесчисленные отары, до одури нанюхавшись дыма кочевых костров, искусанный блохами, которые неистребимо живут во всех кошмах пастушеских юрт, нагонявшись по пастбищам, я направился через высокогорные луга на север, чтобы отдохнуть после всех странствий в гостеприимной долине Самура.

Сначала я ехал в сопровождении только одного чабана, который вызвался проводить меня до ближайшего аула. Потом мы нагнали двух всадников и на следующий день ехали уже все вместе.

Один из всадников был плотный пожилой человек в очень вытертой шерстяной куртке, похожей на охотничью, с большими карманами. Фуражка его была надвинута на лоб. Вид он имел очень серьезный. Загорелый до черноты, с жесткими подстриженными усами, немногоречивый, он сидел в седле, как заправский горец.

Звали его Терентьев. Он работал ирригатором. Кавказ он изъездил вдоль и поперек. С таким спутником путешествовать не скучно.

Он может объяснить вам любое природное или бытовое явление, да еще с обязательным воспоминанием из собственного опыта. Правда, мы часто переходили на рысь, и рассказ невольно прерывался.

Рядом с нами скакал насмешливый молодой человек, которого он называл просто Сафар. Этот горец, отказавшийся от горской одежды и променявший ее на пиджак и брюки, заправленные в высокие сапоги, за исключением случая, когда он заговорил о том, что ему не удалось стать металлургом, а пришлось стать зоотехником,— и тут лицо его потемнело и глаза сделались печальными,— повторяю, за исключением этого случая, был вполне жизнерадостным и очень хвастал своим белым в серых яблоках конем.

На одной стоянке к нам присоединился пятый спутник — усталый милиционер, обросший рыжей бородой. Он возвращался из командировки в зимние коши, куда ездил по делу о похищении лошади у одного колхозника. Дело с лошадью запуталось, к тому же он простудился, чувствовал себя неважно и, громко кашляя, изредка раздражался проклятьями по адресу хитрого конокрада. В остальное время он курил папиросы и молча отгонял нагайкой слепней от громадной головы ужасно худого мерина, на котором ехал, погрузившись в свои милицейские раздумья.

Луга в этих местах, можно сказать, вознесены прямо к небу, так высоко они расположены. Трава на них разной величины. То она достигала всего нескольких вершков высоты, то она доходила до колен лошади, то вставала выше головы всадника, и, вытянув руку, вы не доставали до ее верха. Пахли эти луга необъяснимо хорошо, и жар горного солнца умерялся внезапными порывами ветерка со снежных вершин, стоявших неподалеку.

Через несколько часов пути мы перешли на хорошо убитую тропу, которая привела нас в долину, полную прелести. Мы пустили коней шагом среди зеленых ковров, разостланных до самого подножия каменных осыпей. Над ними поднимались желтые и красноватые скалы. Эти скалы были так изрезаны выступами самой необыкновенной формы, что смотреть на них доставляло какое-то мучительное удовольствие. Игра света и тени в их изломах каждую минуту создавала профили небывалых красавиц или уродов, неведомых зверей и великанов или просто ваших хороших знакомых. Все ваши мысли вы могли

найти осуществленными в этой каменной комедии масок, передразнивающей ваше воображение самым насмешливым образом.

Можно было часами длить эту игру, и глаз не уставал — так разнообразны и естественны были эти смены. Легко очерченные в голубом небе красноватые камни теплого телесного тона сообщали возникающим призракам тревожную жизненность, будто здесь вы действительно приблизились к новой природе, такой, какую вы никогда не думали увидеть, и она была много сильнее и прекраснее той, к которой вы привыкли и к которой стали давно равнодушны.

Мягкие широкие тени узорно ложились на зеленые ковры трав и сбегали к обрывам лугов, где далеко внизу блестела речка, шум которой не долетал до нас.

Мною овладело какое-то тревожное и необъяснимое ощущение, сходное с тем, которое является в тот час, когда вы хватаете перо и начинаете непонятно зачем писать стихи.

Надо мной сиял голубой жаркий день, с высоким небом со снежными вершинами, с необъятными далями, и в памяти неожиданно возник стих, не имеющий ко всему этому никакого отношения. Будто кто-то нашептывал мне в уши, как воспоминание, как напоминание о чем-то давнем:

Окончен труд дневных работ...
Окончен труд дневных работ...
Окончен труд дневных работ...

Я повторял, как одержимый, без конца эту строку, безотчетно и бездумно бормотал этот стих. Лошадь моя шла шагом, помахивая гривой. В общем звоне стремян, скрипе седел и похрапывании коней явился мне еще один стих, никак не связанный с первым:

Вечерним выстрелам внимаю...

Никаких выстрелов слышно не было. Все было тихо в этой дружеской долине, все было мирно, и только эти две строки, как будто прилетевшие из глубины скал или рожденные блеском далекой реки и одуряющим запахом лугов, звучали в моей голове.

Я не мог вспомнить ни того, чьи эти строки, ни того, какая связь между ними. Мне хотелось движения яростного, захватывающего дух. Я ударил коня камчой, и он рванулся из кавалькады, выскочил вперед и, прижав уши, закусывая трензельные кольца, помчался галопом. Не успел я еще хватить хороший глоток воздуха и услышать своеобразный свист в ушах, сопутствующий галопу, как увидел храпящую морду с широко открытыми глазами. Это был конь Сафара.

Сафар мгновенно догнал меня, и теперь мы мчались, далеко оставив позади своих спутников. В такой скачке есть большая прелесть. Это веселое занятие. Надо сказать, что оно небезопасно, так как в траве горных лугов много камней, и неизвестно, что вас ждет за поворотом тропы. Один раз мы сорвались прямо в ручей, и, тяжело дыша, мой конь, ударив в меня столбом воды, перелетел на другой берег, и за ним посыпались камни; другой раз мы чуть не залетели в болото, но прекращать скачку не хотелось...

Я оглянулся. За нами скакали Терентьев и чабан, и даже старый конь милиционера, вспомнив былые времена, догонял нас изо всех сил. Горные лошади не терпят, когда перед ними скачут. Они обязательно бросаются в состязание, даже вопреки воле их наездников, и стоит большого труда их успокоить.

Так мы скакали, опьяняясь быстротой. Бока коней стали мокрыми и храп — тяжелым. Я скакал, слегка пригнувшись к шее коня и плотно прижав ноги к его жарким бокам, и передо мной, как нарисованные, летели строки, которые я шептал сухими губами: «Окончен труд дневных работ... вечерним выстрелам внимаю».

Они сливались с ритмом галопы и как будто даже ускоряли его. Причудливые скалы мелькали с правой стороны, то приближаясь к нам, то отдаляясь.

Наконец, мы перевели лошадей на рысь, потом на шаг и несколько минут ехали молча. Кавалькада соединилась снова. Тревога, невесть откуда явившаяся, была как бы разогнана скачкой.

Терентьев, вытирая лоб большим синим платком, сказал с упреком:

— Зачем, скажите, такая скачка? Лошадей гоните зря... Было бы дело. А все ты, Сафар,— добавил он, по-видимому из вежливости, так как не мог не видеть, что я первый затеял эту гонку.

— Сафар плюнул, почесал камчой бок и засмеялся:

— Ты же старый, ты не азартный человек, что ты понимаешь?.. Зачем тебе скакать — ты практический человек...

— А ты — азиат,— сказал строго Терентьев.

— Знаешь, по-нашему, по-лезгински, что значит слово «азиат»? Азиат — значит: трудно, а мы хотим легко жить. Эх, ударил, пошел, — и он шутя взмахнул камчой.

— В галопе,— сказал я примирительно,— есть сущая необходимость. И по-военному обязательно полагается на походе изредка переходить на галоп. Коням нужно встряхнуться, освежиться...

— Да, если бы так,— отвечал уклончиво Терентьев,— в армии кони другие.

Он заставил своего коня идти со мной рядом. Он вдруг лукаво улыбнулся и показал мне куда-то в сторону, на срез одной горушки.

Тут луга спускались к речке террасами, и множество тонких тропинок пересекало их. Это были тропы, по которым стада спускались на водопой.

— Посмотрите вон туда, влево от большого камня, видите собаку?..

Я сложил щитком ладонь и огляделся. Действительно, я увидел собаку — типичную горскую овчарку, которая то подымалась свободно вверх по откосу, то ложилась на землю и ползла вдоль тропы, ниже ее, то снова бежала стремительно вверх и снова ложилась на землю и лежала неподвижно.

— Почему это так? — спросил я.

— А теперь посмотрите выше и правей от камня,— сказал Терентьев. И там, куда он указывал, я увидел длинное серое пятно. Я разобрал, что это движется стадо. Впереди его шел, как полагается, козел, за ним семенили козы, за ними, тесня друг друга, катились серые клубки отары.

Посох пастуха раскачивался над нею. Псы бежали по сторонам, выше и ниже стада, отгоняя от обрыва овец,

иные псы шли вперед, останавливались и нюхали воздух, пропускали мимо себя стадо и снова бежали вперед.

Теперь одинокая собака, оказавшаяся на пути отары, предпринимала очень сложные ходы для того, чтобы не попасться на глаза чужим псам.

Она заворачивала против ветра, отлеживалась за камнями и, высунув голову, следила за приближением врагов. Наконец, решив, что ее расчеты правильны до конца, она одним прыжком пересекла тропу перед носом у остановившихся в удивлении псов и взобралась на следующий пригорок раньше, чем они успели броситься ей наперез.

Они подняли отчаянный лай, вой и визг, но собака уже шла, потряхивая хвостом, и даже не оглядывалась.

— Видели? — сказал Терентьев.— Она ходила пить в одиночку. Попадись она этим собакам чужого стада — ключев бы от нее не осталось. А занимательно, как она шла, правда? Иные из этих псов один на один на волка ходят. Раз меня чуть с лошади не стащили, насилиу отбил. — Он помолчал и без всякого перехода сказал:— Здесь, в горах, многое еще во власти инстинкта. Меняют горцы одежду на городскую, кинжал перестают носить, — уж очень глуп при пиджаке кинжал, а у них врожденное чувство вкуса, — так они к пиджаку финский ножик приобретают...

Я слушал его очень рассеянно, припоминая, чьи же это строчки: «Вечерним выстрелам внимаю... окончен труд дневных работ...» Всадники говорили по-лезгински. Чабан хохотал, откидываясь в седле. Сафар самодовольно усмехался, и даже на лице милиционера мелькнула тень оживления.

Я слышал какое-то имя, повторявшееся чабаном, после которого все смеялись. Мне послышалось, как будто говорили: «Айше, Айше», но я не был уверен.

— Возьмите Сафара, — говорил Терентьев, затягиваясь махоркой из глиняной трубочки с вишневым мундштуком, — порывистый молодой человек, в два счета шею сломает, недосмотри за ним, я его с юности знаю... Я ведь тут все горы облазил...

Но я перебил его, спросив: кто это Айше, о ком они говорят? Он посмотрел на меня несколько удивленно и, прислушавшись к общему разговору, сказал:

— Чабан издевается над Сафаром, что в ауле, куда мы едем, есть девица одна, Айше,— сохнет по Сафару, за других не идет; ни с кем не гуляет; а ему мать какую-то косоглазую невесту подсватала в Мискинджи, а он гуляет, как дикий козел, где вздумается. Так они про него рассказывают анекдоты, самые, извиняюсь, непереводаемые...

День уже склонялся к вечеру, когда мы подъехали к большому аулу, где должны были ночевать. Но погода, вообще капризная в горах, испортилась так неожиданно, что вместо аула мы увидели огромное серое облако, закрывшее все дома плотной серой завесой. Ничего нельзя было разобрать, и мы двигались, как в молоке.

Из облака то там, то тут выступали столбы, поддерживавшие галереи у дома, кусок крыши, каменная ограда и снова растворялись бесследно.

— Я тут заеду к одному человечку,— сказал Терентьев,— а встретимся мы в школе; там, вероятно, и переночуем.

Мы разъехались. Я остался с Сафаром, а Терентьев, чабан и милиционер отправились в гору другой улочкой.

Лошади наши шли опустив морды, обнюхивая землю, прежде чем поставить ногу. Временами туман разносило, и я раз увидел ниже нас, на площадке, у сваленных бревен, странное существо. На голове его был платок, падавший лохматым концом ниже пояса, на плечах — что-то вроде жилетки, на ногах — суживавшиеся книзу штаны, вроде зимних красноармейских, ватных. Существо затягивалось из тонкого и длинного чубука, чуть не касавшегося земли.

— Что это такое? — спросил я Сафара, показывая ему на это зрелище.

Сафар повернул голову и сказал:

— Это баба. Все бабы здесь так ходят. Удобнее, знаешь. Тут всегда холодно, климат такой неподходящий...

Туман нашел на нас новой волной. Он был холодный, липкий и очень противный. Лошади подымались все выше

в гору. Мы двигались по узким улочкам, и надо было держаться настороже, опасаясь выступов, арок и физических балконов, чтобы не разбить себе невзначай голову.

Наконец, мы вышли на какую-то широкую площадку, и тут порыв ветра раздернул, как занавес, туман перед нами, и я невольно остановил своего коня, набрав повод на себя. То же сделал и Сафар.

Передо мной, опираясь на перила галереи, обходившей дом, стояла девушка. И если бы действие происходило не в горах, я ничуть не удивился бы. Но здесь, среди тумана, в ауле, лежащем далеко в стороне от городских мест, у самых ледников, за облаками, стояла на балконе и смотрела на нас в упор очень тонкая девушка и такой странной прелести, что я невольно засмотрелся. Она стояла так близко от меня, что я мог, протянув камчу, достать до ее ноги.

У девушки было бледное, прозрачное, совсем не загоревшее лицо, легкие, слегка нахмуренные брови, тонкие губы, глаза с каким-то небрежным и вместе с тем повелительным выражением. Она представляла такой контраст с окружающим, что вместо всяких слов я глупо пробормотал что-то невнятное.

На ней было серое простенькое платье, пуховый платок на плечах. Неширокий коричневый пояс. Дешевые туфли на низком каблуке.

Наконец, я справился со своей растерянностью.

— Вот так красавица! — сказал я. — Откуда вы сюда попали?

Девушка без всякой теплоты в голосе насмешливо сказала:

— Взяла и приехала.

— Откуда же вы приехали?

— Отсюда не видно.

— А как вас зовут?

— Зачем вам знать, как меня зовут? Вам знать мое имя не надо...

— И вы поселились тут жить?

— А что в этом такого? Тут холодно, а я холод люблю, я сама холодная.

— А вы знаете, какие здесь зимы? Все уходит вниз в Азербайджан, а здесь все снег заваливает, только

старики да дети сидят под снегом, да женщины ковры
Тут. Никуда до весны не выйти...

Она вдруг улыбнулась, отчего румянец пошел по лицу,
глаза ее засмеялись, и она сказала:

— А мне все равно. Люди живут, и мы жить будем...

— А что вы тут делаете?

Лицо ее помрачнело, и она ответила почти сердито:

— Ничего. С мужем сплю.

— Ну, я вижу, у вас и язычок!

— С каким родилась, такой и есть. Чего вы останови-
лись? Не вас встречать вышла. Проезжайте на здоровье...

— А как нам проехать к школе?

— К школе как проехать?— Она повернулась, и я,
следуя движению ее руки, тоже повернул коня и взгля-
нул на Сафара. Насупившись, не отрываясь, смотрел
он на нашу незнакомку, как будто ничего не осталось в
нем больше от веселого и самодовольного Сафара. Она,
не удастая его взглядом, показала вверх по улице:—
Туда поезжайте, там каменный забор будет, потом выше,
направо, там и школа...

Я стегнул камчой Сафарова коня, и тот, вздрогнув,
шагнул вперед. Девушка громко засмеялась, и Сафар
точно проснулся. Он поправил фуражку, нахлобучил ее
на голову и дал такой удар нагайкой, что его белый в яб-
локах конь взвился на дыбы. В тумане поехали мы даль-
ше, и я только запомнил отчетливо дом девушки и гале-
рею с резными столбиками.

В школе было пусто и холодно. В одном классе, где
парты были сложены грудой, на полу сидели, поджав
ноги, закутавшись в тонкие фланелевые одеяла, две де-
вушки, и какой-то худощавый юноша в ковбойке разжи-
гал примус, пускавший струйки синего дыма.

Перед ним стояла молча высокая худая горянка в та-
ком точно костюме, какой я уже видел на странном суще-
стве при въезде в аул. Теперь я рассмотрел этот костюм
внимательно, и он мне даже понравился. Да, это были зе-
леные ватные стеганые красноармейские штаны, на но-
гах мужские тяжелые черные ботинки, белая рубашка
была покрыта синей бархатной жилеткой, которую укра-
шал целый клад крупных старых серебряных монет, сре-
ди которых я увидел даже монету с профилем Стефана

Батория. Был и платок, перехваченный поясом, с лохматым концом. Только она не держала чубука в руках и ничего не говорила, так как все равно мы бы ее не поняли.

Она равнодушно смотрела на девушек, ежившихся от холода под тонкими одеялами, на юношу, тщетно пытавшегося вызвать к жизни примус. Мне она показалась бронзовой статуей молчания, которую ничто не может оживить.

Не тут-то было. Едва она увидела Сафара, как ее бронзовое лицо вспыхнуло, глаза раскрылись, она взмахнула руками и побежала к нему. Она взяла его за руку, говоря много слов зараз и, повидимому, самых трогательных. Но он строго отвел ее руку, почти оттолкнул ее небрежным и обидным движением.

Увидя его нахмуренный лоб и угрюмые глаза, она сказала что-то жалобное, вздрогнула и отошла к окну. Она отвернулась от нас и стояла так, вздрагивая плечами, лицом к туману, который уже совершенно обволок весь аул плотней прежнего.

— Вы альпинисты? — спросил я у юноши, бросившего примус и вытиравшего руки о тряпку.

Девушки, щелкая зубами от холода, засмеялись:

— Мы все, что хотите. Мы же геологи. Сегодня нам на леднике досталось — до сих пор согреться не можем. В снег попали...

— Вы все здесь?

— Нет, Мишка с Юрой остались на другом участке. Если до ночи не придут, пойдем их отыскивать.

— Тут очень трудно искать? — спросил я.

— Да нет, просто очень холодно, прямо как-то беспросветно холодно. И примус, паршивый, испортился. Мы спрашивали у нее, — они показали на спину горянки, — где бы нам хоть бурку достать, да она ни слова по-русски не понимает.

Тут в школу с шумом ввалились Терентьев, чабан и какой-то неизвестный мне горец. Терентьев называл его Ахметом.

— Слушайте, — обратился я к Терентьеву, — вы тут свой человек. Что же молодым людям мерзнуть зря. Схлопочите им кошму или бурку...

Терентьев сказал что-то Ахмету по-лезгински, и тот позвал:

— Айше!

Айше повернулась от окна, сложив руки на груди, выслушала Ахмета и, ни слова не говоря, ни на кого не взглянув, вышла из комнаты.

Терентьев мне перевел, что Ахмет велел ей принести что-нибудь для геологов. Потом он подсел к примусу, поковырял в нем иголкой, пошатал, и вдруг примус загудел и заработал, как новый.

— Я все умею,— сказал он весело,— меня эти штуки боятся. Сколько примусов я на ноги поставил — не считать...

Появилась Айше, волоча две бурки и серую кошму. Девчонки издали крик победы и бросились к буркам.

Когда они встали, они оказались невысокими, стройными и быстрыми. На примусе уже стоял чайник с черным носиком, в комнате стало чуть уютнее, хотя это только казалось.

На самом деле у меня было такое ощущение, что сейчас повалит снег, такой холод и белая тьма стояли за окном.

— Ну, мы пойдем к Ахмету,— сказал Терентьев.— Вы, ребята, если что надо, меня там разыщете. Айше, обрадовалась, что Сафар приехал? — спросил он неожиданно бронзовую девушку, снова вставшую, как часовой, у окна.

Он повторил свой вопрос по-лезгински. Айше сжала губы, взглянула на него длинным и печальным взглядом и ушла на улицу.

— Вот тебе и раз,— сказал Терентьев, разведя руками,— мы-то ей гостя привезли, а она и поворот от ворот. Что ты такое наделал, Сафар, чем провинился? Батюшки, да он и в самом деле мрачен! Он не в духе, и она не в духе. Вот тебе горе луковое... Ничего, пройдет... Это бывает.

Но Сафар отрывисто ответил по-лезгински, и все трое засмеялись. Я понял, что он отшутился, как всегда, грубой и соленой шуткой.

Мы вышли из школы. Мальчишки вели за нами наших коней в поводу. Мы поднялись по каким-то улочкам

еще почти не видя ничего в бурой мгле. Терентьев все время говорил мне:

— Смотрите под ноги, тут черт-те чего нет...

— Товарищ Терентьев, кто это тут девушка русская в ауле? Мы встретили ее при въезде.

— Русская,— сказал он,— да это же геологички. Вы про них, что ли, спрашиваете?

— Да нет, на балконе стояла, в платье в сером, в платке, приезжая.

— А! Это приехал бухгалтер недавно в ковровую артель сюда. За длинным рублем погнался. Ну, трудно-вато ему тут будет. Это, наверно, его женка. Других не знаю. А что, смазлива?

— Да как вам сказать? По-моему, удивительно хороша.

— Ого-о!— сказал он протяжно.— Ну, если так, то горя хлебнет, а то просто смоеся в Ахты. Тут не так далеко... А что такое с Сафаром?— спросил он, но тут я некстати споткнулся и сильно ушиб ногу.— Осторожней, пожалуйста, а то еще себя покалечите. Пожалуйста, смотрите под ноги. Ишь какая тьма кромешная. Так вот иногда по целой неделе такая дрянь стоит. Местечко, надо вам сказать, зловерное, да зато луга у него благословенные. Десятки тысяч овец у колхоза. Так чего это Сафар присмирел?

— Не знаю,— ответил я,— о невесте, наверно, задумался...

— О невесте? — сказал Терентьев.— К невесте его, наверно, на аркане будут тащить... Он хоть мать и слушается, тут у них матриархат еще действует, но уже не настолько. Девки у него на уме, это верно.

Стало совсем темно, когда мы добрались до Ахметовского дома. Сказать, большой ли это дом, я бы ни за что не смог, так как совершенно ничего не видел из-за тумана, кроме ступенек лестницы, ведущей в галерею. Мы поднялись со всяческими предосторожностями и прошли в комнату, по размерам которой можно уже было судить о том, что дом велик. Тут я, сознаюсь, лег на кошму и уснул. Спал я недолго. Меня вежливо разбудил Терентьев.

— Для сна ночь будет,— сказал он,— а сейчас мы будем великий хинкал вкушать. Вставайте...

Я уже знал по опыту это блюдо и только спросил:

— Кукурузные бомбы с кулак величиной или больше?

— А вот сейчас увидите,— отвечал Терентьев, и мы прошли в комнату еще больше той, в которой я спал кратким сном.

Это была типичная кунацкая. По стенам висели старинные блюда и тарелки, кое-какое оружие, два плаката по молочному хозяйству, олеография, изображающая Сусанну и старцев, и в углу, под стеклом, громадный набор открыток с раскрашенными картинками и портретами, на которые я сначала не обратил внимания.

В почетном углу отдельно висели небольшие портреты вождей. Я подошел к окну, выходявшему на галерею, довольно высокую, но за окном был все тот же бесконечный, удручающий сумрак, уже переходящий во мрак ночи.

Я перешел через комнату и стал рассматривать открытки. Горцы очень любят вешать в кунацкой такие открытки, семейные фотографии, плакаты, снимки с картин, олеографии, лубочные картинки.

Тут было множество видов города, моря, гор. Были женские головки дореволюционного оформления, много портретов неизвестных лиц, среди них попадались знакомые писатели, композиторы, военные. Я не мог понять, что объединило их под этим стеклом, но Ахмет, говоривший немного по-русски, сказал, тронув меня за плечо:

— Это все красивый человек.

Я понял, что «это все красивый человек» есть определение, по которому все эти открытки отобраны, что это личный вкус хозяина. И тут я увидел открытку с портретом Лермонтова. Почему-то, как только Ахмет сказал «красивый человек», мне сразу бросился в глаза Лермонтов, и тут же дрожь пробежала по моей спине. Да ведь строки, жившие во мне целый день: «Вечерним выстрелам внимаю... окончен труд дневных работ»,—это же из стихотворения Лермонтова. Ну конечно же. И я стал вспоминать все стихотворение, но тут внесли еду и попросили сесть на ковер.

Мы расположились на ковре посреди комнаты, в которой еще оставалось достаточно места. Тут сидели Терен-

тьев, в расстегнутой куртке, похожий на старого военного времен кавказской войны, Сафар, все еще хмурый и какой-то потерянный, родственники хозяина — горцы средних лет, мой проводник-чабан и еще один русский, веснушчатый человек неопределенных лет, вялый в движениях и небритый.

Его горцы называли просто Степаном и относились к нему безразлично.

— Кто это? — спросил я тихо Терентьева.

— Это и есть тот бухгалтер, что в ковровую артель капитал сколачивать приехал. Глядишь, уже обжился. На хинкал-то как уставился, а может, на водку,— добавил он добродушно.

Мы взялись за хинкал. Кто не знает, что такое хинкал, объяснить нетрудно, но всякое объяснение не будет точным, потому что вид этого кушанья меняется от того, где вы его едите. В Хевсуретии он одного вида, в Аварии — другого, в Лезгии — третьего. То, что мы ели, была чесночная густая похлебка, вернее — соус, в который мы окунали мелко нарезанные куски баранины, запивая бараньим бульоном и закусывая небольшими бомбочками из кукурузной муки. Величина этих бомбочек в разных местностях меняется от величины грецкого ореха до величины доброго кулака, и если вы можете еще есть их в горячем виде, то в холодном их не одолеет и самый неприхотливый европейский желудок.

Чесночная похлебка густа, горяча и остра. Водка была подана в большом количестве, и ее пили стаканами за неимением другой посуды.

Но горцы очень крепкие люди, и водка не производит большого впечатления на их железные натуры. Женщины дома только принесли все и скромно удалились, чтобы не мешать мужскому ужину.

Обряд поглощения хинкала протекал вполне торжественно. Все чавкали и вытирали руки о полотенце, положенное на ковер. Ели руками. Говорили медленно, по-русски и по-лезгински. Час был такой, что никому никуда не надо было торопиться.

Искусство тостов, там, за хребтом, достигшее у грузин высоты непостижимой, здесь не принято, и тосты были

серьезные и краткие, шуточные и грубые, но все простые и несложные.

Потом водка возымела некоторое действие на сердца собеседников, и они начали рассказывать и вспоминать друг про друга самые смешные истории.

Я же потихоньку вспоминал лермонтовские стихи, и водка как будто прояснила мою память, забитую впечатлениями от пастбищ и пастухов. Через час я вспомнил одну строфу, но, хоть убей, не мог припомнить остального.

Мужчины уже галдели и грохотали какие-то народные анекдоты, как дверь на галерею распахнулась и вошла та самая женщина в платке, которая ошеломила нас с Сафаром.

К этому времени на крючок в кунацкой повесили керосиновую лампу, и в ее свете женщина стояла в дверях, как видение из другого мира. Вместе с ней в комнату проникли клочья густого облака, и казалось, она явилась окруженная светящимися парами, так как эти клочья поблескивали красноватыми иголочками, попадая в свет лампы.

Она остановилась, сверху вниз оглядывая присутствующих. Теперь на ней была вязаная синяя кофточка и белая юбка. Ахмет сказал:

— Здравствуй, Наташ.

«Так ее зовут Наташей, вот что». Я ей крикнул тоже:

— Наташа, садитесь, мы уже знакомы, идите к нам, посидите...

Но она смотрела на мужа, сидевшего с растрепанными жидкими волосами, без пиджака, по рукам его текли струйки жира; он держал стакан с водкой и прихлебывал из него водку, как чай.

Наташа сказала раздраженным голосом:

— Иди домой, загостишься тут до утра. Заснешь потом в канаве.

Степан посмотрел на нее хладнокровно, отхлебнул из стакана, взял кукурузную бомбочку, размял ее и, медленно жуя, сказал:

— Что мне делать дома? Надоело мне там по горло.

Она ничего не ответила и повернулась к двери, но тут Ахмет, легкий и быстрый, несмотря на суровую и тяже-

лую фигуру, вскочил с ковра, взял ее самым любезным образом за руку и сказал от всего сердца:

— Наташ, не сердись, садись с нами. Пей на здоровье, садись, пожалуйста.

И она села на край ковра, подогнув ноги, как сидят горянки. Она взяла стакан, налила в него водки наполовину, взяла бутылку вишневого сока, которым мы не пользовались, и подкрасила водку. Потом одним духом выпила, и глаза ее встретились с неподвижными, как у лунатика, глазами Сафара. Что-то вроде улыбки пробежало по ее губам, она взяла кукурузную бомбу, храбро обмакнула ее в чесночную похлебку.

Тут горцы запели старую лезгинскую песню. Они пели, раскачиваясь, как в седлах, и я, ничего не понимая в словах, в ритме этой песни, тягучей, печальной и тонкозвонкой, живо представил себе эти ущелья, где вихрятся реки, где летят обвалы, где пробирались всадники в набег, где они сражались и умирали.

Песня была прекрасная. Терентьев пересказал ее мне своими словами. Я почти угадал все, кроме смерти в бою. Горец, о котором пелось, не мог найти смерти, как ни искал. Он был кем-то заморожен.

За этой песней пелись другие, шуточные, потом снова пили и нескладно разговаривали.

— Наташа,— сказал я,— спойте вы что-нибудь наше, русское.

— Я не пою,— сказала она просто и тихо,— правда, правда, я не умею ломаться. У меня голос неудачливый. Вот вы, может, споете...

И она так улыбнулась, что я совершил необыкновенное. Я сказал:

— Хорошо, только я спою стихи.

Горцы дружно выразили удовольствие, и я спел им ту строфу лермонтовского стихотворения, что терзала меня весь день мучительной тревогой.

Я спел ее страшным, отчаянным голосом, охрипшим от ночлегов среди дыма кошей и водки. Я не спел — это неверно, я прохрипел эту строфу, и мне казалось, что все содержание этого сумбурного и замечательного горного дня входит в эти строки, совершенно не соответствовав-

шие ни месту, ни времени. Я пел, как романс, повторяя каждые третью и четвертую строку по два раза:

Окончен труд дневных работ,
Я часто о тебе мечтаю,
Бродя вблизи пустынных вод,
Вечерним выстрелам внимаю.

И между тем как чередой
Глушит волнами их седыми, .
Я плачу, я томим тоской,
Я умереть желаю с ними.

Я кончил, закрыв глаза. Вероятно, я был дико смешон. Я ждал взрыва хохота. Никто не смеялся.

— Тоже хорошая песня,— сказал Ахмет вежливо, и горцы выпили мое здоровье.

Наташа смотрела на ковер, как будто шла глазами по его прихотливым узорам. Тогда с места сорвался Сафар и пошел какой-то, как мне показалось, пьяной походкой в дальний угол комнаты.

Но эти колеблющиеся шаги были вступлением в лезгинку, крадущимися, гибкими движениями вступающего в танец. Он вдруг выпрямился, как подброшенный пружиной, и пошел по кругу таким, каким я никогда не мог бы его вообразить, так не похож был этот красивый сильный человек на будничного и ограниченного юношу, каким он казался мне весь день.

Он танцевал так, как будто никто до него никогда не танцевал лезгинки, и он танцевал так, как будто это были его тайные мысли. Это не были движения человека, пляшущего для того, чтобы позабавить окружающих, это не были движения фокусного танцора, поражающего своим искусством, это была пляска древнего горца, который говорит танцем то, чего не может сказать никакими словами.

Горцы причмокивали от волнения и удовольствия, их ладони отбивали такт, взлетая, как медные блюдечки.

Сафар проносился так легко и осторожно, что даже лампа не дрожала, когда он перебирал под ней ногами. Может быть, я выпил лишнее, но этот танец захватил меня всего. Пока Сафар разговаривал ногами, никто не сводил с него глаз. Так мы и не видели, когда встала Наташа — в начале ли танца, или уже когда он неистовст-

вовал в конечных поворотах. Но когда Сафар резко остановился, переводя дыхание, и протянул руку к двери, мы увидели, что Наташа уже взялась за ручку.

В наступившей тишине она тихо сказала:

— Здесь душно очень.

Но она не ушла. Она стояла против Сафара, и пальцы ее сжимали ручку, как будто она хотела сломать ее.

— Наташ,— сказал Сафар, делая к ней шаг,— танцуй со мной. Всю жизнь буду помнить...

Наташа взглянула почему-то в окно и сказала резко:

— Не умею. Лучше уж я тебя нашему обучу.

— Давай,— закричал Сафар.

— Не сейчас же. Ты шальной какой-то. Как в реку прыгаешь — смотри, захлебнешься...

В комнату вошло облако и закрыло Наташу. Сафар бросился в туман, но по стуку двери мы поняли, что Наташа ушла.

Куски облака медленно расплывались по комнате. Горцы снова запели что-то унылое, такое, что у меня мороз пошел по коже. Сафар налил стакан водки и выпил ее, как воду.

Не знаю, сколько времени прошло; я курил трубку и смотрел, как менялись лица в освещении лампы. Вдруг все мне стали казаться тихими, добрыми и комната — страшно уютной, теплой и дружеской.

Сафар встал и вышел на галерею. И следом за ним быстрыми шагами вышел Терентьев.

«Тут-то и начинается самое интересное»,— подумал я. Горцы курили папиросы, и Степан сидел, прислонившись к стене. Лоб его белел, как бумага, на фоне красно-черной кошмы. Капельки пота блестели на висках. Я подошел к окну рядом с дверью. Терентьев и Сафар громко, как будто они были одни во всем ауле, говорили, перебивая друг друга.

Они говорили, прохаживаясь по галерее. Слова их то удалялись, то приближались, и я не слышал всего разговора. До меня долетали отдельные фразы.

— Ты сейчас уедешь,— говорил Терентьев,— я твоему покойному отцу обещал смотреть за тобой... — Потом было несколько неясно слышимых фраз, и я скоро услышал:

— Ты все такой же... А мать, а невеста в Мискинджи?... — и он перешел на лезгинский.

Сафар горячо возражал, и потом поток его гортанных слов вдруг сменился русской бранью, и он сказал:

— Плевал я на невесту...

Они остановились у люка лестницы, и Терентьев упрямо повторил скучным, тяжелым голосом:

— Ты уедешь сейчас же, я тебе поседлаю сам. Конь тут, во дворе. Ты уедешь...

Тогда, после ледяной паузы, Сафар сказал так умляюще, что мне стало страшно:

— Валлаги. Я не могу уехать от этой женщины. Я умру — я не могу уехать от этой женщины.

И он перешел опять на лезгинский.

Терентьев помолчал и потом заговорил, и голос его звучал глухо и удаляясь. Возможно, что он говорил Сафару, уже спускаясь сзади него по лестнице. Больше ничего я уже разобрать не мог.

Я посмотрел в окно. Не понимая почему, я теперь ясно видел двор в каком-то зеленом свете, как будто действие происходило на морском дне. Слышался звон уздечек и стремян. Они седлали лошадь вдвоем.

Потом по камням раздался лягз, тень всадника пересекла двор, и стук стал далеким. «Неужели они уехали оба?» — подумал я, но тут дверь открылась и в комнату, по которой кружились завитки дыма, вошел Терентьев.

Он подошел ко мне, не обращая внимания на горцев. Один из них дремал, другой что-то шепотом рассказывал Ахмету. Чабан пробовал прочесть какую-то бумажку, которую он то и дело подымал над головой, чтобы разглядеть написанное при слабом свете коптившей нестерпимо лампы.

От Терентьева пахло водкой и махоркой. Его голубые глаза смотрели умно и пренебрежительно, как будто он хотел внушить мне, что он все в жизни знает, все видел и ничему больше не удивляется.

— Вот *дюшюш!* — сказал он и, видя мое недоумевающее лицо, поспешил прибавить: — Да, я забыл, что вы не знаете здешнего языка. Я говорю: вот так приключение... — Он помолчал. — Ну, я от греха подальше его отправил. Пусть поскачет, тропы там плохие — авось

охладится. А вы что думаете? — Он начал говорить, как бы убеждая меня, хотя я ему никак не возражал. — Он хороший, я его очень люблю, неудачник только, — хотел быть металлургом, получился средний зоотехник. Пить ему не надо. А та, вы правы, — она чертовка. Были когда-то и мы рысаками. Молодость, я вам скажу... В такую ночь я...

Он махнул рукой и пошел от меня, перешагнув через ноги спящего чабана и стал поправлять фитиль у лампы.

Я осмотрел остатки пира. На скатерти, разостланной на ковре, валялись остатки полуразрушенных кукурузных катышей, куски мяса, лежали на боку стаканы. Я прошел к стене, где под стеклом был тускло виден красный доломан гусарского поручика.

Я посмотрел на эти шнуры и на резко раскрашенные черты лица. «Красивый человек», — сказал о нем горец. Мне стало не по себе в этой комнате. Тревога, вспыхивавшая во мне весь день, как незатухающие угли пастушеского костра, разразилась припадком одиночества. Я не хотел никого видеть. Я решительно открыл дверь и вышел на галерею.

Никакого тумана не было и в помине. Аул был залит зеленым лунным потоком. Прямо передо мной, точно опускаясь в соседний двор, висел гигантский ледник. Аул уходил вверх и вниз от меня множеством построек, как небольшой Вавилон. Каждый камешек на дворе можно было рассмотреть. В углу двора, под навесом, сонно вздыхали лошади.

Белые звезды усеяли бездонное небо. Розовые днем стены необъятной пирамиды, стоявшей с другой стороны над аулом, сейчас излучали слабое зеленое сияние. Фирн на вершине горел поражающей белизной.

Я весь подпал очарованию этой ночи. Медленно спустился по старой скрипучей лестнице во двор и вышел за ворота.

Я тихо шел узкими пустынными улочками, под безмолвными галереями, мимо старых каменных оград и полуразрушенных стен. Где-то начали тявкать собаки, и, перерезая мне дорогу, ниже меня прошла группа людей, сгибавшихся под тяжестью мешков. Я догадался: это были геологи, которые нашли своих товарищей и возвра-

шались все вместе в аул. Я слышал их усталые голоса и тяжелые шаги. Я подождал, пока они не скрылись, и снова наступила тишина.

В этой тишине холодной ночи я брел, как путник, который хочет остаться наедине с ночью и ничего другого ему не надо. Жизнь была где-то внизу, далеко, ниже этого селения, заброшенного к самой луне, к вечному льду и звездам. Я сел на камень и задумался, удивляясь простой строгости этого дикого уголка.

Мне начало казаться, что я живу сразу в нескольких эпохах. Вокруг меня лежали дома, похожие на вавилонские; там, в кунацкой, на старом лезгинском ковре сидят горцы в одеждах времен Шамиля и тихо разговаривают; внизу, в школе, укладываются спать молодые, крепкие юноши и девушки, которым нет дела до этих древних стен; по глухим тропам скачет Сафар, разгоняя свою тоску бешеным ночным галопом; дома сидит Наташа, заброшенная из далекого русского городка на самый край гор, и ждет своего пьянчугу мужа, а он дохлебывает мокрыми губами невесть какой стакан водки, — и не от стыда ли за него спряталась она сюда, в эту глушь?

То, о чем я пишу сейчас, было лет десять назад, и я думал тогда, сидя на камне, что я вряд ли приду второй раз на этот камень в такую же беспощадную лунную ночь, чтобы снова пережить все, что дал мне смутный и тревожный день...

Окончен труд дневных работ...

Окончен труд дневных работ...

Там, на эйлагах, сторожевые собаки спят, положив голову повыше, на земляные бугорки, чтобы все слышать, что делается в ночи. И только бараны могут безнаказанно перебегать от одной отары к другой. И спят пастухи, завернувшись в кусок кошмы, и тлеют уголья в их посиневших кострах.

Мне стало холодно, и я встал с камня. Я пошел снова кружить по улочкам, по каменным лестницам, повторяя одно из знакомых мне лезгинских слов: *иер* — хорошо. Короткое, легкое звучание этого слова совпадало с холодной легкостью этой неповторимой ночи. *Иер*.

Я взглянул на дом перед собой и узнал колонки галереи, покрытые резьбой, оставшейся у меня в памяти.

Это был дом Наташи. Галерея была пуста, я мог разглядеть все трещины на колонках; я вызвал в памяти снов ее, такую, какая ошеломила нас с Сафаром.

Я стоял, как дурак, и рассматривал дом. Он был небольшой, старый, бедный. Все окна были закрыты ставнями. Почти черная тень лежала под галереей. Что-то звякнуло там. Я прислушался. Слабый звук повторился. Я подошел ближе и, всматриваясь в темноту, увидел привязанного к столбу коня.

Он показался мне знакомым. Я подошел вплотную. Это был конь Сафара. Белый в яблоках. И хурджины были его — те пестрые ахтинские хурджины, на которые я смотрел с такой завистью. Недалеко же уехал Сафар.

Мертвая тишина стояла вокруг. В этой тишине лунный свет, казалось, звучал слабым желтым звоном.

Я погладил коня по гриве, он покосился на меня и начал шумно нюхать руки — видимо, Сафар прикармливал его. Я пошел с площадки вверх, к себе домой. Внезапно я увидел женщину, сидевшую в полном оцепенении на камне и смотревшую куда-то на горы, на высокую пирамиду, на её далекий светящийся ледничок.

Бронзовое лицо ее было неподвижно. Губы сжаты. Руки лежали на коленях, будто она прислушивалась к только ей слышному далекому шуму. Это была Айше. Она не пошевелилась при моем приближении. По ее бронзовым щекам катились слезы. Но она сидела неподвижно.

Я миновал ее, оглянулся еще раз на маленький дом, на коня и пошел быстрыми шагами. Я пришел, когда все горцы уже спали. Громко храпел Степан, даже ничем не закрывшись, заснув, как сидел, прислонившись к стене. Мне не хотелось будить Терентьева, спавшего богатырским сном. Я отыскал в углу свою короткую аварскую бурку, завернулся в нее и сразу уснул.

1941. Май — июнь

В О Е Н Н Ы Е
К О Н И

1928

*

ВЕСЕЛЫЕ ЛОШАДИ

I

Маршевый эскадрон ¹ готовился к учебной рубке.

Нужно было, идя через поле, пройти мимо крестовины с прутьями, срубить прут, подняв руку высоко и прямо над головой, уколоть концом шашки соломенное чучело, лежащее на земле, и встать на другом конце поля, похлопывая по шее разгоряченного скакуна.

Эта скачка одинаково волнует всегда и старых и молодых лошадей. Справа налево стояли в ряду эскадрона неразлучные товарищи — кони Чирий, Чайничек, Чурило и кобыла Облигация. Дружба их была самая искренняя и бескорыстная. Стоило ударить одного из них, как они все начинали вопить; стоило на водопое озорному коню из чужого взвода толкнуть Чайничка, как все бросались ему на помощь.

Ночью в конюшне наступала минута, когда дневальный закапывался в копну сена и засыпал. Тогда Облигация снимала зубами недоуздок с Чайничка, он снимал недоуздок с Чурило, Чурило — с Чирья, и они вчетвером шли щипать сено, толпясь вокруг безмятежно хрепавшего дневального.

В это время проход конюшни — четыре шага в ширину и тридцать шагов в длину — принадлежал им. Они могли

¹ М а р ш е в ы й э с к а д р о н — эскадрон, составленный из запасных войск для отправления на фронт.

бегать по конюшне, сколько им хотелось. И они задирали товарищей, страдавших бессонницей, и лягали спящих. Но горе было тому коню, который осмелился бы оспаривать их власть. Они бы загнали его в станок, и даже метла дневального, хорошая, новая, жесткая метла с толстой палкой, не спасла бы несчастного коня от избиения. Такова была эта неразлучная четверка.

Вернемся к рубке.

Сначала тронулся темный, широкоплечий Чирий. На нем сидел гусар Рожин. Чирий вмиг пересек поле, шашка сверкнула на морозе, как ледяное колесо, прут упал, на его место наставили новый.

Чайничек любил идти боком, косясь одним глазом назад. Не доходя до прута, он споткнулся, прыгнул налево и обнес всадника. Напрасно Корнилов, сидевший на нем, махал шашкой: в этот день на Чайничка напало упрямство.

Тогда, обиженная за товарища, рванулась кобыла Облигация. Тяжело дыша и волнуясь, она шла плавно, как птица. У ее хозяина Мрамора была своя уловка: он рубил лучше всех, но рубил по-казацки, сплеча. Это строго запрещалось. Поэтому сначала он подымал руку с клинком высоко и прямо, но у самого места переносил он руку вбок и налево и рубил так, что прут свистел в воздухе, перевертываясь. Так мчался Мрамор, почти выбрасываясь из седла, с перекошенным лицом, и свистел при этом. Все гусары завидовали его рубке, и у него в эскадроне было много последователей.

За Мрамором Авдеев поднял в галоп Чурила. Ему очень хотелось рубить так же лихо, как Мрамор. Он так же занес шашку и ударил слева направо и даже засвистел. Чурило, опьяненный морозом и гонкой, пыхтя перелетел поле. Но сзади бежали за Авдеевым гусары и кричали:

— Ухо отрубил, ухо отрубил!

Авдеев посмотрел, растерявшись, на коня. Правого уха как не бывало. Тонкие струйки черной крови замерзли, и брызги ее застыли на его шашке. Слез Авдеев печально и повел коня в лошадиный лазарет на перевязку. В лазарете кашляли, зевали и стонали лошади.

— Калеку привел, только и знаете калечить,— ска-

зал ему старый ополченец в разорванной папахе, потряхивая сивой бороденкой.

— Сам ты калека,— зашипел Авдеев,— подавай фельдшера!

— А вот и не подам,— отвечал ополченец — не лайся, не на такого напал...

— Зарублю!— закричал Авдеев.— Раненому отказываешь...

Человек в халате вышел из станка с громадным деревянным градусником на веревке и строго сказал ополченцу:

— Опять не доглядел за четвертым номером: опять температура сорок градусов...

Ополченец откашлялся и ответил:

— А по-моему, четвертому номеру как раз помирать пора.

— Давай пациента,— приказал человек в халате, увидев Авдеева.

Пациента подвели к нему. Чурило волновался уже потому, что рана оттаяла и сильно чесалась. Белый халат ему вовсе не понравился.

Фельдшер вынул из кармана палочку с веревочной петлей и стал накручивать Чурилову губу на палочку. Искры посыпались Чуриле на нос. Он так остолбенел от этой незаслуженной боли, что забыл, как переставлять ноги. Фельдшер дал держать палочку Авдееву, а сам промыл карболкой рану, намазал ее густой белой мазью и сказал спокойно:

— До свадьбы заживет...

Чурило удрученный вернулся в конюшню. Напрасно слева дергал его за гриву Чирий, а справа беспокоился Чайничек. Чурило растерянно взглянул на них и отодвинулся в сторону.

Между тем вахмистр ¹ Седов сказал Авдееву:

— На два часа закатил тебя под шашку Клеопин за ухо...

Клеопин был командир эскадрона.

— А мне наплевать! — ответил Авдеев. — Постоим, как шелковые.

¹ В а х м и с т р — должность в кавалерии царской армии, соответствующая по чину старшине в Красной Армии.

— Да только Клеопин велел перед его домом стоять...

— Как перед домом — на морозе? Права не имеет, пятнадцать градусов мороза! Ветер! Я же замерзну...

— Пойди поговори с ним. Он всегда особенное любит.

Говорить тут не приходилось.

— Ладно,— пробурчал Авдеев,— поедем на фронт, я тебе первую пулю не пожалую!

Гусары обступили вахмистра.

— Седов, а Седов, когда же банные деньги будут? За амунизию тоже полагается.

— А разве я знаю? — усмехнулся Седов. — Не напирай.

— А кто же знает? По тридцать копеек на человека — это, брат, на махорку в самый раз.

— Кто их зажиллил?

— Пойди спроси у Клеопина...

Солдаты начинали шуметь.

— Смирно! — закричал вахмистр. — Время военное. Бунтовать еще вздумаете!

И он ушел, играя темляком шашки и звеня новенькими шпорами.

— Знаем, где деньги, — сказал Авдеев ему вслед, — шкура со шкурой всегда сталкиваются... С нищих грабят...

Долго еще гудели гусары, а на вечерней уборке вернувшийся с мороза Авдеев оттирал уши и нос, чистил Чурилу, переминавшегося с ноги на ногу, и говорил Мармору и Корнилову:

— Житья нет вовсе. Под городом живем — города не видим. Сахар задерживает. Банные, чайные, амуничные прикарманил, бьет нашего брата...

— Чего столпились! — закричал вахмистр. — Иди по лошадям, я за вас чистить буду?..

Ему в спину поднялись три кулака.

Лошадей сгоняли на водопой, потом притащили соломы, потом насыпали лошадям овса, потом ушли из конюшни.

Сквозь щели дул ледяной ветер. Звезды были большие, как конские глаза. В эту ночь только Облигация, Чайничек и Чирий путешествовали по конюшне. Чурило печально стоял в углу станка и терся о стенку головой.

— Чем кормишь? — закричал Авдеев кашевару. — Гнилой чечевицей кормишь!

— Поешь и такую, ты, брат, не Клеопин, чтобы курицей питаться, — огрызнулся кашевар. — Если завтра привезут из города провиант, может какой гнилой козел перепадет, — я тебе форшмаку состряпаю... Теперь и на войне чечевицу жрут...

— Так и жри сам, — сказал Авдеев, встал с места и вылил весь бак в бочку для помоев.

— Сыт ты, значит, паренек, — начал кашевар, — а за такие штуки можно и эскадронному сказать...

— Пойди, — закричал Авдеев, — скажи ему, иди, кухонная крыса!

Кашевар Петрушкин отступил, серея, и стал бить кулаком о стол от злости.

В эту минуту протяжный и гулкий звук трубы зазвучал между конюшен.

Все встали из-за столов.

Трубач играл сбор.

— Тревога! Что это значит? Тревога!

Солдаты бежали со всех сторон, перекидывая на ходу винтовки за плечи, звеня противогазами и шашками, застегиваясь и ругаясь второпях.

Лошадей седлали, как на пожар. Чирий еще жевал овес, когда ему в рот въехал мундштук. Облигация валялась на полу, и ее подняли ударом в бок. Чурило стонал от боли и мычал, но Авдеев был беспощаден. Чайничек ударил ногой Корнилова и получил по лбу потничковым ремнем.

Переполох стоял страшный. В самый разгар переполоха над всем грохотом вырос Седов.

— Куда едем? Что значит тревога? — спрашивали его.

— Не разговаривать, — кричал Седов, — смирно!

Он был бледен и нелепо размахивал руками, чего с ним никогда не случалось.

— Выходи без лошадей — стройся!

Гусары стояли в смятении от неожиданности. Тишина висела над рядами эскадрона. Ни одна винтовка не звякала.

— Стоять вольно! — закричал вахмистр.— Я иду к эскадронному.

Эскадронный жил за холмом, в большой старой даче.

Солдаты свертывали махорку, плевались и не знали, что думать.

Из-за горки выглянула фигура вахмистра.

— Бери патроны из цейхгауза, надевай теплые портянки. У кого нет папахи, каптенармус даст папаху. Живо!

Каптенармус расколачивал узкие длинные ящики и раздавал патроны. Желтые коробки разбирались солдатами с любопытством и ожиданием.

— Выводи лошадей! Бегом марш!

Тут молчание прорвало. Все побежали к конюшням. Люди садились на ходу, вставляли ноги в ремни пик, пики звенели, сталкиваясь, люди становились в ряды. Все было суетливо и не парадно.

— Где лошадь поручика Клеопина?

Когда лошадь привели, вахмистр поскакал, ведя ее в поводу, к дому эскадронного.

Это было тоже странно и непонятно.

— Сам помчал,— шептались в рядах, — приспичило что-то уж очень...

Вахмистр вихрем вернулся. Он выехал на дорогу, повернулся, проехал вдоль эскадрона и молчаливо горячил коня.

Гусары ждали. Наконец, он мрачно крикнул:

— Отставить. Слезай все. Построиться в пешем строю.

Люди слезли, и коноводы отвели коней в сторону. Все чутьем понимали, что это не просто ученье и не просто проверка.

Вахмистр метался на коне между дорогой и эскадронном, потом взглянул на часы и скомандовал:

— По коням садись...

Чуть заметный ропот потряс ряды. Но черное лицо Седова не предвещало хорошего. На глазах у всех он зарядил наган и опустил его снова в кобуру.

— Я поеду к эскадронному,— сказал он тихо, — ждите меня.

— Разъездился,— сказал вслух Авдеев,— чтоб тебе шею свернуть на повороте!

Вахмистр повернул коня и поехал за конюшни. Больше его никто никогда не видел.

Так исчез из маршевого эскадрона страшный и мрачный вахмистр Седов.

Прошло пятнадцать минут. Чурило и Облигация слюнявили друг у друга уздечки. Чирий нервничал, а вокруг ничего не менялось.

Тогда из рядов эскадрона выехал тихим шагом Авдеев. Авдеев выехал и сказал:

— Товарищи, пусть пропадет моя башка — я таковский... Я поеду к Клеопину и спрошу его, чертова сына, чего издевается вахмистр, и чего издевается он сам над нами, и когда этому будет конец?..

— Верно! — отозвался, как эхо, эскадрон.

— Кто за мной? — закричал Авдеев. — Если я поеду один — убьет он меня, как щенка, и знать вы не будете, как он убьет меня...

Три лошадиных морды вырвались из рядов. Чирий, Облигация и Чайничек стояли рядом, как на эскадронной рубке.

— Поедем, — сказал Мarmor, — я рубану его слева направо...

И они поехали, бряцая всем навешанным на них оружием

Вот и дом, вот и лошадь Клеопина у забора стоит одна и недоумеваает. Вот и сам Клеопин показался в окне и смотрит на дорогу. Но как смотрит? Никак не понять, хорошо или плохо смотрит он на едущих к нему.

И вдруг Клеопин распахнул окно, старое темное окно, и крикнул:

— Банные деньги пришли получать? Амуничные получать? Получите!..

И три пули цыкнули навстречу гусарам.

Одна пробила папаху у Авдеева, вторая сорвала погон у Корнилова, третья ушла вбок.

— Стой! — закричал Авдеев...

И они стали снимать винтовки, но было поздно. Клеопин сбежал, как кошка, вниз, вскочил на лошадь и помчался по полю к станции.

Так исчез из маршевого эскадрона гроза и гром, поручик Клеопин, и никто его больше никогда не видел.

Когда четверка вернулась к эскадрону, гусары уже командовали по-своему. Лошади стояли в конюшнях, но патронов солдаты не вернули в цейхгауз. Люди разбрелись кто куда. Вечерней уборки не было. Никто больше ничего не приказывал. Начальство исчезло — точно его съели волки.

Утром каптенармус и кашевар поехали за продуктами на станцию. Продукты они получали из города, из штаба полка.

Каптенармус вернулся один с запиской от кашевара:

«Из города продуктов нет как нет. Жрать вам нечего. Бить меня вы будете — так я лучше в город поеду. Бить себя не дам, а вы живите на здоровье. Петрушкин».

Так исчез из маршевого эскадрона хлебопек и кашевар Петрушкин, но он объявился много позже и при таких устрашающих обстоятельствах, что речь об этом будет особо...

Тогда эскадрон сказал Авдееву:

— Ехать тебе в город, Авдеев, и узнать там все, что случилось. Эскадрон тебя уполномочивает — и крышка!

Авдеев велел Мормору хранить Чурила, собрался и пошел на станцию.

III

Эскадрон шумел. Никто ничего не знал. Никто не ел с утра ничего, кроме хлеба с чаем. Все бродили из конюшни в казарму и обратно и не могли ничего решить.

Мормор сидел на поваленном бревне и вертел в руках винтовку. Он вынул затвор, разобрал, протер, вставил обратно и уже хотел снова в рассеянности вынуть его, как на худом ястребином лице его отразилось волнение. Он даже расширил глаза и побежал искать Корнилова.

Корнилов спал, и ему снилось, что он дома и мать угощает его кофе. Но только он успел поднять чашку и уже дышал вкусным, сладким запахом, как чья-то рука ударила по чашке... Он так обиделся, что проснулся. Его тряс и ворошил Мормор.

— Николай, — сказал он, — одевайся, седлаем коней! На поездку.

— Я не хочу больше седлать,— отвечал Корнилов,— я ничего не хочу больше... А ты дрянь паршивая, что меня разбудил.

— Едем,— задумчиво настаивал Мармор,— ну, едем, нас ждут к обеду.

Мармор таинственно улыбался. Они пришли в конюшню. Чайничек упорно не хотел служить сегодня. Его не чистили утром, и он решил, что с дисциплиной все кончено. Облигация сурово оглядела Мармора и стала ржать от гнева. Лошади вокруг лениво перекрикивались и чесались. Через пять минут Мармор и Корнилов облегченной рысью уходили из расположения эскадрона.

Они долго молча уходили на юг, пока не въехали в густой прекрасный зимний лес. Лес был дикий, всамделишный, с чащами и буераками, но поперек его пересекала широкая удобная дорога.

Увидя всадников, из лесной сторожки вышел лесник. Он повернул свое желтое обветренное лицо к ним, нерешительно теребя спутанную бороду. Кряхтел он минуты две, потом спросил:

— Окарауливать посланы, ребята, что ли?

Какая-то ехидная ласковость сквозила в его словах. Он явно заискивал перед солдатами. Мармор подмигнул Корнилову и сказал:

— Караулить, отец. Приказали нам, и мы тут как тут.

— Понимаю, все понимаю,— протянул лесник,— а много вас?

— Эскадрон сзади идет. Мы вроде как разъезд. Передовые.

— Так, так,— тянул старик, путая бороду.

— А зачем тут такая дорога? — спросил Корнилов.— Лес не прибран, а дорога что Невский проспект — хоть трамвай пускай. Кому тут ездить по ней?

— Кому тут ездить? — Старик важно погладил бороду.— Тут, брат, царь ездит.

— Вот так здорово! Сам царь...

— Сам царь, и князя, и графья, и принцы, кто в гости к царю приедут. Это его лес—охотничий. Заповедный лес. Фазанов тут — что кустов. Поезжайте чуть дальше, увидите. Козы бегают стоящие. Никто их,

конечно, стрелять права не имеет. Ну, а теперь охрану приставить надо, чтобы беспорядку какого не было...

Почему теперь лесу нужна охрана, Мармор и Корнилов не спросили. Они интересовались другим.

— Ну, а трудно бить фазанов? — спросил Мармор. — Я не охотился никогда, ничего не знаю.

Старик презрительно плюнул.

— Лаптееды вы, — сказал он, — чего ж трудного, они ручные. Как приедет на автомобиле какой князь, сейчас идут в лес, стульчик складной мягкий им поставят, по обе стороны по егерю встанет, один ружье заряжает, другой подает. Сидят они рядком на стульчиках, что в театре, а птицы кругом ходят. Курятник! Не будешь же бить их так, почем зря. Флора дворянству тут, брат, требуется. Воображение охотнику нужно. Сейчас это егеря забегут вперед — и ну шуметь. Птица взлетит — тут ее и щелк, голубушку. Щелкают, щелкают, отдохнут, позавтракают, винца попьют — опять щелкать. Барин выстрелит, ружье егерь подхватит, а другой уже заряженное подает. Чтоб у барина на пальце от курка мозоли не было, надевают на палец резину такую. Так настроляет сотни две, а тут автомобиль подъедет и увезет домой — пожалуйте... Хорошо жили здесь господа. Ну, а другим, конечно, здесь стрелять рискованно. Одно слово — заповедник.

— Спасибо, старик, — сказал Мармор, и гусары поехали дальше.

Действительно, не далее как через версту стали им попадаться фазаны.

Жирные птицы с красно-коричневым брюхом прохаживались в лесу, как дома. Они качали длинными хвостами и не обращали никакого внимания на всадников. Они просто отходили в сторону, насмешливо приседали, вереща. Они знали, что их бить нельзя. Один из них прохаживался даже по краю дороги, как индюк.

Облигация с изумлением разглядывала этого лесного барина. Она в своей жизни видела только ворон, воробьев да голубей, живших около эскадрона. Ее даже беспокоила немного эта большая пестрая птица.

— Долбани-ка этого, а я возьму ту графиню, — сказал Мармор, снимая винтовку.

Корнилов замешкался.

— Влетит за это,— сказал он нерешительно, — что царь скажет?

— Эскадрон не выдаст,— сказал Мarmor,— царь небось каждый день по фазану ест, а от нас кашевар сбежал.

После этого они выстрелили разом. Птицы упали, умирая в полной растерянности.

Гусары слезли, подобрали и поехали дальше.

Так они несколько часов разъезжали взад и вперед, пока не нагрузились до отказа дичью.

Вокруг седел висели с поникшими головами целые взводы фазанов. Гусары повернули назад. Дорога снова привела их к дому лесника.

Уже издали увидели они, что лесник стоит, сложив руку козырьком, и всматривается в них.

— Пробьемся галопом,— предложил Корнилов.

— Птицу растеряем,— не согласился Мarmor,— поедем шагом. Что он с нами сделает?

И они поровнялись с лесником, гордые, как графья, хотя ехали и не на автомобиле.

Лесник весь светился хитрой ласковостью, точно его обмазали медом. Он улыбался почти испуганно, руки его слегка дрожали.

Мarmor нагло сбил папаху набок и подъехал к нему.

Тогда лесник снял барашковую шапку, отер пот со лба и сказал странные слова:

— Как же это так, милые граждане, как же это так повернуло сразу?

— Эскадрон обед хочет,— мрачно и дерзко ответил Мarmor,— а ты держи язык за зубами, отец.

И он бросил к ногам старика толстенного, как полено, фазана. Фазан ударился о крыльцо, подскочил и остался лежать, беспомощно согнув ноги. Лесник и не взглянул на него.

Он сказал, смотря куда-то вверх:

— Я не про то, граждане, не про то совсем. Если царя больше нет, конечно птицу надо бить по шее. На что иначе она, скажите пожалуйста, если ее не бить...

— Как нет царя? — запинаясь, спросил Корнилов.

— Революция, братцы, в городе. Полным ходом революция.

Тогда Мarmor плюнул и так ударил шпорами Облигацию, что она взвизгнула. Перед лесником кружилось теперь только снежное облако, в котором исчезли гусары.

Они влетели на эскадронный двор в самом диком волнении и увидели всех в сборе.

Посреди толпы всадников разъезжал на широкоплечем Чирье Рожин и, точно колдун, кричал во все стороны одно и то же слово. Он придавал ему тысячу оттенков, но смысл его оставался тем же.

Слово действовало, как бич, оно подгоняло людей и лошадей.

Мarmor протолкнулся сквозь толпу, и никто не обратил внимания на его фазанов. Он подъехал к Рожину вплотную и схватился за луку его седла:

— Рожин, что ты орешь! Рожин! Поори мне, пожалуйста!

Тут Рожин повернул к нему красное от мороза и волнения лицо, на котором оттопырились желтые усы, и сказал хрипло:

— Спирт — спирт — спирт!

IV

В первый день февральской революции на один из больших столичных вокзалов пришел разъяренный прапорщик и сказал, обращаясь ко всем, кто был на вокзале, то же самое, что он ежедневно говорил своей роте:

— Смирно! Слушать мою команду!

Прапорщик захватил вокзал.

Ему приносили все известия с пути, все телеграммы и телефонограммы, он подписывал, приказывал, потел, распоряжался, бегал и вдруг ему сообщили, что с юга идут в составе товарного поезда шесть цистерн со спиртом, с самым обыкновенным синим холодным спиртом. Тут, впервые за все ответственные и суматошные часы, прапорщик испугался.

Подумав одно мгновенье, он схватил синий карандаш и написал поперек депеши:

«Загнать спирт в тупик».

Цистерны загнали в тупик, а тупик находился по содействию с эскадром. Недаром Рожин носил узкую белую полоску разведчика на погонах. Он примчался в эскадрон и поднял гвалт. Тогда весь эскадрон кинулся к лошадям.

На пути к железной дороге гусары увидели, что они не одиноки. Со всех сторон поднялись окрестные люди. Шли женщины и мужчины, спешили мальчишки, двигались санки, заставленные бидонами, кринками, ведрами, горшками, бутылками. Все шли попробовать спирта. Целую неделю после этого крестьяне не возили в город молока, потому что возить было не в чем. Вся посуда была со спиртом.

Перед гусарами этому неимоверному полчищу пришлось расступиться. Притом они не знали, будут ли гусары сами пить. А гусары были в этом твердо уверены.

Цистерны, окруженные толпой, стояли серые и неприступные, как безголовые коровы. Начальство железнодорожное разбежалось. Праздник начался без приготовлений. Дележ был дружный и товарищеский.

Гусары лезли по очереди наверх, засучивали рукава и начинали черпать. Посуда переходила из рук в руки. По дороге по-братски из посуды похлебывали ближайšie.

Рожин черпал не больше трех минут — он скатился оттуда сверху, потеряв папаху, ибо хватил полковника сразу, и ему после долгого поста ударило в голову.

Влез Корнилов. Он совсем не мог сначала пить и только наливал другим, старательно и тихо. Потому он и держался долго. Его сменил Мarmor. Яростное движение его рук восхитило всех. За ним пробовал влезть капитанармус, оборвался, сел на снег и стал плакать.

Сверху разливал очередной и кричал весело:

— Кому, кому? Давай следующую!

Когда он начинал сдавать и ронять посуду, снизу кричали:

— Слезавай — порядок мутишь — слезавай!..

Он спокойно скатывался вниз, и его заменяли другим.

Скоро вокруг стало похоже на карусель. Гусары под гармошку и балалайку плясали с крестьянками.

Драк не было. Все чувствовали себя друзьями. Все были рады неожиданному удовольствию.

Коноводы сначала честно держали лошадей, потом стали чередоваться, потом стали привязывать лошадей к шестам, к телефонным столбам и деревьям. Лошадям откуда-то достали сена, сено лежало вокруг них горками, они стояли по колено в сене, жевали и, если бы могли улыбаться, улыбались бы во весь рот.

По рукам ходили чайники и котелки со спиртом. Рожин, шатаясь, шел среди народа, когда увидел четырех лошадей, шагавших рядом между товарищей.

Он узнал большую темную морду Чирья, белое пятно на лбу Чурила, гордую шею Облигации и легкие, резвые бедра Чайничка. Как попал сюда Чурило — он понять не мог. Он не знал, что Чурило пришел с эскадроном, догнав его один, потому что ему в конюшне стало скучно.

Лошади бродили из стороны в сторону, и им все безумно нравилось. Это немного напоминало ночь и конюшню, и казалось, сейчас они начнут ворошить сено и из него вылезет недовольный сонный дневальный.

Рожин подошел к Чирью, взял его морду в руки и сказал, протягивая котелок со спиртом:

— Любишь меня, скот милый, уважаешь меня, выпей, — ну чего тебе стоит, выпей, милый...

Чирий мотнул головой и отвернулся, Рожин споткнулся, и котелок опрокинулся в сено. Это было начало дурной игры. Все чаще спотыкались люди; все чаще спиртом обливали сено.

Лошади отвязывались и бегали повсюду. Вдруг Облигация наткнулась на мокрую охапку сена и стала его нюхать. Мороз отбивал запах, но сено все же пахло странно.

Она медленно, почти не дыша, стала есть сено. Чайничек жевал рядом. Чирий присоединился сбоку.

Облигация неожиданно заржала так потрясающе, точно она стала жеребенком. Ей ответили десятки великолепных лошадиных глоток. Люди пели и плясали вокруг...

Авдеев приехал из города ночью.

Со станции он шагал в эскадрон необычайно бодрым шагом. Ему хотелось как можно скорее поделиться новостями из города, и он очень торопился.

Освещенный луной кустарник повсюду окружал его.

Он шел через поля узкой протоптанной дорожкой. Первого живого человека увидел он у лошадиного лазарета. Человек играл с дверью. Он то приближался к ней вплотную, то отскакивал в сторону, почти падал и снова бежал к дверям.

— Пешка! — закричал человеку Авдеев. — Чего ты плящешь без музыки?

Человек оставил в покое дверь и обратился к Авдееву. Это был пьяный ополченец-санитар. Старикашка знаками показывал, чего он хочет. Он не плясал. Ему просто надо было попасть в конюшню. В руках у него был большой деревянный лошадиный градусник. Он никак не мог открыть дверного засова.

Авдеев усмехнулся, ударил кулаком по засову — засов мерзло закрипел и отошел. Из конюшни пахло навозом, там кашляли, плевались, чихали и стонали во сне больные лошади.

Старик ввалился в конюшню и тут, зацепившись за проволоку от сена, упал на четвереньки.

Авдеев притворил двери и зашагал дальше. Из-за крыш эскадронных конюшен подымался столб дыма.

«Пожар! Перепились — сами себя сожгут», — подумал он и ускорил шаг.

Тут на него вышел легкий и задорный конь и стал странно кланяться одним боком.

— Чурило! — закричал Авдеев, узнавая белое пятно на лбу Чурилы. — Как ты здесь бродишь один.

Конь позволил обнять себя за шею, и тут гусар увидел, что седла на нем нет, недоуздка нет, что конь свободен от всех нагрузок и от него пахнет спиртом.

Конь шатался и терся о стену конюшни.

— Не подходи, пьяница! — вдруг рассердился Авдеев. — Уходи с моих глаз, алкоголик!

Конь, однако, пошел за ним, шатаясь, как лунатик.

Необычайное скопление криков поразило слух Авдеева. Он забыл о Чуриле и вышел на середину эскадронного двора. Ни тишины, ни ночи здесь не существовало. Посреди возвышался огромный, всепожирающий костер. Вокруг огня сидели, лежали и плясали с балалайками и гармониками гусары. Вокруг блуждали оседланные и расседланные лошади, натывались на людей и шумели друг с другом. На снегу стояли котелки и ведра со спиртом. Каждый веселился по-своему.

Даже мороза тут не было в помине. Но самое невероятное — посреди двора сидел на стуле, принесенном из канцелярии, синий от страха и пьяный кашевар Петрушкин. Он был привязан к стулу, а рядом с ним старались стоять два гусара с обнаженными шашками, которые они держали очень вольно. Шашки качались, как гири часов, и гусары следовали всем их наклонам, представляя собой живые маятники.

Петрушкин дремал. Изредка он просыпался и обводил всех мутными глазами. Руки его были свободны до локтей. Перед ним на обрубке дерева стоял котелок со спиртом, лежали крахмала хлеба и чистый лист бумаги, на бумагу была опрокинута чернильница, и чернила замарали снег у подножия арестанта.

При виде Авдеева рев восторга потряс воздух. Ему показалось, что заорали и лошади, и конюшни, и люди разом.

Тогда Авдеев набрал полную глотку воздуха и заорал в свою очередь, стараясь быть гневным и неподкупным:

— Что делаете, товарищи, что делаете только? Я из города. Царя там вкрутую сварили, как яйцо, а вы пьете! Там орлов срывают с домов и жгут. Вонь стоит такая, что не продохнуть, а вы тут на снегу расселись!.. Обезьяны вы после этого, а не люди! Может, царь там наших лупить начнет.

— Не начнет! — закричали ему отовсюду. — Мы знаем, не начнет: у него в цейхгаузе пуль нет — все у нас...

— А что вы с Петрушкиным делаете! — закричал не своим голосом Авдеев. — Разве такое с человеком делают?

Тут гусары подхватили под руки Авдеева и подвели к самому носу кашевара.

— Судим его, подлеца, чтобы не бегал...

— Судим — оскорбляющие письма эскадрону пишет. Не знаем, какую ему казнь придумать. Говори, Авдеев, чего ему присудить! В одну минуту сделаем...

Тогда Авдеев оттолкнул товарищей, выхватил шашку и перерезал веревки, связывавшие кашевара.

Потом он взял его за шиворот и, подталкивая тело ногой под зад, повел его за конюшню среди грохота и песен.

Отведя его за конюшню, он прислонил его к стенке и спросил:

— Петрушкин! Ты жив или ты умер, Петрушкин?

Кашевар молчал. Тогда Авдеев рассердился. Он взял кашевара за ноги ниже колен, опрокинул в сугроб и мял и катал его в сугробе до тех пор, пока снег не набился кашевару в уши и в карманы. Петрушкин сел, приоткрыл глаза и вдруг пришел в себя.

— Где Мarmor? Где Рожин? Где Корнилов? — спросил Авдеев.

— Там, — сказал кашевар, показывая налево. Но там, куда он указывал, лежала только дорога.

— Ладно, — неожиданно решил Авдеев, — я тебя покажу, пешка, спи дальше.

И он пошел удрученный, придерживая шашку. За ним шел Чурило, спотыкаясь и ошупывая землю ногами. Рядом с дорогой лежало кладбище, откуда неслись гулкие, ровные удары, точно каменщики обтесывали камни.

Авдеев поднялся по тропинке и споткнулся о длинное тело. Перед ним храпел Рожин, лежа на могильном холме, как на собственной койке, а рядом с ним на мраморной плите стоял Чирий. Чирий падал на передние ноги, подымался, держался твердо, снова падал, и подковы его стучали по камню, как молоток. Повод его был закинут на крест.

— Один есть! — сказал Авдеев и быстро сбежал на дорогу.

По дороге двигался Чайничек, боевой, горячий храбрец эскадрона, и на нем ехал наездник из цирка, но никак не Корнилов... Наездник сидел боком, и через каждые три шага он выпускал повод, ноги его сами собой вылетали из стремян, и он рушился в снег.

Чайничек немедленно останавливался и ходил задумчиво вокруг хозяина. Он нюхал его с чувством, и трогал воротник шершавым языком, и лизал ему лоб. Корнилов приходил в себя.

— Сестра,— говорил он, обращаясь к Чайничку,— я сейчас приду, сейчас.

Он вставал и вскарабкивался на коня. Через три шага все представление начиналось снова.

— Очень хорошо,— сказал Авдеев,— вольтижировкой занимаешься, новобранец серый! Второй есть, будем искать дальше.

Но тут он чуть не погиб бесславно в первый и последний раз в своей жизни.

Страшное ревушее и гремящее чудовище скатилось с холма и завертелось вокруг него. Но это было не чудовище. Это гремела кобыла Облигация, а на ней восседал неприступный и чудной Мarmor, махая в воздухе своей знаменитой шашкой. Он наклонялся, заносил руку и снова рубил кусты, росшие на краю дороги, и рычал, как десять турок.

Наехав на Авдеева, он закричал во всю широту пьяного голоса:

— Ты — Клеопин? Я тебя сейчас зарублю!

— Засохни, Мarmor! — закричал Авдеев почти таким же голосом.— Засохни, или ты убьешь меня. Я Авдеев, я Авдеев, Мarmor...

Тогда шашка опустилась сама собой, и Мarmor качнулся назад, потом вперед, потом остановил Облигацию и сказал очень просто:

— Хочешь птицу?

И тут увидел Авдеев, что вокруг Мarmorа, как в курятной лавке, болтались фазаны. Большие жирные царские фазаны висели вниз головой со всех сторон Мarmorа.

VI

Кашевар Петрушкин, придя в себя, решил спастись бегством во второй раз. Смятенный и разбитый, шел он по дороге, как вдруг колени его подогнулись, руки вытянулись сами вперед, он встал на четвереньки и замер.

Спирт еще заполнял сердце и голову, и ему показалось совершенно ясно, что пришел конец света.

Навстречу ему шел высокий, даже громадный человек. Он вел за повода двух знаменитейших коней эскадрона и красивейшую кобылу Облигацию.

Поперек Чирья лежал безгласный Рожин, свесив руки и ноги по сторонам, что не мешало ему храпеть; положив ноги на шею Облигации, сидел в седле Мармор, размахивая шашкой; упав головой в гриву Чайничка, спал Корнилов, и голова его тряслась, как груша на ветке, и ему снилось, что мать поит его кофе. Позади всех, то выдвигаясь сбоку, то снова прячась, шатался Чурило. Все лошади едва держались на ногах, и это было видно любому глазу.

— Авдеев, — стоя на коленях посреди дороги, завопил кашевар, — меня прогнал от себя эскадрон, и мне некому варить теперь больше. Я вроде царя, которому дали по шапке. Защити, Авдеев!

— Иди к котлу, сальная крыса, — сказал Авдеев, замедляя шаг, — иди к котлу и хоть выдумай, да достань обед на завтра. Чтобы завтра эскадрон был сыт! Сними с Мармора фазанов и приготовь под соусом, — хоть выдумай, да приготовь!

Кашевар встал с колен, поймал Чурила за повод и повел его почтительно, как будто это был конь бригадного.

На другой день эскадрон ел кашу с фазанами. Фазаны были налицо еще с вечера, а откуда достал кашу Петрушкин и как — это навсегда осталось тайной.

ЧЕРТ

I

Тогда еще кругом шла первая мировая война. Много нужно было для конницы лошадей, и доставали их отовсюду: покупали у крестьян, на ярмарках, забирали без денег, привозили издалека, из степей, — от башкир и туркестанцев.

Пригнали раз в полк свежих лошадей, поставили на плацу распределить, какую куда. Белые лошади шли драгунам, черные и желтые — гусарам, серые — пограничникам, а лошади в пятнах и никакого цвета — в обоз, возить двуколки и телеги с имуществом.

Пришел на плац толстый офицер, нарядный, с золотым карандашиком, чтобы распорядиться.

Пришел прыщавый писарь с табуреткой, чтобы разложить бумаги.

Стали водить лошадей мимо них.

Каждую лошадь вел новобранец. Лошади дрожат: иные от любопытства, иные от испуга, иные просто от злости. Новобранцы дрожат тоже: первый раз лошадей ведут перед начальством.

Остановят лошадь против офицера, скамандуют ей: смирно! А офицер и не смотрит. Он сделает рукой знак: следующую! И ждет.

Писарю же приходится очень жарко. Он должен записать, куда лошадь идет, и тут же имя придумать. А лоша-

дей больше сотни в партии, и все имена должны начинаться на букву «ч».

Такой был заведен порядок: старые лошади кадровые все на букву «а», резервные, из запаса — на «о», а молодые, новенькие — на «ч».

Писарю приходит беда. У него и трех слов на «ч» нет. Поэтому носит он с собой старый, потрепанный словарь. Раскроет его и набирает подряд: Чететка, Чечевица, Чаша, Челябинск, Чурбан, Чирий.

Лошадей ведут быстро — только успевай выбирать. А лошадям наплевать, как их называют. Они носятся, фыркают, прядут ушами и очень недовольны, что их водят взад и вперед.

Упарился писарь совсем, фуражка его съехала набок, пот вытирать некогда, карандаш сломался — смена не приходит, а в это время подводят замечательного коня.

Конь весь белый, волос лоснится, глаза смуглые, поступь гордая, уши стоят, мундштук покусывает и гривой трясет.

Взглянул писарь в словарь — еще больше вспотел. Кто-то взял и вырвал из словаря страниц десять. Ни одного слова на «ч» больше нет. Дальше уже на «ш» пошло. Что тут делать?

А конь на месте не стоит. Трясет новобранца во все стороны. Растерялся писарь, офицер на него строго глядит — почему задержка, а писарь имя придумывает, не придумать никак — не идут имена в голову.

Ждал, ждал конь, как рванет новобранца, как даст задними ногами по табуретке, упала табуретка, бумаги рассыпались, подбежали старые солдаты, взяли коня, но он все волнуется.

— Вот черт! — закричал писарь и со злобы взял и записал коня Чертом.

С тех пор он до конца своей военной жизни так и носил это имя.

II

Пришли на другой день в конюшню новобранцы. Новобранцы службы не знают, лошади тоже не знают, чего от них хотят. Люди лошадей боятся — иные только

у извозчиков и видели лошадей; лошади от людей ворочаются, ногами бьют.

Начали новобранцы седлать их. Кто подглядел накануне лошадь потише, тот и бежит к ней. А тихие лошади и есть самые ядовитые.

К Черту же подступа вовсе нет. И с одного бока и с другого бока заходил к нему солдат с седлом — никак седла на спину не накинуть.

Заплакал новобранец от обиды, но тут увидел его горе старый драгун. Кликнул он еще народу, и впятером кое-как оседлали.

Один за голову держал, другой за хвост, прижав его к стенке, один за одну ногу, другой за другую, а пятый седло подтягивал.

Как повел Черта новобранец из конюшни, старый драгун сказал ему вслед:

— Я не я, пропадешь ты с ним, парень!

Вышел Черт на поле — хорошо кругом, зелено, ветру много; пошел Черт в ряды, порядка не нарушает.

Вахмистр, старая казарменная крыса, велит садиться. Сели новобранцы. Кони не умеют ни стоять, ни ходить по-военному. А Черт как пошел крутить по полю — боком, боком — понесся в сторону, обскакал всех, только пыль встает.

Новобранец вцепился в седло и ничего не помнит от страха. Вахмистр кричит ему вслед:

— Ноги из стремян вынь, ноги вынь, дрянь паршивая! Не хватайся за луку — лучше вались прямо, не смей за луку хвататься! Убью!..

Новобранец не слушает. Ветер свистит в ушах, несет его Черт неизвестно куда. Мчал, мчал да как остановится враз, точно вкопанный, — солдат с него кувыркком, как заяц, вниз головой, и покатился по полю.

— Эх, репу копает, дрянь паршивая! — закричал вахмистр. — Что стоишь дураком, пойди лови коня. Кто тебе ловить его будет?

А Черт пасется мирно, щиплет траву, очень доволен собой. Подошел к нему, хромая, солдат, протянул руку, — Черт отскочил на сажень и опять траву щиплет.

Хохочут все вокруг. Солдат снова к Черту. Черт снова от него.

— Что ты стал в пятнашки играть? — закричал вахмистр. — Дать ему три наряда!

Прыгнул солдат последний раз, схватил за повод, хочет садиться — не дает конь садиться. Солдат ногу в стремя, а конь его за ногу. Заплакал опять солдат от обиды, но тут езда кончилась и повели лошадей в конюшню.

III

Каждый день ездят новобранцы, и каждый день с Чертом тревога: не хочет никому подчиняться конь, да и только. Хитрит так, что сразу и не догадаешься, в чем хитрость. Дает седло нацепить, подпруги затянуть — новобранец рад. Выйдут в поле, только солдат ногу в стремя — и вместе с седлом летит под брюхо к Черту, а Черт ударит его ногой и бежит в сторону.

В чем дело? Оказывается, как седло накинута на него, он надувает живот, как шар, подпруги затянут по животу, а потом он живот втянет обратно, — седло и висит, как на палке.

Был среди новобранцев один жокейский ученик, Кормяк. Был он упрям сам, как лошадь, и крепок.

Сел он на Черта, проехал круг, два — ничего. Шатал, шатал его Черт — видит, парень держится. Тогда он рванулся вперед, укусил соседа выше хвоста, тот жеребец следующего, другой — еще дальше, — вмиг все жеребцы друг друга перекусали, бьют ногами, кричат! Поднялся такой шум, что вахмистр завопил тоже:

— Что это за ярмарка, держите дистанцию на две лошади, черти серые!

А Черт закусил мундштук и понес Кормяка.

Таскал, таскал его Черт, потом повернул и прямо через канаву на дорогу. А дорога была обсажена низкими деревьями. Испугался Кормяк, что ему голову оторвут деревья, наклонился на бок, — этим боком и ударил его о дерево Черт. Упал Кормяк в канаву, а коня и след простыл.

Прибежал Черт в мыле — злой, страшный — прямо к конюшне. Двери у конюшни распахнуты, но поперек входа лежала жердь металлическая. Он согнулся в три

погибели и проскочил в конюшню, сломал седло начисто о жердь, так что передняя лука к задней пригнулась. Прямо забежал к себе в станок — и отдыхать. Стоит и отдувается.

С этого дня его стали бояться все новобранцы. Пришел в конюшню вахмистр, посмотрел на него и сказал:

— Арестант, ты, арестант! Дайте его старым драгунам, пусть обломают...

IV

Ничему не научился Черт за четыре месяца: ни шагу, ни рыси, ни галопу, ни карьеру. Ни за что не мог разобрать, где левая нога, где правая нога. Отдали его в работу старым драгунам.

Старые драгуны — народ знающий, но несильный и усталый. Столько перевидали они лошадей, что устали. Им бы по домам идти, землю пахать, или на мельнице сидеть, или ремеслом заниматься, а тут изволь — объезжай лошадей. Кости у них ноют, а приходится ездить.

Скомандуют: «Все к пешему строю готовься — слезай!» — приходится на всем галопе соскакивать с седла.

Соскочил — сейчас же команда: «Все садись!»

Сел — опять слезай, слез — опять вскакивай, точно проклятый.

Командовал ими маленький, как пробка, и, как паук, злой эскадронный Рязанцев. Кричит тоненьким бабьим голосом:

— Драгуны, слушай мою команду!

Драгуны слушают и ругают его последними словами.

Пошел Черт дурить и на глазах у эскадронного, да старый солдат уколол его шпорой, взял в повод так, что деваться некуда.

Но на барьер не пошел Черт ни за какие шпоры. Врос в землю и стоит. Драгун его шпорит — кровь бежит по брюху, сзади бьют, сбоку бьют — ни с места Черт.

Ударил тогда его между ушей драгун.

Обидно старому солдату, но не знал он Чертова нрава.

Закричал Черт от боли, встал на дыбы во весь рост и упал назад вместе с солдатом.

Если бы не успел драгун ногу из стремени выхватить — всю жизнь ходил бы калеккой. Упал драгун — конь на него.

Расшиб солдата — едва подняли. А Черт поднялся и хмыляется, покряхтывает и смотрит так, точно говорит: ни за что служить не буду, кого хотите сажайте.

Подошел эскадронный, взглянул ему в глаза, хотел ударить хлыстом, но Черт обнажил зубы и заскрипел.

Испугался эскадронный, отвернулся и приказал:

— Посадить под арест на десять суток.

— За что же меня-то! — закричал драгун.

— Не тебя, а коня...

— Как прикажете? — спросил взводный. Случай особенный: коня под арест.

— Так, на десять суток половинная мера овса и сена. Как зовут его?

— Чертом.

— Это и видно! Уберите его...

Так и у старых солдат не ужился Черт, а только под арест попал.

У

Как посидел Черт на половинном пайке — рассердился он на всех окончательно. Никого видеть не хочет, никого к себе не подпускает.

Убирает дневальный конюшню, подойдет к нему навоз вынести — так залягается Черт, что подступа нет.

Станки друг от друга отделены были дощатой стенкой. Вдребезги разбил доски Черт с обеих сторон. Подобрали доски, унесли.

Стал Черт любоваться на соседних лошадей, потом поссорился с ними, потом подрался, — что ни день, жалоба на него.

Все знали, что конь хороший, а никому не поддается. Из других эскадронов приходили смотреть на него, как на диковинку. Пробовали приходиться и наездники, но он затопает, заорет, глаза кровью нальет — никто его учить не согласен.

— Пока его обломаешь, он тебя три раза убьет, — говорили наездники, — дикарь, служить не хочет!

А наездники были люди первые в полку по лошадям. Никто лучше их не умел ездить. Они могли ездить и стоя, и лежа, и на руках.

Когда и наездники от него отrekliсь, взялись новобранцы его дразнить. Задразнили коня до того, что он не стал больше терпеть человеческого лица около. К себе не подпускает. Стоит только платком махнуть — бьет задними ногами до самой полки, где седло лежит. Сбросит седло, ударит его еще раза два и только тогда успокоится.

Скоро из-за его нрава увели соседнюю лошадь, соединили ему два станка вместе и привязали на две цепи — чтобы не сорвался. Одичал Черт вконец.

Пришел раз ветеринарный врач, обошел конюшню, поругался, покашлял и увидел Черта.

Осмотрел со стороны: пороков явных нет, вид здоровый.

— Почему не в работе?!

— Да у него в характере и в голове не все хорошо, — отвечает дневальный.

— Что за чушь! — удивился доктор.

— Верно, господин доктор. Этот конь на нас обижен. Жить с нами не хочет. Не иначе как сумасшедший...

Не поверил доктор и хотел войти к Черту. Черт как ударит обеими ногами сразу, седло сверху мимо докторской головы так близко брякнулось, что доктор побледнел, выругался и ушел.

По субботам белых драгунских лошадей выводили на двор и чистили и мыли с мылом, старательно, добела. Потом, чтобы волос блестел, протирали лошадей сухим углем, и сверкали белые лошади, что гуси. Только один Черт стоял в конюшне и орал время от времени для собственного удовольствия.

Заорет, послушает свой голос: хорошо выходит — опять орет. Ударят его метлой по спине — успокоится.

Чистили его два раза в неделю, корма давали мало, только следили, чтобы цепи были крепкие — не сорвался бы.

Неизвестно, сколько времени простоял бы он безвыходно в своей тюрьме, как вдруг разнеслась весть, что сам командир бригады будет осматривать конюшни. Тут и выпало счастье Черту приветствовать бригадного по-своему.

Очень любили драгуны своего бригадного. Так любили, что, если на улице увидят его, сейчас же через забор — чтобы не попасть на глаза. Он хромал на левую ногу и потому ездить верхом не мог вовсе. Идет он по конюшне, хромает, шипит, покрикивает на солдат и на лошадей. Молчат лошади, молчат солдаты, молчат стены. Подходит к Черту, остановился.

Поразило его, что лошадь на двух цепях привязана.

— Что это за беспорядок? — закричал на эскадронного.

Только он закричал, Черт обернулся и закричал на генерала так, что в ушах шум пошел.

Тогда хромой закричал на Черта:

— Смирно! Смирно! Смотри, на кого кричишь... На генерала кричишь!

И Черт закричал опять. Так они стояли и кричали друг на друга минуты две. Генерал выдохся, и Черт замолчал.

— Что это за беспорядок, господин эскадронный? — уже тихим голосом спрашивает генерал.

— Что это за беспорядок, вахмистр? — говорит эскадронный, обращаясь к вахмистру.

— Это особый конь, ваше превосходительство, — отвечает вахмистр, — ездить на нем нельзя, он убить человека может, никого к себе не пускает, лошадей калечит...

— Как же его кормят? — спросил генерал недоверчиво.

— Через верх кормят...

— Как через верх?

— Влезает на ту стенку — напротив — дневальный и сыплет ему в кормушку овса, и сена бросает, воду в ведре спускает!..

— Что это за чушь! — закричал генерал. — А как же его чистят?

— Чистят его метлой, ваше превосходительство.

— Как метлой?

— Метлой грязь с него издали очищают, но он и метлу обкусывает. Сколько метел перепортил уже! А если б не

чистили — заскоруз бы он вовсе от грязи по собственному невежеству. Упрямый очень. Служить не хочет.

— Не может быть! — закричал генерал. — Как это — служить не хочет. Я ему покажу!

Побагровел даже генерал и прямо, как по уставу полагается, вошел в станок и прошел к самой Чертовой морде.

Все замерли. Генерал стоит и гладит морду коню взад и вперед, и Черт хоть бы что. Так давно к нему никто не входил, что он и не знает, что ему делать. Все стоят и ждут, что дальше.

Поглядел генерал на всех победоносно и перенес руку свою на шею. Только перенес он руку — вспомнил Черт свои старые обиды и вдруг тряхнул головой и стал поперек станка: ни повернуться генералу, ни выйти. Запер его Черт своим большущим телом.

Стоит генерал, прижатый к кормушке, посерел чуть, водит рукой по шее, а сам не знает, что тут делать.

Солдаты по сторонам в кулаки смеются. Влетел генерал здорово. Конь стоит тихо, а генерал все рукой по шее водит. Стоят оба и молчат. Дурацкое положение.

Только генерал хотел уйти, конь шагнул на него и придавил опять к кормушке. Тяжело уже дышит генерал, вспотел, хоть плачь от злости, а сделать ничего не может.

И никто не знает, как ему помочь. Только он двинется, Черт его возьмет и прижмет обратно. Спину генеральскую всю вымазал о кормушку. Хотел генерал вынуть из кармана платок обтереть пот, как закричал ему вахмистр:

— Ваше превосходительство! Не тяните платка. За здоровье ваше не отвечаю.

Знали все, что, вынь генерал платок белый да махни им перед конем, — смерть ему будет. Затопчет его конь вместе с платком.

Смутился генерал, потеет, молчит, рукой уже шевелить боится. А конь рад. Поглядит на генерала, подастся чуть в сторону и опять всем телом наедет и толкнет... До синяков набил генеральскую спину.

Никогда бы не кончилась эта сцена, если б вахмистр не подозвал солдата и шепотом не сказал бы ему:

— Возьми овса — засыпь ему с той стороны.

Хитер был вахмистр — старая казарменная крысала

Как влез солдат с другой стороны на стенку да постучал меркой о кормушку — взглянул Черт туда и видит... Что за чудо?

Никогда в это время его не кормили. Да еще столько овса! Потянул он ноздрями, не обман ли? Нет, не обман. Пахнет овсом. Полез он в ту сторону и как припал к овсу, ударив в него мордой, — генерал вывалился из станка, что куль с подмокшей мукой, едва на ногах держится. Только и смог показать на Черта и, тряхнув ручкой, сказать:

— Эту скотину немедленно продать — к черту, чтоб духа не было.

VII

Вскоре после того вахмистр послал солдата искать покупателя на Черта. Как узнали солдаты, что сейчас придут покупать Черта, сбежались толпой в конюшню.

Пришел и покупатель — маленький, шупленький татарин. Бородка висела у него щипаная, точно из войлока, пальтишко засаленное, руки крошечные, зато глаза широкие, что у птицы. Оглядел татарин лошадей, похвалил.

— Хорош лошак, ой, очень хорош лошак...

Подвели его к Черту и отодвинулись.

Пришел тут вахмистр, взглянул на покупателя и усмехнулся:

— Где ж тебе одному, помощников искал бы. Погибнешь с ней — это черт, а не лошадь. Гляди-ка, на цепях держится.

Татарин хитро потер руки и засмеялся.

— Зачем черт? Хорош лошак. Почему продаешь?

Обошел он вокруг коня, поглядел внимательно на цепи, которыми конь был привязан, и говорит:

— Седло ему ни к чему. Зачем обижать лошак? Мы его продавать хорошему хозяину будем. Он работать будет. Посмотри, пожалуйста.

Татарин спокойно вошел в станок, снял цепи с Черта, вынул из кармана веревку. Солдаты стояли молча, затаив дыхание, как на смотре. Черт увидел веревку, потрянул головой, переступил с ноги на ногу и почесался боком о стенку. Татарин надел ему веревку на шею, закрепил узлом и повернул Черта к выходу. Толпа дрогнула. Кто-то из дерзости помахал платком. Черт даже не поднял головы.

Татарин вывел его на двор, и только тут Черт сделал первое движение: он потянулся к траве, которой не видел уже давно. И когда татарин уводил его за ворота, из-за Черта торчали недожеванные травинки.

ФРИЦ

I

Впереди немецкого разъезда, как полагается по правилу, ехали два человека дозорными.

Дозорные сильно обогнали разъезд. Они ехали и разговаривали, как у себя дома, на деревенской прогулке. Лошади их качали головами очень мирно, песок похрустывал под копытами по-весеннему, в лесу не было ничего страшного. Так они ехали с холма на холм, из ложбины в ложбину.

Неожиданно из-за угла наскочили на них русские гусары.

Один из немцев — постарше — повернул свою лошадь и ускакал. Немец помладше замешкался. Широкий и веселый Лопуха подскочил к нему, схватил за гриву его коня и деловито закричал:

— Слезай! Навоевался, брат... Слезай — приехали...

Немец был почти мальчик. Он слез, задрожав, и его коня повели в поводу. Немец шагал между гусарами и повторял одно слово:

— Сибирь, Сибирь, Сибирь...

Он думал, что его сейчас же отправят в Сибирь, где, он слышал, живут белые медведи, а люди по праздникам едят свечи.

— Какая тебе Сибирь, — отозвался Лопуха, сплевывая в сторону, — мы тебе сейчас почавкать дадим. Не трясись!

Они сдали немца в штаб, и тут началась эта длинная история. После немца остался конь, и этого коня Лопуха приташил в эскадрон.

— Эй! — закричал он. — Выходи, кто тут есть безлошадные...

Никто не отозвался. Лопуху окружили любопытные. Один из них сказал:

— Пурмель — безлошадный.

— Давай сюда Пурмеля.

Пурмеля вытащили из блиндажа. Был он маленького роста, не сильный, но ловкий парень. Лошадь у него убили, сидел он в тылу, без лошади и нимало не печалился. Теперь он вышел, спотыкаясь, сонный, посмотрел на Лопуху, на коня и сказал равнодушно:

— Это ты мне коня привел?..

— Тебе, брат, принимай, немецкий конь первой степени. Фрицем зови его.

Конь переступил с ноги на ногу и оглянулся. Незнакомые лица и запахи смутили его, он растерянно похлопал ушами... Был он рыжий, большой, чистый, держался строго и не суетливо.

— Живи с ним счастливо, — сказал Лопуха.

Пурмель шлепнул коня по шее и повел в конюшню.

II

Гусары поседлали лошадей, стояли и ждали команды. — Садись! — закричал Лопуха.

Все лошади стоят тихо, все гусары садятся — один конь вдруг пошел к забору. Большой рыжий конь тихо и уверенно пошел к забору.

Все сидят уже в седле, а Пурмель бежит за своим конем и уговаривает:

— Стой, животное, стой, куда идешь...

А конь тянет и тянет его к забору.

Не знал Пурмель, что немец всегда садился на коня с забора и приучил коня к этому.

Густым смехом захохотали гусары. Пурмель, подпрыгивая, прижатый к забору, искал стремя, злой, как голдовая блоха. Конь, почуяв его ногу в стремени, захотел

помочь ему и шагнул к забору вплотную. Пурмель не мог говорить от обиды. На глазах всего эскадрона он влез с забора, и конь вернулся обратно на дорогу.

— С забора садится! Курица раззявая, с забора садится...

Под эти приветствия красный Пурмель хотел занять свое место в рядах.

Гусары ехали по-походному, по три в ряд. И тогда увидел Лопуха, что какой-то всадник, гремя своим вооружением, как самовар, хочет обязательно пристроиться четвертым.

Лошади шумели и отталкивали его, но он упрямо заезжал то с одной, то с другой стороны.

— Какой-то бес,— закричал Лопуха,— какой-то бес путается там...

Лопуха был взводным и мог кричать громче других.

Всадника гнали отовсюду, и он в облаке пыли дергал беспомощно большого рыжего коня. Лопуха узнал Пурмеля.

— Студент! — закричал он.— Студент, не горячись, правый шенкель — повод короче — наезжай на хвост...

— Не могу,— сказал, чуть не плача, Пурмель.— Немец не слушается — не могу. Немец службы не понимает...

Фриц и вправду натыкался на лошадей, обнюхивал их и прыгал в сторону. Лошади были чужие и люди чужие. Пурмель не мог заставить его никак встать в ряд.

Тогда Лопуха проревел тихим басом:

— Налево кругом! Поезжай за эскадронам сзади, слабосильная команда.

И Пурмель ехал сзади всех, как проклятый, и рыжий конь его вел себя очень странно.

Он то вставал на дыбы, то падал на колени — он не знал русской службы и недоумевал, а перед канавой он остановился так внезапно, что Пурмель вылетел из седла.

Маленький гусар, лиловый от злости, поднялся и стал больно хлестать Фрица потниковым ремнем...

— Бьешь! — закричал офицер, подъезжая к нему.— Дать ему три наряда... Что сказано в уставе? — закричал офицер.

— Не помню,— отвечал Пурмель, с ненавистью смотря на Фрица.

— Забыл? Хорошо! Под шашку его для памяти! — закричал офицер, отъезжая.

И в этот вечер Пурмель, опоясанный подсумками, с противогазом на боку и винтовкой за спиной, стоял, как турецкий святой, и держал в руке обнаженную шашку. Так стоять нужно было два часа. Хотя эта поза торжественна, но Пурмель не был похож на именинника...

Через неделю ночью Пурмель сидел у моего костра.

— Я не могу больше, — сказал он, — эта рыжая корова стоит мне слишком дорого...

Но у него в голосе еще был задор.

— А что? — спросил я невинным голосом. — Фриц сбил ноги, у него плохая рысь?

— Почти так, — сказал он. — Я получил за него десять нарядов за семь дней и четыре часа стоял под шашкой, сушил клинок. Если так пойдет дальше, мой клинок высохнет и отвалится раньше, чем эта скотина околеет.

Ш

Пока толкались по дорогам, коней не расседывали по три дня и чистили так себе — для вида. Да и люди сами чаще не мылись, а ополаскивались, даже не глядя, какая вода.

Но когда пришли на отдых — изволь чистоту блюсти, потому что конь — животное благородное и любит порядок и блеск.

В одну печальную утреннюю уборку обнаружил Пурмель, что у Фрица поперек живота подушки из грязи.

Мокрая глина налипла и засохла, жесткая, как халва. Скребницей тронуть ее — коню больно. Полез Пурмель отскребать ее пальцами.

Большой рыжий Фриц изогнулся каруселью и завизжал, как барышня.

— Щекотки боишься, — пробормотал Пурмель, — что, я тебе в перчатках буду брюхо чесать? Нежности кошачьи...

Фриц уже визжал поросенком. Соседние лошади удивленно подымали головы и прислушивались.

Наконец, они не выдержали, и хор возмущенных лошадиных голосов потряс конюшню...

Соседка Фрица, серая кобыла Декорация, наклонилась и ударила Пурмеля вдоль спины своими плоскими желтыми зубами.

Толстая гимнастерка уцелела, но рубаха разорвалась пополам, и кусок кожи слетел со спины, как календарный листок.

Пурмель вскрикнул от боли...

— Десять нарядов из-за тебя имею, теперь еще кусают меня со всех сторон...

И, как был, он выбежал из конюшни, полный отчаяния и злости, потому что был молод и неопытен. Он сидел и тихо плакал. Мимо него проводили лошадей на водопой. Лошади заполнили двор, лошади шли и толпились у узкого желоба, пили и с удовольствием отряхались. Прошел уже весь эскадрон.

Вдруг Пурмель увидел, что его Фриц спокойно стоит с двумя серыми лошадьми, пьет и обнюхивает их так дружески, точно знаком с ними десять лет. И никто не держит Фрица. Он стоит сам и пьет. А серых лошадей привел обозный. Три лошади толпились, как кумушки, и жались друг к другу.

Пурмель подошел с нехорошей улыбкой:

— Ишь компания собралась... Иностранцы!

Обозный усмехнулся в усы:

— Дай им познакомиться. Мои твари тоже пленные... Сладу с ними нет!

— Заедают твою жизнь? — спросил Пурмель.

— Провалиться им — такие язвы, ничего не делают ладно. Привыкли к немцам. Ничем не проймешь...

Пурмелю стало легче оттого, что еще одного товарища по несчастью нашел.

Тогда я подошел к Пурмелю и сказал:

— Поди, Пурмель, к Мухамедьянову. Он может все что хочешь сделать. Любую лошадь вокруг пальца обведет. Попроси у него совета...

Пурмель посмотрел на меня и ответил ласково:

— Иди ты к черту!

Однако Пурмель подумал и все-таки пошел к Мухамедьянову. Мухамедьянов, бывалый гусар-кавказец, сидел, расстегнув гимнастерку. Перед ним стояли четыре солдатских котелка, доверху наполненные кусками свежего вареного мяса.

Вокруг него сидели четыре гусара и издевались над ним изо всех сил. Мухамедьянов посылал в рот кусок за куском, вытирая о штаны толстые жирные пальцы, кряхтя и улыбаясь.

— Пурмель, здравствуй, — протянул он, подвигая Пурмелю котелок, — хороший жеребенок был, ногу сломал — покушай, пожалуйста.

— Не ешь, Пурмель! — закричали гусары. — Здесь у нас пари. Он жеребчика один должен слопать. Все четыре котелка зараз.

— Душистое мясо, — сказал Мухамедьянов, — кушай на здоровье. Что скажешь?

Пурмель оглядел гусар и прошептал опасливо:

— Мухамедьянов, я по одному делу. Выйди на минуточку...

— Зачем «выйди»? Говори здесь. Кушай и говори.

Пурмель взглянул на два пустых котелка и на два полных, и его поразила спокойная сила мухамедьяновского желудка.

— Подожди, я кончу сейчас... через шестнадцать минут... выйду к тебе. Погуляй.

И Мухамедьянов вышел к Пурмелю, выслушал его и ответил так:

— Немецкий конь русского не понимает. Служба — другая, язык — другой, вера — другой. Приручи к себе. Сахар давай, воду, хороший сено давай, поездку делай взад-вперед. Немецкую книгу найди и учи. На родном языке с ним поговори. Очень хорошо. Через двадцать дней он как шелковая плетка будет. Куда хочешь — согнешь!

На первой же поездке Пурмель захотел выкупать Фрица в море. Фриц с трудом вошел в воду, и тут с ним случился нервный припадок. Он упал вместе с всалником. Пять больших волн прокатилось через них, пока они выбирались на берег.

Тогда Пурмель у старой лавочницы добыл растрепанную и старую немецкую грамматику и стал учиться немецкому языку.

Он уводил Фрица подальше, за дюны, чтобы их никто не видел, садился на песок, ставил перед собой коня и разговаривал с ним по-немецки, как учитель с учеником.

— Манн — зольдат — это я! — говорил он Фрицу, показывая на себя.

Потом протягивал коню пучок травы.

— Воллен зи фрессен? Хочешь жрать?

Фриц мотал головой и тянулся к траве.

— Понимаешь, дрянь, ты — пферд... Вот кто ты.

Потом он влезал на седло с книжкой в руке.

— Как будет направо: рехтс... Рехтс, сказано, рехтс...

Раз на утренней уборке Пурмель увидел, что кобыла Декорация жует что-то, не похожее на сено. Он подошел, и она выплюнула с презрением к ногам остатки его немецкой грамматики.

Он посмотрел на Фрица, Фриц сочувственно качал головой.

Тут Пурмель пошел на отчаянное дело. О том он рассказывал так:

— Все равно, вижу, с ним не жить. Никогда не зарабатывал столько нарядов. У меня ноги болят от стояния под шашкой. Погоди, думаю. Беру я Фрица и ну гонять его галопом туда-сюда по берегу. Гонял, гонял — он вспотел, я вспотел. Тогда я его погнал прямо на водопой...

— Как? — изумился я. — Опоить лошады! Как? Поить взмыленную лошады...

— Черта с два, — сказал Пурмель.

— Говори скорее. Его хватил паралич?

— Паралич? Да я никак не мог заставить пить — вот горе... Как я ни бил — ничего.. не пьет. Ни капли.

— Да, — сказал я, — дело твое серьезно. Тебе остается самому заболеть.

В эту минуту в комнату вошли Лопуха и Мухамедьянов. Оба они были пьяны. Я никогда еще не видел таких расстроенных лиц. Лопуха махал в воздухе какими-то белыми шарами. Когда я взял от него эти шары, они оказались надутыми, как пузыри, подштанниками.

— Пропадать, так с музыкой,— говорил Лопуха,— пейте сегодня все как один. Завтра все подохнем.

— Пейте все,— вторил Мухамедьянов,— это верно. Не есть больше хороших жеребчиков. Пейте все,— и он вытянул из кармана бутылку самогона.

— Сам дьявол-полковник пьет,— сказал Лопуха,— скоро немцы погонят нас по шоссе отсюда, и все уйдут, а мы останемся,— тут он глотнул из бутылки,— прикрывать отступление...

— Мы останемся,— прошумел Мухамедьянов,— все мосты пойдут на воздух, и за нами будет река, большая река. Всем тонуть как одному...

— А зачем нам подштанники? — спросил я.— Если мы утонем, и они утонут.

Мухамедьянов хлебнул из бутылки и ответил:

— Завтра, полковник сказал, будем делать репетицию, как тонуть. Завтра все эскадроны идут к реке, и, будто нет моста,— все ныряют в воду... А как ты будешь нырять, если нет лодки? Надуй свои подштанники и ныряй...

— А что скажет полковник?

— Полковник может тебя послать сушить шашку,— сказал Мухамедьянов,— но зато ты будешь жив, и я, и он. Ай, все равно нам плохо, как маленькому жеребчику в моей темной кишке...

Так говорили они, перебивая друг друга, и пили до самой ночи.

Пурмель пошел в конюшню и прибавил сена Фрицу.

— Ешь,— сказал он,— ешь, завтра ты утонешь... Ешь напоследок.

Наутро река кишела голыми людьми. Это была репетиция отступления. Хорошие пловцы плыли, держась за хвосты лошадей, плохие, вцепившись в канат, переброшенный через реку, перебирались, захлебываясь ежеминутно. Оружие и седла перевозили на плотках, тонущих подбирали лодки.

Лошади кричали, люди кричали, но всех громче кричал полковник, ездивший по берегу, толстый и страшный, как разъяренная корова.

Полковник бодал всякого, кто ему казался плохим солдатом. Он целыми взводами посылал под шашку, гро-

зил во все стороны, наряды раздавал, точно медали; наконец, он увидел Фрица и рядом с ним Пурмеля. Не видеть их было нельзя.

Семь гусар вели Фрица к воде. Он упирался, храпел, шатался из стороны в сторону. Его подвели к воде, и тут он впервые за свою жизнь начал лягаться.

— Лупите его! — закричал полковник. — Лупите эту свинью, гоните ее в воду, в воду, в воду!..

И Фрица загнали в воду. Пурмель, голый, полз по канату, то и дело ныряя в воду, и видел, как Фрица гонят от берега. Сначала Фриц бестолково метался в воде, но с берега и с лодок его отгоняли все глубже в воду. Тогда он вдруг решился — и ринулся в воду, как самоубийца.

В это время Пурмелю пришлось так плохо, что он не мог следить за Фрицем. Вода забралась ему в рот, в нос, в уши. Он чувствовал себя погибающим водолазом.

Наконец, канат кончился, и Пурмель стал ногами на холодный песок. Пройдя шагов двадцать и выйдя из мелкой воды, он сел рядом с группой голых солдат, отдыхающих вдали от начальственной расправы.

Рядом с Пурмелем сидел почтенный голый человек — трубач — и расчесывал пальцами волосы.

— Выкупался, парень? — сказал он. — Вот запомни: было у матери три сына: два умных, а третий трубач. Это я — третий. Издевательство одно на старости лет...

Пурмель его не слушал. Он искал в реке своего коня и нигде его не видел. «Утонул», — радостно подумал он и лег животом на горячий песок.

Но тут взгляд его упал на рослого рыжего коня, который, отряхиваясь и спотыкаясь, выходил из реки, громко фыркая и оглядываясь.

Пурмель поднялся, как пружина, схватил увесистый камень и пустил в коня. Камень не долетел. Фриц отряхнулся еще раз и побежал по берегу.

V

Рядом с гусарским полком расположился конный артиллерийский дивизион. Артиллеристы чистили пушки, играли в рюхи и в карты, купали лошадей и ругались с гусарами.

Я шел в гости к одному славному наводчику, с которым давно не виделся, как вдруг увидел тихую и дикую сцену.

К деревьям были привязаны три артиллерийских лошади и Фриц. Но Фриц уже не был похож на желтого серьезного Фрица. Он был пестр, как арбуз.

Зеленые полосы расходились и сходились на его животе. Живописные грязно-зеленые пятна усеивали спину. Перед ним с большой малярной кистью в руке расхаживал Пурмель, окунал кисть в ведро и, стряхнув излишек краски в сторону, выводил на теле Фрица все, что ему приходило на ум. Треугольники, зеленые змеи и совершенно непонятные знаки украшали круп и бока коня. Артиллеристы так же усердно красили своих лошадей. Лошади на моих глазах превращались в тихих зеленых чудовищ... Они недоуменно смотрели на своих мучителей и осторожно фыркали, отгоняя мух.

— Пурмель,— спросил я,— как это называется?

— Молчи, не мешай,— сказал он, вдохновенно взмахивая кистью,— теперь он наверняка сдохнет...

И он ударил коня по лбу густой зеленой кистью.

Артиллеристы работали сосредоточенно и не торопясь. Они красили лошадей в защитный цвет, потому что так требовала война. Военная наука предписывала, чтобы все на войне было зеленым по возможности. Бедные лошади смотрели и вздыхали.

Вечером я снова встретил Пурмеля. Он стоял опять, как турецкий святой, под шашкой у стены цейхгауза, и на лице его лежала черная тень. Когда он увидел меня, он отвернулся. Шашка дрожала в его руке, как живая.

— Не подходи,— сказал он,— могу зарубить, между прочим. Не подходи...

Я встал на далеком расстоянии и спросил:

— За что, Пурмель, за то, что он сдох? Фриц сдох?..

Удар мой не попал в цель. Пурмель поднял на меня бешеные глаза.

— Командир эскадрона сказал, что если он увидит еще хоть одно зеленое пятно на Фрице, он отдаст меня под суд...

— Еще, значит, Фриц жив?

— Фриц... Я два часа отмывал его шваброй с мылом... У меня потрескались руки даже,— сказал Пурмель, и шашка задрожала в его руке.
Я отдал ему честь и ушел потрясенный.

VI

Гусары шли на позицию по лесной дороге. Неожиданно вся колонна остановилась, потому что какая-то двуколка въехала боком в канаву и лошади метались с высунутыми языками. Брань носилась над ними, как июльский ветер.

Пурмель увидел того обозного, который приводил поить своих лошадей.

— Немчура! — кричал он.— Русского языка понимать не хотят!

Лошади путались направо и налево и еще глубже загоняли двуколку в болото.

Пурмель злорадно усмехнулся.. Вдруг кто-то закричал:

— Аэроплан!

И в ту же минуту немецкий аэроплан, стрекоча над головами, вылетел из-за леса и направился к нам.

— Разомкнись! В стороны разомкнись! — закричали вокруг.

Лошади через кусты прыгали в лес. Гусары очищали дорогу и прятались под деревья.

Фриц зацепился передними ногами за сломанное дерево, поскользнулся и упал боком в канаву.

Пурмель стоял рядом и тянул за повод. Фриц лежал в канаве так уютно, точно собрался спать. Аэроплан пролетел дальше. Дорога снова наполнилась всадниками. Фриц лежал, как статуя. Пурмеля объезжали и советовали ему, как тянуть.

Наконец, Лопуха велел спешиться троем гусарам и помочь Пурмелю.

Пурмель, уничтоженный, стоял по колено в грязи и тщетно хотел расстегнуть подпругу. Под Фрица подложили толстую дубину и с трудом подвернули. Он лежал, как убитый, и только косил глаза.

Пурмель отстегнул подпругу, снял седло, и тогда сразу облегченное животное вскочило и перепрыгнуло через канаву. Густая грязь стекала с него.

— Там внизу есть ручеек — поди-ка ополосни его, — сказал Лопуха, — да поживее.

— Что я ему, банщик? — сказал Пурмель. — То я его мажу, то он сам мажется...

После каждого ведра воды, которое он выливал на Фрица, он стучал коню по лбу кулаком и говорил:

— Ты думаешь, я тебе это прощу?.. Извини, брат, не думай... В жизнь не прощу...

Потом Пурмель оседлал его и галопом догнал эскадрон.

Проскакивая мимо застрявшего в канаве обозного, он взглянул на немецких лошадей, все еще вытаскивавших двуколку, и хрипло сказал Фрицу:

— С них пример взял, с них взял. Дурак!

VII

Пурмеля уже не ставили под шашку за путаницу, которую он вносил в ряды. Солдаты сочувственно хлопали его по плечу и смеялись над Фрицем. Но Пурмель ездил, как потерянный.

Поход продолжался. Голодные и серые от усталости, мы блуждали по лесам и долинам. В одну глухую ночь нам посчастливилось набрести на хутор, из которого только что сбежали хозяева.

Начались усиленные поиски пищи.

— Иди сюда! — кричал мне Мухамедьянов. — Скорей! Замечательный суп имеется...

Я не ждал вторичного приглашения. В ведре блестело что-то жидкое и жирное.

— Хлебай, — сказал он, и мы стали хлебать чудесный куриный бульон.

Было бы нелюбезно спрашивать, откуда он взялся и почему в ведре. Когда первый голод прошел, я отвалился от ведра и сказал:

— Подожди, я сбегаю за Пурмелем...

— Ну, иди, — отвечал Мухамедьянов, — я уже сыт

тоже и позову Лопуху... Я поставлю ведро здесь, под дерево.

Пурмель, злой и голодный, собирался уже спать, когда я разбудил его и повел к гостеприимному дереву, приютившему наш ужин. Луна уже взошла, и при ее бледном свете я увидел ведро и над ведром высокий черный силуэт коня. Тонкое бульканье доносилось к нам с ужасающей отчетливостью.

Пурмель был серым от голода. Я слышал, как скрипел его желудок.

Мы побежали, и большая желтая морда Фрица мотнулась нам навстречу. Испуганный, он качнул головой, опрокинул ведро, и остатки драгоценного бульона пошли по земле узкими черными зигзагами.

— Ага! — сказал Пурмель, взял Фрица за повод и повел его за дом.

Я ужаснулся его спокойствию и последовал за ним. То, что я увидел, меня не обрадовало ни в какой степени.

Под навесом сарая стоял, как кающийся грешник, опустив голову, Фриц, а Пурмель направлял винтовку ему в лоб.

— Брось, — сказал я, трогая его за рукав, — брось, она еще случайно выстрелит...

Пурмель с бешенством опустил винтовку.

— Я убью его, я больше не могу!.. — Задора уже не было в этих словах. Он говорил честно: — Жизни у меня нет с той поры, как он появился. Дай, я все кончу. Я все мог простить, но бульон ни за что. Он знал, что я голоден со вчерашнего дня. Я дал ему две охапки сена, овса — все ему мало. Дай, я его убью... Ну, пожалуйста...

— Нет, — сказал я, уводя Пурмеля в сторону, — ты дал ему овса, дал сена, но, сознайся, забыл дать пить?

— Это верно, — с недоуменным отчаянием согласился Пурмель, — я забыл его напоить...

VIII

На другой день мы в конном строю очень глупо атаковали немцев. Немцы тихо сидели в лесу и работали пулеметами. Резвая атака была отбита. Рассеянные всад-

ники путались повсюду. Пролетел жирный полковник, нахлобучив фуражку и пригнувшись к гриве, промчался Мухамедьянов без фуражки, болтая раненой рукой, на которой вертелась шашка, проехал рысью Лопуха, ругаясь так, что кусты расступались перед ним. Все перепуталось. Дым и пыль заволокли лес. И тогда я увидел Пурмеля. Он слез с Фрица и расседлывал его с таким спокойствием, точно готовился к смотру. Я подумал, что он ранен, и кликнул его.

Пурмель оглянулся, увидел меня и сказал впервые с улыбкой:

— Сейчас я тебе скажу...

Он расседлал Фрица, повернул его в сторону немцев, ударил по спине ремнем и закричал:

— Беги к своим, черт паршивый! Ну, не задерживайся, беги к своим!..

Фриц осторожно наклонил голову и стал жевать какие-то цветы. Потом тихо пошел от нас между кустов через поляну, за которой приближались немцы.

Тогда Пурмель схватил меня за руку и сказал:

— Будь свидетелем, что его убили...

Я засмеялся и посмотрел вслед Фрицу. Он пасся, как корова, между кустов, не обращая внимания на стрельбу. Пулеметный огонь был не в нашу сторону.

— Да его и пуля не берет,— сказал я.

— Ну, пойдем,— заторопился Пурмель, взваливая на себя седло,— так помни, его убили.

— Пусть будет так!..

Я оглянулся на Фрица в последний раз: он жевал траву и шел не оглядываясь.

Я поехал шагом рядом с Пурмелем. Он сгибался под тяжелым выючным седлом, но седло нужно было донести до начальства. Так говорил военный устав, который частенько забывал Пурмель. Но через несколько шагов Пурмель остановился, посмотрел на меня внимательно еще раз и сказал:

— Пошлем-ка и это к чертям...

И он поднял седло как мог высоко и забросил его в кусты...

— А теперь,— добавил он, вздохнув полной грудью,— нет ли у тебя закурить...

БЕТХОВЕН

I

С ближайшей горы городок казался таким маленьким, что его можно было сложить и унести в кармане.

Тут стояла толстая серая городская ратуша, там расположились по холму лавки, в которых продавались только вакса и швабры. Все съестное истребили те двадцать тысяч солдат, что два дня проходили городком на новые позиции. Между лавками торчала лютеранская кирка, в которую забредали с переулка кошки и куры и залетали воробьи, возле кирки приютился трактир с зеленой низкой крышей. Дальше мельницы махали серыми обветренными крыльями.

Против трактира над стеклянной старой дверью висела немного боком доска с черными буквами: «Фотография». Сверху доски было приписано краской: *«Очень прошу заходить»*.

Плотный, среднего веса гусар в новой шинели, потрясая шпорами, толкнул дверь и вошел.

Навстречу ему из-за желтой конторки встала чистенькая латышская барышня с пушистыми желтыми волосами.

— Кто тут снимает? — спросил гусар.

— Я снимаю! — сказала барышня.

Она подошла к аппарату, повертелась около него и повернула аппарат на гусара.

— Подождите, барышня, я оправлюсь, — сказал гусар и стал стаскивать шинель.

Он благополучно стащил шинель, вынул из-за одного обшлага гребенку, из-за другого — маленькое зеркальце и стал причесываться; потом закрутил маленькие усики, потом вынул носовой платок, высморкался, потом обил платком пыль с сапог, потом поправил воротник, сел в кресло и застыл.

Но барышня смотрела выжидательно и не приступала к съемке.

— Испортилось что-нибудь? — спросил он сочувственно. — Поправляйте, я подожду.

— Вы разве не будете вынимать саблю? — сказала барышня, улыбаясь. — Все так любят сниматься. Или, может быть, вы сядете на деревянную лошадь? У нас и так снимаются.

— Спасибо, — отвечал, покраснев, гусар, — нет, я не сяду. Сами вы садитесь. Я не пешка и не мальчишка.

— Тогда одну минуту. Смотрите сюда, пожалуйста. Готово!

Закрыв аппарат, барышня стала писать квитанцию.

— Как ваша фамилия? — спросила она.

— Бабка-Малый! — застегивая шинель, бросил гусар.

Перо выпало из рук латышки.

— Зачем вы смеетесь — такой фамилии на свете нет...

— Вот так орехи, — сказал гусар, — у нас в Сибири Бабка-Большой, Бабка-Средний и Бабка-Ягода еще гуляют. Пишите, не сомневайтесь, Бабка-Малый.

Барышня все еще не верила, как дверь распахнулась, и вошел второй гусар, сухой и тонкий, как бракованный коновязный кол.

— Бабка-Малый! — вскочил он. — Кого вижу? Как ты здесь? Разве ты не в штабе бригады?

— Ничего подобного, — отвечал Бабка-Малый, — я опять в эскадроне. А ты сниматься, Коршунов?

— Нет, я не сам, я Бетховена привел снять...

Барышня смотрела, недоумевая. Бабка-Малый подскочил на месте и захохотал:

— Бетховена снимать! Вот так орехи. Ну и чудо! Он же в дверь не войдет.

— Я затем и пришел. Послушайте, — обратился он к латышке, — мне нужно, чтобы вы сняли исключительно

ного коня. Такой конь в дивизии один. Умней дивизионного. Он мой друг, и его надо увековечить как-нибудь сбоку. Мы вам поможем вынести аппарат на площадь. Там он дожидается.

— Я никогда, никогда не снимала лошадей, — смутилась барышня, — я не знаю...

— Пустяки, — ответил Коршунов, — конь стоит, как памятник. Я его уговорю... Лучше скажите, сколько это будет стоить?

Они стали совещаться с барышней, как вдруг на площади за дверью закричали несколько человек, потом слышался грохот и звон.

— Это он волнуется, — сказал Коршунов, — бежим посмотрим.

Посреди толпы визжавших мальчишек и баб-молочниц бегал горбун в желтой кофте и широкополой шляпе и едва тащил старую позеленевшую хромую шарманку; за ним гонялся высокий коричневый в пятнах конь, которому во что бы то ни стало хотелось ударить горбуна. Горбун не мог бежать прямо, и он кружился, прячась за мальчишек и спотыкаясь. Шарманка волочилась за ним. Мальчишки визжали радостно, бабы охали.

— Бетховен! — закричал Коршунов. — Остановись, Бетховен! Я так и знал. Я предупреждал этого дурака, что здесь играть нельзя. Бетховен не выносит скверной музыки. Заиграл на своем ящике — обрадовался, вот теперь пусть побегает. Бетховен, тебе говорят: стой!

Конь услышал голос хозяина и оставил свое развлечение. Он подошел к Коршунову и стал тереться о его плечо. Горбун остановился в конце площади и смотрел, пораженный и раздосадованный. С ним заговорил широкоплечий латыш с рыжими баками.

Бабка-Малый протянул коню руку.

— Узнаешь? Здравствуй, Бетховен!

Конь раздул ноздри и обнюхал руку. Потом отступил назад и подал правую ногу с невероятной надменностью.

Толпа дрогнула. Мальчишки снова завизжали от восторга. Бабка-Малый подержал конскую ногу и вежливо опустил на землю.

Коршунов презрительно оглядел издали шарманщика.

— Разве это музыка? Вот послушай...

Латышка вынесла аппарат с треножником и остановилась. Коршунов вынул из сумки флейту и сказал публике:

— Отойдите подальше. Я сейчас сыграю свое сочинение «Курляндские звезды».

При первых звуках флейты конь задумчиво пошел по кругу. С каждой нотой его шаг ускорялся, через минуту он уже шел рысью, как на вольтижировке, и подымался на дыбы. Наконец, он поднялся во весь рост, большой и коричневый, и пошел к хозяину на двух ногах.

Вопль восторгов потряс воздух. Мальчишки свистели и орали. Латыш, говоривший с шарманщиком, громко вскрикивал:

— Очень хорошо! Очень хорошо! Замечательная школа! Это цирк, честное слово, цирк!

Флейта кончилась. Конь стал на все четыре ноги, и Коршунов покормил его сахаром.

— Как же я буду его снимать?— спросила неуверенно барышня.

— А очень даже просто. Ставьте свой ящик здесь...

Коршунов погладил коня по шее, установил его перед аппаратом и сказал:

— Бетховен, смотри сюда — не оглядывайся, не качай головой одну минуту. Думай о чем-нибудь хорошем. Ну, стой, наконец, или я рассержусь.

Конь тряс гривой и переступал с ноги на ногу. Наконец, Коршунов успокоил его. Но только барышня хотела сказать: снимаю — муха села на нос Бетховену, и он махнул мордой.

Его снова успокоили. Наступил торжественный миг. Толпа молчала. Гусары затаили дыханье. Бетховен задумался всерьез. Никто не заметил, как к толпе подошел смуглый, похожий на цыгана драгун. Он взгляделся в участников торжества, плюнул, потом нагнулся, отыскал камень, не большой, не маленький, но достаточно веский, и, размахнувшись, запустил его в коня.

Барышня сказала:

— Я снимаю!

И сняла колпачок с аппарата.

Камень ударил в бок коню. Бетховен прыгнул вперед, едва не сбив аппарат. Бабка-Малый огляделся вокруг, как фокусник. Толпа стала искать виновника.

Драгун не торопясь уходил в гору, грозя кулаком.

— Какого черта,— сказал Бабка-Малый,— паршивый драгун лезет не в свое дело!

— Здорово, Коршунов! — кричал драгун.— Пришли мне одну карточку — я ее привяжу на хвост своей кобыле.

Коршунов пожелтел от злости и сдержался. Наконец, он разжал зубы.

— Это Франтов,— сказал он Бабке-Малому,— у меня с ним счеты. Это мой враг. Ладно, я ему тоже печенку испорчу... Подождем немного...

Коня поставили снова в позицию. Аппарат щелкнул. Дело было сделано.

— Теперь в эскадрон вместе,— сказал Бабка-Малый.

Тут к Коршунову подошел латыш с баками.

— Моя фамилия есть Пуппе,— сказал он.— Пуппе... Ах, какой музыкальный конь. Я первый раз за жизнь видел. Очень хорошо. Могу я спросить у вас кое о чем?

— Спросите,— сказал зло Коршунов,— только не денег. Денег нет.

— Зачем деньги,— испугался латыш,— не можете ли вы дать представление в моей мызе? Совсем рядом отсюда. Рукой подать. Моя маленькая семья будет очень рада.

— Нет, не могу дать представление,— сказал Коршунов,— я не клоун, и вообще — ступай прочь...

— Ой, какой злой господин гусар! — сказал латыш, отходя и оглядывая коня от головы до хвоста влюбленными глазами.

II

На походе флейта Коршунова скромно лежала в его сумке, но как только эскадрон становился на ночлег, Коршунов доставал ее и начинал играть с упоением.

Играл он много и хорошо.

— Задумчиво играет,— говорили гусары.— Хоть плачь, хоть смейся — под вальс в самый раз... Здорово играет человек...

Его большой коричневый конь значился в списках полка под кличкой «Чертополох», но его давно неизвестно кто прозвал Бетховеном, и это имя за ним утвердилось навсегда. Он понимал музыку, как ни одна лошадь в полку.

— Бабка-Малый,— сказал Коршунов,— пойдём, я буду играть тебе и Бетховену свое сочинение «Осенняя луна в огороде».

Они вышли за расположение эскадрона. Коршунов стал у дерева, прислонился и заиграл.

Бабка-Малый слушал и вздыхал сочувственно.

Бетховен щипал траву и недовольно шумел хвостом.

Потом, прислушавшись, он сложил уши в трубочку и подошел к Коршунову. Когда флейта замолчала, он стоял, слегка высунув язык, и подпрыгивал.

— Одобрил, одобрил!— сказал радостно Коршунов.— Ну, спасибо. Ты еще не до всего дошел,— он поцеловал коня в лоб,— но я из тебя человека сделаю. Только слушай меня по-хорошему.

— Знатно играешь,— сказал Бабка-Малый,— вроде как «Тоска по родине». Щемит хорошо. Еще бы послушал.

С этого вечера больше всех романсов Коршунова полюбился Бетховену романс об осенней луне в огороде.

Через неделю Бабка-Малый и Коршунов выехали на разведку. С ними были еще два гусара. Этот маленький отряд должен был пройти до высокого берега реки и установить там пост до утра. Перед утром их сменяли драгуны.

Они ехали по тропинке через густой лес. Лес темнел так подозрительно, точно в нем прятались тысячи врагов. Всякий раз, когда раздавался шорох в кустах, Бабка-Малый наезжал конем на кусты, но там никого не было. От этого, однако, не становилось легче.

Бетховен шел легкой рысью, и оглядывался тоже, как настоящий солдат, и пугался длинных, бегущих по сторонам теней.

Вдруг совершенно ясно слева послышался шум в чаще, и Коршунов ворвался туда с обнаженной шашкой.

Сквозь чащу мелькнул огонек, поспешно прикрытый кем-то.

— За мной,— закричал Коршунов,— тут народ!..

Через десять шагов он натолкнулся на такую картину. В лесной чаще на крохотной полянке стояла телега, закрытая брезентом. Перед ней горел маленький костер. У костра толпились какие-то карлики в лохмотьях.

— Стой! — сказал Коршунов. — Кто такие?

Четыре всадника окружили полянку. Огонь раздули и увидели, что это не карлики, а ребята. Самый старший, мальчик лет двенадцати, выступил вперед и сказал по-русски:

— Беженцы мы. Вот кто мы...

— А чего вы тут одни делаете? Лес пилите?..

— Мы не одни, — отвечал карапуз, — бабушка с нами.

— А где же это подевалась ваша бабушка?

— Бабушка пошла лошадь прятать...

И верно: в кустах зашумело, точно в них запуталась лохматая ночная медведица. Затем на поляну вышла закутанная в платки древняя старуха, сгорбленная, с громадной клюкой и фонарем, который она прикрывала концом платка.

— Беженцы мы, — зашамкала старуха, — от немца прячемся...

Тогда Коршунов сказал:

— Ну, чего же делать, ребята? Река рядом. Пост поставим на камне у перевала, стоять по двое, а двое здесь останутся. Тут мы и чай сварганим и вообще...

Гусары с ним согласились, и в первую очередь поехали Бабка-Малый и Коршунов. Стоять было скучно, ни зги не видно. Внизу плескалась река. Сверху накрапывал дождь. Отстояли они свое время и вернулись к огню.

Тут уже хлопотала старуха. Она уложила ребят спать в телегу, прикрыла их, собрала шесть поросят, загородила их корзинами и привязала сверху палку, чтобы они не разбрелись. Два чайника стояли уже на угольях, какой-то рыжий суп из корешков кипел в котелке.

— Что за ящик? — спросил Коршунов старуху. — Можно сесть на него?

— Что ты? Что ты? — зашипела старуха. — Это граммофон.

— С удобством живет бабушка, — сказал Коршунов.

— Дети притащили. Им скучно, — отвечала старуха, — а мне ничего не надо. Воевать кончайте.

— Верно, бабка,— сказал Бабка-Малый, — дай-ка я подкину дровишек да лягу на бок.

Привязав Бетховена к дереву, Коршунов надел ему торбу с овсом. Бетховен дожевал до конца и сбросил торбу; расседланный, он улегся под деревом и стал дремать.

Тогда лег к огню и Коршунов.

Спал он крепко и долго, как вдруг его сон ослаб и в уши ударило таким громом, что он проснулся. Ему показалось, что конные немцы скачут через костер один за другим и рубят его по голове. На самом деле все было проще. У дерева метался и рвался Бетховен. Ноги его были спутаны, и он не мог бить ими. Но он орал так громко, как мог. Прямо перед ним ревел граммофон, как нечистый дух, надседааясь в шипе и свисте.

Вокруг граммофона стояли незнакомые солдаты, приседаая от потехи и хохоча во все горло.

Старуха недовольно, но робко шипела. Дети проснулись и тарашили глаза, подняв брезент, смотрели с восторгом и испугом. Поросята громко хрюкали.

Бабка-Малый наступал на смуглого низенького, похожего на цыгана, драгуна и кричал:

— Прекрати, прекрати, драгун паршивый, над животным издеваться!

— Не твое животное,— отвечал драгун и, обернувшись, увидел, что Коршунов проснулся.

— Коршунов, это я тебе сюрпризом. Мы вас сменять приехали, а вы спите. Я думаю: дай заведу машинку потихоньку, а она не умеет потихоньку. Погляди, твое животное вприсядку пляшет...

Бетховен, протестуя, завывал из последних сил. Глаза его налились кровью. Он плевал пеной в черную пасть неумолимого граммофона, но машина неистовствовала. Машина хотела перекричать и людей и лошадей.

Тут Коршунов одним ударом приклада разбил граммофонную пластинку и, толкнув ногой побежденный, замолчавший ящик, подошел вплотную к драгуну. Лицо его было серо, как рассветный лес. Заспанное глаза его медленно поднимались на драгуна.

Он взял его за винтовочный ремень и сказал:

— Не расходись, Франтов. Не расходись. Давно ли ты позабыл Тирульское болото? А? Желтый портсигар забыл?

Франтов стал таким же серым, как Коршунов. Руки его дрожали, но он не сказал ни слова.

— Драться я с тобой здесь не буду,— продолжал Коршунов,— да и пачкаться об тебя не хочу. Уходи к лесному папаше — подальше, но знай, брат: счастье твое, что тебе пост заступать, а то поплясал бы ты мне не хуже Бетховена.

Тут он выпустил ремень Франтова, и драгун, съездившись, пошел через лес по тропинке со своими товарищами. Вслед им закричали дети из телеги:

— Поросенка унесли!.. Поросенка...

Коршунов хлопнул себя по сапогу:

— Ишь мазурье!

И стал седлать Бетховена..

III

— Откуда у тебя на драгуна злость такая?— спросил Бабка-Малый.

— Да эта история недолга,— усмехнулся Коршунов.— Раз в Тирульском болоте послали на разведку драгун. Немцы их в болоте окружили, перебили часть, часть пришла назад, оружие растеряли... Ну, что тут поделаешь? Послали наш эскадрон на другой день выбивать немцев из лесу. Ползли мы, ползли, смотрели, смотрели — как на столе видно, как удирали драгуны: тут винтовка брошена, там — другая, там — третья, платки, фуражки, шпоры и портсигар желтый — оказывается, этого Франтова. А немцев не было никаких. Они в темноте сами в себя палили и в коз диких, что ворошились у проволоки. Коз там сколько хочешь, и набили они их штук десять. А вместо блокауза там старая колода... Вот так случай... Ну, как вернулись мы — так и посыпали драгун перцем. Портсигар и сейчас у меня.

Он вынул из кармана обыкновенный желтый портсигар, на котором был нарисован драгунский погон и расписка: Франтов.

— Где же я был тогда,— спросил Бабка-Малый,— что я этого случая не знаю?

— А ты был ранен тогда и в лазарете лежал... С той поры Франтов и портит жизнь мне, где встретимся. Ну, а мне что? Я всегда его могу этим портсигаром защемить.

Так, разговаривая, они вернулись в эскадрон. В тот же вечер два эскадрона поехали на левый фланг прикрывать отступление. Когда они прибыли к месту, куда их посылал приказ, там было темно и тихо. Разбитая пехота отступала группами и уходила через болота, вяло отстреливаясь.

Впереди горели какие-то одинокие сараи и дома, весело потрескивая. Сожженный автомобиль лежал у самой станции на боку, на столбах висели обрывки телеграфной проволоки. Немцы обходили лесом...

Ночь опускалась мрачная и нехорошая. Нужно было уезжать. Лес не пускал к себе — и никаких. Сквозь кусты нельзя было пробраться. В них уже прятались немецкие разведчики. Узкая дорога рядом с железнодорожной насыпью обрывалась то в громадные песчаные ямы, то в бесконечное непроходимое болото.

— Завели,— говорили гусары,— ни дна тебе, ни покрышки...

Выхода не было. Тут солдаты зароптали и полезли на насыпь. С большим трудом нашли место, где можно пройти прямо на рельсы. Дальше пошли по рельсам. Лошади стали сейчас же спотыкаться о шпалы. По обе стороны насыпи лежали обрывы такой глубины, что целую страну можно было сбросить туда.

— Погибать нам с тобой, Бетховен,— бормотал Коршунов, ободряя шлепками уставшего коня,— не успеешь ты и консерваторию увидеть, как скатимся мы с тобой в тартарары.

Здесь из черного неба выбежала луна, желтая, кривая, очень подозрительная. Вдох облегчения пронесся по рядам. Стало светлее, но не легче. Сзади, в лесу, стреляли немцы и трещали пожары. Внизу шли все те же пропасти в шестнадцать этажей. Лошади испуганно жалась друг к другу, всадники боялись глядеть вниз.

Смятение остановило первые ряды. Люди соскочили с лошадей и прислушались. Без конца вперед уходили две колеи рельсов и скрывались за поворотом. Коршунов прислушался. Тихий свисток пронесся далеко впереди.

Стало ясно, что идет поезд. Что за поезд? Броневой, что ли? Людям стало сразу холодно и неудобно. Все спешили и топтались на месте. Но уже раздавались успокаивающие голоса:

— Товарищи, без паники. Переходи все на одну колею — направо, очисти левый путь. Веди лошадей в поводу, огладь тех, что боятся.

Приказания смолкли. Впереди уже вырисовывалась черная фигура паровоза. Он дышал так горячо, что далеко в стороны отлетало его дыхание. Он с каждым шагом становился все страшнее и больше, точно шел сразу по двум колеям, во всю ширину полотна...

Вдруг передние остановились. Перед ними лежал решетчатый скверный железнодорожный мост. Первый конь шагнул, попал ногой между досок, упал, ушиб колени и стал биться. Ему помогли встать и пройти, но следующие кони идти отказались.

Паровоз выростал как чудовище. Он уже шипел, и искры вихрем кружились над ним. Лошади стали трясти ушами, брыкаться. Наступила паника. Самые храбрые растерялись. Лошади не хотели идти на мост и заезжали, толпясь, даже на рельсы, по которым мчался паровоз.

Тогда Коршунов протиснулся вперед, вынул флейту, и тихая песенка «Осенняя луна в огороде» зазвенела в сыром, тяжелом воздухе.

Это была любимая песенка Бетховена. И тут случилось то, о чем долго потом рассказывали люди в полку. Бетховен забыл усталость и испуг и шагнул решительно за Коршуновым, точно он шел по знакомому полю. И за ним повалила в каком-то особо затаенном молчании конская громада. Лошади шагали непрерывно, потели от испуга, спотыкались, сдерживая крики, и шли вперед.

Паровоз поровнялся с ними. Он вел только один вагон. Это ехали взрывать водокачки. Машинист убавил ход, и паровоз скользил бок о бок с лошадьми, презрительно фыркая им в спину.

Наконец, он проехал, и гул голосов, брани, радостный и задорный, шел ему вслед, как песнопение.

— Нашел место, где идти, — ворчали гусары, — чуть всех не передалил.

— Вот так орехи! — отвечал Бабка-Малый. — А где ж

ему, кроме рельсов, идти? Ну ты, не наезжай. Какого черта твой конь хрюпает сено у меня! Придержи!..

Коршунов спрятал флейту, облизал сухие губы, обернулся к Бетховену, поцеловал его в морду и сказал, влезая в седло:

— Это тебе, брат, не опера!

IV

Остановились они в баронском имении, недалеко от того городка, где фотографировали Бетховена. Имение было барское и большое, но хороших вещей в нем нашли мало. Все хорошие вещи барон, перед тем как сбежать, собрал и запер в больших каменных сараях.

Потом пришли к сараям латыши, баронские батраки, отбили замки и все поделили между собой — от баронских подушек, набитых мягким пухом, до штампов, которыми метят пни...

— Бабка-Малый,— сказал приятелю Коршунов,— я соскучился по хорошим людям... Махнем-ка в городок.

— Махнем,— ответил Бабка-Малый,— поедем и позвоним там немного.

В городке уже толкались и драгуны и гусары, и число их к вечеру сильно увеличилось. Это значило, что около городка собирают на отдых всю дивизию.

Оба гусара подъехали к трактиру, чистенькому и маленькому. Они подъехали с черного хода, чтобы привязать лошадей на дворе. На дворе палили поросенка. Один держал поросенка за задние ноги, другой за голову. Под поросенком трещал огонь, и вокруг пахло жареным волосом. Сильный осенний ветер колебал пламя. Два полуголых дерева качали укоризненно ветвями.

Гусары привязали лошадей так близко к окну, что морда Бетховена заглядывала в трактир с большим любопытством.

Когда Коршунов открыл дверь в единственную залу трактира, он увидел, что за двумя сдвинутыми столами сидят среди драгун Франтов.

Драгуны расположились, как дома. Шашки и винтовки были прислонены к стене. Очевидно, они только что побывали в разъезде. Латыш с баками, тот самый,

что приглашал Коршунова дать представление, угощал компанию.

— Здорово, гусары,— закричал Франтов,— хлеб да соль, чтоб не подавиться!..

— Здорово, драгуны! — отвечал Бабка-Малый.— Откуда вас принесла нелегкая?

Обменявшись такими любезностями, гусары заказали себе чай. Девушка с толстыми и красными щеками принесла им чайник и два стакана.

— В охотку выпью, — сказал Коршунов, налил на блюдечко кипятку, повалил стакан, сполоснул и не спеша нацедил чаю.

Но едва он сделал глубокий глоток, как его лицо перекосилось, и он стал плевать на обе стороны.

— Что это такое? — закричал он, наконец.— Чем здесь поят? Что это такое? Куда мы попали? Это трактир или это аптека?

Тогда Бабка-Малый отхлебнул из своего блюдечка, и его лоб перекосило морщинами. Он отставил стакан и вылил все блюдечко в полоскательницу. Чай был и горячий и холодный вместе. По краям горячий, а в середине было запрятано нечто такое, точно во рту таяла льдинка, и пахло, как аптека.

— Фрелен, — закричали они,— фрелен! Честных людей среди бела дня травите!

Испуганная девушка прибежала и начала объяснять, взмахивая руками:

— Это мятный чай! Мятный чай! Все пьют. Я ничего не знаю. Это здесь очень нравится. Очень полезно...

— Кому полезно, а кому и нет,— сказал Бабка-Малый.— Дайте-ка нам лучше кофею...

— Сейчас дам, сейчас дам,— говорила девушка, спешно убирая чайник.

Но едва она поставила кофейник и молочник на стол, как драгуны хором закричали:

— Кофею! Кофею! Кофею нам!

Девушка недовольно махнула рукой:

— Не будет кофе! Нет! Нет!

Драгуны орали еще громче. Немногочисленные гости трактира из приезжих крестьян с любопытством и опаской глядели на происходившее.

— Чего ржут эти жеребцы?— спросил девушку Коршунов.— Не хотят ли они на выводку?

— Не будет им кофе,— отвечала девушка.— Они каждый пили по три кофейника. Это нельзя так пить. У нас так не пьют. Одна порция, и довольно. Хозяйка запрещает. Так один все пьет, а другим — нет.

— Кофею! — орали драгуны и стучали громадными сапогами с желтыми шпорами.

Девушка скрылась за стойку.

— Не будет вам кофе,— закричал Коршунов,— походите на мятной травке, как в Тирульском болоте!

Услыхав это, Франтов посмуглел, и глаза его заискрились.

— Товарищи драгуны,— сказал он, странно усмехаясь,— чья это морда заглядывает к нам в окно?

Все обернулись и увидели Бетховена. Он задумчиво лизал стекло и рассматривал трактир.

— Чья это морда?— продолжал Франтов.— Разве это благородная морда? Это ж клоунская кляча. Ее выбросили из цирка. Товарищи, он плясать только здорово умеет — только и всего. Тут нет шарманки, а то бы я вам показал кое-что. Разве ж это конь? Такими конями в конюшне дыры затыкают, чтоб не дуло.

Тут, усмехнувшись еще странней драгуна, Коршунов полез в карман и вытащил желтый портсигар с погоном.

— Покурим, что ль, — сказал он, вызываяще стуча о стол и обращаясь к Бабке-Малому так громко, чтобы все слышали.— Слыхал ты, чтоб человек на ходу штаны терял от волнения? А вот есть такие болота, где драгунских штанов выбор удивительный. Прямо не знаешь, какие брать на память. Я уже взял с портсигаром.

Тогда, посеревав совсем, Франтов стукнул кулаком о стол и сказал:

— Товарищи драгуны, знаю я один полк. Там все лошади раньше навоз возили, а люди там первые навозники. Так вот, когда они в одной комнате с вами, так не кажется ли вам, что тухлым воняет... Чистая зараза...

Коршунов, вытащив из портсигара папиросу, закурил ее, стрельнул спичкой на драгунский стол и сказал:

— Бабка-Малый, когда обозники чесоточных лошадей будут на свалку отправлять, так не забудь, запиши еще

пятерку. А то они о порядочных людей трутся и глаза мозолят.

— Товарищи драгуны, можете вы еще терпеть или нет?— закричал, вставая, Франтов, и за ним встали все драгуны.

— Долой гусар! — заревел Франтов, хватая винтовку и щелкая затвором.

Весь трактир загалдел. Хозяйка закричала и села на пол за стойкой. Крестьяне повалили стулья, пробуя открыть окна, чтобы выскочить на улицу.

Тут Бетховен заржал таким густым басом, что стекла задрожали. Он бил передними и задними ногами изо всех сил. Он ржал так отчаянно и грозно, что на двор стали сбегаться люди. Превосходство драгун длилось недолго.

Через двор бежали со всех сторон гусары.

— Наших бьют! — кричали они, на ходу вытаскивая шашки.

Франтов увидел, что их дело плохо.

Он держал винтовку горячими от злости руками и целился в Коршунова. Коршунов стоял, усмехаясь, с обнаженной шашкой и с тихой грустью бил стаканы по сторонам.

Франтов понял, что если он выстрелит в Коршунова, ему не уйти живым. Гусары уже влезали в комнату. Тогда он перевел винтовку, и грянул выстрел — дым закружился по комнате.

Все закричали, но остались на местах. Когда дым унесло, гусары стояли стеной против драгун.

Совершенно желтый, Коршунов сказал хриплым басом:

— Товарищи гусары! Стойте — ни с места! Дайте я спрошу паршивого драгуна, как это называется.

— Это называется прочищать винтовку, — сказал Франтов, выскакивая в окно на улицу.

За ним вылезли и остальные драгуны. За драгунами робко трусил латыш с баками.

Поле битвы было очищено. Но Франтов вернулся к окну и закричал:

— А с тобой мы еще поговорим особо, Коршунов, слышишь?

— Слышу, поговорим, что ж,— сказал Коршунов и, наступив на осколки стаканов, спросил: — Бабка-Малый, чего это ты выдумал характер показывать — стаканы бить?

— Это, брат, ты набил, а не я,— сказал Бабка-Малый,— я только-только успел кофей выпить...

— Так ты говоришь, это я разбил,— ну, значит, я задумался немного...

И он пошел к Бетховену, который дрожал от воинственного гнева и стучал мордой в стекло, точно хотел влезть в трактир.

V

В баронском имении в конюшнях можно было разместить только десять лошадей. Поэтому остальные ставились под навесы, в сараи — по две, по три, так что дневальному невозможно было следить за всеми, да он и не старался следить.

Бабка-Малый и Коршунов поместились в маленьком домике сторожа на окраине имения, у опушки леса. Здесь вечером Коршунов после водопоя сыграл на своей неизбежной флейте неизбежную песенку и повел Бетховена спать в загородку.

Когда он возвращался от коня, он почти столкнулся с невысокого роста человеком; человек испуганно пошатнулся и потом почтительно снял шапку.

Коршунов узнал латыша с баками по фамилии Пуппе.

— Чего бродишь здесь?— спросил он строго.— Чего тут шаришь?

— Я ищу вас, господин гусар,— сказал латыш, кланяясь.— Только тихо, дело очень интересное.

Коршунов недоверчиво пошел к нему.

— Покойнички,— сказал Пуппе,— очень хорошие покойнички.

— Что ты плетешь? — спросил Коршунов. — Тебя Франтов послал смеяться?

— Никогда,— твердо ответил Пуппе, указывая куда-то в сторону от леса.— Там лежат в склепе бароны... Помершие очень давно бароны...

— Ну так что? Пусть лежат...

— Так их надо покопать...

— Как покопать?

— У баронов есть драгоценные камни, золото, серебро... Очень много... Это очень пригодится гусарам...

— Ах ты прохвост! — сказал Коршунов. — Так вот ты чего тут делаешь! Ну ладно...

Он взял Пуппе за плечи, повернул лицом к лесу и дал такого пинка ниже спины своим гусарским сапогом, что плотный латыш отлетел на пять шагов.

Потом он поднялся, оглянулся, потряс в воздухе кулаками и вдруг пустился бежать со всех ног. Коршунов захохотал и пошел спать.

Утром Бабка-Малый, встававший всегда на рассвете, умылся у бочки и отправился к лошадям. Он вернулся слегка бледный, сел на стул посреди комнаты, громко повторяя:

— Вот так орехи! Как же быть, как же быть?..

— Что случилось с тобой? — спросил Коршунов, садясь на постели.

— Да не со мной — с тобой, — сказал медленно Бабка-Малый, — Бетховена украли.

— Как украли?

— Так, увели — и следу нет.

Здесь Коршунов, без штанов, в одной рубахе, побежал к окну, раскрыл его, вылез на двор и побежал в пристройку. Бабка-Малый собрал его одежду и сапоги и пошел за ним, качая головой.

Коршунов катался по земле от ярости, не замечая утреннего холода.

— Я уж думал, думал, — сказал Бабка-Малый, — больше некому. Это Франтов...

— Но ведь Бетховен его не подпустил бы... Тут был вор почище. Такой конь! Такой конь!..

Бабка-Малый ударил по колену.

— Вот что. Не будем терять времени. Одевайся, пока никто не знает, бери двух гусар и лети к драгунам. Их эскадрон всего четыре версты отсюда, в Пиксаари, а у меня есть другой след...

— Какой?

— Смотри, чего я нашел у двери...

Бабка-Малый потряс большим лиловым платком. На углу стояла метка: Э. П.

— Ну так что?

— Так это след. Я сейчас еду в город.

— В город? Зачем в город?

— В фотографию, — серьезно сказал Бабка-Малый. — Видал там барышню, что снимала Бетховена?

— Ну?

— Так я за нее буду свататься... Я раздумывал еще, но раз Бетховена выручать надо, так можно и жениться по этому случаю.

Он оседлал своего коня и с высоты седла произнес маленькую речь:

— Хочешь ты иметь обратно своего коня, так слушай. Ты едешь к драгунам, я в город. Я, брат, в Сибири ловил и не таких конокрадов. Найдем и этого. Это же Франтов. Встретимся мы в городе, в трактире, в час дня. Запомни...

И они расстались. Так бурно начался этот день.

Было без десяти час, и Бабка-Малый выпил уже целый кофейник кофе, когда взмыленная лошадь захрапела у дверей трактира. Через минуту усталый и вспотевший Коршунов тяжело грохнулся на стул. Он был похож на утесленника, в грязи и в пыли.

— Я не переживу, — сказал он, — я подожгу драгунам конюшню и оболью Франтова керосином, если найду его...

— Ты его не найдешь, — сказал Бабка-Малый. — Разве ты нашел его в полку?

Он закричал девушке за стойку:

— Еще кофейник!..

Коршунов взглянул на него в упор и сказал:

— Франтов прошлой ночью бежал из полка...

— Бежал? Ишь ты, какой он быстрый...

— Дезертировал...

— Да врешь ты — его спрятали...

— Да нипочем не спрятали... Я был в штабе и всюду. Он дезертировал, и уж отдано в приказе. С поста ушел. Я видел приказ. Он убьет Бетховена, но я убью его...

— Подожди, — сказал Бабка-Малый, — если через

два часа ты не будешь сидеть верхом на Бетховене, зови меня последними словами и закопай меня живого в навоз...

— Я не понимаю,— сказал Коршунов и залпом выпил стакан кофе.

— Я тебе покажу конец ниточки,— сказал Бабка-Малый и достал из кармана фотографическую карточку.

— Спрячь,— замахал руками Коршунов,— убери, я не могу видеть Бетховена, я не могу...

— Да это не он,— закричал Бабка-Малый,— вот так орехи, это же вовсе не он, а она...

И он протянул карточку, на которой красовалась пышноволосяя девушка из фотографии.

— Ее зовут Эмма Пуппе, а Эдуард Пуппе — ее папаша. А ее папаша — первый лошажник здесь. Так. Он сидел вчера с драгунами, и ты первый его встретил вчера в имени. Думаешь, он подкапывался под баронов? Он подкоп к Бетховену вел. Так.

— Ага,— сказал Коршунов.— А при чем тут барышня?..

— Так она моя невеста... Я же здесь в городе при штабе три недели крутил втихомолку. Твой Бетховен стоит у ее отца на ферме... Кто с тобой ездил к драгунам?..

— Селезнев и Петренко...

— А где они?

— Они здесь будут скоро...

— Ну так сиди пей, ешь, отдыхай и не волнуйся. Отсюда до Пуппе полчаса езды...

VI

Мыза, в которой жил Пуппе, стояла на пригорке у маленькой речки, среди соснового леса.

Сам Пуппе ходил по двору крупными шагами, посаывая трубочку, и тихо усмеялся.

Неожиданно загрели бешено скакавшие кони, и не успел он сообразить что-либо, как четыре всадника окружили его.

— Где Бетховен? — закричал грозно Коршунов, хватая его за плечо.— Где мой конь, гробкопатель?

Улыбка сбежала с губ латыша.

— Конь? Какой конь? Я не трогал вашего музыкального коня. Нет. Нет.

— Общем,— сказал Бабка-Малый.— Постереги его, ребята...

Они соскочили с коней, один гусар остался сторожить их, а Коршунов, держа за шиворот Пуппе, повел по двору.

— Показывай все...

— Покажу, покажу,— говорил латыш,— зачем мне что прятать?

— Я из тебя душу выблю, если не найду,— сказал Коршунов.— Я все знаю...

Латыш сплюнул и ответил:

— Дайте я вам покажу... Идем. Разве я не хозяин? Я понимаю, если сбежала лошадь. Такой конь... Вот моя кухня.

— Что ты показываешь кухню! На что нам твоя кухня? Веди в конюшню, в сарай...

Два батрака-эстонца молотили в сарае. Они, увидя гусар, оставили работу и вышли на двор. Обыск шел ожесточенно. Бабка-Малый даже слазил на сеновал. Перетряхнули всю мызу — коня не было.

Наконец, они остановились у колодца.

— Я убью тебя,— сказал Коршунов Пуппе,— и отвечать не буду... Знаешь ты?

— Зачем убить меня? — воскликнул Пуппе.— Как это можно говорить такой страх: убить меня? За что? Мирного жителя...

— Да пойми,— зарычал Коршунов,— пойми, это же не конь — это была опера, это был композитор... Держите меня, или я снесу ему голову...

Он вынул шашку и в бессильной злобе стал рубить молодую яблоню.

— Зачем губить дерево? — заметил Пуппе.

Коршунов повернулся к нему, но тут Бабка-Малый тронул его за плечо и указал на закрытую отдельную кладовушку у сарая.

— Что там такое? — спросили они.

— Там... О, там мусор, хлам,— сказал латыш,— старье.

— Посмотрим,— сказал Коршунов, и вдруг на него сошло вдохновение.

Он улыбнулся всем лицом и сказал Пуппе совсем мирно:

— Ты — дурак. Я тебе немного поиграю.

И он достал флейту. Тонкие звуки «Осенней луны в огороде» побежали в воздухе. Едва он проиграл первую часть, как какой-то отдаленный, точно подземный, гул послышался из кладовки

Латыш вдруг закрыл лицо руками.

Удары раздавались все чаще и ближе. Стало ясно, что несчастные доски, спешно набитые на дверь, не выдержат.

Коршунов играл в какой-то мрачной радости все вдохновенней. Удары сыпались без перерыва. Вдруг лопнула и отскочила верхняя доска. Завизжав на гвоздях, она упала, и за ней посыпались другие.

Пуппе сидел на бревне, не поднимая головы.

Флейта заливалась, как на концерте. Доски летели вниз. Неожиданно громадная задняя конская нога показалась в отверстии. Конь ударил задними ногами еще раз и задом вышел на двор.

Это был Бетховен, разъяренный и прекрасный. Он огляделся и пошел к Коршунову. Коршунов танцевал вокруг него с флейтой в руках. Но, взглядевшись в коня, он закричал:

— Кто ему отрезал кусок хвоста?

Правда, хвост Бетховена укоротили наполовину.

— Это ты? Ты? — закричал гусар, тряся латыша.

— Я ни при чем, ни при чем, — кричал латыш, — я ничего не знаю! Это драгун. Он приходил — он уходил. Вот пусть моя дочь скажет что-нибудь. Я погиб. Я вижу, что я погибший мужик. Господин гусар, моя старая голова не выдержит такого...

Дочка Пуппе, пышноволосая барышня из фотографии, с распущенными волосами выбежала из дому, крича:

— Вы мне обещали, о Бабка-Маленький, вы мне обещали, Бабка-Маленький...

Коршунов вне себя вдруг схватил ее за распущенные косы.

— Так вот я укорочу хвост твоей дочке своей шашкой...

Но Бабка-Малый сжал его руку и отвел в сторону. Коршунов пришел в себя.

— Я немного задумался,— сказал он,— простите, барышня, я немного задумался. Но тебя, старая крыса, мы повесим на этой яблоне — вот уж не знаю как: вниз или вверх хвостом...

— Никак,— сказал Бабка-Малый,— эта барышня, которая моя невеста, спасла Бетховена, чтобы ты не трогал ее папашку... Понимаешь? А то ты бы и хвоста от него не увидел...

— Ага,— вдруг сказал Коршунов,— дай подумать. Бетховен стоял и осматривался, как герой.

— Как ты думаешь, что сделают с Франтовым, если его поймут?..

— Керенский расстреляет его,— сказал Бабка-Малый,— приказ такой он написал, чтобы нас всех расстреливать, если мы что сделаем...

— Ага,— сказал Коршунов.— Ну-ка ты,— он встряхнул Пуппе,— скажи по совести: когда придет сюда Франтов? Ты ведь скрываешь его? Чего там думать...

— Я все скажу,— отвечал убитый страхом Пуппе.— Я погиб уже от моей старой головы. Я все скажу. Пусть он платится сам. Он придет сюда сегодня вечером. Он меня запугал. Сказал, все сожжет — и меня, и дочь, и домишко, и все вокруг. И я испугался — да, да. Теперь, когда он придет, вы его подкараулите, и готово.

— Эх ты, факельщик! — сказал Коршунов.— Чего ты мне глаза засыпаешь песком! Ты увел коня, ты в них толк знаешь. Ну, черт с тобой. Я свое нашел, а чужого мне не надо... Пусть его хоть живого в навоз закопают. Я — другое...

Он достал портсигар, желтый, потрепанный, с драгунским погоном, и протянул его Пуппе.

— Запомни: понимаешь, когда Франтов придет сюда вечером, понимаешь, отдай ему эту вещь. Так и быть — он ее заработал; так отдай ему, а потом попутный ветер в спину. А теперь давай нам пожрать чего-нибудь. Видишь, люди и кони заморились.



МАЛЕНЬКИЕ
РАССКАЗЫ

1934-1941

*

ВИЛЛА «МЕЧТА»

(Из рассказов о первой мировой войне)

Шестьдесят голых всадников проехали к морю мимо старухи. Старуха отвернулась. Гусарские фуражки были заломлены набекрень. Впереди ехал голый офицер, за ним голый трубач с трубой на перевязи.

Старуха прошла мимо пустого, брошенного отеля. Семьдесят дверей хлопали на разные голоса. В нем распорядился ветер.

С моря нарастал шум сосен, высоких и прямых сосен лифляндского побережья. Если вслушаться в этот шум, то из-за него то приближалось, то удалялось некое бурчанье. Это разрасталась артиллерийская дуэль где-то около Шлока.

Старуха все шла. Из всех садов на нее удивленно, как на беспорядок, смотрели лошади. Во всем обширном курорте жили кавалеристы.

Старуха открыла облупленную калитку со сломанным замком и остановилась, качая головой. Широкий двор зарос маленькой мягкой травой. По клумбам сада бродили две лошади. Гусар команды связи Пантелеев не торопясь рубил на дрова кушетку красного дерева с истерзанным нутром, со споротой обивкой.

Увидев старуху, он прекратил свое ленивое занятие и спросил:

— Что надо, мамаша?

— Я не мамаша,— ответила старуха, нахмурившись,

и надменно блеснула узкими выцветшими глазами.— Я мадам Гойер.

Она вынула из черного ридикюля вчетверо сложенную бумажку. Пантелеев долго читал ее.

В этой бумажке было написано, что штаб фронта решил ей, мадам Гойер, проехать в этот курорт, расположенный в двадцати километрах от передовой линии, чтобы она имела возможность осмотреть принадлежащую ей виллу «Мечта».

— Что ж, пройдемте,— сказал Пантелеев, кончив чтение, отложил топор и зашагал к дому.

Она открыла дверь в зал и отшатнулась. Синее облако махорочного дыма набежало на нее. В зале из самых разных сочетаний мебели, остатков кресел, столиков, кушеток были сооружены постели. На этих постелях лежали свободные от нарядов гусары. Все они курили. Старуха стояла, задыхаясь в дыму, и страшными глазами обводила зал.

Гусары от неожиданности сели на своих адских лужах. Как привидение из черного шелка, стояла надменная, разгневанная старуха. Не хватало клюки, чтобы она застучала о пол. Да, от мебели в вилле «Мечта» осталось немного.

Десять по-разному раздетых мужчин захохотали как один. Старуха, трясаясь от негодования, ударила дверью и стала подниматься в библиотеку.

Кучи заплесневевших предметов возвышались посреди комнаты. Полки исчезли. Крысы грызли книги. Они разбежались неохотно. Старуха энергично наклонилась и рукой в лайковой перчатке начала рыться в книгах. Она рылась долго, она не могла найти того, что хотела.

— Куда девались книги?— спросила она, закашляв.

Пантелеев подмигнул ей, как будто приглашал ее на танец.

— Господа офицеры,— сказал он,— ходили тут, почитать себе выбирали... на память... Те, что поинтересней...

Она увидела, что иные книги обожжены, как будто были вынуты из костра.

Пантелеев поймал ее взгляд.

— Зол наш брат,— сказал он,— вины его нет. Читать он тоже обучен, возьмется — а тут все немец-

кое, английское, французское. Барское все чтение. Ну, от голода, что читать нечего, и рванет...

Большая крыса вышла из угла. Старуха пошла к двери. На кухне сидел рыжий Титов, чистил картофель и длинные, узкие коричневые ленты шелухи бросал через плечо к ее ногам. Старуха стала синей от злости. Она положила руку на дверь в комнату, где жил Курмелль.

Пантелеев сказал тихо:

— Не надо его тревожить,— он избегал называть старуху барыней.

— Эта моя любимая комната,— сказала старуха.

Дверь открылась. Солнечный свет заливал три больших зеркала, играл на причудливых завилинах хрустальных фужеров, на китайской эмали ваз...

Курмелль стащил к себе в комнату все это великолепие, но сам он был не менее великолепен. Он горел в жару. Лицо его, точно налитое клюквенным морсом, качалось над подушкой. Он тихо подвывал. На румынском фронте получил он странное ранение. Пуля пробила руку. Рану сочли легкой, но время от времени рука чернела от страшной боли. Он катался по кровати, не помня себя.

Старуха увидала под зеркалом кучу безделушек: фарфоровых мосек и слонов, чашки и мундштуки. Она потянулась за ними с жадностью, поразившей Пантелеева.

И тогда Курмелль вскочил, в разорванной рубаше, в синих гусарских рейтузах с желтыми леями, босиком, маленький, черноволосый, с блуждающими глазами.

— Вон! — закричал он, наступая на старуху.

Пантелеев не успел перехватить его.

Старуха сказала, почернев, смотря на него сверху вниз:

— Я в моем доме. Это все — мое. И никто не может препятствовать мне. Молчать!..

Казалось, она иссякла. Пот выступил на ее лбу, невысоком и желтом.

Курмелль секунду смотрел невидящими глазами. Ураган ярости подбросил его истощенное болью тело.

— Молчать? — закричал он. — Как молчать? Да знаешь ли ты, — кричал он старухе, не помня себя, —

я четыре раза был на комиссии, и меня не отпускают. У меня рука гниет заживо, а ты тут... Я три года...

Он задохся, затем прыгнул к кровати, выхватил шашку из ножен и ударил по зеркалу. Водопад сверкающих осколков упал на кровать. Он ударил с грохотом по другому. Старуха стояла, прислонившись к косяку. Курмелль прыгал между кроватью и окном и рушил все. Уже вазы, разбитые, валялись под столом, уже от божков остались толстые, с острыми краями кусочки, уже слонов и мосек обратил он в пыль, он не пощадил бы и окна, но припадок боли охватил его, как пламя. Он застонал, выронил шашку и упал головой на свернутую шинель. Шашка лежала у ног старухи.

Пантелеев тихо поднял ее, провел зачем-то по клинку рукой. На руке остался след от масла. Он вложил шашку в ножны, повернулся к женщине и взял ее за локоть. Старуха отвела его руку и вышла из комнаты.

— Защитники отечества,— сказала она ядовито посинелыми губами,— воры, пьяницы, дикари. Так вы защищаете нас... Хороша армия... Это вам не пройдет, голубчик... Я буду жаловаться сегодня же, я буду жаловаться... Ваши фамилии все будут у меня в памяти... Я буду жаловаться...

Пантелеев не отвечал ей. Он шел впереди. Старуха еле попевала за ним.

— Жаловаться,— повторяла она, как заклинание,— жаловаться...

Точно только сейчас до сознания Пантелеева дошло, что она говорит. Он взялся за ручку маленькой, узкой двери и остановился.

— Жаловаться,— грустно сказал он,— что же, можно и жаловаться. Вы еще тут не посмотрели, барыня...— Первый раз он назвал ее «барыня».

Он открыл дверь. Они вошли. Она не могла сразу понять, в чем дело. Перед ней сияли небо и зелень, как будто она уже стояла на дворе, а не в комнате. Она видела лошадь, бродящую в саду, растоптанные клумбы, траву и не могла отдать себе отчет. Потом она поняла: весь угол дома был оторван. Могучая рука оторвала его и превратила в мусор.

Два дня назад в курорт пришел артиллерийский обоз. Немцы узнали о нем с самой быстрой точностью, но все же опоздали. Обоз ушел ночью, а они на рассвете налетели и бомбили по всем направлениям. Одна из этих бомб оторвала угол дачи и тяжело ранила спавшего гусара Кудрина. Врач посмотрел его и не велел трогать раненого.

Старуха обернулась на хрип. В противоположном углу на груди сбитых потников, с седлом под головой, умирал Кудрин.

Шинель закрывала его до пояса. Руки его ползали по ее воротнику, точно искали, на месте ли петлицы. Из оскаленного рта выбегала струйка пены. Глаза его были устремлены в прошлое.

Старуха с остановившимися глазами тяжело дышала.

— Жаловаться, что ж, — сказал тихо Пантелеев. — А кому мы будем жаловаться?..

Старуха села на подоконник, замороженная смертельной борьбой. Кудрин начал растягиваться. Ему не хватало дыхания. Он протянул руки назад, оперся на них, и страшный поток брани вместе с потоками крови вылетел из его горла. Пантелеев бросился к нему.

Старуха быстро прошла через дом и, прыгая через две ступеньки, спустилась в сад. Она не знала, куда бежать, повернула в другую сторону, где был совсем разломан забор, там была площадка ветеринарного госпиталя. Старуха чуть не сбила с ног вахмистра Гладких. Он начищал сапоги до того нестерпимого блеска, когда сапоги кажутся белыми. Он шел на свидание к Марте, единственной девушке, оставшейся в курорте, за которую боролись все драгуны и гусары. Сегодня была его очередь.

Увидев старуху, он захохотал искренним смехом здорового человека.

— Эх, разбередили ее гусары, — сказал он громко. — Что значит, давно мяса не видели...

Старуха в ужасе обежала конскую тушу, оклеенную черными струями мух.

— Ишь кокетка! — сказал вахмистр, принимаясь снова за щетку.

ЛЕГКИЙ ЗАВТРАК

(Из рассказов о первой мировой войне)

Ржавое утро. Хлюпающая под ногами красноватая вода болота. «Шарманщики» — стрелки и гусары-связисты — сматывают телефонную проволоку. Сизые лица неспавших людей как будто покрыты коркой от усталости.

Облака так тяжелы, что кажется — они вот-вот упадут на наши плечи. Окопы первой линии давно брошены. На второй слышны взрывы. Это подрывники кончают главные блиндажи.

В который раз отдается сигнал отступления. Сколько уже проигранных сражений лежит позади. И каждый раз такое же утро в поле или в лесу, переполненное лихорадочной паники. Последние пехотинцы проходят в сторону военной дороги, единственной сносной дороги, представляющей гать из толстых бревен. Раздирая грохотом уши, мчатся орудия, двуколки, снарядные ящики.

Спешенные гусары подтягиваются к поляне со всех сторон. Коноводы начинают нервничать. Поляна уже кишит озябшими, промокшими людьми, бродящими по щиколотку в воде, но приказа «по коням» нет. Со злорадным шипеньем рвется шрапнель. На нее никто не обращает внимания. Надоело. Шрапнели так однообразны, точно все время рвется одна и та же.

Задумчивый огонек пробегает по сараям, огромным сараям с сеном. Сено вспыхивает, как вата, пропитанная бензином. Мы окружены летящими в небо вспышками

желтого огня. Вся поляна пылает. Сарай, как сигнальные вышки, пылают один за другим. Где-то подожжен артиллерийский склад. С тоскливым, правильным треском взрываются пулеметные ленты, взвиваются, хрустя, снаряды. Зеленые молнии пронизывают густые тучи над лесом. Все кончается. Надо уходить. Но приказа «по коням» нет.

Посредине поляны стоит наскоро сколоченный длинный стол. На пни вокруг него положены доски. На своеобразных этих скамейках сидят человек шесть. Ближе к лесу чернеет большой штабной автомобиль.

Раздувая светлые пушистые усы, полковник, в растегнутом френче, моется. Вестовой льет ему на руки из котелка красноватую воду, пахнущую уксусом. Полковой поп в брезентовом дождевике озябшими толстыми пальцами тщетно чиркает спичками. Спички отсырели. Адъютант пишет на краю стола. Командиры эскадронов, тяжело переваливаясь с ноги на ногу, — они не любят и не умеют ходить (то ли дело конь), — подходят. Бинокли висят у них на груди.

Тяжелая турецкая сабля командира четвертого эскадрона прыгает по мокрой глине, как гигантский угорь.

Командир садится за стол так спокойно, будто он на даче. Эскадронные стоят перед ним, смутные, тяжелые, настороженные.

— С богом, — говорит он, по очереди пожимая им руки. Все приходит в движение.

— По коням!..

Долгожданный приказ исполняется с удовольствием.

Уходят первый, второй, третий эскадроны. Уходит команда связи.

Командиру подают легкий завтрак. Сарай горят из последних сил. Дым закрывает поляну. Куски его ветер несет к лесу и развешивает на сучьях. Командир ест яичницу, заткнув салфетку за воротник и расстелив ее на коленях. Поп, оглядываясь на выстрелы, курит. Шрапнели все чаще осыпают деревья.

— Оставьте мне пулеметную команду, — говорит полковник. — Пусть начинают готовить дорогу. Я проскочу.

Командир четвертого эскадрона идет к нам.

— Как ты думаешь, кто это на опушке?— спрашиваю я приятеля.

Приятель смотрит, сложив щитком ладонь.

— Не знаю.

— Это немцы,— говорю я,— честное слово, немцы.

Приятель смотрит на лес, потом на завтракающего полковника. Он хмуро подмигивает мне. И тут раздается команда:

— По коням!.. Садись.

Когда мы сворачиваем к лесу, я оглядываюсь. По дальней опушке леса бродят одинокие черные человечки, то накапливаясь в маленькие кучки, то разбегаясь и припадая за кусты.

Черные, удушливые волны дыма идут справа. Подрывники обливают деревянную дорогу смолой, и тяжелые бревна начинают загораться.

Полковник пьет маленькими глотками вкусный сладкий чай.

— Немцы?— горорит, вопросительно скосив глаза, адъютант. Полковник, чмокая и отдувая щеки, пожимает плечами. Может быть, и немцы.

Начальник пулеметной команды спрашивает разрешения снять пару пулеметов с выюков для прикрытия.

— Не стоит,— говорит полковник,— сейчас тронемся.

Пулеметная команда стоит, как на плацу, ее отовсюду видно.

Первый убитый валится мягко, не выпуская из рук поводов вьючной лошади. Второй как бы выпрыгивает из седла, и струя крови малиновой змеей бежит из разорванного горла.

Раненые стонут, корчась в седлах.

— Снять пулеметы! Пулеметы к бою! — кричит начальник пулеметной команды, не оглядываясь на полковника.

Скрипят вьючные ремни. «Льюисы» стоят на земле, похожие на стрекоз с оторванными крыльями. Теперь уже простым глазом видно, что немецкие цепи идут по лесу со всех сторон. Пуля ударяет в стол. Поп бежит к автомобилю, высоко задирая рясу. Из-под рясы видны здоровенные ноги, каким позавидовал бы любой вахмистр.

Шофер выводит машину, серый от испуга. Раненые и убитые продолжают падать.

...Эскадроны отошли уже далеко. Лес сомкнулся за нами. Мы остановились на минуту. И тогда из-за поворота дороги вылетел всадник, махая обнаженной шашкой, крича:

— Все назад!.. Все назад!.. Командир в плену...

Эскадронные поварачивают коней. С легким визгом сверкают шашки. Вся лавина четырех эскадронов устремилась обратно. Навстречу нам летела отдельными всадниками пулеметная команда. У одного по лицу текла кровь, у одного болталась рука; люди, отплевываясь, пронеслись мимо. Ярость охватила нас. Мы с большим удовольствием последовали бы за пулеметной командой, но это было невозможно. Мы даже не знали, что мы встретим — картечь в упор или пулеметную дробь.

Густые клубы дыма загораживали дорогу. Передние начали сдерживать лошадей. Понемногу огромная колонна, колыхаясь и звеня, перешла на рысь, потому что в облаках зловонного дыма показался огромный штабной автомобиль.

Шофер с рассеченным лбом гнал машину. Полковник стоял на подножке, держась за борт. Салфетка торчала из его кармана. Поп, навалившись на подушки, щелкал зубами. Адьютант размахивал маузером.

За автомобилем мчались растерзанные всадники пулеметной команды. Мы пропустили автомобиль и мрачно последовали за ним. Через километр, у моста, полковник сошел с подножки, и ему дали лошадь. Он, отфыркиваясь, вскочил в седло...

Вечером этого дня у нашего костра присел сменившийся из штаба полка Кудрин. Мы разбирали утреннее отступление.

— Сволочь-то наша, — сказал Кудрин, — осталась верна себе. За что погубил людей? Зря он придумал легкий завтрак? Не зря. У него соображения свои. Известно, какие...

Мы не отвечали ничего. Мы сидели, налитые беспомощной злобой.

Всем был давно известен порядок полковника. Надо было, чтобы в донесении стояло:

«Отступили с боем, войдя в соприкосновение с противником, отступили с потерями».

Полковник любил отступать по трупам своих людей. И в этот вечер он, дуя в свои пушистые усы и отчеканивая слова, диктовал адъютанту:

— Пять убитых, тяжелораненых четыре, пропавших без вести три, легко раненых шесть... Добавьте... «разрывными пулями»,— говорил он с особой выразительной удовлетворенностью.

Ш А Р Ы

(Из рассказов о первой мировой войне)

Кавалерийский клуб отнюдь не похож на гостиницу, но сегодня он был до отказа набит ночлежниками. Наутро начинались маневры. Волею судьбы мне досталась огромная бильярдная, которую со мной разделил товарищ из «Крестьянской правды», молчаливый парень, с таким лицом, точно у него вчера только кончилась жесточайшая зубная боль и он опасается каждую минуту, что она вернется.

Нам не пришлось тянуть на узелки, кому мирно спать, а кому безропотно отправляться на дальнейшие поиски ночлега, потому что в комнате стояли два широчайших дивана; их мы тотчас же и закрепили за собой. После хлопотливого дня сборов и разъездов по необъятным просторам лагерей я ничего не имел против здорового и крепкого сна.

Я сел поудобнее, прислонился к подушкам, похожим на мшистые камни,— они были столь же велики и зелены, сколько жестки. На бильярдах играли. Непрерывный стук шаров разбивал всякое сонное сосредоточие. Только я начинал дремать, как костяной удар возвращал меня снова в сознание.

В дремотной полосе, застилавшей комнату, я видел проходивших между бильярдами и окнами людей, нагруженных биноклями, полевыми сумками, кобурами,

противогазами и свертками свежесклеенных карт, хранивших еще запах клея и вечерней канцелярии.

Внизу подо мной, в первом этаже клуба, на стене висели толпы воинственных людей, изображавших штурм аула Ахульго, где на первом плане старорежимный стрелок стремился сокрушить штыком древнего горца с кривым кинжалом в зубах, а в шкафу, рядом с картиной, тускло дымилась тяжелая пирамида кавалерийских наград и призов, а чуть дальше в глубине комнаты, за столиками, красносармейцы и командиры пили чай с конфетами и уничтожали скромный ужин.

Я прорвался сквозь дремотную полосу и посмотрел ясными глазами на людей, лишаящих меня сна. Прямо передо мной так близко начиналось зеленое поле бильярда, что всякий раз один из игроков, заходя на мою сторону, целясь кием, оглядывался на меня, чтобы, попав одним концом своего оружия по шару, не угодить вторым мне в живот.

Молодой парень, с несколько раскосыми глазами, постоянно подмигивая и похлопывая себя по боку, явно преобладал над противником. Играли они с упоением, поминутно отходили к окну, натирали мелом кий, садились на корточки рядом с бильярдом, рассматривая шары, соображая, какой лучше толкнуть.

— Подожди-ка, вот мы его сейчас, — говорил раскосый. — Ты у меня сейчас заплашешь. Я тебя сейчас дуплетиком. Сейчас запоешь.

По всей видимости, он был в игре не новичок, чего нельзя было сказать о его товарище. Тот всеми силами стремился догнать в искусстве метания шаров своего друга, но ему это удавалось плохо. Игра затягивалась. Говорил он мало, скорее бормотал при каждом ударе: «Ах черт, не везет» — и тогда старший игрок объяснял ему причину неудачи.

Третий красноармеец мрачно и насмешливо рассматривал игру. Изредка он ронял:

— Ну, кончайте, пора, пошли... В самом деле...

Тогда раскосый шутливо пырлял его кием.

— Как это кончать, мы только начали.

— Начали? — От дверей приближался серый,

как его штаны, ветеран с клоками седой пакли по щекам: — Начали? Время срок, граждане.

— Какой тебе срок, дед? Я сам записал время, посчитай.

— Что, ты и будешь всю ночь играть? Запру вот скоро бильярд.

— Ну и буду, а тебе что?

— Тебе что! А вот то. Кончайте, другим играть надо.

— И другие играют,— равнодушно сказал раскосый.— Только начали, а он — на тебе... Память отшибло за старостью. Кончайте... Вот мы сейчас,— он любовно наклонился к шару,— дуплетиком, запоешь ты у меня...

Второй бильярд был занят тяжеловесными игроками, игравшими молча. В бильярдную вошли два командира. Они подошли ко второму бильярду и остановились. Один снял всю свою тяжелую сбрую и осторожно положил на мой диван. Потом начал снимать шинель.

— Да погоди-ка,— сказал другой,— у меня времени не так много.

— Ну, на одну.

— Ну, разве на одну. Товарищи, скоро кончите? Раскосый усмехнулся.

— Что вы, товарищ командир, только начали.

— Врет он,— сказал старый дед, выползая из угла.— Он пользуется, что часы у меня остановились. Он, как волк, играет без времени.

— Волки, дед, не играют, пушку не заливай. Как это мы без времени, посмотри на шары, еще вторую партию не дошли до центра.

— Действительно,— сказали пришедшие,— до центра еще вспотеешь.

— Подождите, товарищ командир. Мы сами ждали, пока освободится он. Вот у них (он махнул на соседний бильярд), может там легче?

— Там только начинают новую.

— Не везет вам,— сказал раскосый; он ударил шар с треском влетел и закачался в сетке.

Насмешливый и мрачный красноармеец подошел, вынул его, покачал на ладони, сказал:

— А кончали бы в самом деле. Я хочу еще Варшаву посмотреть.

— Варшава в порядке,— отвечал раскосый.— Я ее вечером смотрел. Не мешай с Варшавой, не путай.

— Да...— командир застегнул шинель, натянул на себя снова ворох ремней.

— Не дождешься тут, кум,— сказал он.— Пойдем, через десять минут поднимемся.

— Через десять не кончим, через двадцать наверное.

— А я вот шаров не дам,— зашипел старик.— Я тебя знаю, ты бы всю ночь рад играть, а другие тоже хотят.

— Да отстань ты, злыдень, мы свое время знаем.

Что отвечал ему старик, я уже не помню. Я по-настоящему спал некоторое время, может быть несколько минут всего, невзирая на шум голосов и свирепое стуканье друг о друга костяных лбов. Я проснулся оттого, что игрок толкнул меня кием.

— Виноват,— сказал он,— вы бы в длину легли, товарищ, а то в ширину — вам мешаешь и себе неловко.

Он был в полном разгоне азарта. Тут сон оставил меня. От этого неутомимого игрока с расстегнутым воротом шла такая волна энергии, что я помолодел. Я заново ощутил приход командиров, мечтавших сыграть на бильярде; старика, урчавшего столетним языком; красноармейца, вспомнившего лошадь и готового бежать ночью в конюшню, чтобы посмотреть ее еще раз перед ответственным завтрашним днем. Мне захотелось самому встать за бильярд, взять у тяжелого на подъем человека кий и сыграть с раскосым такую азартную партию, в которой ярость имеет особый смысл, а стук шаров, несомненно, перерастает в нечто большее.

Я смотрел на лица игравших, читая на них здоровую, спокойную молодость, уверенную и свободную, совсем не ту, о которой вдруг напомнила мне эта комната. Я сел на край дивана. На черном ночном окне я мог читать другие тени, летевшие, как страницы, свиваемые костром. Я вспоминал моих погодков. Где они? Они лежат под Ковелем и под Ригой, под Молодечно, Двинском и на всех фронтах гражданской войны. Они больше не играют на бильярде. Тот бильярд, на котором мы играли, не походил на этого спокойного, тяжелоногого старика из зала кавалерийского клуба. В то время, в наше время, на нем играли люди, носившие золотой кадр, сбе-

гавший по широчайшему боку бриджей к савельевскому рокоту шпор, играли сухие молодящиеся старики, растегнув френч и краснея широчайшей генеральской полосой на штанах из маститого сукна.

— Учитесь, поручик, — наверное, говорили они с легкой одышкой после удачного удара, — учитесь, поручик, как надо.

А мы, носившие зеленую гимнастерку, и синие штаны, и железные желтые шпоры, играли ли мы на бильярде в то время? Да, играли. Второго такого бильярда я не встречал в жизни. Мы были как щенки, которые грызут гвоздь. Мы не понимали, что к чему. Мы не знали, как ступать в мире, переполненном оружием, грязью, лошадьми и начальством. Чего было больше? Все-таки начальства. Оно было повсюду. Мы при каждом шаге наступали на начальство. И какое это было начальство!

Откуда знали мы, что между погонами генерала и погонами наездника разница та, что стрелка у наездника на золотом погоне узкая, а у генерала широкая? И мы запомнили этого наездника Вержбицкого на долгое время, когда, гуляя по грязи дороги между конюшен со своей вечерней женщиной, постукивая по длиннейшим полам шинели легким стеклом, он заставлял озадаченных новичков становиться ему во фронт и отвечать: «Здравия желаю, ваше превосходительство».

И как он ловко потом, когда уже только идиоты становились ему во фронт, — его игра кончилась, — как он ловко на каждом шагу ловил молодняк и терзал его, как будто он все-таки был генерал.

Его ненавидели за чванство, жестокость, шикарные манеры и великолепную езду, до которой, как до неба, нам было тогда далеко. Он был богом вольтижировки.

Но всякий спросит: все это в разных вариантах разных авторов, плохо ли, хорошо, но известно, так причем здесь бильярд?

Бильярд! Это слово ненавидел в свою очередь Вержбицкий, потому что бильярд лишил его власти над беззащитным молодняком. Моральное поражение всегда сильнее физического.

Там, где кончались кавалерийские службы, последние конюшники выходили на берег длинного мелкого озера, —

там начиналась запрещенная зона штатской жизни, жизни, где наездник Вержбицкий, поспоривший бы с Фербенксом, живи он сейчас, не был богом, ибо там стоял трактир — двухэтажное заведение, где любые люди пили водку в чайниках и играли на бильярде. Туда был строго запрещен вход нам, рядовым молодым гусарам.

И, однако, во второй половине дома, верхней, стоял жуткий, похожий скорее на привидение, чем на вещь, бильярд. Все в нем было причудливое, пережившее бурную долгую жизнь, и только шары, над которыми время бессильно и они могут вызывать на соревнование египетские пирамиды, — эти шары, пожелтевшие, как лимоны, сохраняли и форму и вес, главное — вес. Кии — те ломались изредка, а шары переживали все.

Сюда, в верхнюю грязную комнату, за особую мзду, проникала наша компания. Здесь можно было пить, есть, говорить, катать свободно шары, опасаясь только патруля или непосредственного начальства, самого низшего, разумеется.

Я вспоминаю людей этой комнаты: большеплечего булочника по фамилии Московский, нелепого, пухлого Коршунова — грузчика, Александра — гармониста, карманного гусара Корнилова и других, которые хмурили лица, когда снизу раздавался предупреждающий удар, намекавший на немедленную очистку помещения. Нужно было спастись бегством по водосточной трубе, прыгнуть в огород или лезть на чердак и, затаив дыхание, отсиживаться там в сене часами, потому что в комнату приходили господа отделенные и взводные играть на полдюжины холодного.

И самым главным бичом, подстерегавшим не раз всех и всех уводивших в эскадрон, после чего образовывались длинные ряды мудрецов, стоящих с обнаженными шашками перед конюшней на солнцепеке и размышляющих о жизни, был наездник Вержбицкий.

Ему так нравилось тихо, не скрипя ступеньками, подмигнув хозяину, всходить по лестнице и останавливаться в дверях, командуя самому себе: «Смирно!», что он повторял много раз это удовольствие, не замечая тихого огонька в глазах людей, у которых гимнастерки были посыпаны мелом, а руки слегка дрожали, касаясь уз-

кого желтого кадра, нашитого по ребру гусарских рейтуз. Он думал, что он может отлично полировать свою кровь таким развлечением, которое повышает его рвение перед начальством и способствует воспитанию дисциплины. Божественным шагом он конвоировал свое стадо в эскадрон и удалялся, сдав его дежурному, помахивая легчайшим стеклом.

Скоро верхняя комната превратилась в мрачную лотерею, где нельзя было поручиться: выиграл ли ты свободный час, когда можно не думать о том, что появится легкая и жестокая фигура палача, язвящего захваченных по всем правилам наезднической удали, или ты должен сразу бежать по трубе или по лестнице на чердак и лучше там выпить свое пиво прямо из бутылки, чем услышать тихое и грозное: «Смирно!», от которого пиво, как от толчка, вылетает из стакана на пол. Но идти было некуда. И в эту комнату шли все. Идти, повторяю, было некуда.

И однажды вечером, когда рыжая керосиновая лампа освещала неестественно напряженные лица игроков и курильщиков и Московский показывал замечательный удар, невысказанный по показу на такой разбитой арене, полной морщин и трещин, как лоб старика, изъеденный временем, раздалось адское, тихое: «Смирно!»

За стеклянной дверью стояло то, что называлось Вержбицким. То ли он чересчур не вовремя сказал это «Смирно!», под руку разъяренному Московскому, то ли слишком рано, не войдя в комнату, то ли чаша терпенья переполнилась, но случилось нечто. Несмотря на открытое окно, комната была полна дыма. В этом дыму, не входя в комнату, трудно было определить точно лица игравших, но об этом никто не думал.

Московский схватил шар, избежавший стать предметом его игры и перешедший в другой род оружия, и метнул его, как гранату, в дверь. Кто-то ударил кием по лампе. Лампа погасла, и гром шаров, ударявших в стену и стекло, был началом печального конца наездника Вержбицкого. Мы никогда не предполагали, даже когда он в манеже на вольтижировке садился через круп в седло, какие длинные ноги у наездника Вержбицкого.

Он бежал по лестнице, преследуемый жуткой тьмой, которую прорезали желтые костяные шары, пускаемые без особой предосторожности. Сверхдлинные ноги спасли Вержбицкого от многих шаров. Мы, конечно, отступили не по лестнице. Мы мчались в эскадрон кратчайшими путями, мы ждали всего, вплоть до суда, вплоть до Сибири, как говорили нам шепотом товарищи: ведь казался же нам Вержбицкий недавно генералом, ведь шла же вокруг мировая война, — а военное время не шутит.

Вержбицкий не показывался в казарму. Повидимому, некоторые шары достигли своей цели. И только через неделю мы узнали, что он уехал в отпуск. Больше мы его не видели.

Я посетил те края недавно. Как пушкинский князь, я мог бы засвидетельствовать: «Вот мельница, она уж развалилась». Где Вержбицкий? Может быть, он сейчас в польской армии, вспоминая бильярд, выколачивает из польских солдат страсть к шарам? Он был знаменитым кавалеристом и мог далеко пойти.

Я проснулся. Свет еще горел. Товарищ из «Крестьянской правды» ворочался во сне. В окно светила луна. Старик в пепельной куртке обгрызанным веником подметал пол.

Шары лежали неподвижно, они были белые и крепкие, как луна.

Старик остановился против меня и увидел, что я не сплю.

— Не занимаетесь этим? — спросил он, поставя веник и указывая на бильярд, который он стал обмахивать тряпкой.

— Нет, — сказал я. — В молодости — в молодости играл.

— А то утречком, по холодку, я бы не отказался. Нет вашего желания? Ну, покойной ночи тогда.

И он ушел в конец комнаты и погасил свет.

Потом хлопнула дверь, и в комнату вошла луна, похожая на улыбающийся бильярдный шар.

ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ОХОТА

(Из книги «Кочевники»)

Белая цапля никак не хотела согласиться, что это ее последний вечер на земле. И она оказалась права. Напрасно мы подбирались к ней, прячась за выступы сухих арыков и распластываясь в высокой траве, — она переносилась, как бы танцуя, с места на место, необыкновенно быстро оглядываясь и определяя расстояние до подозрительных шорохов.

Наконец, нам надоело это бессмысленное преследование, мы поднялись на ноги и пошли по высокому краю водоема. Внизу, у воды, подымались камыши, тугайные заросли; шуршали змеи; изредка, совсем не тогда, когда нужно, вылетали гуси, куропатки, утки.

Мы вышли на чистое место и увидели афганского генерала. Водоем загибался вправо и далеко врезался в афганскую территорию, и по его краю, против нас, шел афганский генерал. Он охотился. Он шел, болтая длинными руками. Он не держал в руках ничего, кроме платка, им он изредка обмахивался. За ним шли два холуя. Один нес ружье, необычайно почтительно вздрагивая. Другой шел впустую. Может быть, он заменял собаку и доставал дичь вплавь из водоема, куда она падала пораженная. Собаки у генерала не было.

Изредка вся группа останавливалась. Генерал замечал птицу. Группа замирала. Оказывалось, что генерал

ошибся и принял причудливую тень за гуся. Тогда они трогались дальше в свой трудный охотничий путь.

Наконец, настоящий гусь появился перед взорами высокого охотника. Он остановился и протянул руку назад, не оглядываясь. Холуй вложил ему в руку ружье, а второй ловко поймал сброшенный одним движением плеч плащ. Генерал выстрелил не целясь. Гусь нагло пролетел над ним. Генерал протянул назад ружье. Холуй принял его, перезарядил, другой накинул плащ на генеральские плечи, и группа двинулась дальше. Потом они спугнули утку, потом стайку чирков. Вдруг наша белая цапля направилась к водоему. У нас забилося сердце. До сих пор генерал стрелял, придерживаясь своего ритуала с плащом и ружьем, — и все мимо. Вся группа двигалась в неестественном молчании. Повидимому, генералу дьявольски нравился этот церемониал охоты. Может быть, в Европе, в свите Амануллы, в английских парках, он научился бить ручных голубей, но в Азии — мы свидетели — у него ничего не выходило.

Наша цапля летела прямо на генерала. Если вскинуть ружье — этот вечер в ее жизни был бы последним. Но генерал смотрел, как зачарованный, подняв голову; его холуй тоже. Они решали: стоит стрелять или не стоит. Решили: не стоит. Слишком близко, легко промахнуться. И когда цапля пролетела над их головами, язвительно махая им крылом, мы тоже помахали рукой издали вельможному охотнику и ушли.

БАБ Я БЫЛ АКТЕРОМ

В детстве жил я на даче на Черной речке. Там было множество детей, и мы играли в самые разные игры: в войну, в индейцев, в сыщиков, в цыган.

Когда же начиналась драка всерьез, матери бросались разнимать нас и выводить главных драчунов за уши из боя.

Но вот все игры нам наскучили, и мы не знали, что делать. Главным заводилой у нас был мальчик Паша. Он был старше нас. Он все знал и все умел. Его мы называли профессор кислых шей и баварского кваса.

Паша, собрав детей, предложил сделать спектакль.

— А пьеса какая? — спросили дети.

— А пьесу мы напишем сами, — ответил Паша; и это всем понравилось.

Мы стали писать пьесу целой толпой. Но сначала возникли большие споры. Девочки требовали, чтобы пьеса была про путешествие, потому что они хотели плясать танцы диких. Им очень хотелось плясать, и они настаивали, чтобы в пьесе были пляски.

Но мальчишки остановились на войне. Тогда шла война с японцами и все мальчишки мечтали о сражениях и о героях.

Паша сказал, как самый главный:

— Мы будем играть пьесу «Оборона Севастополя».

— Что это такое «Оборона Севастополя»? — спросили все у Паши.

Паша рассказал очень складно содержание пьесы — о том, как разные народы напали на Россию и осадили Севастополь. Он рассказал про адмирала Корнилова и адмирала Нахимова и про то, что в этой пьесе будет много стрельбы, будет много убитых и раненых.

Он не сказал, откуда он взял эту пьесу. Он видел такую феерию на сцене Народного дома, и она ему хорошо запомнилась. Нам, мальчишкам, это все очень понравилось, но девчонки стали кричать:

— Вам интересно — вы будете умирать, а мы что будем делать?

Паша остановил их крики и сказал:

— Вы будете сестры милосердия и будете за нами ухаживать. У вас будут белые передники и красный крест на груди и на рукаве.

Девчонки согласились, что это пойдет к ним, но только спросили:

— А после войны мы будем плясать?

Паша пообещал, что после войны все мы будем плясать и жечь бенгальский огонь.

Работа закипела. Девчонки изо всех сил шили себе передники с красными крестами. А мальчишки делали из тряпок эполеты и приготавливали деревянные ружья и пистолеты, закупали массу пистонов в мелочной лавочке.

Все радовались спектаклю, даже матери, потому что на это время драки прекратились. Было не до них. Все дети стали послушными, так как самым большим шалунам объявили, что их не пустят на сцену, если они будут безобразничать.

Вышло только не совсем гладко, когда стали договариваться, кто будет кого изображать. Все хотели играть героев, а героев в пьесе было не так много.

Я, как самый азартный мальчишка, пробился в герои. Я только не знал, кого играть интересней: Корнилова или Нахимова. Но Пашка по-приятельски посоветовал играть Корнилова.

Он сказал:

— Понимаешь, Нахимов главный герой, но он должен падать просто так, потому что его пуля убивает; а ты играй Корнилова — тебя ядро в живот ударит. Это красивей.

— А как ты сделаешь ядро? — с некоторой опаской сказал я. — Не будет очень больно?

— Ядро я сделаю сам, — сказал он. — Не бойся, до смерти не убью.

И он уговорил меня играть Корнилова. Я был в черном пиджаке, который сидел на мне как пальто. На плечах у меня были большие генеральские эполеты с мишурой, на поясе болтался большой кортик, сделанный из дерева. Вместо ножен у него был пенал, завернутый в черную материю. На голове была гимназическая фуражка, которую мне одолжил знакомый гимназист. Только с фуражки мы сняли серебряные перышки и сделали круглую кокарду.

Под носом я нарисовал углем длинные и черные усы, но Пашка сказал:

— Сократи усы — ты не Тарас Бульба, а генерал.

Играли на большой террасе, которую нам разрешили занять под спектакль.

Зрителей было сколько угодно. И при виде большой толпы все играющие пришли в такое возбуждение, что крик и шум на сцене были страшные. Стреляли больше, чем надо, и кричали до хрипоты.

Я кричал больше всех, но мне все было мало. Сцена изображала бастион. Стулья были накрыты половиками, а самоварные трубы изображали пушки, но никто этого не замечал. Дым от выстрелов поднимался к потолку. Терраса была закрытая.

Я вышел на бастион. Я сказал:

— Товарищи, отступать нам некуда, — и показал на сад, в котором сидели зрители.

Там захохотали при этих моих словах.

Я обозлился, поправил кортик, сказал в сад негромко: «Дураки!» — и хотел повторить фразу, но Пашка поторопился, и вдруг меня ударил в живот большой футбольный мяч, оклеенный черной бумагой. Я упал, сам того не ожидая.

Меня подхватили и потащили. Девчонки окружили меня, прикладывая платки к глазам, делая вид, что плачут, но так, чтобы было видно, что у них на груди красные кресты.

Я хотел протестовать, что меня рано убили, но Паша

шепнул: «Молчи!» Меня выволокли и бросили на полу в балконной комнате, а все вернулись на сцену.

Я слышал, как среди грохота и шума Паша кричал: «Адмирал Корнилов убит».

Я был очень азартный мальчик, и я не мог спокойно сидеть на полу, когда там играли. Тем более что я видел в зеркало, какие на мне пышные генеральские эполеты. И вообще я был хорош, но только один ус размазался по щеке, пока меня тащили. Нет, я не мог сидеть в бездействии. Я взял крокетный молоток, валявшийся в углу, и, опираясь на него, вышел на сцену, как раненый инвалид.

Зрители в саду снова захохотали. Я взглянул и заметил, что хохотали больше других те, кого мы не приняли играть в спектакле.

На сцене все остановились в недоумении, потому что мое появление их смутило. Но я сказал:

— Вышла ошибка. Адмирал Корнилов не убит, а только ранен.

Я хотел дальше командовать, хотя понимал, что я все перепутаю. Но я, повторяю, был в азарте, и меня уже ничто не могло остановить.

Однако Паша был хитрее меня. Он только секунду стоял в растерянности, а затем он снова схватил свой проклятый футбольный мяч, оклеенный черной бумагой, и пустил в меня с такой силой, что я, не ожидая этого подвоха, снова свалился.

И он первый бросился ко мне, крича:

— Теперь его убили совсем!

И меня поволокли уж гораздо небрежнее, чем первый раз, и девчонки уже не плакали, а исподтишка давились хохотом.

Снова выброшенный в балконную комнату, я был вне себя, и все мои мысли спутались. Нос мне шекотал кислый дым от выстрелов, и я слышал, как одна мамаша крикнула:

— Стреляйте, дети, поменьше, вы задохнетесь!

Я знал, что финал будет очень интересный, и решил, что мне терять нечего, и я снова появлюсь на сцене — в третий раз.

Но Паша как будто чувствовал мое намерение. Он бежал ко мне и сказал:

— Не смей больше выходить на сцену.

— Почему? — сказал я. — Вы играете, а я на полу сижу. Могу я в третий раз помереть?

— Не можешь, — сказал Паша. — Идиот! Герой три раза не умирает, герой умирает только раз. Ты уже два раза помер, если ты выйдешь на сцену третий раз, ты будешь не герой, а дурак. А у нас не цирк, а феерия. Понимаешь, балда?

Я сидел ошеломленный. А ведь Паша был прав! Как можно умирать три раза? Герой умирает только раз — это верно...

Это было очень печально, но тут ничего не поделаешь. Тогда я решительно снял с себя чужой пиджак с мочальными эполетами, снял кортик и фуражку и пошел через черный ход в сад и сел среди зрителей.

И когда всем хлопали после конца спектакля, все кричали:

— А где Корнилов?

Мне стало почему-то стыдно, но меня заставили встать и раскланиваться.

А потом жгли бенгальский огонь, все плясали, и девочки прыгали больше всех и ни за что не хотели снимать передников с красными крестами на груди.

1941. Март

ВОЛШЕБНАЯ БУМАЖКА

Это было на даче. Я сидел на складном стуле перед рыбачьим домиком, в котором жил. Недалеко от меня играла соседская девочка. Я только знал, что ее зовут Лёсик, а больше ничего о ней не знал.

Она была вся в веснушках и очень серьезная. Она всегда играла одна. Ее мать подошла ко мне и сказала:

— Я пойду на почту в соседнюю деревню. Мне некого попросить посмотреть за Лёсиком, пока я хожу. Могу я вас попросить посмотреть за девочкой?

Я сказал:

— С удовольствием. Я люблю маленьких девочек. Я даже умею им рассказывать сказки.

— Вот и хорошо,— сказала мать Лёсика и позвала ее. Девочка подошла и сказала:

— Здравствуйте!

— Лёсик,— сказала ей мать,— пока я хожу, ты будешь играть здесь и никуда не уйдешь, а тебе расскажут сказки...

— Кто мне расскажет сказки? — спросила живо Лёсик.— Я никого не вижу.

— Я тебе расскажу сказки,— сказал я.

Девочка взглянула на меня внимательно и ничего не сказала.

Мать Лёсика ушла, и мы долго видели, как она шла по полю, а потом поднялась на холм, и ее больше не стало видно.

В это время в воздухе загудел мотор, и над нами низко пролетел к морю самолет.

Когда самолет исчез, Лёсик спросила:

— А ты умеешь летать?

— Нет, я не умею летать,— ответил я.

— А почему ты не умеешь? — снова спросила девочка.— Ты — трус?

— Я не трус, а просто не умею,— сказал я, засмеявшись.— А ты умеешь?

— Ну да, умею,— ответила она и стала играть с котенком.

Тогда я сказал:

— Не говори глупостей. Сядь вот сюда на ступеньку, я тебе расскажу сказку.

Она взяла котенка на колени и уселась на ступеньку балкона.

— Я слушаю,— сказала она. — Киска тоже слушает.

Я начал:

— Жил-был один Иванушка-дурачок...

Она меня перебила:

— Я не хочу про дурачков, и киска не хочет.

— Ну ладно,— сказал я,— я расскажу другую сказку, слушай: Жил-был один умный, умный Иван...

Но она меня опять перебила:

— Я не хочу и про умных...

— Вот какая ты капризная,— сказал я.

— Я не капризная,— ответила Лёсик,— мне не нравятся эти сказки.

— Тогда слушай уж такую сказку, что тебе будет страшно. Жил-был ужасный, громадный Змей Горыныч, и он ел маленьких девочек, особенно у которых мама пошла на почту и оставила их одних...

Лёсик посмотрела на меня удивленно и сказала:

— Я знаю эту сказку, она очень скучная, и в ней все совсем не так. Ты не умеешь рассказывать сказки. Это всё не всамделишные сказки. Хочешь, лучше я тебе сама расскажу?..

— Ох, пожалуйста, расскажи,— сказал я,— а то я не знаю, чем тебя занять.

Лёсик погладила за ушами у котенка, немного подумала и быстро начала говорить:

— Вот слушай, только не перебивай. Если будешь перебивать, я собьюсь сама, и ничего не получится..

— Я не буду перебивать,— сказал я,— пожалуйста, рассказывай.

— Нам дали с мамой такую бумажку, и мама показала ее дяде. Дядя посадил нас в автомобиль и привез на зеленый-зеленый большой луг. Только он не совсем был зеленый. Он был желтый. Ну, он был желтый с зеленым. А над ним были, вот как сейчас, белые-белые облака. И пришел дядя, мама дала ему бумажку, и он сказал мне: «Что ты смотришь наверх? Тебе облака нравятся?» Я сказала: «Очень!»

И мы сели на кресло; и вдруг, я гляжу, облака уже рядом, только мне нельзя до них дотронуться. А они, как белые овцы, кругом ходят, а небо уже голубое-голубое, как весной. А потом вдруг, смотрю,— они уже маленькие овцы и по земле ходят, много овец, и их уже пастух гонит, мне мама и пастуха показала. А потом они пропали все, а мы попали прямо в зиму. Снег лежит, горы кругом большие, как на елке, все в снегу. Я немножко испугалась, но мама говорит: «Ничего, не пугайся. Тебе не холодно?» Я сказала: «Нет, не холодно»,— а мне было страшно и холодно. Вдруг я увидела море. Море было одно. Ничего, кроме моря, больше не было. Я засмеялась и обрадовалась. Я сказала маме: «Мы сейчас как рыбы. Только море и больше ничего. И мы с тобой».

А море перевернулось вверх ногами, и больше я не видела моря. Я увидела маленькие горки и на них леса, золотые, красные, желтые, зеленые, как на даче осенью. Так много лесов — и ни одного зайца. Я спросила: «Мама, а где здесь зайцы?» Мама сказала: «Они в гости ушли». Но это неправда, они не могли все в гости уйти. «Они не хотят с тобой разговаривать,— сказала мама,— ты глупости спрашиваешь». — «Ну, а если они не хотят разговаривать,— сказала я,— мне их тоже не нужно, и мне скучно, я в город хочу».

Мама засмеялась: «Вот тебе будет сейчас и город». И правда, как это мама все знает. Сразу и город. Домов много, и речка большая, и зеленый — нет, желтый с зеле-

ным луг, и мы пошли по лугу. Было жарко, как летом. Я хотела пить, и мне дали желтого мороженого. Я даже съесть все не могла и хотела спрятать на память. А мороженое у меня в стаканчике растаяло, и ничего не осталось. Мороженое нельзя прятать на память. Оно не любит прятаться.

Я так устала, так устала и заснула. И проснулась — смотрю, уже дома. И все, как было раньше. И мама со мной. И папа со службы пришел. И так смешно, все чай пьют... Хорошую сказку я знаю? Нравится тебе?

— Нравится, — сказал я, — а тебе?

— И мне очень нравится!

— Только я не все понял. Я не понял, что это за бумажка, которую мама дяде показывала?

— Я тебе ее сейчас покажу, — сказала Лёсик, но, подумав, сказала: — Нет, я тебе не могу показать. Я не знаю, где она у мамы лежит. Ее мама спрятала... Ты подожди, скоро мама с почты придет.

Скоро пришла мама, и девочка побежала к ней, крича:

— Мама, мама, где та бумажка?

Мама ей что-то сказала, и Лёсик побежала к себе в дом, а мама подошла ко мне:

— Не очень вам мешала Лёсик?

— Она мне совсем не мешала, она мне сказку рассказывала...

— Она же не любит сказок. Какую же сказку она рассказывала?

— Про волшебную бумажку...

— А! — сказала мама Лёсика. — Сейчас она вам принесет эту бумажку.

— Она так интересно выдумывает, — сказал я. — Из нее писатель будет, наверное, когда она вырастет.

— Она ничего не выдумывает, — сказала мать Лёсика.

— Как ничего, а про море, облака, горы, города?..

— Это не выдумка, — сказала, смеясь, мать Лёсика. — Мы прошлый год летели с ней из Тбилиси в Москву на скоростном самолете. За семь часов долетели, — правда, очень быстро? Через море и горы летели, и ей очень понравилось. Она с тех пор об этом только и рассказывает.

Тут подошла Лёсик, запыхавшись, и протянула мне бумажку. На бумажке был нарисован синий самолет и было написано: «Пассажирский билет от аэропорта Тбилиси до аэропорта Москва. Управление Гражданского Воздушного Флота».

Вот какая была эта девочка, а я знал только, что ее зовут Лёсик, а больше ничего не знал. С тех пор я очень уважал Лёсика и больше не рассказывал ей сказок, которых она не любит.

1941. Март

МОСТ

(Из войны с белофиннами)

Лейтенант Анатолий Гурьянов медленно ехал на гнедом своем коне Наскоке. А за ним ехали его пушки. Впереди его разведчики, нагнувшись над гривой, внимательно рассматривали дорогу. Вдруг лошадь одного разведчика дернулась, и он, выпрямившись в седле, поднял вверх руку и закричал:

— Стой!

Гурьянов слез с коня и быстро пошел к разведчику. Разведчик показал ему на маленькие бугорки на дороге. Снежные, незаметные, будто снегу намело просто так, — но видел лейтенант, что это не просто так, а это белофинские мины. Как быть?

Оглянувшись он — стоит его батарея, а ей двигаться нужно. Надо мины уничтожить, а саперов поблизости нет.

Все на него смотрят, все ждут, что он скажет.

Он, ни слова не говоря, пошел к минам. Раскопал снег вокруг одного бугорка и видит: лежит на соломе зеленая кастрюля, вся в черных пятнах, как жаба. Никаких проволок от нее не тянется, лежит она, как будто усмеяется: вот попробуй, возьми меня... я тебе покажу!

«А вот не покажешь!» — сказал про себя Гурьянов, взял ее осторожно в руки и, не трясая, закрыв глаза, сделал два шага. Открыл глаза: лежит зеленая жаба, не гремит. Донес он ее до сугроба и тихо-тихо положил на снег...

Лежит! Пошел он обратно, раскопал следующую, опять понес, ноги чуть дрожат, а руки крепкие, держат, как в клещах, жуткую кастрюлю. И эту положил на снег в стороне. Поставил он часового, чтобы никого к минам не подпускать, и принялся таскать мины.

После десятой он уже был мокрый от пота, а все таскал и таскал. Прошел вдоль пушек — и еще страшной стало. Между колес, между лошадиных ног видит он бугорки. Вся батарея стоит на минном поле.

— Не двигаться никому с места! — скомандовал он. — Я один хожу, не шевелиться!

Наклонится под лошадь и раскапывает снег. Взглянет на всадника — побледнел боец, гладит лошадь. Как лейтенант из-под него мину вынет, вздохнет человек и улыбнется даже от волнения.

Гурьянов не знал устройства мин и разряжать их не умел. Он только вытаскивал их из-под копыт, из-под колес, из-под пушек. И скоро их было уже восемнадцать штук. Все поверили, что он старый опытный сапер, раз он так смело с ними обращается.

Дорога стала свободной. Пошла батарея дальше, но уж такой выдался трудный день — поперек дороги ров, да какой! Целый танк можно в этом рву спрятать — не пройти тут пушкам ни за что... Нужно искать обход. В лесу сбоку нашли обходную дорогу, и только стали по ней убыстрять ход, опять кричат разведчики:

— Мины! Стой!

Ужасно рассердился Гурьянов. «Что они тут целые огороды этих мин развели? Думают меня остановить? Врешь!»

— Держи коня, — сказал он вестовому и опять пошел искать зеленые кастрюли.

Опять батарея остановилась, все уже сами смотрят под колеса, под лошадей, но мины только впереди на дороге.

Вынул новую мину Гурьянов и смотрит на нее. Так долго смотрел, что подошли к нему другие командиры и говорят:

— Да брось ты с ней церемониться, давай мы в нее стрелять начнем...

А он посмотрел на них, злой, замученный, и сказал:

— А ну, гляди, как я ее сейчас ручной сделаю...

Видят все, что лежит мина на желтой соломе, круглая, зеленая, страшная. У нее медная гайка и болтик посередине. Гурьянов берет за болтик и начинает его вертеть. Тут все командиры ушли от него и стали поодаль, кричат:

— Брось ее к собакам, она же взорвется!

А он кричит:

— Я догадался, в чем дело. Подумаешь, премудрость! Смотрите.— Встает во весь рост и дает мне такой удар ногой, будто это футбольный мяч. Мина летит по дороге, зарывается в снег и молчит.

Никакого взрыва, потому что он вывинтил у нее капсулю. Капсюлю же он бросил вниз с откоса на камни.

Раздался легкий взрыв.

— Вот где ее душа-то черная была,— сказал Гурьянов и, уже как настоящий сапер, стал вывинчивать из мин капсулю и бросать их под обрыв. Теперь он уверенно швырял зеленые кастрюли назад. Их подбирали и сваливали в кучу. И всем стало веселей.

По сторонам дороги росли деревья. Впереди виднелся мост. Около него, сбоку, небольшой дом. В окнах розовые занавески. Все было мирно, но уже Гурьянов ничему больше не верил: ни деревьям, ни домику, ни мосту, ни дороге.

И только взглянул он под копыто коню, увидел, что под передними ногами Наскока тянется тонкая проволока. Как подымет конь ногу — зацепит за проволоку.

«Это еще что такое?» — подумал он, слез, не толкнув коня, и обе ноги его своими руками перенес за проволоку, отвел коня подальше и вернулся к проволоке. Пошел вдоль нее, а она ведет к дереву. Подошел на цыпочках, смотрит: проволока к заряженной ручной гранате привязана. Если дернуть за проволоку, взорвется граната,— дерево подпилено и упадет на дорогу.

Пошел он к другому дереву, куда вела проволока, а там мина лежит под снегом, и тоже дерево подпилено.

— Вот хитрые, как мухи,— сказал Гурьянов.— Но я тоже не таковский!

Взял у разведчика ножницы и перерезал проволоку, и никакого взрыва не произошло. Уничтожили мину и ручную гранату и пошли к мосту.

Вернулись с моста разведчики, говорят:

— Мост в порядке, можно дальше двигаться.

Он отдал приказ к мосту идти всей батарее. Тут раздались выстрелы, и пули пропели у самого уха.

Оглянулся Гурьянов: откуда это еще? Стреляли из тихого домика. Чего только не напридумали эти белофинны! Прямо интересно с ними воевать: что ни шаг, то что-нибудь новенькое, как в цирке, честное слово!

Ударили по дому из пулеметов зажигательными пулями. Загорелся дом, пошел огонь по всем окнам вырываться: дым валит, стрельбы больше нет. Путь свободен. Подъехал он к мосту и остановился. Стал мимо себя пропускать пушки.

Идут мимо него бойцы, тархтят колеса, лошади боевые, здоровые, трясут гривами, тащат пушки. Уже иные бойцы за мост перешли,— все как будто благополучно, а у него на душе стало еще тревожней.

Откуда такая тревога?

Посмотрел по сторонам и плюнул: ну и мрачное место. Дом горит вовсю, черный дым клубами, лес строгий, черно-зеленый, сугробы в лесу такие, что утонешь, тишина какая-то зловещая, пустая дорога, небо серое, грязное, ветер ледяной откуда-то налетает, — просто как на кладбище...

Сидит он в седле и думает: «Чего же ты еще недосмотрел, друг мой, чего это так на душе противно?» Стал перебирать вражеские уловки: мины на дороге ставили— раз, деревья хотели на голову повалить — два, ров был— три, домик стрелять начал, чтобы к мосту путь преградить,— четыре... А мост! Неужели его без всякой хитрости так вот взяли да отдали?... В самом деле, мост-то?

Только посмотрел он на мост, на том берегу неожиданно обвалились деревья и загородили дорогу. Бойцы отбежали, смотрят, что дальше будет. На мосту скопились люди, лошади, пушки, получилась толкучка, и тогда, не зная почему, но твердо веря, что делает правильно, спрыгнул Гурьянов со своего коня и бегом с берега крутого прямо вниз на лед, под мост.

Сбежал он на лед, бросился к мосту и стал как вкопанный. Он стоит и над собой на мосту слышит — стучат лошади копытами, люди кричат, а перед ним, привязанные к мостовым устоям, стоят ящики со взрывчатыми

веществами и мины — его знакомые поганые кастрюли — грудой навалены. К крайней идет шнур, и бежит шнуром огонек. Осталось уже совсем немного, — все это грохнет, и мост вместе с его батареей взлетит на воздух.

И шнур горит с такой быстротой, что ничем не остановить.

— Эх, была не была! — сказал он, выхватил нож и начал перерезать шнур.

Одним глазом косится на шнур — шнур горит, бежит огонек все ближе; перерезал он шнур — как раз почти огонек добежал, ткнулся в руку, погас, — все, ничего не случилось.

Он пришел в себя окончательно. Стоит, и в руке пеплом осыпается шнур, а на мосту двигаются, ничего не подозревая. Гурьянов вышел наверх, и к нему подводят коня. Наскок ногой снег бьет, просится пробежаться. Завал на том берегу разбирают. Все в порядке.

К нему подходят двое военных и говорят:

— Товарищ лейтенант, мы — саперы, присланы в ваше распоряжение.

Взглянул на них Гурьянов, усмехнулся и сказал:

— Прекрасно, товарищи, тут места тихие — о минах почти и не слышали. Идите сейчас под мост, там для вас найдется кое-какая работа, а потом пойдете с разведчиками, — мало ли что там впереди... Эти белофинские лисицы очень хитры, да ведь и мы не из каши сделаны.

Засмеялись саперы, отошли, сказали:

— Вот веселый командир, с таким не пропадешь.

Шла батарея через мост, смотрит Гурьянов вокруг и удивляется. Как это ему показалось, что тут мрачно? Да тут просто чудесно. Лес стоит радостный, праздничный, весь в снегу, сугробы такие, что только в снежки играть, мост знакомый какой-то, как на даче под Ленинградом, домик горит ярким огнем, точно греться приглашает, а в небе голубые просветы, такие хорошие, что лучше не надо, и снежок пошел — маленький, ласковый, теплый.

Морозный воздух опьяняющий, жизнь просто прекрасна. Ему так понравились и лес, и мост, и холмы впереди, что он, улыбаясь, сел на своего гнедого коня, и Наскок пошел бодрой, крупной рысью.

«ТРОПА СМЕРТИ»

(Из войны с белофиннами)

Лежала эта тропа в густом сосновом бору и выводила прямо на поляну, где за двумя высокими валунами, покрытыми старым мхом, было белофинское подземное укрепление — дот.

По тропе по этой нельзя было шагу шагнуть. Так по ней белофинны пристрелялись, что пули летели струями. Не только во весь рост, а и ползком ползи осторожно. Пули так и свистят — кору царапают и о камни звенят.

Подтащили ночью бойцы пушку и стали разбивать этот дот. Били по нему чуть не в упор и уgomонили его немного, но так как перед ним были и мины и надолбы, то пришлось заняться кропотливой работой, потихоньку его окружать и подступы к нему очищать. Уже почти перед самым дотом лежали передовые стрелки, а по тропе все равно ходить было невозможно.

Ползли все, прижавшись к снегу, и снег сыпался за шиворот и набивался в рукава.

Ползи и оглядывайся, где лучше прикрытие, и меняй поскорее место, а то как раз угодишь под пулю.

Ну что ж, ползти так ползти, раз надо! И бойцы ползли — и все приказания так доставляли, и патроны подносили, и товарищей раненых перетаскивали к перевозочному пункту. Прошло несколько дней.

Раз пришел полковник на этот участок, осмотрел все внимательно, по лесу походил, деревья осматривая,

добрался до огневого рубежа, произвел сам разведку и сказал:

— Все в порядке, скоро этому доту будет конец.
И ушел.

А тропу эту прозвали бойцы «тропой смерти», так как по ней очень трудно было сообщаться. И много на ней сначала было раненых. И были даже убитые. Пушки стреляли теперь по доту каждый день, и наблюдатели доносили, что много снарядов уже попало в укрепление и в броне есть пробоины и вмятины.

Идет раз снова полковник на этот участок, и с ним один командир, уже не раз на этой тропе обстрелянный. Оба они в белых халатах, и как дошли до начала тропы, лег командир на снег и пополз, а пули нет-нет да и свистнут.

Оглянулся он на полковника и замер, так что дыхание в горле захватило: видит он, что полковник рядом с ним быстро шагает во весь рост. И когда полковник увидел, что командир смотрит на него с ужасом, он говорит ползущему:

— Вставайте, пожалуйста, а то вас убить могут, когда вы ползете.

Командир, недоумевая, отвечает, лежа на снегу:

— Это я прошу вас сейчас же лечь, так как вас медленно могут пулей ударить.

— Нет, нет,— сказал полковник,— уверяю вас, идти во весь рост безопаснее...

— Как это может быть?— говорит командир.— Ведь это же «тропа смерти».

— Я не знаю, как она называется,— говорит полковник,— знаю, что этой тропы боялись, и очень правильно делали, что боялись, а теперь по ней безопасней во весь рост идти. Посмотрите.

И он быстро пошел, делая шаги то в одну, то в другую сторону. И действительно, пули его не брали никак.

Командир все же пополз, не доверяя своим глазам и словам полковника. Пули часто ложились рядом, и он был сердит и на то, что белофинны так по нему стреляют, и на то, что не понимает, как это полковник идет открыто и ему ничего как будто не угрожает.

Когда они миновали тропу и вошли в лес направо, где были наши передовые посты, командир, отряхиваясь от снега, спросил полковника:

— Я ничего не понимаю, как это вы прошли невредимым «тропу смерти», а я чуть ранен не был, хотя и полз?

— Это потому, что вы не наблюдательны,— сказал полковник.— Запомните и скажите всем бойцам вот что: эта тропа была хорошо пристреляна из бойниц дота, и по ней ходить было небезопасно и даже смертельно. Она тогда правильно называлась «тропой смерти». Но после того как пушки разбили сильно верхний этаж дота, он ослеп и видит теперь только нижними бойницами, почти на уровне земли. Вот почему каждый, кто ползет, тот хорошо наблюдаем, а тот, кто идет во весь рост, тот почти незаметен. И стрелять они могут только по ползущему,— посмотрите, как пули летят вдоль тропы в последнее время. Они срывают кору только на высоте головы ползущего человека. А ноги быстро идущего человека едва просматриваются из этих щелей. Враг ослеп и видит только то, что делается внизу, и если бы вы прослеживали полет его пуль, то по стволам сосен легко бы обнаружили то, что так вас сегодня удивило. А все удары пуль очень низкие — по коре видно. Этот дот мы сегодня ночью возьмем.

— Я пойду в первой группе,— сказал командир,— я отомщу им за то, что они так долго заставили меня ползать зря по этой бывшей «тропе смерти».

Полковник улыбнулся и сказал:

— Осторожность никогда не мешает, но наблюдательность нужна еще больше осторожности, а в вашей храбрости я никогда не сомневался.

И белофинский дот перестал существовать в ту же ночь. Его стены подорвали саперы, и внутрь ворвался командир и взял всех в плен, кто остался жив после взрыва.

Так кончилась история с «тропой смерти», и все удивлялись зоркому глазу полковника и гордились своим замечательным командиром.



ЛЕНИНГРАДСКИЕ
РАССКАЗЫ

1942-1943

*

ПОЕДИНОК

Немецкий летчик отчетливо видел свою добычу: посреди похожего на зеленый пирог леса проходила узкая желтая полоса. Там по насыпи полз длинный состав с военным грузом, и пикировать на лес было просто незачем. Надо только подождать, когда поезд приблизится к выходу на открытое пространство между двумя лесами, и тут разбомбить его спокойно и безошибочно.

Самолет развернулся, потом, проблистав на солнце, сделал еще круг и, набрав высоту, нырнул в пике. Два фонтана грязи и земли встали по обе стороны насыпи там, где полагалось быть поезду. Но когда летчик посмотрел на лес, то он увидел, что поезд, дойдя до открытого пространства, стремительно бросился назад в лес. Бомбы легли зря.

Летчик сделал еще круг, решив, что теперь он уже не промахнется. Поезд мчался по открытому пространству. Откуда он мог знать, что теперь ему приготовлена встреча в лесу и тяжелые сосны повалятся на вагоны, сброшенные со своих мест гремящим ударом? Сосны упали впустую: Поезд проскочил это место. Бомбы снова были потрачены понапрасну.

Летчик выругался. Неужели этот неповоротливый длинный извозчий состав сможет пройти безнака-занно? Он спикировал прямо на лес, на середину состава. Возможно, он плохо рассчитал, возможно тут произошла

какая-то случайность, но бомбы попали не в поезд, а в лес. Неуловимый состав продолжал свой путь, упрямо идя вперед.

— Спокойствие! — сказал немецкий летчик. — Теперь мы поговорим всерьез.

Он стал рассчитывать, строго и внимательно озирая пространство. Его даже увлекала эта непростая охота.

Он ринулся опять из облаков к самой земле, туда, где прозрачная полоска дыма дрожала в раскаленном воздухе. Казалось, он врежется в паровоз. Но кто-то будто вынул из-под него поезд в последнюю минуту. Грохот взрыва жил еще в ушах, но было ясное ощущение: впустую. Он посмотрел вниз: так и есть. Поезд шел, не пострадав ничуть.

Летчик понял, что чья-то не менее упорная воля не уступает ему, что у машиниста железный глаз, расчет удивительный и точный, что не так-то легко его поймать.

Поединок длился. Бомбы ложились впереди, сзади, по бокам поезда, но это чудовище, как называл его про себя немец, шло к станции, как будто его охраняли невидимые духи.

Поезд делал какие-то дикие прыжки, все сцепления визжали неистово, на спуске он мчался, как лошадь с закушенным мундштуком, и не лез вперед именно тогда, когда его ждали очередные бомбы. Он шел назад, останавливался, плелся шагом, летел, как стрела, — чего только не выкидывал этот скучный длинный состав, покорный своему водителю! Бомбы рвались, как хлопучки.

Летчик был в поту. Он плевал вниз и снова и снова бросался в атаку. Последний раз он угадал правильно. Поезду не спастись. Машинист впервые дал ошибку. Проклятие сорвалось с обветренных губ фашиста: бомбы все... бомбить нечем!

Тогда он прошелся вдоль поезда, осыпая его пулеметными очередями, но тут явился снова лес, — какой-то дьявол подкинул его некстати, — и поезд снова невредимо катил в зеленом мраке, и казалось, его ничто не берет. Фашист обезумел. Он целил в паровоз, в этого скрытого там, за тонкой стенкой, врага, в этого страшного русского рабочего, что смеется над всем его мужеством асса и ведет свой поезд по простору полей и лесов как сумасшедший...

Пули проносились над поездом, некоторые попадали куда-то под колеса, звякали в рельсы, но поезд шел...

Летчик откинулся в изнеможении. Небо сияло. Была хрустальная ровная осень, чем-то похожая на вестфальскую далекую осень. Патроны кончены. Поединок кончен. Русский там, внизу, победил. Ударить в него всей машиной? Безумие остановить безумием? Дрожь прошла по спине фашиста.

Он снизился и с любопытством и ненавистью прошел над поездом. Он не мог видеть, что за ним следит пристальный глаз машиниста. Машинист сказал только: «Что, гад, взял?»

И паровоз с презрением пересек черную тень, раздавив ее, тень вражеского самолета, распростертую на пути.

ЛЮДИ НА ПЛОТУ

Пароход тонул. Его корма высоко поднялась над водой, и над ней стояла стена черной угольной пыли. Бомба ударила как раз в середину корабля и выбросила со дна угольных ям эту пыль, которая медленно оседала на головы плавающих, на обломки, на ухотившую в морскую бездну корму.

Среди прыгнувших в холодную осеннюю воду Финского залива мирных пассажиров был один фотограф. Тяжелый футляр с лейкой и разным фотографическим имуществом, висевший на ремне через плечо, тянул его книзу. Тусклая зеленая вода шумела в ушах, с неба рокотали моторы немецкого бомбардировщика, разбойничье атаковавшего этот маленький тихий пароход, на котором не было ни одного орудия, ни одной винтовки. Были женщины и дети, старики и больные, но военных на нем не было.

Фотограф решил, что с жизнью все кончено и что мучить себя лишними движениями, свойственными утопающему, не стоит. Он попытался представить себе, что это скучный и кошмарный сон, но, увы, вода попадала ему в рот, в глаза, тело странно онемело, не чувствовало холода.

Он скрестил руки на груди, закрыл глаза и постарался представить себе жену и детей в последний раз.

Смутно в сознании возникли они и пропали, как будто их размывали волны. Он нырнул с головой и пошел на дно. Но он не дошел до дна. Вода выбросила его вверх. Полузадушенный, полураздавленный волной, он оказался снова наверху и, раскрыв глаза, увидел море, усеянное человеческими головами, низкое солнце, свинцовые тучи и услышал треск пулеметов.

Это немецкий пират, проносясь над тонущими, расстреливал их.

Ему стало так противно и непереносимо, что он решил уйти снова под воду. Он опять скрестил руки, и опять тяжелый футляр, которым он дорожил, как дорожат самым дорогим оружием, потянул его в зеленую глубину. Какая-то слабость начала проникать в тело. Ноги стали вялыми, и в голове все спуталось.

И снова волна выбросила его наверх, но он уже не раскрывал глаз, боясь увидеть новое страшное зрелище. Покачиваясь с закрытыми глазами среди пенистых гребней, он был словно повален и сдавлен двумя волнами, которые как бы боролись за него, волоча его из стороны в сторону. Так они играли им некоторое время, и — странное дело! — в его голове чуть прояснело.

«Это, несомненно, последние вспышки мысли, — подумал он, — это то, что называется умирать в полном сознании».

Тут его подняло стремительно вверх, и он, до сих пор не ощущавший никакой боли, почувствовал резкий удар в плечо и, открыв глаза, увидел, что его подняло рядом с плотом. Взглянув на это шаткое и жалкое сооружение, сделанное в смертельную минуту поспешно и нерасчетливо, он, окинув глазом его пассажиров, никак не осмелился попытаться вскарабкаться на него, а только схватился руками за край досок и, высунувшись из воды, вдохнул полную грудь свежего воздуха.

Освеженный, он откинул со лба мокрые волосы и стал смотреть на плот другими глазами. На плоту сидели трое мужчин и одна молодая женщина. Мужчины были мокры до нитки, молчаливы и мрачны. Они крепко вцепились в доски и не смотрели на женщину. Женщина же

непрерывно кричала ужасным голосом: то громко и пронзительно, то истошно и жалобно звучал он над пустыней моря.

Ее исцарапанные щеки и растрепанные волосы, широко открытые глаза — все говорило о последней степени отчаяния, которое уже не рассуждает. Изорванная в клочья одежда мужчин, их нахмуренные лица, крепко сжатые губы — все это было так близко от фотографа, что он невольно переводил взгляд от этой молчаливой неподвижности к судорожным движениям женщины, кричавшей так, что даже его слух полуоглохшего подводного жителя был оглушен этим криком.

Приподнявшись над досками, выплевывая горькую воду изо рта, фотограф обратился к неподвижным мужчинам:

— Что вы, не можете успокоить эту женщину?

На него посмотрели равнодушно и мрачно. Плот очень качало, и фотограф должен был напрячь всю силу, чтобы его не сбilo под доски. Прокатившийся над его головой вал окончательно вернул ему спокойствие. Потом так приятно было держаться за твердые доски...

Он спросил, как ему показалось, громовым голосом, чтобы перебить крик женщины, рвавшей на себе одежду, смотревшей куда-то вдаль, откуда надвигался вечер:

— Кто здесь коммунист?

Стоявший вблизи человек посмотрел на него в упор сверху вниз и сказал: «Я...» — и протянул руку, чтобы помочь фотографу взобраться на плот.

— Так что же вы, товарищ? — сказал медленно фотограф. — Женщина так кричит, надо же ее успокоить, — вы, товарищ...

Тут огромная волна подбросила плот, и люди на плоту исчезли куда-то во мглу, а фотограф ушел в глубину, на которой он еще не бывал, — так тяжело ему показалось это новое нырянье.

Когда его выбросило наверх, никакого плота он поблизости не нашел, на негоплыли лишь три чудные доски, которые он и облюбывал для себя. Но оседлать их было не так легко. Они выскальзывали из рук, становились на ребро, и тут он понял, что, если не расстанется со своим

футляром, постоянным его спутником, доски уйдут без него в свои скитанья, а с ними — и последний шанс на спасенье, так как вечер уже приближался.

Он со стоном расстегнул пряжку на ремне, и ремень соскочил с его плеча. Футляр один пошел на дно. Через мгновение фотограф лежал на досках, прижимая к щеке их мокрые края, и вода смешивалась с его слезами. Он плакал о гибели своей походной лейки настоящими слезами...

В учреждение, где служил фотограф, пришел высокий мрачный человек со шрамом на лбу и спросил, кто здесь старший, чтобы рассказать ему о смерти фотографа. О том, что они — трое мужчин и одна женщина — спасались после потопления их парохода немецким самолетом на плоту, и к нему подплыл фотограф, и, когда начал говорить, вода смыла и унесла его в море, далеко от плота. Он встречал этого фотографа там, откуда шел пароход. Это был достойный человек и хороший работник... И в эту последнюю страшную минуту он вел себя отлично.

Тут перебили говорившего:

— Вы можете это сами сказать фотографу, так как он в соседней комнате.

— Как в соседней комнате? — закричал рассказывавший. — Он спасен?

— Спасся!

Тут позвали и фотографа. Фотограф узнал того человека, что на плоту ответил ему: «Я».

Он спросил, улыбаясь:

— Ну, а как женщина? Успокоили?

Человек со шрамом смутился, но все же ответил:

— Успокоили. Взяли себя в руки и успокоили. Ваш оклик вернул нас всех к жизни. Вы так неожиданно возникли из моря и так неожиданно исчезли, что мы потом, когда спаслись, все время думали о вас и говорили. И я пришел сюда специально рассказать о вашем поведении...

— Ну, какое там поведение, — сказал фотограф. — Вот лейка пошла ко дну. Какая лейка, если бы вы знали!.. Эх!

МАТЬ

— Пойдем навестим его! — сказала мать, и Оля знала, кого она называет так.

Он — это сын, Олин брат — Боря, доброволец. Он сказал, что идет в армию вместе со всеми товарищами его курса. Мать стояла перед ним, маленькая, прямая, озабоченная.

— Ты близорук и слаб здоровьем, — сказала она. — Ты не боишься?

— Ничего, мама, — ответил Боря.

— Ты никогда не воевал, тебе будет очень трудно...

— Ничего, мама, — сказал Боря, собирая свой мешок.

...Мать с Олей ходили не раз в ту деревню, где он учился военному делу. Он приходил с занятий возбужденный, усталый, запыхавшийся, загорелый, садился, и они разговаривали о городе, о знакомых, о друзьях. О войне они ничего не говорили, потому что вокруг и так все было полно войной.

Для Оли прогулки к брату за город казались обыкновенными, летними, дачными прогулками по знакомым пригородным местам. Они возвращались, собрав в поле цветы, к электрическому поезду и приезжали в вечерний город, полный суеты и военной озабоченности.

Только в последнее время все перепуталось. Фронт проходил уже где-то близко, и Олю беспокоило, как они отыщут брата сегодня, когда все стало непохожим на те воскресенья, тихие и дачные, в которые они приезжали навещать Бору.

Они шли по полям, уже по-осеннему пустым, дачи стояли заколоченные, навстречу им двигались возы, машины, у дороги суетились беженцы с детьми, с узлами, с мешками за спиной, из канавы убитая лошадь подымала деревянные ноги к небу, проходили бойцы, звеня котелками, где-то поблизости оглушительно стреляли.

Они уже далеко ушли от шумного шоссе.

Они шли знакомой тропинкой, но вокруг все было не так и не то: поломанные изгороди, отсутствие людей, какая-то настороженность, тревога, ожидание чего-то грозного. В поле под кустами лежали красноармейцы у пуле-

метов, замаскировавшись возками, и когда они вошли в первую деревню, она была пуста, совсем-совсем пуста. Даже воробьи не кувыркались в пыли, ни одной курицы, ни одной собаки. Дым не шел из труб, сиротливо стояли перед домами пустые покосившиеся лавки: деревня такой была только в белые ночи, перед зарей, когда все спит. Но сейчас никто не спал — это была пустыня.

Оля храбро шла в тишине этой пустыни за матерью, шагавшей тихими, но уверенными шагами все дальше.

Вторая деревня горела. Когда они поднялись на пригорок, они невольно остановились. Рыжие гривы огня металась над крышами, и никто не тушил их. Несколько изб было превращено в кучу щепок, и это было удивительное зрелище.

Оля потянула мать за рукав, но та сказала спокойно: «Нам нужно пройти к той роще», — и они пошли по улице между горящих домов.

Когда они прошли деревню и спустились в небольшую ложину, раздался какой-то все увеличивающийся визг, он приближался так настойчиво и неотвратимо, что ушам было больно его слушать.

Мать остановилась и нагнула голову, Оля сделала то же самое. Она понимала, что они обе делают не то, что надо броситься на дорогу и лечь лицом к земле, — но ведь им надо идти отыскать Борю, а если они будут падать перед каждым снарядом, то они никогда не дойдут, никогда не увидят его.

Снаряд разорвался за холмом. Фонтан земли медленно спадал в воздухе. Только он осел, другой снаряд ударил.

Дальше они бежали, спотыкаясь, по кустам, так как на дороге непрерывно взметались черные клубы, пересекаемые красными молниями. Оля дрожала всем телом, у нее пересохли губы, но мать шла неумолимо, и Оля следовала за ней с нелепой мыслью: в нас не попадут, не должны попасть. Не должны...

Деревни, в которой жил и учился военному делу Боря, просто не было. Вместо нее торчали черные столбы, и кое-где обугленные доски образовали причудливые скопления. Даже деревья сгорели или были вырваны с корнем и валялись среди огромных ям, наполненных мутной зеленоватой водой.

— Мама,— сказала Оля,— куда же идти теперь? Мать стояла молча. Оле стало жаль ее, такую маленькую, усталую, упрямую.

— Мама,— сказала она снова,— пойдём домой. Ну куда же ещё нам идти?

— Пойдём немного вперед,— сказала мать,— там спросим...

И они снова шли. Всюду теперь они видели лежащих в траве, в канавах красноармейцев, смотревших влево. И вдруг им навстречу вышли из маленькой бани три бойца.

Мать направилась к ним и радостно сказала одному из них, высокому, худому, веснушчатому:

— Если не ошибаюсь, вы — Павлик?

Боец удивленно расширил глаза, мгновенно осматривая внимательно маленькую женщину, стоявшую перед ним, и сказал:

— А вы мать Бори, да?

— Да,— сказала она,— я хочу его видеть. Где мне его найти?

— Найти? — несколько растерянно сказал Павлик.— Идите, как шли, прямо вот на тот холм, но лучше вам и не ходить... Вам его трудно будет найти, а потом...— он вдруг улыбнулся.— А ведь кругом идет бой, мы почти в окружении, как же вы тут гуляете?..

— Мы не гуляем,— ответила мать,— мне нужно пройти к Боре... Мне нужно.

Она сказала это таким жарким и глубоким голосом, что Павлик — он был из одного института и из одного батальона с Борей — сказал только:

— Ну, идите...

...Мать сидела в высокой траве, прижавшись спиной к бревенчатой стене бани. Оля сидела рядом, затаив дыхание. Красноармеец показывал вниз, на болотистую, длинную поляну, поросшую кустами, кое-где блестели ручейковые светлые извивы. Поляна уводила к лесу, и там, за лесом, на холме, виднелась деревня. Над всей этой местностью стоял, можно сказать, ослепительный грохот. Батарея наша была откуда-то из-за спины по деревне, а немецкие пушки держали под обстрелом поляну и подступы к той возвышенности, где сидели мать и Оля.

— Они только что ушли в атаку,— говорил красноармеец.— Как хотите, ждите или нет. Они пошли вон туда... В атаку...

— Вы знаете Борю? — спросила мать.

— А как же, знаю. Он тоже там...

— А как он стреляет?

— Он стреляет подходяще...

— И не трусит?

Красноармеец, бывший студент, обидчиво повел плечом:

— Если б трусил, мы бы его в свою компанию не взяли...

Они замолчали оба. Молча смотрели, как горит там деревня на холме, из леса был слышен гул голосов, кричавших «ура» или что-то другое — длинное, слов нельзя было разобрать. Лес, освещенный заревом пожара, казался кровавым.

Мать встала и подошла к краю холма. Она точно хотела увидеть своего сына, найти его в чаще леса, раздираемого боем, увидеть его, бегущего с винтовкой туда, в горящую деревню.

Она стояла долго.

Потом она сказала Оле:

— Пойдем,— и, не оглядываясь, пошла по тропинке к дороге.

— Не будете дожидаться? — закричал красноармеец.

— Нет,— сказала она,— спасибо вам за разговор. Идем, Оля.

Они уже вышли на дорогу.

— Оля,— сказала мать,— ты устала, милая...

— Нет, мама, я боюсь, как мы доберемся. Я чего-то стала трусихой...

Мать усмехнулась своими тонкими губами.

— Ничего с нами не будет, Оля,— сказала она снова, помолчав,— теперь я спокойна. Душа моя спокойна. Я боялась, что он не сможет пойти в бой, что он слаб, что он плохо видит,— я решила проверить. Я проверила. Мой сын сражается, как все. Больше мне ничего не надо. Пойдем домой.

И она пошла быстрыми маленькими шагами, маленькая, прямая, легкая...

КАРЛИКИ ИДУТ

Маленький Витя мало понимал в делах взрослых, но даже ему в это утро стало ясно, что происходит что-то очень неприятное и тревожное. Через деревню гнали поспешно овец и коров, проезжали телеги, на которых везли много разных домашних вещей, кричали дети, плакали женщины, а где-то совсем близко стреляли пушки.

Его мать с потерянным лицом завязывала какие-то узлы и то и дело говорила ему: «Сиди смирно, не мешай, не до тебя». Потом она смотрела в окно, выбегала на крыльцо, вглядывалась вдаль и растерянно говорила сама себе: «Что ж не едет дядя Костя? Да что же это он не едет! Как же мы останемся, этого не может быть...»

Витя тихонько вышел на крыльцо с прутиком в руке и с любопытством смотрел на деревенскую улицу, по которой никогда в такое время не ходило столько народу, никогда не было такого шума и гама. Но все перекрывали пушки. Они то гудели где-то за холмами, то пронзительно рвали воздух как будто совсем рядом.

Одно слово больше других говорили люди, и это слово было — немцы. Витя не мог понять, откуда они взялись и кто они такие. Спрашивать в этой сутолоке было бессмысленно. Взрослым хватало дела и без того, чтобы объяснять ему, что происходит. Но волнение матери передавалось ему, и он не мог сидеть спокойно в комнате, неприбранной, с раскиданными вещами, с грязной посудой на столе, оставшейся от завтрака; он видел, как хозяйская кошка лакает на окошке молоко из горшка и мать видит эту кошку и не гонит, как будто так и надо.

Он стоял на крыльце, размахивая прутиком, в глубоком раздумье. Борька подошел к нему неслышно и тронул за руку. Витя взглянул на Борьку, ожидая, что и Борька сегодня необыкновенный, но Борька был такой же, только хохол на его голове еще более распетушился, а в глазах блестел тот огонек, который всегда появлялся у него, когда он выдумывал что-нибудь такое, ни на что не похожее. Он это часто выдумывал. Для него отправиться без спросу в лес, на болото или уйти на станцию было любимым удовольствием.

И сейчас, взяв Витю за руку, он сказал ему:

— Идем-ка, я тебе покажу одну штуку... Скорее!

Витя пошел за ним, как зачарованный. Борька скользнул в пыли босыми ногами, схватил за руку Витю, повел его по знакомой улице на край деревни. Там на холме стояла старая церковка с высокой колокольней, недоступной для детей, так как старый сторож колхоза всегда держал ее запертой, и ребята только, закидывая головы, смотрели на ее крышу, где гнездились пестрые голуби и ходили там по карнизу, так что даже из рогатки их трудно было достать.

Но сегодня был какой-то шальной день, и дверь на колокольню была открыта, и никакого сторожа нигде не было. Борька шмыгнул первым, и за ним, споткнувшись о выбитую ступеньку, шагнул и Витя. Они долго, крадучись, поднимались все выше и выше. Борька оборачивался на Витю, строил страшные рожи и подымал предостерегающе руку вверх. Витя с беспокойным любопытством оглядывал серые стены, исчерченные разными надписями и рисунками, но разглядывать их не было времени. Они выбрались, наконец, на самый верх, и солнечный свет ударил им в лицо. Голубой сияющий простор неба раскинулся над холмами. Видны были даже дальние леса, и луга, и речка — все, как на картинке. Витя просунул голову между перил, и ему захватило дух от непривычной высоты.

Минуту он ничего не понимал. Новые ощущения пространства родились в нем.

Борька показал ему пальцем в сторону к оврагу. Оттуда подымались время от времени облачка дыма, раздавался тяжелый удар, сверкал огонь.

— Что это? — спросил он с испугом.

— Чудак, — сказал с достоинством Борька, — это пушки, а там, смотри, это пулеметы наши.

Борька был старше, коновод, он все знал. Вдруг над самой колокольней раздался какой-то невнятный громкий шелк, и что-то рассыпалось в воздухе, ударило по ближайшим крышам, по деревьям, полетели листья, зазвенели стекла, раздались крики где-то внизу, среди изб.

Витя не успел присесть от страха на пол, как Борька больно рванул его за руку и закричал:

— Смотри, карлики идут, карлики идут...

Витя подполз и, не отрываясь, смотрел туда, куда указывал его приятель. Уменьшенные расстоянием, от куста к кусту по лужайке у самой речки шли, согнувшись, какие-то маленькие люди в черном. Они показались и Вите злыми, страшными карликами, которые шли на деревню, чтобы убить и Борьку, и Витю, и маму, и всех, кто был в деревне. Они то останавливались и делали какие-то движения, то падали, снова вставали и прятались в кустах, возникали из ям; их было много, этих карликов, взявшихся неведомо откуда, как в страшной сказке.

Все это было так не похоже на правду, что Витя смотрел, забыв всякий страх. Когда черный столб вырастал между ними и карлики падали, Борька схватывал Витю за руку и вскрикивал от волнения. Теперь снаряды с железным скрежетом и посвистом пронеслись над колокольней. Зарокотал пулемет откуда-то слева, и карлики упали на землю, чтобы укрыться от него.

Потом они стали по одному ползти дальше. И тут Витя вспомнил, что мама ищет его по деревне, вероятно кричит и плачет, и что Борька опять «наделал делов», как говорили про него, — надо скорее, скорее бежать отсюда. Правда, эти черные фигурки приковывали его взоры и невозможно было оторваться от них, от их движения, от их нелепых прыжков и падений, но надо было бежать, потому что снаряд ударил где-то совсем близко и колокольня задрожала, как лошадь на карусели. Витя побежал вниз, Борька бежал за ним, держась за стены.

Витя потерял Борьку, когда они оказались на улице среди возов и людей. Но Вите было не до Борьки. Гул и грохот стрельбы тут, внизу, был гораздо страшнее, и люди кричали еще больше. Витя примчался домой в самый раз. С опухшими от слез глазами мать едва взглянула на него и закричала:

— Где же ты был, дядя Костя уже приехал. Бери скорее эту кошелку. Скорее, надо уезжать. Немцы идут...

— Мама, — сказал он, — я их видел. Мама, не бойся, это карлики...

Но мать его не слушала. Она бежала уже на крыльцо, нагруженная узлами, и за спиной ее висел мешок. На улице стоял грузовик.

Дядя Костя усаживал женщин и детей в грузовик и, весь в пыли — даже усы его были в белой пыли, — говорил:

— Не торопитесь, все усядутся, все. Не оставим вас, не бойтесь...

Шофер заводил машину. И когда Витина мама тоже уселась на свои узлы, а Витя стоял, держась за борт, он увидел, как на деревенской улице появились среди облака пыли большие грузовики и с них стали соскакивать красноармейцы один за другим. В руках они держали винтовки и, соскочив, строились в ряды тут же, на улице.

Витя смотрел с замиранием сердца на их высокие плечистые фигуры, на загорелые молодые лица, на сильные руки, державшие на весу пулемет. Они показались ему необыкновенного роста. Самый маленький из них был много выше тех карликов, что бежали там, по лугам, к деревне. Он сказал матери:

— Вот сейчас попадет карликам...

Мать хотела что-то ему ответить, но шофер, уже севший за руль, тронул машину с места, и она, тяжело вздрогнув, пошла быстрым ходом, обходя грузовики с красноармейцами.

Больше за пылью Витя ничего не мог разобрать, он упал от толчка на мамины узлы, и она его прижала к себе. Так он и остался, но он не мог забыть того, что видел с колокольни и что пережил, когда бежал с Борькой. Его маленькое сердце дрожало. Потом он от усталости заснул, потом было много шума, пошел дождь, кричали люди, стали расти дома, дорога стала гладкой, машина пошла ровнее, он просыпался и засыпал. Мать совала ему, сонному, хлеб с маслом. Он спросонья жевал. Но одно осталось у него на всю жизнь: в голубом просторе лугов — черные фигурки злых, страшных карликов и плечистые, красивые, высокие красноармейцы, которые соскакивали с грузовиков, чтобы идти против этих неведомо откуда взявшихся пришельцев.

Единственное, чего не умела Анна Сысоева, комиссар медсанбата,— это говорить длинные речи. И сейчас, встав на пень так, чтобы ее отовсюду было видно, и обводя глазами всю пеструю толпу девушек-дружинниц на каменистой поляне, между валунов и камней, под высокими корабельными соснами, она просто сказала:

— Вот что, девушки! На рассвете мы должны эвакуировать всех раненых, всех до единого, и все имущество вниз к пароходу. Дорог тут нет. Придется прямо по тропочкам, по скалам. Ну, бомбить, возможно, будут. Ну, обстреливать, возможно, будут. Нам не впервые, девушки. Только вот: что касается личного имущества, то его уж побросать придется. Знаю, жалко! У нас всякое есть с собой, на войну не рассчитывали, когда копили, а бросать придется. Вот это имейте в виду. Тряпки все прочь. Первое дело — раненые и медсанбат. Так как, девушки?..

За всех ответила Маруся Волкова.

— Товарищ комиссар, все исполним,— сказала она,— все будет в порядке, только вот...— тут она запнулась.— Что ж, раз надо... тряпок, что ли, не видели! Да ну их... Будем живы, будут и тряпки.

— Правильно!— закричали со всех сторон.

Но по неуверенным голосам поняла Сысоева, что трудно им расстаться с тряпками и только дисциплина, которую она строго поддерживала в медсанбате, поможет им пережить тяжелую для девиц утрату.

— Вот и хорошо,— сказала Сысоева, не подав виду, что она заметила их неуверенность.— Идите ужинайте, потом будем паковать. Отдохните, и с рассветом начнем.

Поляна опустела. Сысоева засветло еще проверила тропинки, маршрут утренней эвакуации, работала с санитарями над устройством площадок внизу, у самой воды, чтобы легче было передавать по сходням на пароход раненых, потом сидела с врачами над списками, утверждая порядок, потом собрала собственный мешок и чемоданчик с документами — походную канцелярию, как она называла, и вдруг увидела, что уже темно и ночь.

Вокруг было тихо. Она вышла из палатки и стала задумчиво подыматься в гору. Снова вспомнился муж, который дерется там, в арьергарде. Муж вчера прислал только короткую записку, в которой сообщал, что здоров, а его посланец, в манере своего начальника, ответил кратко, что там у них жарко, — и все. Она и сама знала от раненых, поступавших весь день, что идут жестокие бои за береговую полосу, что надо во что бы то ни стало эвакуировать раненых завтра утром. Снаряды уже вчера днем рвались в лесу, рядом с медсанбатом, а к утру берег будет весь под обстрелом.

Тут мысли ее перешли к эвакуированной дочери, девочке, жившей в Ленинграде у тетки, и девушкам-дружинницам. Как они опечалились, узнав, что надо бросать платья, туфли и плащи, пальто, шляпки — все то нехитрое богатство их юности, которое они скопили, работая до войны в новых городах перешейка.

Вместо танцев и веселых прогулок такой пышной осенью им пришлось вытаскивать под огнем раненых, пачкаться в крови, в грязи, вязнуть в болотах, мокнуть под проливными дождями, не спать ночей, выносить всякие лишения. Они хорошие, бодрые девушки, храбрые, когда нужно. Та же Маруся Волкова стреляет не хуже снайпера. Как-то они разделались со своими вещичками? Поди потихоньку роняют слезы. Надо посоветовать им не бросать беспорядочно все вещи, а как-нибудь спрятать их, что ли, в песчаной яме, для порядка.

До нее донесся заглушенный лесом звук двух голосов, и искры от костра взлетели над кустами. Поднявшись на валун и выглянув из-за толстой ели, прикрытая ее лапчатыми ветвями, она с удивлением увидела зрелище, похожее на оперную сцену. точно она сидела в ложе и перед ней шел сказочный балет.

Дружинницы спускались по скалам к яме, где был разведен большой хрустящий костер. Девушки несли чехолчики, мешки, просто свертки и, встав на камень над костром, сыпали в его играющее пламя самые разные вещи. В костер летели туфли с золочеными пряжками, цветные кушаки, платья, на которых пестрели цветы, бабочки, кораблики, синие, зеленые, красные платки, которые и в огне не теряли своего цвета. Костер пожирал

платочки и ожерелья, бусы и кофточки с отворотами, на которых сверкали металлические слоники и кошки. Костер точно простирал жадно большие красные руки и хватал все, что снова и снова сыпалось с камня. Дым застилал лес и уносился к озеру вниз по узкой щели в камнях.

Все меньше и меньше уже было видно вещей, которые точно плавали в огненной яме, обуглившись материи распадались на полоски, и эти разноцветные полоски крутились причудливыми жгутами в синем, постепенно спадавшем пламени, точно костер уже насытился и лениво зевал, пережевывал остатки.

Присев под елью, Сысоева смотрела, как в азарте, толкая друг друга, девушки мешали пламя огромной хворостиной. Под конец чемоданы и кошелки кучей взгромозились друг на друга, образовав мавзолей над прахом стольких веселых и легких девичьих вещей. Костер догорал. Чтобы он скорее догорел, девушки размешивали уголья, и когда они посинели, на костер полетели пригоршни песка. Они ретиво засыпали костер. Песок ложился, шипя, на уголья, и его слой становился все толще и толще. И когда там, где был костер, осталось только место, слабо освещенное по краям еще тлевшей травой, вошла луна.

Сысоева смотрела, не сводя глаз с этого странного ночного виденья. Маруся Волкова встала посредине песчаного холмика и громко сказала:

— А хорошо я придумала? Что же, фашистам, что ли, отдавать наше добро, чтобы они хвастались? Да ни в жизнь! А теперь давайте, девушки, в хоровод, только тише, тише...

— Как в анекдоте, — ответил ей чей-то голос. — По-стреляем немного, только тихо, тихо...

И девушки, бесшумно соскочив в яму, схватились за руки и пошли плясать над милым пеплом. Они кружились под луной, в тени громадных елей и сосен, сходились и расходились, тени бежали по песчаным стенкам.

— Ну совсем как в опере, — сказала Сысоева и загнула, сама не зная как. Усталость свалила ее, ель прикрыла ее своей мохнатой лапой, и она спала чутко и настороженно, но сладко, и шорох кружившихся внизу девушек слабо долетал до нее.

Она проснулась оттого, что на нее упала ветка, сухая, короткая. Начинался прохладный ветер. Вершины деревьев шумели. Луна была высоко. Прислушалась: всюду тихо. «Может, мне все приснилось?» — подумала Сысоева, потеряла онемевшие ноги, встала, держась за ветви, спустилась к песчаной яме. При свете луны она отчетливо увидела многочисленные следы маленьких ног на песчаном пласте, покрывавшем костер. Песок был теплый и мягок.

Внизу, далеко, сквозь кусты блестело огромное озеро. Где-то высоко кружил самолет.

— Плохо я о них думала, — сказала Сысоева, — думала, что будут плакать, а они молодцы! Я их очень люблю, только никогда им этого не скажу, загордятся. Они думали, всё по секрету сделают, а их секрет у меня на ладони. Да и какие же секреты у них от меня? Комиссар я их или нет?

Она развеселилась от этой мысли и стала быстро спускаться к белевшим палаткам медсанбата.

КУКУШКА

Рубахин работал на столбе уверенно, как всегда. Привычно он ощущал кошки, которые вонзились в столб и держали его на весу, привычно осматривался со своей высоты и видел внизу грузовик, на котором лежали запасное колесо, пустой бидон, веревки и тряпки. Сизов возился с мотором, Пахомов выбирал инструменты из ящика. Вокруг был знакомый пейзаж, много раз уже виденный и перевиженный. Вдали возвышались замаскированные цистерны какого-то склада, высокие желтые заборы с грибом часового на углу, насыпь, делающая поворот, несколько маленьких домиков в тени одиноких пыльных деревьев, асфальтированная дорога, кончавшаяся шлагбаумом с будкой.

В утреннем прохладном ветерке уже ощущалось приближение осени, и если бы не эти порванные обстрелом провода, он, линейный монтер Рубахин, нашел бы все обыкновенным. Работай, посвистывая себе под нос, не первый раз делаешь такое!

По дороге брели одинокие прохожие, пробежали грузовики, где-то там, у дальних холмов, рокотали пулеметы, а если круто повернуть голову, увидишь в синеватой дымке море городских домов, над которым возвышаются трубы. Из труб тянутся длинные полосы пестрого дыма, как на школьной картинке, которую дочка раскрасила цветными карандашами. «Она у меня художница будет», — подумал Рубахин. Во время работы мысли у него были только самые легкие, так как все внимание уходило на другое.

Как началось это, он понял не сразу. Сначала до его ушей дошел какой-то чужой нарастающий звук, от которого голова ушла в плечи; потом дикий грохот раскатился вокруг, и ему показалось, что он летит куда-то вбок. Но вот он пришел в себя, и только огромное сизое облако, ползшее к небу, да тошнота, подступавшая к горлу, сказали ему, что случилось. Потом он услышал крики. Вслушавшись, напрягая слух, он разобрал, что ему кричал Пахомов, приложив ладони ребром к губам: «Рубахин, слезай, слезай сейчас же!» Крик был настойчивый и испуганный.

И, перекрывая крик, снова возникло могучее гудение, как будто давившее все остальные звуки, проникавшее в плечи, в спину, грозившее, как ураган, смести все вокруг, и он увидел, как на дороге взметнулась пыль, точно ее прочесал огромный гребень.

Нет, он не слезет. Не первый раз он попадает в такую перепалку. Рубахин не мог видеть хищника, который пронесся над ним, но он чувствовал всем существом, что он висит в воздухе, беззащитный, как этот столб на дороге, к которому он прикреплен. Он не смотрел уже вниз и по сторонам. Он собрал все внимание и ушел в работу, как будто за ним не охотился тот, наверху, промчавшийся ввысь. Рубахин знал, что «тот» вернется, и сколько раз он будет возвращаться, об этом Рубахин не думал.

Пот выступил на его лбу, мускулы сразу размякли, во рту была пыль с песком, хрустевшим на зубах. Снова грохот взрыва раздался сзади него, подальше. Его ударило землей в плечи, как будто черная волна перекатилась через его голову. Рубахин работал теперь с полузакрытыми глазами. Разноцветный туман плавал над дорогой.

Он впал в странное состояние, при котором он помнил одно и видел только одно: повреждение на линии надо исправить. «Срочно исправить!» — сказано в его наряде. «Срочно исправить!» С этого мгновения все вокруг стало нереальным, как во сне.

Грохот, переходивший в вой, кружил над ним; казалось, что столб сейчас улетит, распавшись на куски: яростное жужжание наполняло все небо; треск, как раскаленная дробь, прыгавшая по металлическим плитам, отдавался в ушах; болело все тело. Но ведь сколько раз было так. Неужели сегодня это в последний раз? А может, Рубахину только кажется, что он жив, а его уже нет, и этот туман и грохот — только продолжение еще живущего сознания... Собрав остатки сил, он закричал хриплым голосом неизвестно кому; да еще кричал ли он — может, его крик просто звучал, как хриплый шепот, который некому было и слышать. Он кричал:

— Не слезу!

Он не помнил своих движений и не мог бы связно рассказать, в какой последовательности двигались его руки; но они, эти чудесные руки, как бы жили отдельно, они делали свое дело, и он доверял им и знал, что они делают свое дело хорошо. Какая-то торжественная тишина наступила в мире, и в ней он услышал тонкий, четкий крик птицы. Он слышал, что это кукует кукушка. Он жадно считал эти удивительные звуки, такие обыкновенные. Ему показалось, что он стоит на лесной поляне и кругом него зеленый, прохладный полумрак, где-то журчит ручей, шумят ветви сосен, и спокойная птица, как бы утешая, говорит с ним.

Он считал, как кукушка выстукивала. Радость пронизывала все его существо. Шесть, семь, восемь, девять, десять.

— Буду жить! Буду жить! — прошевелил он пыльными губами и глубоко вздохнул.

Снова надвинулось страшное жужжание, и голос птицы исчез, но теперь ему было совсем не страшно. Наступали какие-то мгновения тишины, и ему снова слышался кукушкин ободряющий голос: может быть, она уже и не кричала, а ему только казалось, но и этого сознания было достаточно, чтобы снова ощутить свои плечи и руки

и увидеть блестящие кошки, врезавшиеся в мягкую, легкую желтизну столба.

Откуда взялась кукушка, почему кукушка здесь, где нет ни леса, ни тишины, он не думал об этом. Кукушка — это хорошо, это к добру. Жить! — вот что било ему в виски, от чего сжималось сердце под черным обшарпанным комбинезоном. И снова находили волны грохочущего дурмана, и столбики пыли кружились на дороге, и где-то вдали, как на картинке, сидела дочка, раскрашивая карандашами, путая цвета,— небо в красную, а дорогу в зеленую краску. И до нее было так далеко, что если слезть со столба и идти, то идти пришлось бы целый день, а то и больше.

Свежий ветер пахнул ему в лицо. Он не мог бы сказать, сколько времени он работал на столбе, но он сделал, что надо,— линия восстановлена. Можно спускаться на землю.

Кукушка, милая, добрая кукушка, кричала в его ушах, когда он, с трудом передвигая онемевшие ноги, коснулся пятнистого щебня у основания столба. Он стоял на дороге, прикрыв глаза рукой от слепящего света, и оглядывался. Он увидел вырванные с корнями молодые деревца, опрокинувшие на дорогу свои молодые побуревшие вершины. Он увидел догоравший грузовик, так странно повалившийся набок, увидел ничком лежавшего человека, из-под головы которого, как нарисованные на светлом асфальте, виднелись три черные струйки.

Он оглянулся на столб. Столб был избит, как будто его хлестали железным бичом, но ни один рубец не подымался по столбу выше человеческого роста.

— Рубахин! — закричали ему. — Ты жив, Рубахин?

Он пошел на голос, шатаясь. Из кустов вышел бледный, почти в лохмотьях, человек, в котором он признал Андрева. И тут же он увидел «пикап», с которого соскакивали люди, и санитарную машину, носилки, на которых лежал стонавший изредка раненый.

— Это Сизова задело! — кричал ему почти в ухо Андреев.

Он подошел к лежавшему на дороге, наклонился над ним, потер почему-то свою продранную коленку и сказал тихо:

— Сизов! Эх, Сизов!

— А ты, Рубахин, цел, весь? — закричал снова Андреев, подходя к Рубахину.

Рубахин осмотрел себя. Брюки его были порваны, рубашка комбинезона висели клочьями. Нет, он был цел... Он увидел опять голубое небо с почти летними облаками, маленькие домики, до которых рукой подать, шоссе, по которому катились грузовики, и на железной дороге — дымок приближающегося состава.

— Надо ехать дальше, — сказал он строго. — У нас еще есть наряд.

— Я знаю, — ответил Андреев, — вон и «пикап».

Садясь в «пикап», Рубахин видел, как уносили безжизненно мотавшего руками Сизова, как захлопнулись дверцы санитарной машины за носилками, на которых тихо стонал Пахомов. «Пикап» тронулся. В мире наступила тишина, и сердце Рубахина билось, как после долгого бега по холмам.

«Пикап» дошел до поворота дороги, и тут, вскочив с места, в первый раз Рубахин закричал: «Стой! Стой! Остановись!» — так громко, что шофер сразу затормозил. Рубахин соскочил с машины и, переваливаясь, пошел тяжелым шагом к домику с открытым окном, таким приветливым и маленьким. По стенке домика вился плющ, у домика зеленели грядки, и в клумбе подымал головку какой-то чахлый цветочек. В окошке виднелась головка крошечной девочки.

И в тишине садика, в котором не было ни одного дерева, ясно и четко куковала кукушка. Она размеренно и уверенно колдовала Рубахину долгую жизнь. Это был тот таинственный голос, который дал ему силы там, на столбе, в страшные минуты, когда земля содрогалась от разрывов и пули взрывали пыль на дороге.

Бантик в косичке крошечной девочки был такой зелененький, как эта зелень на узких грядках, а за спиной девочки куковала кукушка, наполняя все своим победным кукованьем.

Девочка с удивлением, морща бровки, смотрела, как огромный, тяжелый дядя в рваном комбинезоне легким движением отстранил ее и, просунув голову, оглядывал комнату. Отодвинувшись и не зная, что делать — запла-

кать или закричать, смотрела девочка, как этот дядя, соскочивший с машины, не отрываясь глядит на старые большие часы, под которыми качались гири, а наверху, высунув желтую смешную голову, маленькая птичка кланяется в окошко своего домика и выстукивает своим кукованьем, что сейчас в мире одиннадцать часов.

— Это твоя кукушка? — спросил Рубахин.

Девочка, от растерянности забывшая заплакать, ответила медленно:

— Моя.

— Береги ее, — сказал Рубахин. — Эх ты, маленькая!..

И, поцеловав девочку, он быстро зашагал к «пикапу», где все с недоумением следили за ним. Он влез в «пикап» и сказал:

— Пошел дальше...

— Знакомая, что ли? — спросил Андреев, сморкаясь в большой клетчатый платок и вытирая пыль со лба.

— Знакомая, — ответил Рубахин не сразу, — кукушка!

— Ну, уж ты скажешь! — сказал Андреев. — И совсем девчонка на кукушку не похожа. Правда, из окна, как из гнезда, глядит, но уж кукушка — нет, совсем не похожа.

«Пикап» тронулся.

ДЕВУШКА НА КРЫШЕ

Она была самая обыкновенная девушка, каких много в Ленинграде. Вы встретите сейчас их целые стайки. Одни чинно идут в ногу и поют красноармейские песни, у других на плечах лопаты и кирки — они направляются строить дзот на углу улицы, известной вам с детства, третьи стоят в очереди в кино, где показывают «Богатую невесту». У них загорелые щеки и лукавые глаза, сильные руки и какая-то особая подобранность. Они легко краснеют, но смутить их трудно. За острым словом они в карман не лезут. Видали они такое за время осады, что опыт их равен опытам их мамаш и бабушек, сложенным вместе. Почти все они умеют стрелять или знают санитарное дело. Те, что в военной форме, гордятся ею на зависть

штатским подругам, но мечтают втайне о новых шляпах и платьях, и все не прочь потанцевать в свободный час.

Наташа была такой же, одной из тысяч. Я разговаривал с ней случайно и совсем не как корреспондент. У меня не было никакого желания вытаскивать из кармана записную книжку и карандаш. Но все-таки я спросил ее:

— Что же вы делали этот год?

— Я сидела на крыше, — ответила она серьезно, и в ее честных серых глазах было написано, что она говорит правду.

— Она, как кошка, любит бегать по крыше, — сказала ее подруга смеясь.

— Я не кошка, — ответила она, — кошек в городе больше нет, а у меня на крыше был пост, и я с прошлой осени охраняла свой объект.

— Вы дежурили днем или ночью?

— Когда тревога, тогда и дежурила. А помните, какие прошлой осенью были долгие тревоги? Стоишь, стоишь, прозябнешь вся, а как это начнется, так сразу согреешься...

— Что — это?

— Ну, когда пальба подымет, и «он» тут над головой зудит, зудит, потом как хватит бомбой или зажигалки посыплются, уж тогда только держись...

— А вы бомбы видели?

— А как же, кто их не видел. У меня с вышки все видно как на ладони... Сначала, пока бомбежек не было, мы в лунные ночи у трубы сидели и город рассматривали, даже Байрона читали при луне. Тихо-тихо в воздухе, по улицам редко-редко когда машина пройдет; странно, точно сама летишь над городом, такой он серебряный, чеканный, каждую крышу, каждый шпиль далеко видишь. Глаз свой приучала, чтоб разбираться, где что. А в небе аэростаты. На земле они, днем, как гусеницы, — толстые, зеленые, а ночью, в воздухе, как белые киты, плавают под облаками. Луна так встанет, что шпиль крепости прямо в ее середине, или полумесяцем, розовый, как долька апельсина, или он как голубой парус далекий, если тонкой тучкой закрыт. По крыше мы, как в Детском по парку, гуляли.

— А зимой какой город?

— А когда снег выпал, мороз, — на крыше скользко, нигде просто не пройдешь, того и гляди сковырнешься; но тут я альпинистскую технику применяла. Я в альпиниаде участвовала, у меня ботинки с гвоздиками, с морозками. Снежные карнизы висят, как на леднике, и город походить стал на горный хребет — весь завален снегом, дома темные, как скалы, и вдруг все как осветится взрывом, вспыхнут пожары. И видишь, где что горит. Жутко! И потом чувство такое, что немца поганого так же б прихлопнуть, а его не видно. Прожекторы шарят, а его нет. И стрельба такая, что уши затыкай. Потом свои же осколки по крыше бьют. Все трубы в царапинах, кирпичи побиты. Я тогда каску надевала. Но пожары тушили очень скоро, и снова все темно. А зима не кончается. Дни за днями длинные, длинные, как на Северном полюсе. Как насыпал раз фашист зажигалок! Вот набросал! И там зеленый, лиловый, красный, синий огонь, нестрашный такой, а смотри — не зевай! Я какие тушила, а какие сбрасывала с крыш вниз, на улице они горели зловещим таким огнем. Зажигалок мы с подругами много потушили. Я одну даже домой принесла, а потом выкинула: смрадшел сначала от нее, а потом противно. Как мертвая ящерица, ну ее к черту. И фашист понял, что бросает зря, — все их не боятся и даже говорят: «Пусть зажигательные, только бы фугасок не было».

— А весной какой город? — спросил я.

— Что я вам — писатель, город описывать? — ответила Наташа. — Весной я не умею так хорошо разбираться. Весной я все больше над жизнью задумывалась. Надоела мне крыша. Подруги — кто в дружинницы, кто в армию ушел, кто в милицию, кто эвакуировался — заболел, а мне говорят: ты и здесь нужна, ты — инструктор. А я весной, от воздуха, что ли, на крыше пьянела. И город было не узнать. Как стал снег таять, небо голубое с красным, будто город из черного ящика вынули и обмахивают каждый день метелкой. Он вымытый стал, чистый, все крыши видны, только на иных дыры от снарядов, а в бинокль посмотришь, и видно, от снарядов дыры в стенах и стеклах нет.

— О чем же вы думали на крыше? Вы сами говорите, что задумывались о жизни...

— Я все думала, какая разоренная стала наша Россия. Вот я ездила к тете, в Калинин, и на Селигере бывала с экскурсией. Ведь там одни развалины. И куда от Ленинграда ни пойдешь — тоже развалины. Парки порублены, дворцы разграблены, городки сожжены, деревни тоже. Пустыня какая-то! Жителей убили, или в плен увели, или они в лес убежали. Вот я и думала, чем после войны стать, чтобы скорее помочь все это восстановить. Выходило, что надо столько профессий знать, что одному человеку не под силу. И архитекторы нужны, и инженеры, и путейцы, и доктора, и техники, и учителя, и агрономы. Все ведь это нам — молодежи — на своих плечах поднимать придется. Все, что фашистская гадина запаковала, очистить своими руками надо будет. Я уж в партизанки просилась — не пустили; сиди, говорят, на крыше. Сижу. Прилетают их разведчики. На грязи на какой-то летают. У него из-под хвоста длинный грязный хвост дыма в воздухе, а я радуюсь — не на чем летать, на какой дряни летают. Наш как даст ему жару — он сразу удирать. И при мне сшибли их несколько...

— Неужели вы видели?

— А как же! Да когда почти над Кронштадтом дерутся, у меня с вышки видно. Она у меня в таком месте и такая высокая, что оттуда и взморье и город — все видно. Не раз видела, как немцы кверху ногами дымили, только куда падали — не знаю. Я всякий раз в ладоши хлопала от радости. И все, кто дежурил, тоже хлопали...

— А что было летом?

— А летом я влюбилась.

— На крыше?

— Нет, на земле. На крыше в кого влюбишься, что глупости говорите. Я дежурю и вижу: летит самолет, стрельба началась, и он крутится туда-сюда... Вдруг летит на парашюте кто-то. Все ниже парашют, взяла я бинокль. Точно — парашютист, огромный, толстый: думаю, что это за сумасшедший в город на глазах у всех спускается? Ну, куда он упал — не могла уследить. Но только близко где-то. Сменилась с дежурства, спрашиваю: «Где это парашютист тут спустился?» А мне говорит подруга: «Дура ты, какой парашютист, пойдем, я тебе покажу». Побежали мы по переулкам к одному

дому, а там знакомые моряки. Они говорят: «Девушки, осторожнее, подальше держитесь». — «Что такое?» — спрашиваю. Они говорят: «Немец торпеду сбросил на парашюте, и она упала прямо на крышу маленького дома. А так как она была на парашюте, то только крышу проломила своей тяжестью, на чердаке улеглась и лежит. Туда приехал специалист, морской командир, и с ней возится уже сколько времени, потому что к ней доступ труден. Она магнитная, и все железо кровельное, всю крышу к ней притянуло, выгнуло крышу — смешно смотреть. Она, между прочим, стерва такая, может и рвануть! Кто ее душу знает! Она с часовым механизмом». Мы стоим, смотрим на этот дом и дрожим. И я представляю этого героя моряка — красавец, огромного роста, светло-волосый, с голубыми глазами, он там один на один с этим чудовищем воюет. Вот это герой!.. Стою и уйти не могу. И все мы страшно волнуемся.

Вдруг говорят: «Кончено. Сейчас ее убирать можно. Кончил командир работу, разрядил ее. Идет отдыхать». Я бросилась вперед. Мне кричат: «Куда?» А я не слышу. И вижу — идет моряк, тихий такой, маленький, усталый. А руки поцарапаны в кровь. Он на часы посмотрел и на меня. Я говорю храбро: «Товарищ начальник, руки я вам перевязать могу. Я умею». Он улыбнулся и сказал: «Спасибо, пустяки. До свадьбы заживет. Мне некогда. Нужно сейчас еще одну такую штуку поспешить обезвредить». И тут ему дали машину, и он уехал. А я смотрю ему вслед и плачу, как дура. И чувствую, что никогда не забуду. Но ведь сейчас надо всем воевать. Ну что ж, будем воевать. А вдруг где-нибудь еще и встретимся. Вот тогда я ему все, что думаю, скажу. А сейчас надо быть на своем боевом посту, и все. Правда, с моего-то поста, с крыши, вся молодежь разбежалась. А мне нельзя. Я инструктор. Я смену готовила. Буду второй год свой объект защищать. Мой объект важный, не могу сказать какой, — военная тайна. Вот кончится война, с крыши слезу и займусь земными делами. Одно утешение — как помотришь на наши самолеты, думаешь: они тоже с неба не слезают, день и ночь нас сторожат, еще выше меня, еще от земли дальше.

— Так вы тоже герой, Наташа?

— Бросьте вы; нам, ленинградцам, надоело уж в героях ходить. Самые обыкновенные; чтобы в героях ходить, нам еще знаете сколько надо прибавить и умения, и старания, и храбрости. Вот врага прогнать надо, тогда и посмотрим, кто лучше других его бил, а до тех пор надо еще себя знаете как воспитывать! Я как-то скулила, а знакомый моряк говорит: «Не скули, мой пост — палуба, твой пост — крыша. Ты на крыше, как на палубе, объект — корабль, плыви, и чтоб курс был верный — к победе». Вот как он меня здорово отбрил. С тех пор скулить бросила. Стою и служу безропотно, и только стараюсь, чтоб лучше было...

НИЗАМИ

Великого азербайджанского поэта звали Низами. Полное имя его звучало пышно и торжественно: Шейх Низами од-дин Абу Мохаммед Ильяс ибн-Юсуф Гянджеви, но он был скромный и простой человек. Он родился восемьсот лет назад, на берегах Ганджи-Чая, в древнем городе Гандже.

Кровавые цари истребляли тогда целые страны. Но поэта нельзя было купить или развратить роскошью дворцов. Он сидел на рваном войлоке вместо ковра, и вместо сокровищ перед ним были книга и чернила, рядом лежал его дорожный посох. Ковры истлели в султанских покоях, дворцы стали развалинами, сокровища исчезли по разным странам, а миру остались стихи — бессмертные сокровища человеческого гения. Так Низами победил султанов и богачей, победил время.

Мы отмечали день его рождения в осажденном Ленинграде. В холодных залах Эрмитажа читался доклад, звучали приветственные слова. Потом все кончилось, и я оказался в тихой комнатке на Васильевском острове. Комнатка была, вероятно, похожа на ту, в которой трудился Низами. Из восточной роскоши в ней находились только маленький коврик и пепельница в виде верблюда. Множество книг стояло на полках, подернутых пылью. Хозяин, в гимнастерке, с забинтованной головой, разжигал печку старыми журналами, чтобы вскипятить чайник.

Я смотрел на его торчавшие из-под бинтов черные волосы, по которым кралась предательские волоски седины. Освещенные раздуваемым пламенем, вспыхивали два зеленых квадрата на воротнике его гимнастерки. Он был лейтенант, ранили его недалеко от Ленинграда. У него был двухнедельный отпуск. Безумный восточник, любивший иранскую поэзию, как русскую, он мог часами наизусть читать певучие строки, странно звенящие в ленинградской комнате.

Мы говорили о стихах, о Низами, о поколении молодых ученых, сменивших тихие кабинеты на окопы, об эпосе современности, о нашем враге, отвергающем все человеческое, о далеком Азербайджане и снова о Низами.

Хозяин, смотря на лижущее чайник пламя и на горящие страницы старых журналов, где кривились огненные буквы и темнели картинки, говорил глухим, простуженным в осенних ночах голосом:

— Низами жил в век ужаса и крови.— Он помолчал и с бледной улыбкой добавил: — Как и мы. Но он никогда не сомневался в силе своего народа, в его суровой правде...

— Как и мы,— сказал я.

— Он знал,— продолжал Королев (восточника звали Николай Федорович Королев),— Низами знал, что не жестокий палач, а добрый человек двигает миром. Слышали вы что-нибудь о сасанидском царе Ануширване?

Я ничего не мог сказать об этом человеке.

— Так вот о нем рассказывает Низами в своей «Сокровищнице тайн»,— продолжал Королев.— Однажды Ануширван, увлекшись охотой, отделился от своей свиты. Его сопровождал только один из визирей. Царь и визирь приехали в разрушенную деревню. Все кругом было пусто, всюду возвышались разрушенные дома, не было ни жилья, ни людей. Только на одной из разрушенных стен царь и визирь заметили двух сов, о чем-то говоривших друг с другом. Громкий крик сов, раздавшийся над этими пустынными развалинами, напугал сасанидского царя. «О чем они говорят?» — спросил царь у визиря. Визирь понимал язык птиц. Он сказал, что одна из птиц выдает замуж свою дочь за другую сову и требует в качестве платы за дочь эту разрушенную деревню и еще две деревни из окрестных. Другая отвечает, что она охотно отдаст,

ибо до тех пор, пока жив Ануширван, народ останется в нищете и в рабстве, и к этим трем деревням она сможет добавить сотни новых разрушенных домов и деревень. Так ответил визирь. Низами донес до нас кусок мрака, пепел разрушения. И он написал в горести: «Замолчи, Низами, рассказ оборван. Все сердца давно в крови...»

Королев помолчал. Потом он посмотрел на Неву. Она лежала в тумане осеннего дня.

Он сказал:

— Новый Ануширван пострашней. Он хочет превратить в развалины всю Россию, весь мир. Почему у нас нет силы в искусстве, чтобы описать это чудовище так, как описывал чудовищ своего времени Низами? Вы говорили о сегодняшнем эпосе, но его пока нет. Очень жаль, очень жаль...

— Но он будет,— сказал я. — Пройдет время, и Гитлер и вся его человеконенавистническая шайка будут заклеены великими поэтами и художниками. Мир будет долго помнить палача из палачей, нового Ануширвана. А потом его имя забудется, как мы забыли дела этого сасанидского царька.

— Я почитаю вам стихи на иранском языке. На нем писал Низами.

— Почитайте, только я ничего не пойму...— сказал я.

— Я вам переведу.

Он читал громким торжественным голосом, и мне доставляло странное удовольствие слушать в сумрачной комнате слова, звонкие, как падавшие со стен щиты, медленные, как степная река, гулкие, как обвал. Он читал, сжав руки между колен и чуть покачиваясь в такт ритму. Он смотрел мимо меня на стену, где висел маленький пестрый старый коврик. Когда он кончил, он поправил повязку на голове и начал переводить прочитанное... Речь шла о какой-то ночной битве. Он читал отрывок поэмы.

— Это,— сказал он,— подражание Низами. Слушайте. Направивший взор на эту страницу увидит следующие слова: это был бой, когда земля стала шесть, а небо восемь...

— Пойдите,— спросил я,— а что это значит?

— Это значит, что целый слой земли поднялся к небу и образовал восьмой слой неба, а земля уменьшилась на

один слой. Слушайте дальше. Они бились утром, когда заря вставала из-за леса, и гром битвы закрывал солнце полдня, и они бились, когда тьма падала на дворцовые парки и нельзя было видеть башен дворца. Одна из башен упала в тьме битвы, и мне было так жаль ее, что я плакал, и слезы бежали по лицу. Но грязь и кровь останавливали их на моих щеках. Кровь заливала мои глаза, но я видел черные лица врагов, так как глаза моей ненависти и в темноте ночи различали их лица. Они были мрачнее мрака, и это выдавало их. Мы кололи и истребляли их без счета. Они, мыча, падали на колени и лицом в землю. Мы их били, пока не устала рука, и ночь рождала их все больше и больше. Мы сражались, пока не загорелся город, как будто зажгли тысячу факелов, так что я видел теперь не только свою кровь, но и кровь врагов, осквернителей моей родины. Я убил в этот день девять варваров, и они лежали с открытыми ртами, как будто удивлялись такой смерти. И хотя лицо мое было снова залито кровью и тьмой, но сердце у меня было как колодец розовой воды. Последний убитый мной был офицер. Я увидел, что это человек в одежде эс-эс, и обрадовался, что одним большим палачом стало меньше на свете...

Тут отрывок кончился.

— Какое странное совпадение, — сказал я. — В стихе говорится об убитом в одежде эс-эс... К какому веку относится стих?

— К первой половине двадцатого века. К осени тысяча девятьсот сорок первого года. Я описал битву под Гатчиной, где я был ранен. Гатчина горела на моих глазах.

— Вы так любили этот город? — спросил я. — Нельзя написать такое стихотворение только как воспоминание.

— Я родился в этом городе, — ответил он. — Вы скажете, что были города прекрасней? Но я отвечаю вам словами Низами. Он говорил, что подвиг поэта — любовь. Этой любви он посвящает свой величайший труд, поэму, прекрасную, как жизнь Лейли и Меджнуна. Стихи этой поэмы, писал он, пройдут по всем странам, где есть люди, верящие в любовь. Так они пришли и в нашу страну. Какова была Лейли? Была ли она воистину так прекрасна? Великий Саади замечательно ответил на это. Он

написал: слышал царь о безумной любви Меджнуна к девушке Лейли. Захотелось царю посмотреть на красоту Лейли. Взглянул на нее царь. Ничтожной показалась она ему, последняя из рабынь гарема превосходила ее красотой. Понял это Меджнун и молвил: «О царь, надо глядеть на красу Лейли глазами Меджнуна». Я дрался за свою любовь, за свой родной город, я еще отомщу за него.

Он посмотрел в окно. За окном плыли низкие, тяжелые тучи, маячила громада Исакия, чернели мачты и трубы.

Я понял в это мгновенье, в этой сумрачной комнатке, что мы все во власти великой любви, для которой нам не жаль и самой жизни. Это напомнил нам сегодня наш далекий гость — старый Низами. Он пришел в наш город в гуле сражения, и мы встретили его как друга, союзника и соратника в нашей битве.

И мы выпили за его здоровье, как пьют за умерших на Востоке. Мы выпили за него те сто граммов водки, что были добыты Королевым неизвестно откуда. Мы выпили за Низами и за бессмертные глаза Меджнуна.

ЗИМНЕЙ НОЧЬЮ

Снаружи стены цехов темнели, как обледенелые скалы арктического залива. Казалось, жизнь замерла на всем пространстве, заваленном мерзлыми кусками металла, бочками, грудями шлака. Как застывшие волны, всюду подымались сугробы. Мрак январской ночи не освещался ни единым огоньком.

Если бы привести свежего человека и поставить его в безмолвии этого двора, среди мрака и снега, то он сказал бы, что находится в ледяной пустыне, за много километров от человеческого жилья. И, однако, это был двор завода-гиганта.

И если отыскать маленькую дверь и открыть ее, то вошедший увидел бы подобие сталактитовой пещеры. Это был цех. В пробитые снарядами дыры чернело небо, атласная наледь покрывала своды и стены, слабый элект-

рический свет, тщательно прикрытый, освещал небольшие пространства; и если взглядеться, то в разных уголках огромного зала копошились люди. Они работали.

Они были закутаны в самые разные одеяния, которые при слабом свете отбрасывали дикие тени. Изможденные лица резкостью черт напугали бы непривычного человека, но Потехин знал здесь каждого, и то, что эта фантастическая картина называется ночной сменой, было ему привычно.

Мороз пронизывал его даже сквозь полушубок. От ледяного металла шло слабое сияние, как от раскаленной стали, покрытой пленкой. Кругом возвышались бугорки бурой, серой, черной, светлой окраски. Это была земля опок, формовочная земля — священная земля опок, как возвышенно любил говорить Потехин, с шутивным пафосом доброго мирного времени.

Приготовление этой формовочной земли сейчас было подвигом. В полумраке смешивалась она в определенных пропорциях, и от правильности соединения этих разнообразных частей зависело литье. От этого литья зависело приготовление снарядов, от этих снарядов зависела оборона города, который только угадывался в черной безмерности этой зимней ночи.

Днем до завода долетали далекие протяжные крики. Это шли в контратаку там, на передовой.

Снаряды были нужны днем и ночью. Снаряды надо было делать, даже если бы сам полюс пришел и поселился на заводском дворе со всеми своими буранами и холодами.

И так же непрерывно готовили землю опок. Между бурными холмами, когда к ним подошел Потехин, мастер и конструктор, сидела женщина, низко наклонив голову, и совком перекидывала комья из одной кучи в другую. Потехин стоял над ней и следил, как с медленной упорностью она наращивает новый холмик.

Она подняла на него глаза и, ничего не сказав, посмотрела в сторону, где на доске, полусогнувшись, притулился человек, руки которого были сложены на груди. Потехину показалось, что он крепко спит. Но сейчас же он увидел, как задрожал совок в руке женщины, и нагнулся к ней.

— Тетя Паша,— сказал он,— устал Тимофеевич, умаялся.

Женщина поглядела на него сначала строго, потом лицо ее, покрытое металлической холодной пылью, смягчилось, она ответила не сразу:

— Умаялся Тимофеевич, не трогай его, дай покой...

— Так ему лучше бы домой пойти, тетя Паша. Или не в силах? Как бы он не замерз тут, не охолодал, тут — как на улице...

Тетя Паша быстрым движением притянула его за руку так резко, что Потехин принужден был сесть на корточки рядом с ней. Тогда, вплотную придвинув к нему свое лицо, она начала говорить, шевеля почти каменными от холода губами:

— Русский ты человек, скажи мне?

— Русский, конечно,— сказал Потехин.— Что с тобой, тетя Паша?

— Ну, раз русский, хорошо — ты поймешь, тебе рассказывать много не надо. Ослаб мой-то, совсем ослаб, а все ходит, а все работает. «Душа горит,— говорит он мне,— душа горит, Паша. Давай, давай быстрее!» А как быстрее — руки не идут. И самое от голода крутит. Говорит: «Совсем плохо мне». Я ему: «Не говори, старик, такого, отлежишься». — «Не отлежусь, — отвечает. — Слушай меня: землю-то какую ответственную делаем! А ты-то не знаешь, сколько ее надо, как смешать — плохо умеешь. Учись-ка, повторяй за мной и смотри. Исмотри...»

Женщина заплакала. И Потехин сидел на корточках и глядел, как тетя Паша вытирала слезы и они застывали на металлическом ее лице светлыми полосками.

— Повторяла я свой урок, он все твердил свое и все повторял. И сказал: «Хорошо, вот так и запомни». Прилег — и все. И все, голубчик ты мой,— сказала она бабьи и всхлипнула, не выпуская из руки совок.— Тружусь, как велел...

Потехин обернулся в сторону лежавшего. Тетя Паша тронула его за рукав.

— «У меня душа горит», говорил. И у меня, сынок, душа горит! Сказала ему: «Спи, Тимофеевич, отработал, уж я за тебя, за двоих сегодня земли нарую». Ишь сколько, смотри, а все мало. Мало мне, и мороз меня не берет.

Потехин встал и подошел к мертвому. Тимофеевич лежал, положив голову с заиндевевшей бородой на грудь, и руки его были аккуратно связаны крест-накрест веревочкой.

— Нечего мне сказать тебе, тетя Паша, — сказал Потехин. — Сама знаешь, какие тут слова...

— Какие тут слова, — повторила она, все ускоряя движения совка. — Иди, голубчик, работай, я тут с ним посижу, свой урок исполню. Не спутаю. Иди, иди, дай мне одной быть...

«Как она сказала, — думал Потехин, идя по цеху в его широкой, темной холодине, — «ответственная земля». Да, хорошо старуха сказала: «ответственная земля!» Ленинградская, родная, непобедимая!»

ДЕТИ ГОР

Мы устроились на отдых в зеленой роще верхнего Гуниба. Ниже нас лежали развалины знаменитого аула. Над нами стояла тишина вечерних гор. Каждый из нас развел небольшой костер, чтобы по своему вкусу сделать шашлык. Скоро костры догорели, и над долиной потянуло сизым сладковатым дымком. Уголья покрылись голубой пленкой жара. Мясо зашипело на длинных тонких самодельных шампурах. Обжигаясь и весело разговаривая, горцы приступили к еде.

У моего костра, чуть насмешливо поглядывая на меня большими черными глазами, сидела маленькая девочка. Хотя ее звали Резеда, но она была настоящая горянка, похожая на чистый и строгий цветок альпийских лугов своей родины. Приятно было смотреть, как ловко прыгает она через пенистые ручьи, по камням старых тропинок, и вся природа сурового Гуниба служит прекрасным фоном ее цветущей молодости. Ей было всего десять лет, но в ней жила самая настоящая серьезность, предвестник самостоятельного и цельного характера. Она знала, как сильно я люблю горы, и слегка по-детски посмеивалась над этим. Для нее, несмотря на всю нашу дружбу, я был заезжим человеком, который завтра оставит дагестан:

ские долины и ущелья и вернется на далекий север, в неизвестный ей туманный и холодный Ленинград.

В конце концов так и случилось. Прошло восемь лет, в течение которых я очень редко слышал о ней, и, наконец, потерял ее из виду.

Была ленинградская осадная зима. На улицах лежали высокие сугробы, в разбитые воздушной волной окна порывы студеного ветра наметали снег, в комнате чадила коптилка, когда дверь открылась и вошла высокая смуглая девушка, тонкая и легкая, вошла Резеда.

— У вас совсем как в горах, как в сакле,— сказала она,— за окном снег, здесь коптилка, и бурка, и холод.— Она засмеялась.— Впрочем, сейчас всюду холодно...

— Резеда, что вы делаете в Ленинграде, как вы сюда попали? — спросил я после первых общих слов.

— Я училась, а теперь работаю в госпитале. Делаю, что могу. Вся наша семья воюет. Все мужчины, кто где, дерутся на разных фронтах. А я вот в осажденном Ленинграде. Живем мы с мамой в почти пустом доме, все из него эвакуировались, у нас просторно зато...

— Но вам же очень трудно в такую зиму, южанке?

— Сейчас не может быть слова «трудно». Сейчас все должны работать и всё терпеть: так надо. А к вам я пришла еще вот почему. У нас не запирается подъезд, можно через него пройти на двор, а у двора в заборе вынуты доски... А по ту сторону гараж и бак с бензином. Вы знаете, что всякое может случиться. Недавно мы сами видели, как во время налета пускались ракеты. Я думаю, что надо принять меры.

— Надо принять меры,— сказал я,— узнаю серьезную горянку. Но почему вы живете в военном доме?

— Мой муж на фронте, он военный врач...

— Как! Вы замужем? И давно?

— Нет,— сказала она, чуть смущаясь,— недавно. Мой муж не только врач, он парашютист. Он и прыгает с парашютистами и лечит их. Это очень удобно, правда? В бою он может их всюду сопровождать и прыгать, как они. У него есть значок. Он сам прыгал семьдесят раз.

— Он храбрый человек, ваш муж! Он горец?

— Да, из наших мест, горец, и он храбрый. У нас нет

в семье нехрабрых. Где он сейчас, я не знаю. Но он-то без дела не останется.

Мы долго говорили об общих знакомых, вспоминали друзей, горы, и она ушла в ледяные улицы Ленинграда той же крылатой горской походкой, какой ходила по высям Гуниба.

Потом мы изредка виделись, и я постепенно узнал всю ее строгую жизнь в городе, где не было ни света, ни воды, ни дров и где паек можно было назвать героическим, но от этого он не становился больше.

Она работала день и ночь. Ночные дежурства, черная работа изматывали ее, но она ни за что не хотела покидать Ленинграда. Жестокие полярные причуды климата ломали даже привычных к лишениям людей, но она говорила: «Я сильная, на фронте тоже тяжело».

Она шутила и всегда сохраняла присутствие духа, но было ясно, что ей очень трудно. Она похудела. Ее лицо стало суровым, и только глаза, большие и черные, сияли попрежнему. Раз она сказала:

— Знаете что, мы с мамой сохранили банку мясных консервов и немного рису. Приходите к нам, и мы вспомним Гуниб и ваш шашлык, который я никогда не забуду, потому что он был ни на что не похож. Мы будем праздновать день Красной Армии.

Она рассказывала о письмах, что изредка попадали в город. В Дагестане, куда ее звали вернуться, люди садились на лучших коней, брали лучшее оружие, и их провожали на войну, как на свадьбу. В Буйнакске некуда было девать фрукты и овощи. Был небывалый урожай. От мужа известий не было давно. Он воевал с первого дня, он был прирожденный воин. Он не знал отдыха. Ему некогда писать.

День Красной Армии я встретил в другом городе, где был в командировке. Когда я вернулся в Ленинград, над чистыми, прибранными улицами зеленели деревья. По Неве плыли последние льдинки. С Ладоги шел прохладный весенний ветер.

На фронте была зловещая тишина, прерываемая бешеными припадками артиллерийской стрельбы с обеих сторон. Я сидел с товарищем на пригретой майским солнцем поляне. Озеро серебрилось под нами внизу. От берез и

сосен шел медвяный запах. Над кустами кружились бабочки. Принесли свежие газеты. Наступило молчание, так как все погрузились в чтение.

Вдруг товарищ сказал:

— Вот это доктор! И доктор и парашютист сразу. И горец к тому же. Спрыгнул на парашюте и пошел в бой вместе с парашютистами...

— Как?— вскричал я.— Так это муж Резеды!

— Подожди,— сказал товарищ,— очень интересно. Он был ранен, когда оборудовал перевязочный пункт, пришел в себя и с тяжелым ранением стал делать операции. Он молодец...

— Не тяни,— сказал я,— что дальше?

— Ну, я же читаю,— продолжал товарищ,— да он же герой! Послушай: истекая кровью, он оперирует одного за другим шесть человек, и приносят его друга, которому он обещал сам оказать помощь в случае беды. И он собирает последние силы и говорит: «Моя рука не дрогнет, я обещал это тебе, дорогой!» И он блестяще сделал операцию...— Тут товарищ остановился, охнул и передал газету мне: — Читай сам...

И я прочел: «Страшная разрядка потрясла его перенапряженный организм. Он выронил инструмент, покачнулся и упал бездыханным. Герой врач, пожертвовав собой, спас в этот день семь жизней...»

Я не читал дальше. Я отложил газету. Бедная Резеда! Весь этот день я возвращался мыслью к ней. Я решил, что, вернувшись в город, сейчас же отыщу ее.

Огромный пустой дом встретил меня полной бесстрастной тишиной оставленного людьми жилища. Разбитые окна смотрели тупо на пустую площадь, по которой ветер гонял маленькие столбики пыли. В доме никого не было. Какой-то сторож объяснил, что последние жильцы, две женщины, уехали уже давно. Парадный ход был заперт. Автомобили выезжали из гаража, о котором так беспокоилась Резеда. Но ее не было. Делать было нечего.

Я шел по улице в задумчивости, и даже пронесившиеся с унылым шипением снаряды — начался обстрел района — не отвлекали меня от воспоминаний. Дома я нашел груды старых писем, сразу доставленных после весенней раз-

борки. В этой груде белых, серых и желтых конвертов было маленькое письмо от Резеды.

Она описывала свой путь до маленького городка, где их с матерью оставили отдохнуть на пути в родной Дагестан. Она писала: «Мы горды сознанием, что наша страна является единственной страной в мире, где так заботятся о человеке».

Я был рад за нее — она вернется к родным горам, и я удивился только тому, что она не пишет о муже. Она не знает еще о том, что случилось, или врожденная сдержанность заставила ее сурово обойти это горе, похоронить его в глубине сердца? Но почему она, такая сильная духом и уверенная в себе, оставила Ленинград и все-таки уехала?

Я снова перечитал газету, где эпически была описана доблестная смерть горца-врача Абусаида Исаева, и вдруг нашел строки, по которым я как-то проскользнул и которые теперь ожили неожиданно.

Когда он был ранен и лежал в избе, где толпились санитары и раненые, он говорил о своей жене, жившей в Ленинграде и не захотевшей из него уехать, и о сыне, которого он ждал.

Суровая и нежная Резеда! Этого она мне не сказала. Она уехала в родные горы, чтобы там родить и воспитать маленького горца, который вырастет и станет храбрым защитником своей родины по примеру своего доблестного отца, защищавшего Москву, и храброй матери, сражавшейся за Ленинград со смертельным врагом свободлюбивых народов нашей родины.

Да будут благословенны родные горы Дагестана, их снежные выси и синие долины, повитые туманами, и прекрасные, сильные сердцем и духом их сыновья и дочери!

«Я ВСЕ ЖИВУ»

Это был редкий случай, что его отпустили с завода. Надо было выступить на одном небольшом собрании и рассказать о своей работе.

— Я не умею говорить,— сказал он серьезно.

— Иди, иди,— отвечали ему.— Ты у нас передовой, ты коротенько расскажи, как ты, работая по третьему разряду, выполняешь работу пятого, как слесарем стал, ну и еще что-нибудь.

Собрание было коротким.

— Время военное,— говорил он солидно, как бывалый производственник, и даже вызвал улыбки у присутствующих, когда сказал басом: — Из старых рабочих на моем участке осталось только двое — я да Степанова. Все на фронт ушли, или заболели, или померли, или эвакуированы. Степанова старше меня. Ей примерно девятнадцать — двадцать, а мне примерно пятнадцать — шестнадцать...

Собрание ему понравилось, потому что на нем выступали очень интересные люди и каждый мог рассказать много любопытного о своей профессии, о днях осады, о зиме, о пережитых опасностях

Он шел, слегка задумавшись, медленно по набережной небольшой реки; деревья уже были в зеленом уборе, набережная была чистая, как вымытая, город ничем не напоминал мрачные зимние дни: Он сел на скамейку и с удовольствием смотрел по сторонам.

Целую зиму ему некогда было думать о себе, а теперь собрание и слышанное на нем вызвали в нем целый поток воспоминаний. Он видел себя в родной деревне, видел сестру, шедшую с ведрами по двору. Видел братьев: одного маленького, верхом на колхозной лошади, другого в гимнастерке и в сапогах со шпорами, — он пришел тогда из армии. Теперь брат дерется с немцами. Из дому писем не пишут. Верно, тоже работают на оборону, как он — день и ночь. Вспомнились первые месяцы в Ленинграде в ремесленном, потом слесарный цех, как он его увидел в первый раз — с брызжущими металлическими стружками, с ворчанием и стуком станков, с прохладой большого зала.

Все ему нравилось, все шло гладко, руки как будто понимали без его указаний, как и что надо делать. Он обожал работу. Он даже с каким-то изумлением смотрел, как выходят из-под его рук детали, сделанные им. И то, что это было сделано именно им, наполняло его гордостью. Он ни за что не покинул бы завода, не уехал бы

ни в деревню домой, как сделали его товарищи, ни переменял бы город. Город был такой огромный, что каждый раз можно было увидеть новое, сколько бы в нем ни ходить. Он видел его, как в страшной картине кино, когда началась война и по ночам горели дома, падали бомбы, прожекторы освещали небо, непрерывно гремели зенитки. Он помогал вытаскивать из-под развалин засыпанных обломками.

Это была трудная и опасная работа. С ним работал и тот мастер, добрый Парфений Иванович, который прозвал его, Тимофея Скобелева, странным именем: «Я все живу».

Случилось это так. Парфений Иванович пришел в общежитие и говорил с ребятами об их жизни. На Тимофея находили припадки застенчивости, и он путал слова. Волнуясь, он на вопрос: «Ну, как живешь?» — ответил не как хотел: «Я хорошо живу», а чего-то заробел, спутался и сказал: «Я все живу!»

Все засмеялись. Потом они подружились с Парфением Ивановичем, и тот шутовски спрашивал, приходя его навестить: «А как этот «Я все живу» — жив еще?» — «Жив», — отвечали ему и тащили к нему Тимофея.

Он сидел на зеленой скамейке, напротив пышного весеннего сада, и вспоминал. Зимой кончился ток, завод стал. Он таскал воду в бочках между сугробами, ел хрен в столовой, спал под полушубком, разбираал старые деревянные дома на дрова. Потом снова завод заработал, стал, как он говорил, делать «секреты» для фронта. Как он выжил, он сам не знал. Было и холодно и голодно, но он терпел все отлично и, когда пахнуло первым весенним теплом, ожил совсем.

— Ну как? — спрашивал его в ту зиму, встречая с топором в руках, Парфений Иванович, закутанный до глаз шарфом. — Все живешь, брат?

— Все живу, — отвечал он простуженным голосом, — а что мне делается!

— Терпи, казак, атаманом будешь! — говорил Парфений Иванович.

Атаманом — не атаманом, а он стал самым умелым рабочим слесарного цеха, и у него уже были подручные.

Все это вспомнилось Тимофею как-то сразу, пока он сидел на зеленой скамейке. Он устал от мыслей, от их множества и пестроты. Он перестал думать и стал смотреть на деревья, на речку, на прохожих. Жизнь была странной. Он посмотрел на себя. Чисто одетый, опрятный, аккуратно работающий, не считаясь со временем, иногда по два дня не оставляющий цеха, он чувствовал себя счастливым, но ведь в нескольких километрах от города сидели немцы, в воздухе гудели сторожевые самолеты или вдруг с непонятной быстротой начинали сыпаться снаряды.

Мимо него проходили по-весеннему одетые люди, какой-то мальчик ловил рыбу, но у него ничего не выходило. Он стал смотреть на мальчика.

Мальчик был худой, остроносый, в серой куртке. Тимофей сначала рассеянно следил за этим рыболовом, но потом, когда мальчик встал, взял удочку на плечо и, посвистывая, пошел к зеленой скамейке, Тимофею точно что-то ударило в бок. По мере того как мальчик подходил ближе к нему, он все яснее видел на его щеке коричневое большое пятно, как будто на щеке застыл большой кофейный натек.

Когда он проходил мимо Тимофея, Тимофей сказал: — Эй, паренек, погоди минуточку.

Мальчик обернулся, оглядел Тимофея с головы до ног и сказал:

— Чего тебе?

— Присядь-ка на минуточку,— сказал Тимофей,— если не торопишься...

— Я не тороплюсь,— ответил мальчик и сел на скамейку.

Тимофей молча разглядывал его. И мальчику это надоело.

— Что я тебе, картина? — сказал он.— Или говори что-нибудь, или я пойду...

— Вот быстрый какой,— сказал Тимофей,— а я вот медленно думаю.

— А ты думай быстрее.

Мальчик засмеялся, и тогда Тимофей спросил:

— Слышь, а где ты зимой жил?

— Где жил? — Мальчик свистнул.— Там сейчас ни

одна крыса не живет. Наш дом разбомбили вчистую. Меня самого чуть не пришибло.

— Вот, вот,— сказал радостно Тимофей,— это я и спрашиваю, дом с балконами, четырехэтажный, на углу вон там...

— Правильно. А что, ты тоже там жил? Или кого оттуда знаешь?

— Я там не жил,— сказал Тимофей.— А как тебя зовут?

— Шура Никитин...

— А скажи, Шура, что ты сейчас делаешь-то, учишься или что?

— Мать померла, отец мобилизован, я у тетки живу. Работать хочу, да не знаю, что и куда, мал я...

— А сколько тебе?

— Пятнадцать будет...

— Чего мал, ничего не мал. Хочешь, на работу устрою тебя?

— Ты? — спросил недоверчиво Шура, во все глаза рассматривая Тимофея.

— Ну, а кто же! — сказал гордо Тимофей.— Я тебе сейчас записку напишу к одному человечку.

— А ты что сам-то?

— Я, брат, слесарь, и ты будешь слесарем. Теперь не смотри на лета. Ты из зимы-то вылез ничего?

— Ничего, как тепло стало — бегу, и ноги не ватные...

— То-то, значит будешь работать. Ты завод у моста знаешь?

— Знаю.

— Вот там я и работаю. Сейчас я напишу тебе записку.

Он вынул записную книжку, которой очень гордился, послунил карандаш и написал крупными прямыми буквами: «Милый Парфений Иванович. Надо устроить ко мне Шуру Никитина. Я все Вам расскажу, почему. А он тоже расскажет».

Он передал записку Шуре, и тот сказал удивленно:

— Как это ты подписался: «Я все живу». Что это такое?

— Это для секрета, у нас с Парфением Ивановичем свой секрет. Не бойся, не подведу. Я тебе рас-

скажу. Только обязательно, смотри. Придешь? Не обманешь?

— А что мне обманывать! Конечно, приду. Меня отец немного слесарному учил. А ты мне скажи, почему меня остановил? Ты меня знаешь, что ли?..

— Немного знаю! — сказал, вдруг смущаясь, Тимофей. — Я тут живу недалеко, много раз видел...

— И ты мне что-то знаком. Ей-богу, знаком, — сказал Шура, — а вот не припомню. У меня, знаешь, после того как засыпало в доме, голова болит часто. А тебя я где-то видел, правда, правда...

— Да, наверно видел, — сказал уклончиво Тимофей, — близко друг от друга живем, так как не видеть? Так приходи смотри!..

Тимофей рассказал ему, где найти Парфения Ивановича.

— Приду, — сказал Шура, прощаясь, взмахнул удочкой и пошел по набережной.

Тимофей смотрел ему вслед и никак не мог понять, почему он не открылся ему с самого начала. В первую минуту он усомнился, тот ли это мальчик, но имя и пятно на щеке подтвердили, что это тот.

В одну зимнюю ночь, когда особо свирепо падали бомбы с темного, закрытого тяжелыми снежными тучами неба, команду, где работал Тимофей, вызвали к дому, который только что повалился. Бомба попала в самую середину, и теперь в темноте чернел какой-то фантастический остов со многими перепутанными железными балками, и люди с фонарями рылись в грудах мусора, искали засыпанных.

Сначала Тимофей работал наверху завала, но потом его позвали вниз, и комиссар штаба района посмотрел на него внимательно при свете «летучей мыши» и спросил, решится ли он отрыть заваленного в нижнем этаже мальчика. Они подошли к черной дыре, откуда был слышен далекий слабый голос. Взрослому лаз был слишком узок. Тимофей надел каску, взял пилу-ножовку, молоток, зубило, топор и карманный электрический фонарь.

Он полез в дыру. Он твердо знал, что он вернется с мальчиком, но для оставшихся это было вопросом. Завал стал оседать. Комиссар приказал прекратить верх-

ние работы, и люди столпились у дыры внизу. Они ходили перед дырой, снег скрипел под их ногами, они говорили тихими голосами, и только комиссар с фонарем время от времени кричал в дыру.

Три часа шаг за шагом полз Тимофей по узкому проходу, обдираясь о какие-то проволоки, гвозди и острые кирпичи. Он дополз до мальчика, лежа на спине разобрал кирпичи над задавленным, освободил ему руку, дал ему фляжку с водой. Сил больше не было. Он осветил фонариком вокруг, чтобы точно запомнить положение. Запомнив, он полез обратно. Когда он вылез, он был мокрый от пота, как крыса под дождем.

Он отдышался и снова полез отрывать мальчика. Так он работал еще шесть часов. И он отрыл мальчика. Когда его вытащили, Тимофей не мог говорить от усталости. Он только слушал, как гудели люди вокруг спасенного, как кто-то сказал Тимофею, хлопая его по плечу:

— А и силен ты, батюшка! Молодец!

Он слышал, что мальчика называют Шурой Никитиным. Отдохнув, он подошел тогда, когда мальчика брали на носилки, чтобы увезти в больницу, и при свете фонаря он увидел бледное лицо с большим кофейным пятном на щеке. Это он запомнил. Потом надо было работать дальше, спасти других, и он только видел, как санитарный автомобиль завернул за угол.

И сегодня здоровый Шура Никитин прошел мимо него с удочкой. Он не мог не остановить его.

...Прошло несколько дней. Во время перерыва Тимофея вызвали в контору цеха. Едва переступив порог, он увидел Парфения Ивановича с толстой самокруткой в зубах, который вынул ее при виде Тимофея, широко улыбнулся и сказал:

— Все живешь, старина! Принимай пополнение.

— Спасибо, Парфений Иванович,— сказал Тимофей.— Я все живу, верно. Пополнение приму.

И тут же, при людях, наполнявших контору, Шура сказал:

— А что же ты скрыл, что ты Скобелев? Я ведь тебя не узнал. Прости, честное слово! Мы с тобой так изменились с зимы-то. Ты вот узнал меня, а я нет. Как вот ты-то меня на улице узнал?

Но Тимофею было стыдно сказать, что узнал он его по кофейному пятну на щеке. Он застеснялся, что-то пробормотал в ответ и пошел из цеховой конторы. За ним шли Шура и Парфений Иванович.

И когда они вошли в цех и перед ними раскрылся прохладный, светлый зал; наполненный металлическими отсветами и блесками, Тимофей сказал Шуре:

— Что было, то прошло... А вот тут, брат, уж мы поработаем вдвоем! — И он жестом хозяина и мастера положил свою маленькую крепкую руку на холодную сталь станка.

ВЕСНА

Дом был невероятно запущен. Он выдержал и бомбежки, от которых кое-где вылетели стекла и рамы, он пережил и попадания снарядов, от которых кое-где на чердаке и в верхнем этаже возникали пожары. Он зиму был замусорен, трубы лопнули, в ваннах и в умывальниках лежал сизый лед, снег пополам с грязью кучами возвышался на террасах, полы были с выбоинами, так как зимой рубили дрова прямо на паркете, стены закопчены, холодом и сыростью веяло изо всех углов.

Ремонтировали его собственными силами, горячо и неутомимо. Ивана Николаевича к этой черной работе никто не привлекал, да он бы и удивился, если бы его — хирурга — попросили стать вдруг чернорабочим. Дом можно было привести в такое состояние, чтобы открыть в нем госпиталь, дом был хороший, крепкий, но привести его в порядок требовало сил. Все сбились с ног, особенно комиссар, не знавший покоя ни днем, ни ночью.

Дом кишел людьми. Там возились плотники, здесь маляры, но это были не плотники и не маляры. Это персонал госпиталя — врачи, сестры, дружинницы, санитары, засучив рукава, скребли, мыли, строгали, красили, чистили. В открытые окна врывался гул города: треск первых пущенных после зимы трамваев, гудки машин, далекий звук моторов сторожевых самолетов, грохот артиллерийской канонады.

В это утро Иван Николаевич спросил у засыпанной по глаза белой известкой санитарки:

— А где мне найти доктора Катонина?

Она сказала. Он подымался долго по широким лестницам, потом по узкой, с черными холодными перилами, и вышел на крышу. Крыша была плоская, большая, с беседкой в конце. Город был виден хорошо на большое пространство. Над морем красных крыш подымались отдельные шпили. Даль была весенняя, зеленовато-голубая. Вся крыша была завалена грудами ледяного мусора, из которого торчали доски и всякий хлам.

Доктор Катонин колот киркой этот зеленовато-грязный панцырь, льдинки со свистом отскакивали от удара, доктор не оборачивался, и Иван Николаевич молча следил за его могучими движениями. Катонин выпрямился, вонзил кирку в лед, постучал ладонью о ладонь и обернулся. Он, не удивляясь, взглянул на Ивана Николаевича и сказал:

— Вот, коллега, интересная работа, черт ее побери! Но ведь надо же скорее с этим безобразием разделаться. Нам ведь тут жить и работать...

Он плюнул на ладони и снова начал с яростью рудокоса рушить ледяную глыбу. Иван Николаевич, заложив руки за спину, смотрел то на него, то на город, лежавший внизу, смотрел с таким вниманием, точно видел его первый раз. А между тем на этой крыше он не раз бывал в жизни. Когда-то здесь был ресторан, веселый, шумный...

Катонин теперь работал не оглядываясь и не разгибаясь. Иван Николаевич на цыпочках покинул крышу. Морщины на его лбу сдвинулись еще резче, он нервно подергивал плечом.

На другой день он пришел в склад и, неопределенно указывая в дальний угол, где лежали инструменты, сказал заведующему:

— Дай мне этот... как его, лом, что ли, или лопату, грабли, ну, в общем вы сами знаете — убирать там на крыше...

— Но ваши руки, доктор, — сказал заведующий. — Стоит ли вам? Уж как-нибудь без вас справимся.

— Что? — закричал Иван Николаевич. — Не заботьтесь о моих руках. Я сам о них позабочусь. Давайте

ваше имущество. Я уже говорил с комиссаром: все в порядке.

С ломом на плече и с лопатой в руке он отправился в дальнее путешествие на крышу. Там он облюбовал себе угол в противоположной от Катонина стороне.

Тут возвышалась какая-то серая гряда, куда вмерзли предметы самые неопределенные. Даже ножка сломанного стула торчала, как кость из студня. Он начал потихоньку, примеряясь к лому, и сначала очень болели руки. Он делал какие-то неправильные удары, от чего сильно уставал.

Тогда он перешел к вершине кучи. Он пробил ломом ступеньки, поднялся и начал лопатой сбрасывать вниз мусор, снег и лед. Через два часа работы он толкнул лопатой что-то твердое, и из-под снега, мягко свалившегося набок, показалась голова.

От удивления он присел на корточки и смотрел на мраморную голову, как на чудо. И в самом деле: было диковинно смотреть, что из груды не поддающегося описанию мерзлого вздора смотрело женское красивое лицо с волосами, собранными узлом на затылке, прекрасное и чуть надменное.

— Однако! — сказал он, потеряв лоб. — Рассказать — не поверят. Ну что ж, будем продолжать.

Но теперь он уже осторожно снимал снег, колот лед и каменный мусор, в котором утонула статуя. Он спускался вниз, обедал, заседал, разговаривал с товарищами, но, странно, ловил себя на том, что он думает об этой статуе на крыше чаще, чем она того стоила. Каждый день он отправлялся наверх, и когда раз к нему направился на смену санитар с лопатой, он замахал на него ломом и сказал сердито:

— На всех, батенька, работы хватит. Идите к доктору Катонину, а тут уж я один обойдусь.

Но он сам сполз однажды с ледяного холма, подошел к доктору Катонину и осторожно потянул его за рукав.

— Да, что скажете, Иван Николаевич? — спросил тот.

— Хочу вас на консультацию небольшую...

— Да ведь у нас вечером как раз сегодня обсуждение... — начал Катонин.

Но Иван Николаевич перебил его:

— Нет, нет, консультация требуется тут, недалеко, два шага, очень вас прошу...

Катонин пошел с ним по крыше, и когда они пришли в угол Ивана Николаевича, он увидел возвышающийся из грязного снега великолепный торс, странно белевший на фоне обгоревшей стены.

— Что это, по-вашему, за статуя? — спросил Иван Николаевич. — Я тут, знаете, невзначай археологом стал..

— По-моему, это Венера, Иван Николаевич, — сказал с видом знатока Катонин, и даже отошел на два шага назад, и смотрел, прикрыв глаза ладонью.

— По-моему, тоже, — сказал Иван Николаевич. — Вот всю жизнь по книгам знал, что Венера рождается там из волн, из морской пены, а тут уж бог знает из чего, но рождается, и рождает ее не Зевс какой-нибудь, а старый хирург с ломом в руке, а все-таки, между прочим, рождает. Обратите внимание — скоро кончу работу...

— У вас что-то быстро идет, — сказал завистливо Катонин, — хотя, действительно, у вас Венера, а у меня на участке ничего подобного.

В этот день Иван Николаевич медленно, усталый, но с довольной улыбкой проходил по этажам, где шел самый быстрый ремонт, и все привлекало его внимание. Он останавливался, чтобы потолковать насчет выбоины в полу, и советовал двум раскрасневшимся медицинским сестрам, изобретшим какую-то массу, чтобы ею заполнить трещины в полу, дополнить эту массу мастикой, он брал из рук растерявшейся санитарки большую кисть и красил косяки, говоря:

— Вы не так ведете линию, смотрите, надо сверху и ровно сводить на нет, а у вас вон какие полосы. Надо ровнее, ровнее.

Он кричал в глубину чистой, свежеекрасненной палаты:

— Ничего работа, трогательно, все голубое. Кто это придумал голубое?

Молодая дружинница с пунцовыми щеками звонко отвечала:

— Другой краски не было, товарищ хирург, пришлось голубой.

— Да я не в укор,— говорил он,— наоборот, прекрасно, а главное, чтоб чисто...

Вечером за ужином он говорил в маленькой докторской столовой:

— Удивительно, но весна действует, как курорт. Посмотрите, по улице приятно пройти. Народ повеселел, лица не зеленые, дети резвятся, того и гляди сшибут тебя с ног своими роликами, девицы улыбаются, и даже развалины не так противны, как зимой, я уже не говорю о воздухе... Давеча у нас там, где было раньше бюро какое-то, что ли, на потолке разная всякая канитель, так взгромоздилась туда под потолок старушка, поставила стол круглый, на него — стол поменьше, на него — стремянку, и вытирает себе тряпкой резьбу, и хоть бы что. Цирковой номер...

С каждым днем дом приводился в порядок все больше. Уже было видно, что очистка удалась. Уже свежевыкрашенные столики стояли у кроватей, уже блистали вымытые до блеска окна, ванны вернулись к своей первоначальной белизне, в умывальниках шипела вода, все ходили довольные, вспоминали, как их испугала сначала вся страшная запущенность доставшегося им дома.

Последнее время хирург страдал бессонницей. Всегда весной он просыпался рано, а тут и совсем лишился сна. Долежав до зари, он встал, оделся, съел корку хлеба, посыпав ее солью, чтоб натошак не курить, свернул папироску и поднялся на крышу.

Он сел на перила и сидел, как школьник, свесив ноги. Он смотрел на Венеру, открытую им, всю залитую розовым светом зари. Последние остатки мусора он удалил накануне, и теперь статуя стояла на своем пьедестале так же покойно, как до этой страшной зимы, не щадившей ни людей, ни статуй.

Огромный город купался в огненном море прозрачного света, точно какая-то световая энергия рождалась из гигантского скопления зданий, уходивших за горизонт. Город был таким молодым, таким сильным, таким весенним, что Иван Николаевич, почувствовав непреодолимую жажду движения, легко соскочил с перил и начал ходить большими шагами по крыше, и все возвращался и становился перед статуей, и ему показалось,

что она вот-вот засмеется от души над его смешными ощущениями, над его неуклюжестью, над его торопливыми шагами в такой час, когда люди еще спят.

Но утро было такое прекрасное, что он сидел, ходил, курил и думал о жизни, о городе, о войне, о тех, кому он спасал жизнь на столе, залитом кровью, о том, как он столько дней возился в грязи и в мусоре, в снегу с ломом, с лопатой, с киркой.

Он остановился перед статуей и сказал тихо:

— Ты знаешь, до чего человек силен, сильнее его свободной воли нет ничего на свете; и до чего талантлив — сделал такой город, создал такую статую! И какие-то жалкие пошляки хотят это все разрушить, — черта с два, пусть попробуют! Еще посмотрим, чья возьмет!

— Любуетесь трудом своих рук? — раздался сзади знакомый голос комиссара. — Статуя хороша, увлеклись, доктор? Чего так рано вскочили?

Доктор пошел рядом с комиссаром. Ему было неловко, что комиссар застал его врасплох с его мыслями, и он, отбиваясь от добродушных насмешек, сказал:

— Да бросьте, чем тут увлекаться, плечо у нее кривое, да и рука вывихнута...

— Так вы со специальной точки зрения смотрите, Иван Николаевич?

— Конечно, со специальной, — сказал Иван Николаевич и пошел с крыши, взяв под руку комиссара, который был в самом лучшем настроении, так как ему было ясно, что он сдаст новый госпиталь для эксплуатации на две недели раньше срока.

СТАРЫЙ ВОЕННЫЙ

Он был очень стар, и глаза его совсем ослабели. Все стояли у открытых окон, и он подошел, но ничего не видел. Тогда он сказал:

— Скажите мне, что там такое?

— Там, над городом, далеко где-то, подымается к небу густой дым. Огромные, как горы, облака белого дыма.

И края их розовые от заката. А теперь дым становится синим. Он встает до полнеба...

— Это пожары? — спросил он. — Это немцы?

— Да, — ответили ему.

Зенитки продолжали еще лениво постреливать.

...Он сидел над картами целыми вечерами. Он был старый военный педагог, географ, изобретатель, у него было много карт. Они всегда утешали его разнообразием своих линий, богатством земных очертаний, причудливыми рельефами. Он видел сквозь эти синие узоры и коричневые пятна, сквозь зеленые и желтые полосы жизнь могучей страны, большую, жаркую, свободную, растущую. Он знал, как год от года менялась эта карта.

Но сейчас он смотрел на карты окрестностей Ленинграда, болезненно морщил лоб, взгляд его становился угрюмым и тусклым.

Треск пулеметов был слышен недалеко.

— Нет, этого не может быть, — говорил он. — Нет, это невозможно.

Он взволнованно бросал лупу на карту и ходил по комнате большими шагами.

— И кому отдать? Гитлеровцам! Тупым, беспардонным, кровожадным убийцам детей и женщин, фашистам... Да, да, — брюзжал он себе под нос. — Немецкие генералы, эти самодовольные куклы, они организаторы неплохие, они умеют воевать... Умеют воевать? — кричал он в следующую минуту. — Авантюристы, все их планы — это разбойничий обман, это рассчитано на то, чтобы ослепить, разоружить, обескуражить... Не будет этого! Нас не проведешь... Русский народ не обманешь. Не будет вам Ленинграда!

Он ложился на кровать, но сон бежал от его глаз. Он всем сердцем переживал битву, шедшую вокруг города. Он закрывал глаза и видел все эти мирные окрестности, где некогда участвовал в маневрах молодым командиром. Эти тихие уголки исчезали сейчас в дыму пожаров один за другим, и, может быть, — страшно подумать, — вражеские танки уже прорвались на окраины города. Тогда... он еще в силах бросить гранату, он не спросит, сколько врагов, он плохо видит, это верно, но он спросит: где они? Нет, это невозможно, — нем-

цы не будут идти по священным улицам и площадям. Никогда!

Он не ходил в бомбоубежище по тревоге. Воздух сотрясался над домом, о крышу звякали осколки, окна дребезжали, дом качало, как будто он был деревянной беседкой, но он только говорил:

— Летайте, летайте, скоро сломаете себе шею...

Битва затянулась. Враг залег у самых стен Ленинграда. Пришла зима. Холодно и темно стало в доме. Слабо трещит, в маленькой железной печурке горели сырые щепки. Старику становилось с каждым днем хуже. Он лежал под старым измятым одеялом, и вся жизнь проходила перед ним. Это была долгая, трудовая, интересная жизнь, и если бы не годы и не лишения, он бы еще протянул долго. Но сейчас слабость сковывала его руки и ноги, и даже дрова для маленькой печурки ему кололи: сам он очень уставал от этой, стыдно сказать, детской работы.

Он думал только о городе, о великом, неповторимом, чудесном.

В минуты сентиментальные, когда думалось как-то особенно грустно об ушедшей жизни, он вынимал из ящика стола золотые часы и держал их в руке. Эти часы были наградные. Он получил их за работу на высших курсах милиции, где долго преподавал, где много обучил молодых, сноровистых, лихих милицейских командиров... Он то вспоминал их улыбающиеся лица, их молодой задор, их шумные беседы, то вдруг он видел себя молодым, на коне, в горах, у пенистых потоков, на высотах Кавказа — любознательным картографом, путешественником, историком горных войн... Давно это было...

Он сильно слабел. Даже ложку, когда он ел суп, ему держать уже было трудно. Его кормила дочь, она же рассказывала ему фронтовые новости.

— Отступают, всё отступают, — говорил он с тяжелыми вздохами и мучительно смотрел на дочь почти слепыми глазами.

— Старик протянет недолго, — говорили жильцы в квартире.

...В это знаменитое утро женщины, разводящие примусы в своих комнатах, и дочь старого военного услышали странные звуки. В комнате старика звенела пила,

потом застучал топор, потом послышалась песня... Да, там кто-то пел песню. Слов нельзя было разобрать, да и вряд ли у этой песни были слова. Это было какое-то самозабвенное, довольное урчанье.

Все знали, что старик лежит под своим ветхим одеялом, тихий, обескураженный, слабый.

Дочь подошла к двери и не сразу открыла ее. Когда же она открыла, она увидела, что ее древний больной отец пилит какую-то доску и поет. Да, это пел он. Он пел, и глаза его сияли; и хотя на его худых широких плечах было накинуто старое, рваное пальто, он был величественен, как патриарх.

— Что с тобой, отец? — с испугом спросила дочь. — Почему ты встал? Зачем ты пилишь? Тебе же трудно!

Он посмотрел на нее и сказал медленно ясным и громким голосом:

— Ты слышала сегодня радио?..

— Нет, — ответила она. — А что сообщали?

И вдруг старик почти подпрыгнул с пилой в одной руке и с доской в другой.

— Ты не слышала, ты не слышала! Весь мир уже слышал, а ты не слышала. Немцев разбили под Москвой — наголову, в дым, вздыг... Авантюристы несчастные! Я давно говорил, что они только могут по-разбойничьи воевать. Разве это тактика? Это — нахальство, это бандитизм. Дочка, они разбиты, понимаешь... Ленинграда им не видать никогда. Я не мог больше лежать. Я вскочил, когда все это прослушал. Я вскочил, чтобы крикнуть: «Да здравствует победа!» Ведь это нельзя кричать лежа, понимаешь, дочка!

МГНОВЕНИЕ

Бывают мгновения, когда природа, окружающая вас, вдруг является во всем торжестве животворящей силы, во всем блеске, во всем неисчерпаемом богатстве, во всей своей неповторимости, в одном из тех неисчислимых своих раскрытий, которое в это мгновение кажется единственным и угаданным только вами.

Для того чтобы вы это испытали, не нужно торжественной пальмовой рощи на берегу океана, не нужно каких-нибудь фантастических скал, окутанных тучами. Достаточно, если это частица характерного пейзажа наших родных мест. Пусть вас окружает роща скромных берез или широкое поле, над которым низко спустилось осенне-туманное небо, пусть это случится в городе, в парке, где сквозь листву до вас будут доноситься звонки трамвая и гудки машин,— все равно вы можете быть свидетелем этого глубокого мгновения.

И в природе вещей, в сосредоточении мастера, ищущего последней глубины творческого откровения, оттенки красок и слов вдруг обернутся тем настоящим, неповторимым мгновением, которое мы называем старым словом — вдохновение.

Вот такое мгновение, полное ощущения расцвета жизни, такое редкое в жизни молодого существа, еще только отгадывающего, что же самое главное в предстоящем длинном пути, иногда является в высшем торжестве и в высшей неумолимости. Может быть, это мы и называем подвигом.

В связи с этим я хочу рассказать об одной скромной маленькой девушке, Жене Стасюк.

Она была ученицей девятого класса, по состоянию здоровья оставленной на второй год в классе. Это одно обстоятельство говорит, что она была не богатырского сложения. И действительно, среди типичных городских девочек она, может быть, была самой незаметной. Небольшого роста, хрупкая, как характеризовали ее близкие и знакомые, с тонкими и правильными чертами лица, с кожей нежного матового цвета, с большими голубыми глазами, с длинными, тонкими ресницами.

Она старалась не выделяться, потому что остро чувствовала свой физический недостаток: она хромала. Эта хромота больше чем смущала ее — она ее мучила и постоянно напоминала о себе. Поэтому в иных развлечениях, свойственных ее возрасту, ей было отказано. Она не могла бегать, не могла танцевать. Хромоножка — слово не из тех, которые нравятся уху молоденькой девушки.

Но она хорошо умела возиться с бинтами и перевязками, когда училась, чтобы стать сандружинницей. Жила

она под Ленинградом в небольшом городке, где протекала неширокая река, где стояли небольшие дома, и только огромный завод, старый, как крепость, был настоящим источником шумной и новой жизни. Он постоянно увеличивал свои корпуса, он рос и в ширину и в высоту, и неумолчный его гул наполнял далеко все окрестности.

В таком городке, наполненном размеренной рабочей жизнью, мечтается не хуже, чем в самом большом городе. Весенние вечера в нем наполнены голосами молодежи, смехом и песнями. Как бы пошла дальше жизнь маленькой школьницы, никто не мог бы сказать, если бы события, грозные и страшные, не обрушились на городок с внезапностью самой свирепой бури.

В первый же день, когда гитлеровские полчища нарушили нашу границу, Женя в числе прочих дружинниц перешла на казарменное положение.

Как тяжелый сон, проходили дни. Не умолкала канонада. Далекими казались тетради, школа, прогулки, вечеринки. Исчезли огни — городок по вечерам проваливался в темноту уже осенних ночей, дождливых, мрачных, беспросветных.

И вот она руками, с которых еще недавно не сходили чернильные пятна, перевязывала раненых и, вся залитая кровью, слушала их стоны и бормотания, отрезала бинты, давала пить, утешала, даже покрикивала на особо ослабевших духом и чувствовала себя песчинкой, увлеченной ураганом, который кружил над городком.

До сих пор никогда она не ночевала в поле, в яме, никогда не лежала на мокрой глине, часами прижимая свою сумку к шершавой шинели и грея руки, засунув их в рукава. Теперь она жила только тем, что ее окружало. Весь остальной мир перестал существовать. В том мире было светло, тепло и радостно. В том же, что пришло, она видела только страдания и суровость, на которую, она боялась, у нее не хватит сил. Но уйти, попроситься куда-нибудь подальше от этого она не могла.

Хромая среди узких, спешно вырытых окопов, спотыкаясь, ползя по размытому лугу, промокшая, дрожащая от холода, она вздрагивала от тайной гордости, когда раненый говорил ей сведенными болью губами,

чуть слышно: «Спасибо, родная!» или: «Эх, и маленькая же ты!» Иные, постарше, называли ее сестрицей.

Она не разбиралась в действиях этих солдат и командиров, что двигались день и ночь вокруг нее, обвешанные оружием, сумками, гранатами. Она пугалась всякий раз близкого разрыва снаряда, от которого гудело в ушах и ноги делались мягкими, восковыми.

Она заснула усталая, как сидела, на корточках, прижавшись щекой к стене ямы, на дне которой лежали ее сумка, противогаз и котелок, в котором ей принесли немного вареной картошки. Она спала в перерыве между перевязками, и ей снился школьный праздник, на котором собрались все ее товарищи. Было так много цветов, и кто-то стал пускать ракеты, и в небе повисли красные и зеленые змейки, а потом вошла большая оранжевая луна, и все пошли на станцию. Станция была убрана, как никогда, флагами и цветами, поезд привез много народу, все шутили и смеялись. Потом она полетела куда-то, и ей самой стало во сне смешно, она во сне вспомнила нянькину фразу: «Это ты растешь еще!» Но поезд, который был украшен цветами, вдруг рассыпался на много черных машин, которые стали, грохоча, вертеться вокруг, стараясь наехать на нее, а она бегала между ними и не могла уже понять: это шутка или всерьез ее хотят раздавить эти черные рычащие машины? Грохот их стал таким сильным, что она проснулась.

Минуту она не могла сообразить, где находится. Было уже темно, все вокруг гремело, и разрывы снарядов смешивались с пулеметным отрывистым рокотаньем. Рука ее, прижатая к стенке пока она спала, онемела, и ее покалывали иголки. Она показалась самой себе такой беспомощной, такой одинокой и брошенной на дно холодной глинистой ямы. Ночь дышала холодом и угрозой. Она чувствовала, как кругом затаились люди, и среди многоголосья и самых разных звуков она поняла только, что начался сильный бой, и в это время ее окликнули: «Женя, перевязывай!»

И к ней в яму сполз, поддерживаемый подругой, раненый. Он сполз молча и упал к ее ногам, как темный мешок. Но, присмотревшись, увидела она, что он сжимает в руке автомат и глаза его почти светятся в темноте. Она

уже знала этот блеск боли, сдерживаемый крепко сжатыми зубами. Она вздрогнула, пришла в себя окончательно и сильным движением, которым овладела в последнее время, прислонила раненого к стенке и начала перевязку. Он был ранен в плечо, и она, полуобняв его, уже не боясь прикосновения к тому липкому и мокрому, чем была пропитана его шинель, натягивала бинты. Автомат она положила бережно возле себя, чтобы он не мешал и в то же время был под руками, чтобы его не искать в этой тьме потом, когда она будет эвакуировать раненого.

Когда она кончила перевязывать, раненый шумно вздохнул и ничего не сказал. Только правая рука шевелилась все время, точно он хотел убедиться, что она действует, и он боялся, что рука каждую минуту станет такой же, как левая, к которой страшно притронуться.

Чтобы что-нибудь сказать, она обратилась к раненому, наклонившись к самому его лицу, замазанному грязью и мокрому от пота:

— Ну, как дела там? У нас?

— Плохо! — сказал вдруг ясным голосом раненый. — Плохо, — повторил он и замолчал.

— Ну, что ты! — тревожно сказала она.

Ей стало как-то не по себе от этого ясного голоса. Она знала, что раненые под впечатлением только что пережитого всегда представляют, что дела плохи. Стрельба усилилась до чрезвычайности. Теперь казалось, что на эту темную, грязную ночную землю льется огненный ливень.

Но при свете ракет и зарева она видела, как оттуда, где свирепствовала стрельба, шагают темные фигуры, которые пробираются мимо нее, ныряют в соседние ямы и куда-то исчезают.

У нее сжалось сердце. Она приподнялась над краем ямы и потом почти вылезла из нее, всматриваясь в темноту. Прямо на нее шли люди. Они шли, пригибаясь, втянув голову в плечи, и первый, который достиг ее ямы, остановился, всматриваясь, нельзя ли перепрыгнуть.

— Что там такое? — спросила она. — Куда вы, товарищ?

Солдат, стоявший над ней и казавшийся еще выше ростом от этого, хрипло сказал:

— А кто это здесь?

— Я дружинница. Осторожнее, тут яма,— ответила Женя. — Что там такое?

— Там,— ответил солдат, и винтовка как-то странно качалась в его руке,— пропащее там дело, девушка; немец стреляет, никого в живых поди уже нет...

— А командиры где ваши? — спросила она, схватив его за шинель.

— Командиров побило, — глухо ответил солдат и, наклонившись, сжал ее маленькую горячую руку. — Не держи, эй ты, отпусти меня, беги отсюда, пропадешь!..

И он одним прыжком исчез в темноте, спрыгнув в соседнюю траншею.

— Что же это такое? — спросила она себя. — Они бегут. Бегут. И за ними идут немцы. И вот сюда придут немцы, перепрыгнут, как этот солдат, в ближайшую траншею и потом дальше и дальше, к городу — и все кончено...

Приближалась целая группа. Смотря на эти трепещущие в свете ракет фигуры, она задрожала всем телом от негодования и боли. Что делать? Она окинула взглядом все ночное пространство, такое дикое и мрачное, такое огромное, что она перед ним просто ничто, травинка, которую сожжет первый разорвавшийся снаряд самым маленьким своим осколком.

И вдруг она почувствовала, что она сильнее этой ночи, дышащей на нее смертью, и этого темного пространства, угнетавшего ее страхами, и этих больших бегущих людей, опустивших винтовки, и того злобного невидимого врага, что освещает этот мрак ракетами и стреляет так шумно, страшно и непрерывно.

Что-то сжало ее сердце, но это не было ни страхом, ни болью. Это было ощущение того полета, как во сне, когда она сама засмеялась: «Я еще расту!» Ноги стали крепкими, а маленькие руки сжались в кулаки. Она вся трепетала от какого-то удивительного: все равно! Ей было все равно теперь, что стреляют, что осколки свистят над головой, все равно, что она маленькая и слабая, все равно, что она не умеет командовать. Это и

было то мгновение, когда предельный восторг захватил ее с головы до ног. Что знала она о жизни, эта маленькая бывшая школьница? И вдруг она стала мудрой, неумолимой, беспощадной и страшно гордой. И безжалостной. Она схватила автомат и встала во весь рост перед теми, кто уже почти приблизился к ней, отступал.

— Стой! — закричала она таким тонким и таким сильным голосом, что люди остановились. Она выпустила в темноту вдоль траншеи короткую очередь.

— Стой! — кричала она и уже бежала навстречу тем, кто остановился, не понимая, чего хочет от них эта маленькая девочка, хромавшая по взрытому полю. Они подошли вплотную. Она не могла рассмотреть лиц, но чувствовала, что на нее смотрят много глаз. За этими, стоявшими перед ней, она видела других, появлявшихся из мрака.

— Стой! — сказала она еще раз. — Бежите? А ну, назад! За мной! Посмотрю я, какие из вас герои! А ну, вперед! Повертывайся!

И она стояла с автоматом, не помня, что говорит и что делает. Она только доверяла тому большому, от чего содрогалось все ее существо. И они, эти тяжело дышавшие солдаты, покорно, как ей показалось, повернулись. Она шла с ними назад, туда, откуда свистели пули и летели снаряды.

Они достигли следующей группы. Она схватила за плечо маленького солдата со смешной юношеской бородкой.

— Откуда ты? Где вы были?

— Там, — сказал он, показывая рукой направо.

— Иди обратно! И они с тобой? Все идите обратно. Живо вперед!

Они не прекословили. Они как-то не в лад повернулись, и теперь она вела их, сжимая автомат и почти улыбаясь. Она сама не знала, что она улыбается, и никто этого не видел в темноте.

Она возвращала все новые и новые группы. Она доводила их до брошенных ими окопов, спрашивала:

— Здесь сидели? Здесь сидеть — назад ни шагу!

Она не прибавляла: «Шагнешь — убью», но она знала твердо, что будет стрелять, что ее ничто не остановит,

что эти смятенные, тяжелые, мрачные люди не смеют ей сопротивляться, ее силе, ее воле, маленькой, тщедушной школьнице, которой трудно дышать от мокрой шинели, воротник которой трет ей шею, от быстрой ходьбы, от страшного возбуждения.

Может быть, вокруг было то, что в газетных корреспонденциях называют «адам». Да, так это и было. Один раз солдат, шедший с ней рядом, сильным толчком бросил ее на землю, и над их головой грохнуло так, что, казалось, голова расколется от этого удара, но в следующее мгновение она была уже на ногах, и тот, толкнувший ее, сказал смущенно:

— Прости, крепко ударил, а то бы не уцелели. Не ушиблась?

Но она не ответила и пошла, пригнувшись, дальше. Она обходила траншеи, перевязывала раненых, следила, чтобы никто больше не смел отползть назад, она спрашивала, сколько у них патронов, стреляла в темноту, откуда продолжали сыпаться снаряды и ракеты, лежала в воронках, прижимаясь к земле, переползала по холодной траве, царапая руки о какие-то жестянки и камни. Ночь была бесконечной.

Снаряды не переставали рваться. Мины лопались с квакающим хрипом, трассирующие пули разноцветными струями проносились перед ней.

Она спросила одного паренька, сильно сопевшего в полумраке окопа:

— Ты знаешь, где штаб батальона?

— Ни черта он не знает! — ответил за него другой голос. — А что, товарищ начальник?

Ее поразил этот ответ. Ее называют товарищем начальником. Наверное, эти люди будут днем сильно смеяться, когда увидят ее при ясном солнечном свете. Но она ответила сразу:

— А вы знаете, где штаб?

— Знаю, только туда сейчас трудноато пройти будет...

— Вы пойдете туда и отнесете мою записку, слышите?

— Слышу, товарищ начальник, — сказал солдат, — Давайте пишите.

Она вынула свой блокнот и написала кратко, что про-

сит прислать командира; вместо связного будет присланный с запиской.

Солдат перевалился за бугор и растаял в темноте. Ночь продолжалась. Подул холодный, пронизывающий ветер. Глаза слипались. Руки и ноги стала сводить усталость. Опьяняющий восторг первых минут давно прошел. Хотелось упасть и заснуть. Но она сидела, поставив автомат между колен, и смотрела перед собой, оглушенная грохотом, и равнодушно слушала, как визжат пули, рикошетируя вблизи.

Потом она собрала всю волю и, зевнув в кулак, поползла проверять свои окопы. Бойцы лежали и сидели, согнувшись в три погибели, шептались и кашляли, стреляли, изредка вскрикивали раненые.

...Перед ней стоял командир, высокий, в ремнях, с наганом у пояса, с противогазом, широколицый, с прищуренными глазами, как будто сомневающимися в том, что видят.

— Кто здесь командует? — спросил он, строго глядя на маленькую фигурку с автоматом, прижавшуюся в изгибе окопа. На него смотрели большие глаза, и ему показалось, что эта испуганная девочка сейчас скажет ему: «Я хочу домой, к маме! Я боюсь!»

Но она сказала тихо и медленно:

— Здесь командую я!

И он, приложив руку к козырьку, сказал быстро и четко:

— Я прибыл принять участок по приказанию командира батальона. Это вы послали записку?

— Я, — ответила она еще тише. — Я вам сейчас все дам. Идемте!

ДЕВУШКА

Неуклюжая тетка в большом байковом платке набежала на нее в темноте, испуганно вскрикнув:

— Ай, кто это здесь?

— Я! — сказала девушка, сидевшая на ступеньках. — Это я, Поля.

— Чего ж ты не бежишь-то!.. Ведь тревога гудит! Сейчас бомбы тебе на голову пустят.

— Вот я их и жду... — спокойно сказала Поля.

— Чего ж их ждать-то, спасайся в убежище.

— Моя служба такая. Иди, иди, тетка, а то и вправду тебя защитит...

— И пойду. А она ишь сидит на ступеньках — бесстрашная какая...

— Я не бесстрашная, я — разведчица.

Поля сидела на ступеньках и во все глаза следила за небом, на котором пересекали друг друга прожекторы, лопались ракеты, повисавшие красными пучками, золотые нити трассирующих пуль уходили в синий купол, и над всем стояло прерывистое, враждебное гудение летавших над городом самолетов. И, всем телом сжавшись, ждала она того страшного завывания, гула и огненного плеска, который должен сейчас возникнуть, и Поля первая бросится туда, чтобы просигнализировать в штаб местной обороны, куда ударила бомба.

Втянув голову в худенькие свои плечи, закрыв глаза, слушала она нарастающий вой. Раскалывающий голову удар пронесся по улице. Теплая волна ударила в уши, толкнула в грудь. Поля вскочила, шатаясь, и уже бежала по улице туда, где только что упали стены и еще стояло, не рассеявшись, облако дыма. Свежие развалины вставали в темноте ночи. Зубцы изорванной стены чернели высоко над девушкой, улица была усеяна обломками, битым стеклом, каким-то невообразимым сором. Через минуту она уже звонила из соседнего дома о размерах бедствия. И сейчас же бросилась в тьму развалин, откуда слышались крики, стоны, вопли.

Так было изо дня в день. Никто быстрее ее не обнаруживал очага поражения, никто не умел так самозабвенно работать, так ухаживать за ранеными, так проводить целые ночи среди шатающихся стен, рушащихся балок и людей с перекошенными лицами. Особенно умело она откапывала детей.

Иногда, обтирая пот обратной стороной ладони, она садилась и смотрела на работу спасательных команд как будто со стороны. Развороченные дома, темный город, мелькающие в руках людей маленькие фонарики — все ей казалось невесомым, несуществующим, невываемым.

Ведь были какие ночи — мирные, веселые, с огнями трамваев, с песнями, танцами, молодежью... Да, все это было. Все это будет. А сейчас...

— Что же это я засиделась! — кричала она себе, и вскакивала, и снова помогала таскать, разгрести щебень, работать киркой и лопатой.

Она стала удивительно спокойной, твердой в решениях, крепкой нервами. Ее ничто не могло уже удивить.

Раз, прибежав, она увидела при лунном свете, как высоко над грудой рухнувших этажей, точно в воздухе, стоит женщина в одной рубашке, прижавшись к остатку стены, в углу, случайно уцелевшем на пятом этаже. Женщина стояла, как статуя, как мертвая, упершись руками в куски стены справа и слева. И Поля смотрела, не отрываясь, на белое пятно ее рубашки. Она думала только о том, как бы поскорее ее оттуда достать и как это сделать.

Другой раз прямо на нее бежала молодая, с растрепанными волосами, женщина, прижимая к груди ребенка. Испуганная взрывом, вне себя от страха за ребенка, она могла бежать так через весь город. Поля схватила ее в объятия, погладила по голове, сказала:

— Вот и все!

— Что все? Что все? — забормотала женщина.

— Все, — сказала Поля, — уже все. Больше страшного не будет. Сядь, отдохни. Сейчас я тебя укрою...

И она отвела сразу успокоившуюся женщину на санитарный пост.

Сколько она перетаскала раненых, ушибленных, искалеченных, эта хрупкая девушка с большими, слегка удивленными глазами, скольких успокоила, ободрила, даже рассмешила своими острыми словечками, сказанными кстати.

— Скоро юбилей будешь праздновать, Поля, — говорили подруги, — у тебя уже к сотне спасенные приближаются.

Бомбежки сменились бомбардировками. Это было не так шумно, но подбирать раненых на улице, в темноте, под визг осколков и свист пронесившихся над головой снарядов, было делом нелегким. Но она подбирала; десятки раненых перетаскала она на своей спине.

Огневой налет в тот отвратительный, холодный, ветреный вечер был особенно жестоким. Поля прижалась к стене за ящиком с песком, и над ее головой осколки ударили в дом. Посыпалась кирпичная пыль, по мостовой запрыгали куски штукатурки, выбитые стекла. Потом кто-то застонал почти рядом. Улица была пустынна. Редкие пешеходы лежали на земле, вставали, бежали в дома или снова прижимались к мостовой.

Поля прислушалась. Стон был действительно рядом. Она осторожно перебежала туда. Пламя нового снаряда осветило улицу. Она упала. Снаряд попал в тротуар, и звон удара долго жил в ушах. Сердце колотилось. Поля увидела лежавшего у дома паренька. Где она его видела раньше? Ну конечно весной, на футбольном матче. Изумрудная лужайка. Смех вокруг. Разноцветные майки. Молодость. Солнце. Яркая музыка, теплый ясный день с курчавыми облаками, и этот парнишка, которому приятели кричали:

— Эй ты, хавбек! Держись!

Сейчас он лежал без памяти, но когда Поля нащупала его рану, — он был ранен осколком в бедро, — он очнулся и застонал еще сильнее. И она сказала, перевязывая его:

— Эй ты, хавбек! Держись! Слышишь?

Парнишка замолчал, и она помогла ему встать. Но идти он не мог. Он почти навалился на нее, и она тащила его во тьме, рассекавшейся красными длинными мечами.

Но, вероятно, этот удар расколол пополам улицу, и все дома, и все вокруг, потому что Поля потеряла сознание. Она лежала на мягкой зеленой лужайке, и ей теперь говорил незнакомый голос: «Эй ты, хавбек, держись!» Но она не могла ни смеяться, ни даже пошевелиться. «Это мой девяносто восьмой раненый», — подумала она почему-то и снова потеряла сознание. Но в руке она держала руку того, лежавшего молча рядом.

И когда над ними наклонились люди, Поля сказала чистым, звонким голосом:

— Возьмите его, он тяжело... в бедро... — и не договорила.

— Ноги, — сказал кто-то в темноте, — она ранена в ноги.

Она не слышала. Она говорила кому-то на мягкой зеленой лужайке:

— Мне холодно, какая зеленая холодная трава...

Больше она ничего не видела в эту ночь...

...Но она осталась жива. Когда она впервые пришла в себя, был действительно мягкий солнечный день и в окно глядели большие зеленые сосны.

НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК

Человек стоял, запыхавшись, злой и растерянный.

— Насилу вас нашел, в этой тьме и собственного дома не отыщешь,— сказал он, сшибая снег с шапки.— Это, что ли, родильный?

— Это,— сказали ему.— В чем дело, товарищ?

— В чем дело?.. Женщина там, в переулке, рожает, вот в чем дело...

— А вы кто такой?

— А я прохожий. С ночной смены иду. Идемте скорее. Я покажу вам. Ну и дела! Иду, а тут она... И никого нет, кроме меня... А я же не акушерка.

Через минуту Ирина, санитар и прохожий быстро шли по сугробам. Было очень темно. Дома стояли как скалы. Ни одного огонька не светилось. Вьюга мела вихри, завитки снежной пыли носились по воздуху; казалось, что улицей пробегают тени разведчиков, прозрачные, холодные, быстрые.

Они присели у сугроба, уткнувшись в спину друг другу. Равномерное тонкое нарастающее гуденье приближалось откуда-то из-за угла, и грохот разрыва пронесся по улице. С одного дома слетели ледяки-сосульки и звонко разбились внизу.

— Ох, не задело бы ее! — сказала Ирина.

— Нет, она по другую сторону, ищите там, — сказал прохожий, — вот за тем фонарем и ищите. А я пошел. А то вот он как кидается сегодня. Еще пришибет.

Ирина не была специалисткой по родам, она дежурила по приему рожениц, но сейчас нужно было идти в ночь, где рвутся снаряды, и отыскать эту рожаящую

женщину, во что бы то ни стало помочь ей. Ждать тут было нечего. Никто другой на помощь не придет. Глухая ночь. Вьюга, мороз, стрельба. Над головой с лязганьем и завыванием проносились все новые снаряды. Ирина перебегала с санитаром от сугроба к сугробу и останавливалась, прислушиваясь.

Стон донесся справа. Они бросились туда. И действительно, за фонарем, как указывал прохожий, прижавшись спиной к стене дома, у запертых наглухо ворот сидела на снегу женщина. Ирина упала перед ней прямо в снег на колени, и женщина схватила ее за руку жаркой дрожащей рукой.

Да, эту женщину доставлять в родильный дом было уже поздно: она рожала. Рожала на снегу, в черную зимнюю ночь, освещенная вспышками рвущихся снарядов. Ирина огляделась. Все походило на угрюмый вымысел. Снег сыпался за ворот, сильные порывы ветра ударяли в лицо, руки холодели, сердце билось от волнения так, что она слышала его стук. Казалось, никакого Ленинграда нет, есть дикая, темная пустыня, заметаемая зимней бурей под вой вражеских снарядов. Напрасно стучать в эти наглухо закрытые ворота, напрасно кого-то звать — улица пустынна, до утра по ней может не пройти ни один человек.

И тут, в этом мраке, на этом открытом всем ветрам месте, рождается новая жизнь. Надо ее спасти, надо ее отнять у холода, мрака и пушек. Ее ухо больше не слышало выстрелов и разрывов. Она помогала женщине так, будто дело происходило в комнате, так, как это всегда...

...Она высоко подняла ребенка, как бы показывая его всему лежащему во мраке великому городу. Она несла его, прижав к своей груди, горячий всхлипывающий комок, накрыв его своей шубкой. Она шла по снегу, на котором не было еще следа человеческой ноги.

За ней, поддерживаемая санитаром, как большая взлохмаченная птица, тащилась роженица. Она падала в сугробы, ее запекшиеся губы шептали:

— Я сама...

Санитар, сам усталый, измученный человек, говорил только одно:

— Сейчас пройдем, сейчас, уже близко...

Вьюга бросала им в лицо пригоршни сухого снега. Где-то сыпались дождем стекла после громового удара. Они шли как победители ночи, холода, канонады.

Мать знала уже, что родилась девочка. Она иногда протягивала руку вперед, к Ирине, несшей ребенка, точно хотела остановить ее, и снова опускала руку.

Они пришли в родильный дом. И когда женщина уже лежала в кровати и около нее суетились и помогали ей устроиться получше, она подозвала Ирину и сказала строгим, почти суровым шепотом:

— Как тебя зовут?

— А зачем вам это? — спросила Ирина.

— Хочу знать!

— Ирина зовут меня. А к чему вам мое имя?

— Дочку так назову — пусть тебя помнит. Ты ее спасла... Спасибо тебе от души...

И она поцеловала её три раза... Ирина отвернулась и заплакала, сама не зная почему.

ВСТРЕЧА

Он быстро шел по обледенелому тротуару, погруженный в свои думы. Изредка он кидал взгляд на дома, темные, вечерние, зимние дома военного времени. Иногда он проходил мимо развалин, не замедляя шага. У одного только здания с широким входом он задержался невольно. В этом доме помещался Детский театр. Сколько шума, веселой суетни, гама и восклицаний знали эти стены! Сколько восторженных, сияющих глаз смотрели на сцену, какие овации вырывались из сердец маленьких зрителей и как дорожили этим детским вниманием взрослые — талантливые актеры этого прекрасного театра!

Теперь все было пусто и мрачно. Только клочки афиш, обледенелые разноцветные куски бумаги, трепал ветер, пробегавший по темной улице. Режиссер вздрогнул и ускорил шаги. Он ясно представил себе артистов, еще недавно весело шутивших, сидевших перед большими

зеркалами, гримировавшихся, повторявших роли с таким же увлечением, с каким там, в зале, следили за их жизнью на сцене маленькие люди большого города.

Иные из этих артистов уехали, а иные... Он вспомнил с жестокой ясностью двух, которые работали в его бригаде на фронте. Какая простая стала жизнь! Они сумели быть артистами в тесных блиндажах, где суровые, с обветренными лицами бойцы высоко ценили их искусство. Они выступали с площадки грузовика, среди больших снежных полей, они играли на пространстве в несколько метров в землянках, они были веселые, хорошие люди, простые сердца, и фамилии у них были простые: Семенов, Емельянов... Они пробирались под визг мин, под оглушительный рев снарядов по ходам сообщения, перебежками по полю на передовые, они не отступали перед опасностью.

Они умерли одновременно в тихое зимнее утро, и другие артисты с железной дисциплиной людей искусства без них провели бригадное выступление.

Режиссер сам видел, как два черных смерча поглотили их и как покраснел снег на том месте. Да, все стало просто, как этот темный город, который когда-то весь сиял и переливался огнями. Величественная простота вечера, темных зданий, пустынных улиц — и такая же простота жизни и смерти.

Режиссер внезапно ускорил шаги, так как он увидел, как шедший впереди него пешеход покачнулся и стал взмахивать руками. Эти взмахи были похожи на слабые движения утопающего. Режиссер добежал до него и подхватил под руку. Пешеход упал головой ему на плечо, и они так стояли несколько мгновений. Режиссер увидел старика с исхудалым лицом, большими лихорадочными глазами, жадно глотавшего воздух широко открытым ртом.

Наконец, старик, покачнувшись еще раз, несколько пришел в себя. Он взглянул на пришедшего к нему на помощь и сказал тихим хриплым голосом:

— Простите меня великодушно, я ослабел...

— Вы далеко живете? — спросил режиссер.

— Нет, — отвечал старик, опираясь на него, как на

великана, и действительно, режиссер казался великаном рядом с тщедушным, тонким, почти призрачным стариком.

— Нет, — повторил старик. — Я живу вон в том доме, в конце улицы...

— Я провожу вас, — сказал режиссер, — мне по дороге.

Он взял старика под руку, и они отправились.

Старик шел вздыхая и что-то шепча. Режиссер поддерживал его бережно, как больного отца. Так они молча, спотыкаясь на льдистом тротуаре, дошли до ворот дома, до подъезда, черного, как пещера.

Старик сказал: «Здесь» — и прислонился к дверям подъезда. Режиссер стоял против него. Старик медленно поднял голову, осмотрел улицу, взглянул на темное холодное небо и пристально всмотрелся в своего спутника.

— Молодой человек, — сказал он, и бледная тень улыбки появилась на его тонких, почти черных губах, — знаете ли вы, в каком городе вы живете?

Режиссер молчал. Старик приблизил свое исхудалое лицо к его лицу.

— Вы живете в Илионе, — сказал старик громко.

— В Илионе, — повторил режиссер, — почему вам пришла мысль сравнивать наш город с Троей древних?

— Простите меня, я — старик, я старый преподаватель древней истории... Я не знаю города, легенда о котором была бы так величественна, как легенда о Трое, и только наш город сегодня — не кажется ли вам? — не только сравнялся с Илионом, но... — сказал он совсем тихо, — но и превысил его своим героизмом...

Режиссер ответил не сразу. Они стояли друг против друга в безмолвной тишине у входа, черного, как пещера, и, как крепостные стены, поднимались дома вокруг них.

— Пожалуй, вы правы, — сказал режиссер, — но в нашей Трое не будет троянского коня! Не будет — никогда!

Они горячо пожали друг другу руки, взаимно пожелали спокойной ночи и расстались.

ЛЬВИНАЯ ЛАПА

Юра не принадлежал к тем мальчикам, которым все время говорят взрослые: не путайся под ногами. Нет, он хоть был мал,— ему было всего семь лет,— но он пропадал по целым дням в парке, или на улице, или в зоологическом саду. Зверинец был перед его домом через дорогу. Он часто забирался в сад, и ему очень нравились звери.

Но ему было страшно стыдно сознаться, что больше всего он любил большого гипсового льва, стоявшего на столбе у кассы перед входом в сад.

С тех пор как он его увидел первый раз, он уже не мог относиться к нему равнодушно.

— Он охраняет сад, чтобы зверям не сделали худа разбойники, да, мама? — спросил он однажды мать.

— Да, да, — рассеянно ответила она, и он остался очень доволен, что мать не спорила с ним в таком важном вопросе.

Большой гипсовый лев гордо возвышался над входом, и всякий раз Юра приветствовал его дружески и почтительно.

...Над городом выли сирены, и матери, волнуясь и спеша, собирали детей и загоняли их в бомбоубежища. Юра сидел в подвале на скамейке, и его маленькое сердце ёкало. Страшные, неведомые ему грохоты ясно доносились сюда, в большой низкий подвал. Иногда подвал вздрагивал, как в испуге, что-то сыпалось вдоль стен снаружи, доносился звон разбитых стекол.

— Вот разбойники, прилетели опять, — говорили женщины возмущенно; старухи крестились при каждом особенно громком разрыве.

Вдруг дом трянуло так, точно кто хотел его вырвать из земли вместе с фундаментом и подвалом, как дуб с корнями, но потом раздумал и только очень сильно покачал.

— Эта близко упала, — сказала Юрина мама, — может, даже напротив...

И она не ошиблась. Когда тревога кончилась, все бросились смотреть, куда упала бомба. Юра побежал вместе с матерью. Бомба упала в зоологический сад,

убила слониху, ранила обезьян, и испуганный соболь бегал по улице, вырвавшись на свободу.

Но Юра, плача, кричал одно:

— Мама, лев!

Столько отчаяния было в этом Юрином вопле, что мать невольно взглянула, куда указывал Юра. Его прекрасный кумир — большой гипсовый лев — лежал на боку, положив огромную белую голову на лапу. Задних ног у него не было. Одна передняя лапа была раздроблена, но грива осталась такой же царственной, и взгляд его был строг и неподвижен, как всегда.

— Мама, разбойники убили его! — кричал Юра. — Мама... он сражался с ними...

И он бросился что-то искать у подножия столба, избитого осколками. Он рылся в обломках, и слезы текли неудержимо из его голубых глаз. Он что-то все-таки отыскал и теперь судорожно прятал в карман.

— Юра, что ты там делаешь? — сказала мать. — Что ты там в грязи копаешься? Перемажешься только, брось сейчас подбирать всякий мусор...

Юра не мог уйти. Он все ходил кругом столба и смотрел на лежавшего на боку льва, как будто хотел запомнить на всю жизнь этого бедного безмолвного зверя, стоявшего у входа в сад и сторожившего покой зверей несколько десятилетий. Юру не привлекали воронки, разломанный забор, перевернутая будка, касса, от которой осталось несколько столбиков, ни даже песок, бегавший где-то тут, в парке, между кустов. Он смотрел только на льва.

Однажды вечером к Юриной маме пришел запыленный военный. Он сидел за столом, пил чай, и Юра смотрел на него усталыми глазами, которые слипались все больше с каждой минутой. Он так набегался сегодня, что плохо уже слышал, что рассказывал военный. А военный рассказывал о фронте, о том, какие там бойцы, как они бьются с немцами, какие совершают подвиги; он рассказывал о мамином брате, получившем орден Красного Знамени. Мама заметила, что Юра совсем валится со стула, сонный и усталый, и она повела его спать. Уже раздевшись, сидя на постели, он сказал:

— Правда, что дядя Миша получил орден Красного Знамени?

— Правда, он сражался, как лев. Вот ты вырастешь, будешь таким же храбрым. Дядя Миша приедет — тебя научит воевать.

— Мама, — сказал он, — он сражался, как тот лев...

— Какой тот? — спросила мать. — Это всегда говорят так, когда сражается красноармеец, — как лев...

— Ну, значит, он сражался, как тот лев, — отвечал, не слушая ее, Юра. — Значит, хорошо сражался... Я буду тоже так сражаться...

— Ну, спи, спи, — сказала мать. — А то еще тревога будет, надо до тревоги выспаться.

Тревоги стали теперь постоянным явлением. Юру не всегда удавалось загнать в подвал. То он пропадал где-то на улице, то вылезал на крышу, пробравшись на чердак, то дежурил на санитарном посту. Он уже привык к зениткам, к качанию дома, к глухим ударам бомб.

— Где ты пропадаешь? — спросила его мать. — Ищешь, ищешь тебя — нигде нет. Не смей далеко от дома отходить. Без отца совсем распустился. Вот отец с корабля вернется, он с тобой поговорит. Совсем от рук отбился.

— Я у нас за домом баррикаду строю... — сказал он серьезно.

— Какую баррикаду?

— Уже на Большом строят, мама, баррикады. Я сам видел, и мы строим. Я сговорился с мальчишками...

Через три дня, после сильного налета, его принесли оглушенного взрывом бомбы. Мать, бледная, с растрепанными волосами, дрожащими руками раздевала его. Он лежал тихий, но уже пришедший в себя. Его только толкнуло слегка воздухом и бросило оземь.

— Я строил баррикаду за домом, — сказал он тихо, виноватым голосом. — Я жив, мама, ты не бойся.

Мать вытряхивала из его карманов всякую всячину, ища платок.

— Что у тебя за дрянь в кармане всякая, — сказала она, вытаскивая большой, ставший уже серым, кусок гипса.

— Мама! — закричал Юра. — Не трогай! Это львиная лапа. Оставь! Это мне нужно. Это у меня на память.

Мать удивленно смотрела на кусок гипса. Действительно, на нем был ясно заметен большой полукруглый коготь.

— Зачем тебе это? — спросила мать. — Это ты там в мусоре отыскал?

— Это на память, — сказал он, хмуря свой маленький лоб.

— Да зачем тебе на память — не понимаю, Юрик, маленький, — нежно сказала мать.

— Я отомщу за него... этим разбойникам! Пусть только мне попадутся. Я им припомню...

СЕМЬЯ

— Даша, иди-ка, мать, сюда, разговор один есть, — сказал Семен Иванович.

Даша посмотрела на мужа так, как будто видела первый раз перед собой этого широкоплечего серьезного человека с неторопливыми движениями и суровыми глазами, давно уже не улыбавшегося и не отпускавшего шуток по ее адресу. Она вытерла руки о передник, села на стул и сказала, отводя взгляд куда-то в угол:

— Да знаю я твой разговор, Семен.

— Знаешь? Откуда же ты знаешь?..

— Сердцем чую. Ну, уж говори...

— Притвори дверь, чтоб Оля не слышала...

— Оля ушла за водой, а я тебе сама подскажу; ты только меня поправь, если что не так... Я ведь видела, как ты после смерти Кости мучаешься. Ну что же, Костя погиб, защищая Ленинград, хорошей, чистой смертью умер, а этим фашистским выродкам надо мстить, Семен Иванович, надо мстить ежедневно, ежечасно. Чего они творят, мерзавцы, не перескажешь, язык не поворачивается — такой страх; презираю я их и ненавижу — за Костю, за брата. Мстить им хочешь, на фронт решил. Да? Права я?

Семен Иванович ударил ладонью по колену, встал, подошел к ней, обнял ее, поцеловал, сказал:

— Эх ты, угадчица! Правильно, все так и есть. Что-

бы не раздумывать, я уж и бумаги оформил. Вот, мать, какие дела — одним бойцом больше стало. Не могу я работать — душа кипит. А я старый солдат — империалистическую всю прошел, стрелять не разучился. Только, мать, времени у меня мало. Собери, что там нужно со мной вещейек...

— Все будет в порядке, — сказала тихо Даша.

Она подошла к окну и взглянула на улицу: не идет ли Оля. На улице было множество людей, как в праздник. Все шли пешком, потому что трамваи не ходили. Люди тащили саночки с дровами, с какими-то мешками; на иных санках сидели старики или старухи, закутанные в платки, обмотанные шарфами.

Воду везли тоже на санках. Ее везли в детских ваннах, в бидонах, в ведрах, в жестяных ящиках. Люди скользили на мостовой, вода выплескивалась и замерзала ледяными языками. Мороз был жестокий. Порывы ветра налетали с залива, бросали в глаза людям пригоршни колючего снега, ледяной пыли. Люди обвязали себе лица до рта черными повязками и шли как бы в полумасках, как ряженые. Даша некоторое время смотрела на пестрые толпы, двигавшиеся непрерывно. Под полумасками намерзали от дыхания ледяные кружева. Белый пар клубился изо рта пешеходов. Трудно было увидеть Олю с ведром в густоте этого человеческого потока. Оля должна прийти с минуты на минуту.

— У меня тоже есть разговор, — сказала отвернувшаяся от окна Даша. — Я тоже решила: раз ты на фронт — я тебя заменяю. Не перебивай меня, Сеня, послушай, что я скажу. Город наш в осаде. Невесть какие мучения люди принимают. Город фронтом стал, в газетах нынче пишут. И это правда. А если так — ты уходишь за брата мстить гитлеровцам, — я на твое место встаю. Я еще женщина крепкая — выдержу, не беспокойся. Я понятливая, работу люблю. Тебя не подведу. Стыдиться жены не будешь... Дело понимаю. Ведь я с завода ушла только из-за детей...

— А сейчас? — сказал Семен Иванович.

— Что сейчас?

— Да ведь Петя мал еще. Да и Оле всего двенадцать. Слабенькая она. Как же дети-то будут, если я и ты из

дому уйдем вместе? Завалится дом, мать; ты подумала об этом?

— Подумала, хорошо подумала, Сеня. И вот что я надумала: отправлю детей на Пороховые, там у меня подруга старая есть — у ней тоже погодки с моими; попрошу ее их пригреть. Вот тебе и руки свободные. Не те времена, чтобы думать о семейной жизни. Может, увидимся, а может, и нет. Да и дома наши враг рушит. Надо бороться с ним, нечего руки сложа сидеть. Никто за тебя драться не будет — сама дерись... Правильно я говорю, Сеня?

— Правильно, мать,— сказал Семен Иванович,— хорошо говоришь.

Вошла Оля. Оставив ведро с водой на кухне, она сразу, чтобы погреться, вошла в комнату, прошла к маленькой печурке и стала греть озябшие маленькие посиневшие руки. Какими-то необычайными показались ей сегодня отец и мать.

— Мама! — сказала она.— Отчего вы такие, ну, отчего вы такие? Что случилось? Кого еще убили? Нет, правда, вы что-то скрываете?..

— Нечего нам от тебя, девочка моя, скрывать,— сказала Даша, — вот раздевайся и слушай внимательно, что мы тут решили.— И скороговоркой, набрав сразу дыхание, она сказала: — Отец на фронт идет, а я на завод, а вас отправляю к тете Леле на Пороховые... Вот, дочка...

Оля подбросила в печурку два полешка и сидела перед печуркой, смотря в ее низкий, неохотно разгорающийся огонь. Не подымая головы, она спросила:

— А нас с Петькой зачем на Пороховые?

— А кто же в доме, девочка, управляться будет? И в очереди за хлебом ходить, и дрова доставать, и воду таскать, и Петю кормить? Он вот вернется от соседских ребят — надо за ним посмотреть, последить... Кто же тут управится, если меня не будет?..

— Мама, не пойдем мы с Петькой на Пороховые, не люблю я тетю Лелю. Ну ее к богу! Она ворчит, ворчит целый день... А кто тут управится? Я управлюсь!

Она вдруг встала, резко сбросила шубенку с худых, почти мальчишеских плеч, тряхнула головой и начала говорить:

— Плохо я сейчас управляюсь? Воду ношу, подумаешь! Дрова я знаю, где брать, мне Валька из семнадцатого поможет; печку растопить — подумаешь, какие разносолы на обед; за хлебом — с той же Валькой по очереди будем стоять; Петьку я и так каждый день кормлю. Не думай, что я маленькая. Теперь маленьких нет. Все мы большие. Идите оба, раз нужно, — идите. Ты же домой приходишь будешь? Будешь?.. Ну и ладно! А трудно мне будет — подумаешь, всем трудно. Ни на какие Пороховые я и не двинусь. Вот, мама. Так и будет, мамочка дорогая, все хорошо будет. Дай я тебя поцелую... Вот и все, подумаешь...

РУБ И

Мороз был такой, что руки чувствовали его даже в теплых рукавицах. А лес вокруг как будто наступал на узкую ухабистую дорогу, по обе стороны которой шли глубокие канавы, заваленные предательским снегом. Деревья задевали сучьями машину, и на крышу кабинки падали снежные хлопья, сучья царапали бока цистерны.

Много он видел дорог на своем шоферском веку, но такой еще не встречал. И как раз на ней приходилось работать, будто ты двужильный. Только приехал в землянку, где тесно, темно, сыро, только приклонил голову в уголке, между усталыми товарищами, уже кличут снова, снова пора в путь. Спать будем потом. Надо работать. Дорога зовет. Тут не скажешь: дело не медведь, в лес не убежит. Как раз убежит. Чуть прозевал — машина в кювете: проси товарищей вытаскивать, — самому не вызволить, и думать об этом забудь. А мороз? Как будто сам Северный полюс пришел на эту лесную дорогу регулировщиком.

То наползает туман, то дохнет с Ладоги ветер, какого он нигде не видел, — пронзительный, ревущий, долгий. То начнется пурга, в двух шагах ничего не видно. Покрышки тоже не железные, сдают. Товарищей, залезших в кюветы, надо выручать, раз едешь замыкающим; и

главное — груз надо доставить во-время. А как он себя чувствует, этот груз?..

Большаков остановил машину, вылез из кабины и, тяжело приминая снег, пошел к цистерне. Он влез на борт и при бледном свете зимнего полдня увидел, как по атласной от мороза стенке стекает непрерывная струйка. Холодок прошел по его спине. Цистерна текла. Цистерна лопнула по шву. Шов отошел. Горючее вытекало.

Он стоял и смотрел на узкую струйку, которую ничем не остановить. Так мучиться в дороге, чтобы к тому же привести к месту пустую цистерну? Он вспоминал все свои бывшие случаи аварий, но такого припомнить не мог. Мороз обжигал лицо. Стоять долго и просто смотреть — этим делу не поможешь.

Он, проваливаясь в снег, пошел к кабинке. Политрук сидел, подняв воротник полушубка, уткнув замерзающий нос в согретую его дыханием овчину.

— Товарищ политрук,— позвал Большаков,— придется побеспокоить.

— А что, разве мы приехали уже? — спросил политрук, мгновенно пробудившись.

— Выходит, приехали,— сказал Большаков. — Цистерна течет. Что будем делать?

Политрук вывалился из кабинки. Он протирал глаза, спотыкался, но когда увидел, что случилось, стал задумчиво хлопать руку об руку, соображая, потом сказал:

— Поедем до первого пункта, там сольем горючее, в ремонт пойдем. Так?

— Да оно как бы и не так,— сказал Большаков.— Как же оно так, если мы горючее не куда-нибудь, а в Ленинград, фронту срочно везем. Как же его просто сольешь? Его не сольешь.

— А что ты можешь? — сказал политрук, смотря, как скатывается бензиновая струйка вдоль разошедшегося шва.

— Разрешите попробовать — чеканить его буду,— ответил Большаков.

Он открыл ящик со своими инструментами, и они показали ему орудиями пыток. Металл был как раскаленный. Но он храбро взял зубило, молоток, кусок мыла,

похожего на камень, и влез на борт. Бензин лился ему на руки, и бензин был какой-то странный. Он жег ледяным огнем. Он пропитывал насквозь рукавицу, он просачивался под рукав гимнастерки. Большаков, сплевывая, в безмолвном отчаянии разбивал шов и замазывал его мылом. Бензин перестал течь.

Вздыхнув, он пошел на свое место. Они проехали километров десять. Большаков остановил машину и пошел осмотреть цистерну. Шов разошелся снова. Струйка бензина бежала вдоль круглой стенки. Надо было все начинать сначала. И снова гремело зубило, и снова бензин обжигал руки, и снова мыльная полоса наращивалась на разбитые края шва. Бензин перестал течь. Дорога была бесконечной.

Он уже не считал, сколько раз он слезал и взбирался на борт машины, он уже перестал чувствовать боль от ожогов бензина, ему казалось, что все это снится: дремучий лес, бесконечные сугробы, льющийся по руке бензин.

Он в уме подсчитывал, сколько уже вытекло драгоценного горючего, и по подсчетам выходило, что не очень много — литров сорок, пятьдесят; но если бросить чеканить через каждые десять — двадцать километров, вся работа будет впустую. И он снова начинал все сначала с упорством человека, потерявшего представление о времени и пространстве.

Ему уже начало от усталости казаться, что он не едет, а стоит на месте и каждые сорок минут хватается зубило, а щель все ширится и смеется над ним и его усилиями.

Неожиданно за поворотом открылись пустые странные пространства, огромные, неохватные, белесые. Дорога пошла по льду. Широчайшее озеро по-звериному дышало на него, но ему уже было не страшно. Он вел машину уверенно, радуясь тому, что лес кончился. Иногда он стучался головой о баранку, но сейчас же брал себя в руки. Сон налегал на плечи, как будто за спиной стоял великан и давил ему голову и плечи большими руками в мягких, толстых рукавицах. Машина, подпрыгивая, шла и шла. А где-то внутри него, замерзшего, в дым усталого существа, жила одна непонятная радость: он

твёрдо знал, что он выдержит. И он выдержал. Груз был доставлен.

...В землянке врач с удивлением посмотрел на его руки с облешей кожей, изуродованные, сожженные руки, и сказал недоумевающе:

— Что это такое?

— Шов чеканил, товарищ доктор, — сказал он, сжимая зубы от боли.

— А разве нельзя было остановиться в дороге? — сказал доктор. — Не маленький, сами понимаете, в такой мороз так залиться бензином...

— Остановиться было нельзя; — сказал он.

— Почему? Куда такая спешка? Куда вы везли бензин?

— В Ленинград вез, фронту, — ответил он громко, на всю землянку.

Доктор взглянул на него пристальным взглядом.

— Та-ак, — протянул он, — в Ленинград! Понимаю! Больше вопросов нет. Давайте бинтоваться. Полечиться надо.

— Отчего не полечиться! До утра полечусь, а утром — в дорогу... В бинтах еще теплее вести машину, а боль уж мы как-нибудь в зубах зажмем...

ЯБЛОНЯ

В бомбоубежище погас свет. Оно сразу наполнилось криком и шумом отодвигаемых скамеек и стульев, потом какой-то голос прокричал:

— Тише, товарищи, сидите спокойно!

И люди стали сидеть в темноте. Налет длился уже несколько часов. Художник сидел на складном стуле, с которым он выезжал на летние этюды. Сейчас этот легкий трехногий, его собственной конструкции стул очень пригодился. Художник жил в маленьком домике, одноэтажном, старом, одном из тех многих ветеранов, какие еще стоят на широких улицах Петроградской стороны. Перед домиком был сад, и в саду — старый запущенный фонтан со ржавой трубой и гранитом, покры-

тым мхом. Сейчас глубокий снег скрыл его, и художник менее всего думал в эти часы о домике, саде и фонтане.

Его сознание смутно регистрировало разговоры соседей, восклицания ужаса и удивления, плач детей. Плотный черный мрак закутал его с головой, как плащ.

— Надо было давно уехать,— сказал кто-то разраженно.

И он подумал: да, в самом деле, какая глупость, что он не уехал. Никакой трусости в этом нет. Он сейчас рисует плакаты, и они пользуются успехом, они висят на улицах и в клубах, в землянках на фронте — это верно. Но ведь он мог их рисовать не обязательно в Ленинграде. Да и условия работы здесь стали нестерпимо трудными. Холодная мастерская, окоченевшие пальцы плохо держат карандаш, печурка ничего не греет, никак не можешь согреться. Бомбоубежища у него в маленьком домишке, естественно, нет, он бегаёт в соседний огромный дом отсиживаться долгими часами; он простужен, устал, кашляет, недоедает уже давно. Руки покрылись какой-то корой от холода. Это ревматизм или что-то вроде. Ему трудно ходить на большие расстояния, от дома до Союза художников, трамвая нет. Вот и свет погас. А ему рассказывали, что стоит отъехать на Волгу, и там города, залитые светом, теплые комнаты, есть в изобилии еда, там живут его товарищи, которые во-время уехали... Да, да, какая глупость сидеть здесь в темноте, в холоде, в голоде и ждать бомбы на голову...

Время от времени дом содрогался сверху донизу, и тогда все затихало, а потом несколько минут царил дикий галдеж. Понемногу восстанавливалось спокойствие. Мрак, казалось, сгущался еще больше. Художник потерял представление о времени. Он вошел в подвал вечером. Сейчас уже, вероятно, поздно. Налет безобразно затянулся. Опять долетел гул удара, опять и опять... «Бросают бомбы», — тоскливо подумал он. Вот и город, который он так любил, изменился. Его жалко до боли, до слез. Как все это мрачно и грустно. Вот сейчас кончится эта тревога, он выйдет на улицу и, может быть, увидит новые развалины домов, пожары, груды облом-

ков... Эти квартиры, где висят в воздухе кровати и шкафы, зацепившиеся за балки,— жалкий инвентарь человеческого быта.

Тонко заплакал в углу невидимый ребенок. Художник стал представлять себе сквозь мрак эту детскую головку с широко открытыми глазами, полными слез. Может быть, он спал и проснулся, заплакал, испугавшись темноты. Нарисовать бомбоубежище — вот почти такое, только освещенное свечами. Это дрожащее пламя, пробегающее по лицам, черные тени на стене, настороженные фигуры, старухи, кутающиеся в старые шубы, молодые люди, шушукующиеся в углу, дети, которых прижали к груди молодые матери.

Свет блеснул на лестнице, и со двора донеслись в открытые двери звуки отбоя. Тревога, наконец, кончилась.

Художник не торопился выходить. Он подождал, пока толпа втянулась в узкий проход, и ушел почти последним, ощупью, держась за холодные стены.

Он боялся, что он увидит развалины вот сейчас, тут же рядом. Он думал, что он, так же спотыкаясь, проберется к своему маленькому домику, до которого два шага.

Он вышел на улицу и остановился, недоумевающий и растерянный.

Все было залито ослепительным, могучим лунным светом. Огромная, почти фиолетовая луна в морозной дымке висела над брандмауерами в высоте зелено-синего неба, на котором расположились курчавые, белые, как отары белых меринсов, облака. Небо, казалось, звенело от холода и света. Пустые стены больших домов, выходящих на пустырь, были как бронзовые. Снег сладко хрустел. Атласно-голубые тени лежали на богатых сугробах вдоль улицы. Такая обычная, она сияла неизвестной прелестью.

Он шагнул к своему домику и не мог узнать места. Он очутился в саду, который был сказочен, как сон. На деревьях лежал иней в три пальца толщины. Каждая веточка была как бы отделана искуснейшим мастером, искрилась, источала сияние, непонятные огоньки бегали по верхушкам, где лежали соболиные шапки снега,— казалось, деревья одеты для торжественного танца и они

сейчас поведут хоровод вокруг художника, сомкнув свои сверкающие руки и потряхивая алмазами во все стороны.

Посредине этого чудесного сада стояло дерево обволаживающей красоты. Все, что украшало другие деревья, — блески, сиянье, искры, алмазы, — все было приумножено на нем, и все достигало совершенства, какого не могут сотворить человеческие руки. Дерево горело холодным изумительным огнем, оно, как белый костер, выбрасывало снежное пламя, и пламя это ни на мгновение не прекращало своей огненной игры.

Художник стоял, ничего не понимая, погруженный в немое созерцание. Он не узнавал места, не мог понять, как же он очутился в саду и где он вообще находится.

Он оглянулся. По улице шел народ. Слышался молодой смех и веселое скрипение снега. Он снял шапку и секунду стоял с закрытыми глазами. Он пришел в себя. Раскрыв глаза, он как бы вернулся на землю. Он стоял в собственном саду, пройдя прямо к фонтану, занесенному снегом. Как же он миновал забор, огораживавший сад? Забора никакого не было. Могучая воздушная волна взрыва унесла его, разбросав далеко по улице, начисто смела все эти старые, дырявые доски. Дерево ослепительной красоты — была его знакомая старая яблоня, стоявшая всегда скромно у фонтана.

Он оглянулся и увидел город, залитый фиолетовой колдовской луной. Прекрасный город вставал вокруг него в неизмеримой, неповторимой красоте.

Художник смотрел на него, как будто родился заново. Все его мрачные мысли, раздиравшие его там, в подвале, исчезли. Как? Уехать из этого изумительного мира красоты, героизма, труда, великолепия! Разве отсюда уедешь? Никогда и никуда!

Этот город надо защищать до последнего вздоха, до последней капли крови, надо отбросить от его стен врага, надо истребить его без остатка, а уехать — нет, никогда! И художник все стоял и смотрел — и не мог насмотреться и надивиться, полный великой радости и гордости.



РАССКАЗЫ
О ПАКИСТАНЕ

1950

*

НОЧНОЙ ВЪЕЗД В ЛАХОР

Целый день мы ехали по длинным, жарким, пыльным дорогам, стремясь добраться засветло до Лахора. Наступал уже вечер, мы торопились, и все-таки темнота застала нас в пути.

Скоро мы уже с трудом различали мелькавшие по сторонам деревенские дома, за окнами машины все стало тонуть в синеватом сумраке. Изредка по краям дороги вставали высокие силуэты величественных деревьев, точно вырезанные из черного железа.

Изредка белым светом между деревьями резко светила река, потом наступал полный мрак. Мы проезжали густые рощи, вылетали на перекрестки, где толпились быки с широкими витыми рогами, фыркали лошади и гудели грузовики, накрытые брезентом.

Потом наступило какое-то безмолвие, точно мы погрузились на дно черной реки и мчимся в подводном царстве неизвестно куда. Усталые глаза закрывались сами собой.

Внезапно за поворотом дороги на нас хлынуло столько света и шума, что мы широко раскрыли глаза. Мы въехали в небывалый город, город, как будто придуманный фантазией восточного сказочника.

Сначала в этом месиве разнообразных огней мы ничего не могли рассмотреть. Потом, когда глаз привык к красным, синим, зеленым, желтым огням, мы увидели, что едем улицами, где соломенные навесы, глиняные стены, причудливые колонны, выступы балконов, башенки, шалаши, арки, хижины, минареты, мечети сливались

с огромными деревьями, уходящими темными кронами в бархатное небо, на котором горели звезды, не похожие на наши.

На фоне этих деревьев белели какие-то постройки, похожие на дворцы джиннов из «Тысячи и одной ночи». Вокруг нас кипела жизнь, пестрая, как маскарад. Цветные фонарики освещали лотки со связками бананов, пестрые ковры, тюки с хлопком, блестящие громадные самовары в чайханах, потоки ярких материй в лавках, где восседали толстые купцы в тюрбанах, которые кокетливо увенчивались застывшими в воздухе белыми накрахмаленными гребешками.

В иных лавках прямо на полу горели маленькие костры. Запахи самые непонятные, едко-кислые, тягуче-сладкие, горьковато-приторные, щекотали горло. Там пекли, варили и жарили какие-то неизвестные, удивительные кушанья.

Казалось совершенно непонятным, как пробирались машины среди множества людей, одетых, полуодетых и почти голых, среди тюков, наваленных на улице, караванов верблюдов, колясок с пестро убранными лошадьми. На головах лошадей красовались разноцветные султаны, разноцветные ленты были вплетены в гривы. Экипажи с неестественно громадными колесами были украшены пучками цветов и сияли, как реклама цирка.

Звон, стук, крик, возгласы продавцов воды, торговцев, торгующихся с покупателями, сигналы автобусов, звонки велосипедистов совершенно оглушали нас, и все это ночное столпотворение казалось сном, а не реальной картиной.

На велосипедах сидели сразу по три человека. Один сидел посередине — так, как принято обычно при езде на велосипеде, второй помещался сзади, как на мотоцикле, а третий, сохраняя полное равновесие, совершенно непонятным образом держался рядом с рулем, причем все трое на ходу вели оживленный разговор; сотни велосипедистов, ныряя между прохожими и неистово звоня, носились по улице, как будто гонялись друг за другом.

Большая бронзовая пушка на постаменте возвышалась посреди улицы. Регулировщики в одних трусах защитного цвета стояли на круглых бетонных площадках.

Это был не простой город, он казался видением сказочного, богатого мира, где живут красивые, сытые, здоровые, счастливые люди, которым доставляет огромное удовольствие толкаться по базару и покупать себе все, что заблагорассудится.

Мы подкатили к отелю, сверкавшему множеством ярко освещенных окон. Роскошная картина ночного Лахора еще жила в наших глазах, когда мы после ужина вышли немного пройтись по улице перед сном. Через сто шагов я чуть не наступил на лежащего у дороги человека, он был почти гол и настолько худ, что про него смело можно было сказать: кожа и кости. Он лежал, чуть вздрагивая и говоря хрипло: «Аллах! Аллах!»

— Что это такое? — спросил я у местного человека.

— Это — голод, — сказал он мне в ответ, — он умирает с голоду и призывает Аллаха, так как больше ему некого призывать. У нас в стране всегда голод. Как говорят англичане, голод — одно из учреждений государственного порядка и в Пакистане и в Индостане...

Через двести шагов я увидел десятки людей, лежавших на земле, накрывшись простынями. Они походили на мертвецов, потому что лежали совершенно неподвижно, все в белом.

— А это что такое? — спросил я, снова недоумевая.

— Это люди, которые не имеют крыши над головой. Они спят каждую ночь на голой земле. Таких в Пакистане миллионы...

— Да, — сказал я, — ночной Лахор действительно город сказки, но эта сказка вблизи — довольно мрачная сказка!..

ЗАВОЕВАТЕЛЬ

Этому американскому мальчишке в коротких штанах было лет двенадцать. Его мамаша и папаша сидели за вечерним чаем в салоне пешаверской гостиницы и вели вялую беседу со знакомым чиновником, старым англичанином, знавшим всю Индию вдоль и поперек.

Папаша только что приехал из Афганистана, который тут близко, и рассказывал о том, что он видел на дороге

из Кабула в Пешавер. Англичанин жаловался на худые времена, на то, что дикари, как он называл пакистанцев, подняли голову. Папаша ругал афганцев за грубое невнимание к нему — американцу, за афганскую заносчивость и гордость, как он сказал, первобытных людей.

Мальчишка слушал, слушал и вдруг сказал:

— Папа, а все-таки мы всё можем, потому что мы всех сильней, и эти дикари боятся нас, правда? Наш шофер всегда кланяется мне в пояс, — а он пакистанец, — потому что он знает, что сильнее американцев нет никого на свете...

Англичанин взглянул на мальчишку оловянными глазами, мамаша вздохнула, американец затянулся покрепче, синий дым пошел из трубки к потолку, потом он сказал:

— Иди, Гарри, погуляй по двору немного.

Гарри понял, что ему предложено покинуть компанию. Он выбежал на двор, посреди которого стояли машины, и у машин шоферы тихо говорили о своих делах. Так как они говорили на урду, на языке, которого Гарри не понимал, он начал, посвистывая, ходить среди машин, не вступая в разговор.

Он был начитанный мальчик и уже прочел много романов со всякими ужасами, страшными пытками, которым подвергают бандиты захваченных пленников; и во всех романах с приключениями дикари трепетали перед ловкими и сильными американцами, которые делали все, что им захочется. Напрасно папа был так строг сейчас, когда Гарри вступил в разговор. Конечно, он сильнее всех этих туземцев.

И Гарри нравилось смотреть на высоких тихих людей, одетых в белые куртки, в широких штанах, с белыми повязками на головах, и чувствовать, что хотя он мальчик, а они — великаны, но они трепещут перед ним и готовы выполнить любое его желание.

Гарри рассматривал машины. К иным машинам были прикреплены деревянные фигурки, цветные ленточки, висевшие над головой шофера. Гарри знал, что это амулеты, которые приносят счастье, как в тех романах, где сыщики, бандиты, дикари и пираты, где приключения в разных диких краях.

Вдруг он увидел машину, у которой сбоку был прикреплен маленький флажок. Такого флажка он еще не видел на машинах. Он подошел ближе и стал рассматривать флажок. Шофер читал книгу и не смотрел на него. Гарри вглядывался во флажок, стараясь рассмотреть, что на нем изображено. Тут он свистнул и подскочил на месте. На флажке были изображены серп и молот и над ними звезда. Это была советская машина.

Шофер посмотрел на него подозрительно, положив книгу на сиденье.

— Коммунисты! Советы! — закричал Гарри. Пакистанские шоферы стояли рядом, и его шофер тоже смотрел на него. Он понял, что он сейчас им всем покажет, как он смел и как никто не может ему прекословить. — Коммунисты здесь! — закричал он, прыгнул к флажку и протянул руку, чтобы сорвать этот флажок и принести его папе как трофей. Это здорово придумано. Про этих страшных людей из Москвы, которых боятся папа и мама, он уже много слышал и читал. Теперь он покажет, на что он способен. Это будет урок для всех этих туземцев, которые осмеливаются, как сказал англичанин, подымать голову.

Но в эту минуту советский шофер, говоривший по-немногу и на урду и на пушту, сказал громко шоферам: — Уберите этого щенка, или я сам вылезу!

Он сказал это так спокойно и решительно, что, не поняв, что он сказал, Гарри все-таки невольно остановился. Но тут же он покраснел от досады за свое промедление и схватил флажок цепкими пальцами.

В это мгновение чья-то сильная рука приподняла его над землей, и он забарахтался в воздухе. Потом эта же рука поставила его на землю уже в нескольких шагах от машины. Задыхаясь от бешенства, он со сжатыми кулачками огляделся. Вокруг стояли высокие люди с худыми коричневыми лицами и молча смотрели на него. Он увидел, что они действительно, как великаны, громадны и от их былого заискивания перед ним не осталось и следа. Его шофер исчез, как будто его никогда и не было.

Гарри смотрел то на насмешливо улыбавшегося советского шофера, то на этих тихих великанов, мрачных и

молчаливых. Он хотел догадаться, который из них держал его за шиворот, но на этих лицах, одинаково холодных, он не мог ничего прочесть. Он шагнул нерешительно. Люди расступились. Он прошел еще шаг, шатаясь, точно под ним волновалась земля, и вдруг побежал со всех ног к гостинице, где его родители еще допивали черный цейлонский чай.

Дружный смех шоферов, как ветер, дунул ему в спину. Советский шофер вышел из кабины и сказал, показывая ему вслед:

— Тоже завоеватель!

Мальчишка ворвался в салон и сел в углу; потом, выждав, когда наступила пауза в разговоре, сказал, покраснев до ушей:

— Папа, нашего шофера надо прогнать...

— Почему? Что он сделал? — спросил папаша, выколачивая трубку о пепельницу.

— Он ничего не сделал, но он... он тоже поднял голову! Как те пакистанцы, о которых говорил мистер Гроу сегодня за чаем!..

— О! Ты мне об этом расскажешь после, это серьезно,— сказал папаша,— ты молодец, из тебя выйдет настоящий завоеватель!

«ВЕЛИКИЙ КУРЬЕЗ НАШЕГО ВРЕМЕНИ»

Каждое утро, умывшись и одевшись, мы проходили по широкой террасе, спускались по узкой лестнице во двор и шли или под навесом, или по двору в ресторан нашего отеля, завтракать.

И каждое утро из-за колонны выходил один и тот же человек и назойливо махал перед нашими глазами огромных размеров визитной карточкой. Карточка была вся написана разными шрифтами.

Так как он делал это молча, мы тоже молчали и только коротким движением руки давали ему понять, что в разговор вступать не намерены.

Человек этот был плохо выбрит, на нем был старый засаленный пиджак, бархатная жилетка, длинные стоп-

таные туфли на ногах. Рука его, державшая визитную карточку, была исчерчена синими жилами, на пальцах блистали огромные кольца с фальшивыми камнями. И весь он был какой-то фальшивый и изломанный, противный и грязный.

Почему мы с ним не заговаривали? Потому, что стоило только остановиться или спросить у него что-нибудь по поводу его огромной визитной карточки, как это бы стоило нам рупию, а то и две. Такие джентльмены даром время не теряют.

Вот почему каждое утро мы отбрасывали его с дороги коротким легким жестом, и он покорно отступал. Потом он пригляделся к нам и уже при нашем появлении не выходил из-за колонны, за которой, как тигр, караулил свои жертвы.

Но все же из любопытства я пробовал на ходу прочесть хоть самую большую надпись на середине карточки. Мне удалось прочесть, там было написано: «Я — великий курьез нашего времени».

Мы спросили у друзей, что это значит и кто этот загадочный человек. Нам сказали:

— Никакой загадки нет. Это шарлатан, который предсказывает на разных цветных картинках будущее, гадает по руке и показывает фокусы. Сам себя для рекламы называет «великим курьезом нашего времени». Правильно, что вы не вступаете с ним в разговор. С ним не надо разговаривать.

«Великий курьез нашего времени», повидимому, все-таки нет-нет да ловил доверчивых людей, потому что его походка и наглое лицо выражали временами полное удовлетворение самим собой и своими успехами.

Однажды утром за завтраком в ресторанном зале мы обнаружили новых приезжих. За дальним столиком в том молчании, в каком любят завтракать европейцы в Индии, сидел маленького роста человек в военном френче без погон и без всяких знаков отличия. С ним сидела толстая маленькая женщина с покрасневшими от слез узкими глазами, а напротив них сидели девочка и мальчик, повидимому брат и сестра.

Им ужасно хотелось нарушить молчаливый завтрак, поиграть ложкой или вилкой, но строгий взгляд отца и

укоризненный матери сейчас же направлялись на них, и руки покорно опускались.

Иногда маленькая женщина начинала тихо, но быстро говорить им что-то очень серьезное, от чего девочка и мальчик еще больше съеживались и потом шли, как два котенка, держась за юбку матери с двух сторон.

— Это китайский генерал, гоминдановец, чанкайшистский генерал, — сказал нам слуга, — побитый, — добавил он, — их тут много бежит последнее время. Они бегут из Синхзяня, кто побогаче — на самолете, кто — на машинах, а кто и на верблюде и на чем можно. Вот этому не повезло. Все, что там наградил, все пришлось оставить и бежать налегке. Жена говорит: уже третий раз от красных бежим. Куда бежать дальше — не знаем. Все ночи плачет, что много богатств потеряли. Вон у нее какие глаза красные.

Слуга-пакистанец говорил это не только без всякой тени сожаления, но даже с большим удовольствием.

Китайский генерал вечером после обеда выходил в соседнюю залу, где топили крошечные каминчики по случаю зимы, и сидел в кресле. Он сидел, всматриваясь в пламя, а его жена сушила свой платок на маленьком огне. Дрова, привезенные с гор, смолистые и крепкие, трещали, и угольки летели в стороны.

Слуга, проходивший мимо, мельком взглянул на них, усмехнулся и сказал:

— Так им и надо, плохие люди — свой народ выгнал...

Как-то утром мы направлялись завтракать. И хотя по расписанию полагалось быть зиме, но краски и свежесть воздуха были, на наш взгляд, почти весенние. Однако местные жители кутались в одеяла, которые им заменяют шубы, и проходили быстро, стараясь согреться на ходу.

Мы позавтракали и возвращались по двору. В креслах, плетенных из разноцветной соломы, сидели сухие англичанки и вязали джемпера, пока мужа их заседали в банках и министерствах. Белозубые мальчишки гонялись друг за другом на улице. Все было обыкновенно. И вдруг мы увидели необыкновенное.

Между колонн стоял круглый стол. За ним сидел гоминдановский генерал. Положив локти на стол, он смотрел широко раскрытыми глазами на красные, синие, зеленые картинки, которые с ловкостью настоящего волшебника раскидывал перед ним «великий курьез нашего времени».

Жена генерала сложила свои маленькие пухлые ручки, и ее узкие глазки впились в шарлатана, размахивавшего рукой и что-то говорившего тонким и тихим голосом. Девочка и мальчик, как зачарованные, следили за полетом по столу чудесных картинок. Они сидели, как в театре, положив, как по команде, пальцы в рот.

В тишине утра только скрипел голос «великого курьеза». Он стоял во весь рост, и его длинная фигура изгибалась, как будто он дирижировал оркестром. Его руки проносились то полные картинок, которые все время меняли положение на столе, то пустые взлетали в воздух, и пальцы корчились, как ястребиные когти. Они вонзались в картинки, переворачивали, перекладывали их, поднимали их вверх, и казалось, что, взмахнув рукой, он вынимает новую серию картинок просто из воздуха.

Шарлатан брал деньги не даром. Представление было хоть куда. Мы стояли и смотрели из-за колонны. Неслышно подошел слуга с подносом, на котором лежали сигареты и стояли кофейник и две синие чашки. Он задержался, чтобы осторожно проскользнуть между нами, взглянул на шарлатана и генерала и шепнул, усмехнувшись:

— Гадает генералу, куда бежать дальше. А тот верит. А как не верить — последняя надежда! Ничего не поделаешь — последняя надежда!

И он проскочил дальше с подносом, ловкий и черный, как угорь. Мы посмеялись и пошли. На другой день мы были в рабочем квартале, среди грязных низких глиняных жилищ. На глиняных стенах в крошечных переулках были начертаны огромные буквы: «Руки прочь от Китая!» И еще: «Бери пример с Китая!» Это было написано простыми людьми, может быть самыми бедными на свете.

В РАБОЧЕМ КВАРТАЛЕ ЛАХОРА

Этот квартал населен железнодорожными служащими. В нем живут машинисты, кочегары, стрелочники, сторожа, проводники. Жилища, в которых они живут, построены Железнодорожной компанией, у которой они состоят на службе. Повидимому, архитектор, который строил эти закуты, не затруднял себя ни планом, ни материалом. Если вы возьмете длинный и узкий кусок глины и большим пальцем сделаете в этом куске вмятины через ровные промежутки, вы получите модель этих построек. Это глиняные конуры, слишком большие для собаки, но корова в них не поместится.

Водопровода здесь нет, освещения — тоже. На большой квартал одна-две колонки с водой. Это глиняный ад. Ночлежный дом, описанный Максимом Горьким в пьесе «На дне», показался бы здесь домом отдыха.

Внутри этих конур кое-где стоят кровати с плетеными сетками из грязных веревок. Это уже роскошь. В большинстве этих страшных нор на глиняном полу лежат черные, протертые от времени обрывки кошм. Шкафов, столов, стульев нет и в помине. Все ходят в лохмотьях, между этими норами бегают по лужам из помоев голые детишки с воспаленными глазами, с чесоточными расчесами на груди и на руках. В школу дети не ходят. Школ нет. Дети неграмотны, их отцы и матери — тоже. На порогах сидят старухи с лицами, изъеденными волчанкой, экземой, трахомой.

В больницу больные не идут. Идти некуда. Больниц нет. Тощие курицы, привязанные на веревочках за ногу, сидят между глиняных стен. Их мало. Зато много грязных лохматых собак, роющихся в помойных ямах. В дождливый период крыши — соломенные накаты — протекают. Тогда в жилищах на полу стоит вода, стоит день и ночь, и люди ложатся спать в воду.

Видны разрушения после недавних дождей: обвалившиеся углы, расползшиеся глиняные крыши. В иных жилищах живут восемь человек.

— Это невозможно, — говорите вы, — тут не поместиться восьмерым.

— Они и не помещаются, — отвечают вам, — пока четверо отдыхают, четверо работают. Они приходят отдыхать, когда остальные уходят на работу.

Тонкий синий зловонный дым тянется из мангалов, маленьких очагов. Дров нет, топят сухим навозом. В одной из таких конур с голоду умерла старуха. Ее нельзя и похоронить без разрешения муллы. Он должен прийти и прочесть заупокойную молитву; но мулла не придет, пока ему не уплатят полагающиеся ему пять рупий, — пять рупий! — это в квартале, где высший заработок — шестьдесят рупий в месяц. У соседей нет рупий для такой роскоши, как молитва. Старуха лежит в страшной духоте тропического дня. Проклиная все на свете, по копейке собирают бедняки эти несчастные пять рупий и зовут муллу. Он нехотя приходит, бормочет свою молитву и получает деньги. Теперь старуху можно отнести на кладбище, которое тут же.

В другой конуре мы увидели лежавшую на полу женщину, дрожавшую с головы до ног под ветхим дырявым одеялом.

— Она больна, — сказали про нее ее соседки.

— А доктор был? — спросили мы по наивности.

— Кто был? — переспросили эти женщины, видя, что мы уделяем внимание этой больной.

— Доктор! — сказали мы, но оказалось, что это слово им неизвестно.

— Ей ничего не надо, она просто больна, у нее просто малярия, это припадок, он пройдет. Это только малярия, — наперебой говорили нам соседки.

Тут же невдалеке мы увидели какого-то человека в полуевропейской одежде, который, получив от женщины деньги, быстро, оглядываясь на нас, сунул их в карман.

Мы подошли к нему.

— Вы лечите здесь? — спросил я. — Вы дали женщине какие-то порошки в бумажке, мы видели.

Он испуганно посмотрел на нас.

— Что вы, что вы? Какой я доктор! Я не доктор, но, знаете, им надо помочь, бедным людям. Я немного знаю травы, порошки; помогаю, чем могу. А деньги, — он горько улыбнулся, — какие это деньги: дают что могут.

Он вынул из кармана горсть грошей — анн, самую мелкую монету. Он испугался, что мы можем привлечь его к ответственности за то, что он лечит, не имея права лечить. Он принял нас за англичан. Но мы видели, что это знахарь, который обманывает этих простых наивных людей и зарабатывает на их темноте свои жалкие гроши.

Кучка мелких монет у него на ладони в этой обстановке казалась большими деньгами. Он засмеялся каким-то жалким смехом и поспешил скрыться в глиняных переулках.

Мы шли из норы в нору. Это был ад, в котором держали людей всю жизнь, как будто эти люди совершили какие-то страшные преступления. Казалось, что в этом аду люди находятся на последней грани угнетения, что они забиты, замучены и лишены всяких человеческих чувств, что они смирились с этой жизнью, ничего не хотят, ни на что не надеются.

Это было неверно. Было жутко смотреть, как женщины старались навести чистоту в этом царстве грязи и пыли. Начищенные котелки, старые кастрюли и металлические чашки блестели на маленьких полках в полумраке лачуг. Одежда была зачинена тщательно, множеством заплат прикрыты их дыры. Простынь на кроватях не было, потому что простыня уже является одеждой.

Пройдя еще немного, мы увидели несколько конур, запертых на замок. Да, маленький замок висел на двух жалких досочках, изображавших двери. Мы взглянули через эти доски, чисто условно изображавшие двери. Там внутри было то же, что и в других конурах, такие же кошмы, такие же кровати с грязными веревочными сетками.

— Что за богачи живут здесь? — спросил я шутя. — Что тут запирать? Чьи это жилища?

По лицам людей, стоявших вокруг нас, пробежало волнение. Они ответили не сразу. Потом одна женщина с хорошим, открытым взглядом больших черных глаз сказала медленно, показывая рукой на эти конуры:

— Это жилища коммунистов, которые должны были уйти в подполье, их преследует полиция. Они не могут жить открыто. Они борются за нас, за наши права, а мы оберегаем их жилища!

Это было так невероятно, точно луч света пробился в черный подвал и осветил и эту женщину, и толпу этих оборванных ребятишек, и полуслепую старуху, сидевшую на пороге своего закутка.

— Смотрите, — сказал нам один товарищ, перед тем как мы пошли в этот квартал, — вы увидите там ужас, который не поддается описанию. Но знайте, что там живут люди, в этой тьме, — люди, а не жалкие, сломленные угнетателями существа. Там копится сила народного гнева. Там живут и работают борцы за лучшее будущее. И когда этот народный гнев вырвется из этой вековой темноты — горе тем, кто так бесстыдно издевался над народом, кто высасывал из него последние соки, кто превратил его в бесправного раба!

Я думаю, что этот товарищ прав!

КАК ВАМ ПРАВИТСЯ?

Каждое утро ей подавали машину. Стройный, в синей куртке с золоченными пуговицами, шофер открывал ей дверцу, и когда собака занимала свое место рядом с ним, он опускал стекло, чтобы прохладный утренний воздух обвевал ее усталое от жаркой ночи тело.

Машина катилась по широким улицам, на которых еще не завивались рыжие смерчи пыли, мимо богатых домов, тонувших в зелени. Потом машина пробиралась между коттеджей нового поселка для господ иностранных инженеров, строивших новую фабрику на окраине Карачи, затем машина тяжело взбиралась на песчаные дюны Клифтон-бича, за которыми во время отлива открывались унылые песчаные бугры, пропитанные соленой водой. Бугры колыхались, точно были сделаны из резины. От этих бугров несло солоноватым влажным запахом, таким острым и холодным после городских стен и улиц.

Она прыгала на дюны и медленно шла, вглядываясь в серебристое море с курчавой зеленоватой пеной. Кое-где проходили паруса, дымил пароход на дальнем рейде. Она шла в своей светлосерой попонке с мягкими голубыми пуговицами, как настоящая английская леди, гордо

смотря по сторонам. Все знают, что европейским породистым собакам вреден горячий климат Карачи, и ее хозяин-англичанин это прекрасно понимал. Поэтому он приказал шоферу возить ее каждый день к морю, чтобы она дышала соленой прохладой и ее нервы успокаивались.

Потом она гуляла под вечер по большому пустырю. За ним виднелась стена джентльменского клуба, где ей был хорошо знаком зеленый бархатный газон и узкие дорожки, усыпанные красным гравием, клумбы с тяжелыми пестрыми цветами. Пустырь был хорош к вечеру, когда на небе вечерние облака застывают, как караван верблюдов, и трава пахнет горьковато и пряно.

На пустыре она встречалась с гордым и прекрасным животным. Это была скаковая лошадь ее хозяина, бравшая призы по всей Индии. Ее тоже выводили гулять на пустырь. У них были, псевдимоу, одни и те же мысли насчет пустыря. Он нравился и этой лошади с бледно-желтыми боками и этой собаке, шедшей так осторожно, точно она шла по паркету.

Они считали, что пустырь их собственность. И они были такие воспитанные и такие гордые, что почти не смотрели друг на друга, но были довольны, что ни ту, ни другую никто не держит на привязи. Слуга, выводивший собаку, шел почтительно позади, а два конюха, выводившие лошадь, сначала шли рядом с ней, потом отставали, потом садились на траву и начинали рассказывать друг другу разные новости, которые ходили по городу.

Собака и лошадь гуляли рядом. Неожиданно они остановились и посмотрели друг на друга, как будто хотели спросить: как вам нравится?

Перед ними сидел голый человек. Его исхудалое тело почти просвечивало. Длинными, похожими на почернелые ветви, руками он держал над маленьким костерчком свои лохмотья, поворачивая их из стороны в сторону. Он был так увлечен этим занятием, что не глядел на собаку и лошадь, которые смотрели на него так презрительно, точно у лошади был лорнет, а у собаки — золотое пенсне. Откуда он знал, что они такие знатные и такие богатые и что это их пустырь?

Нищий, охая и кряхтя, нагнулся и подул на костерчик. Щепки снова вспыхнули, и нищий встал во весь рост, тряся над огнем лохмотья. Собака залаяла так злобно, что он вздрогнул и обернулся. Собака бросалась на него с хриплым лаем. На ее лай прибежал слуга, медленно подошли конюхи.

Слуга сказал нищему:

— Ты не мог выбрать другого места? Хозяин услышит ее лай, и мне попадет за то, что ты ее встревожил. У нее слабые нервы. Ее возят к морю каждый день. У нее пропал аппетит.

Нищий слушал говорившего, как слушают сказочника. Он смотрел то на слугу, то на собаку, злобно оскалившую зубы. Его лицо съежилось, и вдруг все его морщины прыснули смехом. Он смеялся и хлопал себя по бокам и по впалому животу. Из глаз его текли слезы. Он смеялся и выкрикивал: «У нее пропал аппетит... А! У нее пропал аппетит». Он смеялся так неудержимо, что стал всхлипывать от смеха.

— Что с тобой, дурак? — сказал слуга. Он подошел к собаке и сказал: — Пойдемте, что спрашивать с дурака.

И лошадь и собака удалились, презрительно фыркая. Конюхи шли сзади, и слуга им шепотом рассказывал про прихоти своего хозяина.

Один нищий, стоя на пустыре, продолжал хохотать. У ног его догорал жалкий огонек, слабо освещавший темную грудку жалких лохмотьев. Потом все погрузилось в темноту.

ПТИЦЫ И ДЕТИ

От рощи к роще проносятся, как легкие зеленые искры, стайки зеленых попугайчиков. Неизвестные мне птички с яркими темнокрасными перьями пьют воду из старого водоема, бегая по отмели, не боясь, что кто-нибудь бросит в них камень или выстрелит. В Пакистане все любят птиц, и убивать их строго запрещено. Птицы это знают и поэтому ведут себя совершенно свободно.

На широкой террасе, где накрыт стол для утреннего завтрака, между тарелками ходит большая сине-черная

ворона и, приподымая большим клювом салфетки, которыми накрыты тарелки, смотрит, нет ли чего-нибудь вкусного. Колбаса ее не интересует. Сыр тоже, яйца тоже. А вот кусок хлеба — это то, что ей нужно. Удар крепкого клюва, и ворона уже в воздухе и уносит на глазах слуг большой кусок хлеба в свое гнездо. Ее нельзя остановить. Нельзя пугать. Она полезная птица, хорошая птица. Люди должны ее кормить.

Все небо Карачи в черных точках. Это коршуны-чили. Коршунов так много, что их гортанный дикий крик слышен весь день. Они в непрерывном движении. Вы можете взять кусок мяса в руку и протянуть его за перила террасы. Как бы высоко ни парил коршун, он увидит этот кусок мяса и начнет с самой большой быстротой приближаться к нему. Он с размаху, с точностью самой удивительной возьмет из руки у вас мясо и взмоет с ним в небо, через минуту став черной точкой.

— Зачем вам столько коршунов? — спросил я у местного человека.

— Это наши санитары, — ответил он, — они подбирают все отбросы, все гнилье, они истребляют всех вредителей садов и полей, они очень хорошие птицы.

Эти коршуны не бросались ни на ворон, ни на воробьев, ни на сорок, ни на попугайчиков. Все птицы жили рядом в мирном согласии.

Каждое утро внизу под моим окном работали два садовника. Старый садовник и его молодой ученик садились на корточки и сильными ударами разбивали маленькие глиняные горшки. Осколками маленьких горшков они устилали дно больших горшков и пересаживали в них разные декоративные растения. Делали они свою работу уверенно, неслышно, размеренными движениями. Приготовленные горшки с растениями они ставили на длинную доску и, когда она вся была заполнена, брали ее на свои худые, сильные плечи и уносили. Повидимому, спрос на эти декоративные растения был большой, потому что они готовили за день огромное множество этих горшков и каждый день с утра начинали снова готовить новую партию.

И вот, пока они возились с перекладкой земли в горшки и пересадкой растений, на готовых горшках и на куч-

ках земли рядом с ними прыгали бесчисленные воробьи. Они разрывали землю, перескакивали с горшка на горшок, прямо из-под рук садовников взлетали на доску, с нее перелетали на траву, чистили клювы, перышки, отряхивались. Опять возвращались к горшкам и неутомимо там копались, пища от восторга или выкрикивая что-то своим тонким и сильным голосом.

Эти воробьи, очень похожие на наших, доходили до такой дерзости, что садились на плечи садовникам и заглядывали в горшки, еще не наполненные землей. Садовники не обращали на них никакого внимания.

Потом воробьи мылись в плоском тазу, где была у садовников вода, отряхивали крылышки и снова разлетались по садоводству.

И куда бы мы ни шли, всюду птицы пели и кричали целый день, им сыпали зерна, им ставили воду самые бедные люди. Хорошо живется птицам в Пакистане!

По улицам Карачи, напоминая этих воробьев, пробегают стайки детей. Они полуголы, очень оживленны, красивы смуглой красотой Востока, с большими сияющими глазами; худые, как воробьята. Они бегут не в школу. Школ в стране почти нет. Грамотны шесть человек из сотни. Дети трудятся. Вот идут две девочки и несут на головах большие подносы, на которых лежит верблюжий, лошадиный, ослиный помет. Они подбирают его на стоянках извозчиков, у караван-сарая и несут на рынок, где ждут их матери, которые сейчас же пустят этот товар в продажу. По дороге на рынок девочки смеются, поют песенки, шутят со встречными подружками.

Вот на постройке дома женщина на спине несет на третий этаж горку кирпичей. Внизу ее маленькая девочка и мальчик помогают ей накладывать кирпич на доску. С трудом они подымают тяжелые для них кирпичи, но работают они молчаливо и серьезно, как старые рабочие.

Вот дети выходят из ворот фабрик вместе с матерями. Они работали целый рабочий день, как могли, и усталость сводит их плечи и ноги. Они идут спотыкаясь, держась за юбку матери.

Но есть множество детей, предоставленных самим себе. При виде европейца они, как воробьи на садовника, бро-

саются к вам, и их маленькие рты кричат одно слово: Бакшиш! Бакшиш! Рупия! Рупия!

Они просят подачки, они просят рупию. Им сказали родители: «Идите и зарабатывайте сами деньги! Европейцы могут вас ударить палкой, сумеете ускользнуть от палки, но европейцы могут и дать сразу рупию».

И вот вы окружены этой веселой, непрерывно кричащей, прыгающей вокруг вас стайкой. Вы видите лукавые глаза, детские движения голых или почти голых маленьких рук и ног, озорные гримасы и крики: «Бакшиш! Бакшиш! Дай рупию!»

Большинство этих детишек — девочки, с крошечными колечками в носу, на крыльях носа, с дешевыми браслетами на руках, тонких, как спички.

Они похожи именно на воробьев, прыгающих вокруг садовников. Есть что-то птичье, бездумное, быстрое в этих детях природы. Их чистые сердца не испорчены этим попрошайничеством. Дети помогают родителям. Когда такая девочка принесет рупию, а то и две — это больше, чем дневной заработок отца; и, конечно, ее будут ласкать и целовать за то, что она сумела достать эту рупию.

А когда в семье много детей и им можно дать только несколько тонких блинов из прогоркшей муки или несколько гнилых бананов, то поймешь, почему дети так яростно кричат: «Бакшиш!»

Воробьи бросаются к лошадиной стоянке, и к ней же бросаются и детишки с большими легкими подносами. Те и другие спорят из-за лошадиного помета.

Но воробьи полетят в сторону, в сады и парки и будут сыты. Счатливые птицы Пакистана! Им живется хорошо, гораздо лучше людей. Бедные голодные дети Пакистана! Им живется гораздо хуже птиц! Очень жаль!

«ДИКИЙ ГОРЕЦ»

По его костюму, по резким чертам лица, по его движениям, полным энергии и уверенности, можно было сразу сказать, что он человек не городской. Это так и было. Он пришел из гор, из тех дальних мест, где до сих

пор можно встретить обычаи глухой старины и где меньше всего имеют представление о том, что делается на свете.

И когда председатель собрания назвал селение, откуда он пришел, то можно было легко представить себе грозные скалы его родины, узкие, повисшие над бездной тропинки, ревущие потоки, срывающиеся с утесов, взлохмаченные, пенные и дикие, как песни его гор.

— Он хочет прочесть свои стихи, он поэт,— сказал, улыбаясь, председатель собрания.

— Конечно, пусть прочтет! — сказали присутствующие.

Встали четыре человека. И хотя они были похожи, как братья, но он выделялся среди них не только тем, что он был чуть выше остальных ростом, но и выражением вдохновенного лукавства, которое вдруг появилось на его лице.

— Почему же один хочет прочесть стихи, а встали четверо? — спросил я.

— Потому что,— ответил председатель,— то стихотворение, которое он хочет прочесть, он сам переложил на музыку, и оно так понравилось его землякам, что они поют его хором. Вот сейчас они все четверо споют его.

Все четверо как-то приосанились, засветились таким же лукавством, как и он, щелкнули пальцами и запели. Сильные голоса и хороший слух были у этих горных братьев. Они пели с таким задором, что приятно их было слушать.

О чем же они пели? Я думал, что это что-то вроде старинной песни, в которой воспеваются подвиги седой старины, что-то боевое и вместе с тем лихое и смешное, потому что присутствующие разразились самым искренним хохотом, что еще более подзадорило певцов, и они грянули следующие куплеты с еще большим воодушевлением.

Теперь уже смеялись все вокруг.

Когда они кончили, гром аплодисментов приветствовал их. Они с достоинством поклонились и сели на свои места.

Что же пели эти «дикие горцы» из таких далеких мест, куда идти нужно несколько дней от железной дороги, такие это дебри. Сам поэт и его друзья не получают там

газет и вряд ли слушают радио, а между тем песня их была сложена именно там, в этой горной глуши, и именно там ее стал распевать горный народ, потому что она ему понравилась.

Вот что спели они:

Капиталисты Пакистана
испугались собственного народа,
испугались, что он встает и требует прав.
Они послали молнию-телеграмму Трумэну:
«Трумэн, Трумэн, спеши скорей на помощь нам,
присылай нам атомную бомбу, мы сбросим ее
на пакистанский народ».

И Трумэн им ответил телеграммой-молнией:
«Какая там атомная бомба! Нам так дали в шею
в Китае, что мы сами не знаем, что делать,
как управиться с Китаем.
Как хотите, так и разделявайтесь со своим
народом. Мне не до вас!»

— Под каким же именем он сочиняет свои стихи, этот «дикий горец»? — спросили мы.

— У него есть псевдоним.

— Какой?

— Его псевдоним — Бомба!

РАЗГОВОР

Это была беднейшая глиняная лачуга. Летом с потолка на голову, на плечи все время падали комки пересохшей глины, в период дождей грязные потоки текли по стенкам, и того гляди лачуга рухнет на ее обитателей и от всего жилища останется груда мокрой, тяжелой глины и больше ничего.

За крышей надо было смотреть, чтобы во-время подновлять соломенные перекрытия. Внутри этой лачуги валялись две старые кошмы, ставшие рыжими от старости, вместо посуды стоял на полу ряд консервных банок, тщательно вымытых, самой различной величины. Они заменили кастрюли, чашки, тарелки, стаканы.

Маленький очажок дымил горьким синевато-зеленым дымом, потому что обед готовился на сухом навозе, дру-

гого топлива не было. Два заплатаанных одеяла сложены были в углу.

Такой вопиющей нищеты нельзя придумать. Она жила в этой лачуге долгими годами. Человеческая жизнь проходила в этих глиняных голых стенках без всякой надежды на какое-либо изменение. Изменить что-либо в этом быту может только смерть. Тогда владельца этих одеял и консервных банок положат в более узкий глиняный ящик, и тем дело и кончится.

Детишки хозяина смотрели на нас с большим любопытством. Так как в этой лачуге никаких книг никто никогда не видел, то этим детям наше посещение заменяло хорошо рассказанную сказку или фокусы уличного факира.

Шагнув в глубину лачуги, я увидел на стене чей-то портрет. Вглядеться в него было трудно, потому что там, в углу, было совсем темно. Я зажег спичку. Передо мной на совершенно голой стене висел вырезанный из какой-то газеты портрет Сталина.

Это было так удивительно и так неожиданно, что я спросил у хозяина:

— Откуда у тебя этот портрет?

Пожилой полуголый пакистанец провел по лицу рукой, как бы в знак приветствия, потрогал свою жесткую бородку и сказал не спеша:

— Это портрет Сталина. Я его вырезал из газеты «Имроз».

— Я вижу, чей это портрет; скажи, ты читаешь, значит, газеты, ты грамотен?

— Нет,— отвечал он,— я неграмотен. Я не могу читать того, что пишут в газетах. Мне рассказывают. Но я знаю, кто Сталин, и я разговариваю с ним...

— Как разговариваешь?

— Я говорю ему, когда мне бывает совсем трудно: «Ты видишь, как мы живем? Так можно жить людям?» И он мне отвечает: «Вижу и знаю. Подождите немного. Все будет по-другому!» Я говорю ему: «Я верю в это! Если бы я не верил, я давно бы покончил с этим жалким существованием. Но я верю: вот они,— он показал на детишек,— они будут жить по-другому, совсем по-другому!»

КОРОБКА СИГАРЕТ

В кафе было шумно, потому что говорили все разом, и немного душно, потому что по случаю прохладной погоды окна были закрыты.

Толстый журналист медленно прихлебывал ароматный кофе из крошечной чашечки, тончайшее печенье хрустело на его больших белых зубах. Журналист-пакистанец был важен и напыщен. Все доставляло ему удовольствие: и то, что он одет по-европейски, и то, что ведет беседу о вопросах большой политики, и то, что все признают его авторитет в этой области.

Придав своим черным бархатным глазам задумчивое выражение, он сказал:

— У нас можно печатать все, что угодно!

— Сомневаюсь, что это так! — заметил я.

Он не спеша отодвинул пустую чашечку и тарелочку с печеньем, точно для возражения ему надо было освободить пространство, легко развел толстенькими руками и сказал:

— Правда, выражать свое мнение могут два процента населения, не больше, но что же делать...

— Ну вот видите, а если бы выражали остальные девяносто восемь процентов, то дело приняло бы другой оборот!

— Это Пакистан, я знаю, что у вас в Советском Союзе иначе. О, я хорошо знаю вашу страну, я долго ее изучал и много о ней писал. Меня считают здесь знатоком Советского Союза и всего, что касается его быта...

Тут он посмотрел на меня так, точно хотел сказать: «Меня не проведете, я стреляный пакистанский воробей...»

Я предложил ему сигарет. Он взял коробку и долго ее рассматривал.

— Я еще не видел таких американских сигарет, — сказал он, — я курю обычно «Кемел» или «Честер-филд».

— Это советские сигареты, — сказал я.

— Советские сигареты! — Журналист широко рас-

крыл глаза, стал снова рассматривать коробку.— Что на ней изображено?

— На ней изображен Кремль в Москве. Сигареты называются «Москва».

— Кремль, а! Это что-то древнее,— сказал он, недоверчиво закуривая сигарету. Но после трех затяжек он сказал с удивлением: — Хорошие сигареты, прекрасные сигареты, лучше американских. А скажите, на что вы выменяли эту коробку сигарет?

— Как выменял, я вас не понимаю?..

— Но у вас же меновая торговля! У вас же все меняется одно на другое. Я спрашиваю потому, что мне хочется знать цену этих сигарет.

— Такую коробку и сколько угодно таких коробок может купить любой советский человек, и вам, как знатоку Советского Союза, я рад сообщить об этом. А теперь вы скажите: вы хорошо знаете свою собственную страну?

— О да! Я журналист, я много писал о ней... Не так много, как о Советском Союзе, потому что я знаток большой политики, но все же писал.

— Вы бывали на Инде выше тех мест, где в Инд впадает река Кабул?

— Нет, я там не бывал. А зачем там бывать журналисту? Там живут неграмотные, полудикие, грубые люди, лишённые всяких высоких интересов, ничего не понимающие в большой политике.

Я засмеялся, и он обидчиво посмотрел на меня. Поиграв желтыми круглыми четками, он спросил:

— Почему вы смеётесь?

— Я смеюсь просто так,— сказал я, но я смеялся не просто так.

Накануне, беседуя с участниками только что окончившейся конференции прогрессивных писателей Пакистана, я угощал их такими же сигаретами. Когда в коробке осталась одна сигарета, ее хотел взять высокий худой человек, и он взял, но как-то смутившись, и что-то начал говорить на урду. Я спросил: «В чем дело? Пусть не стесняется брать последнюю, у меня еще есть сигареты».

Но мне перевели, что дело не в этом. Он просит разрешения взять вместе с сигаретой и коробку. Я видел, что он не закурил сигареты.

— Почему он не закурил и почему ему нужна коробка? — спросил я.

Тогда человек назвал далекое селение, лежащее выше впадения реки Кабул в Инд, откуда он пришел в Лахор. Он сказал, что эту сигарету выкурят по меньшей мере пять человек, чтобы узнать вкус советского табака и опровергнуть распространяемую клевету, что Советский Союз сигареты покупает в Америке. Но главное — коробка. На ней изображена Москва, изображен Кремль, где живет великий Сталин. Эту коробку он будет показывать по всем деревням у себя на родине, и каждый будет рад видеть ее. А потом он поставит ее на почетном месте у себя дома.

Он бережно завернул коробку в платок и спрятал ее в бесчисленных складках своей широкой одежды.

Эта коробка летела со мной через Гиндукуш, переваливала через скалы Латибанда и Хайберский проход, и теперь она отправилась в новое далекое странствие по неведомым горам и селам. Я мысленно видел сотни рук, осторожно берущих ее, и сотни глаз, разглядывающих Кремль на ней. Это были те, кого знаток-журналист назвал грубыми людьми, лишенными всяких высоких интересов.

Журналист подмигнул мне и сказал, как человек, который, наконец, разгадал загадку:

— Я знаю, почему вы спросили о верхнем Инде! И почему вы смеялись!

— Почему?

— Потому, что вы интересуетесь вопросом Кашмира. Я вас понимаю: это большая политика — чей будет Кашмир; о реке Кабул вы упомянули для отвода глаз и смеялись, что я не догадаюсь. Правда, я угадал?

— Вы угадали, — сказал я, — я убедился, что вас не проведешь!

И журналист засмеялся коротким довольным смехом.

ЧЕМУ УЧАТ В ШКОЛЕ

Это не просто школа. Это художественное училище. Вы входите на обширный двор, где все говорит о торжественном вступлении в мир, полный творческого трепета, сосредоточенного спокойствия, в мир, где открывают вам тайны высокого искусства.

Перед вами большое старое здание, с колоннами, широкими каменными лестницами, сводчатыми переходами, громадными окнами, арками входов и выступами, украшенными каменной резьбой. Посреди двора — клумбы пышных цветов; старые деревья, простирающие свои коричневые ветви, как бы благословляют начинающего служить искусству. Кусты бросают узорные тени на дорожки. И над всем этим синее безоблачное небо, с которого льются потоки тепла, как бы приглашая мастера взглянуть на этот бесконечный синий блеск и создать такую же теплую глубину, насыщенную живой синевой.

Вы вступаете на ступени и вспоминаете тонкую мраморную резьбу гробницы Джахангира, размах планировки и зеленые пейзажи сада шаха Джахана, изумительные миниатюры в Лахорском музее, скульптуры и фрески, составлявшие гордость прошлых веков.

Вы полны мыслей об искусстве сегодняшнего дня, которое вы сейчас увидите в работах тех юных талантливых мальчиков и девочек, которых родители отдали в это художественное училище и которых приняли за их способности.

Вы заранее готовитесь увидеть всю роскошь пакистанской природы, все ее краски, все ее эффекты. Перед вами пройдут огромные реки, текущие в скалистых берегах, украшенные густыми зарослями тростников, леса, где еще бродят последние тигры, горы во всех их очертаниях — ледяные лестницы, ведущие к небу вплоть до Гималайских гигантов, всю яркость предгорий, темную ржавость пустынь, банановые и финиковые рощи, белые с зеленым хлопковые поля.

Вы вспоминаете, что мусульманские владыки этих краев когда-то запретили изображать людей и даже птиц. Тем более сегодня, в этой художественной школе, вам так приятно будет увидеть и крестьян, идущих за

чернобокими буйволами по своей нищей пашне, и рыбаков на Инде, и караванщиков, приходящих в города после длинных живописных дорог, и ремесленников, трудолюбиво с утра до вечера трудящихся в узких переулках старого города, и — может быть, вам повезет — вы увидите рабочих, грузящих корабли в Карачи или работающих на хлопкоочистительных и консервных фабриках.

Наконец, юные ученики покажут вам, как они умеют идти традиционным путем, заново повторяя рисунки древних, находя тайну их работ на эмали, умножая узоры, уже виденные вами в бесчисленных образцах прошлого.

Вы входите в классы и видите: в полной тишине и прохладе, на маленьких табуретках, за маленькими столиками, сидят юные художники.

Перед ними аккуратно лежат кисти и краски, стоят стаканчики с водой; они работают не подымая глаз, увлеченные уроком.

Одни из них совсем маленькие, другие уже юноши, красивые и ловкие. Вы подходите ближе, чтобы поглядеть, что же они так старательно копируют для развития своего таланта. Не может быть! Перед каждым лежит рекламный рисунок, вырванный из английского или американского бульварного журнала.

С тщательностью самой точной дети воспроизводят рекламу чулок, сапог, автомобилей, сигарет, консервов, тортов, колбас, мотоциклов, кофе, кока-кола, пищащих машинок и средств для рашения волос.

На ваш удивленный взгляд их наставники говорят: «Они должны вынести из нашего училища практические знания, которые пригодятся им в жизни. А реклама — верный заработок начинающих художников. Пакистан развивает свою торговлю и нуждается в рекламе. Мы берем учить только талантливых детей. Наше училище не бесплатное. Мы взимаем плату за учебу».

Вы выходите из этих классов на сияющий полдень. И вы говорите основателю этого училища, благодетелю рода человеческого, английскому мистеру в сюртуке, гордо стоящему на пьедестале: «Вы здорово придумали, сэр, чтобы убить душу юных талантов. Вы, несомненно, заслужили этот памятник!»

Ословы вы часто встречаете в Пакистане. Они идут, беззвучно ступая своими точеными серыми ногами, чуть потряхивая ушами и косясь на вас длинным лиловым глазом, по дорогам и тропам, нагруженные мешками с углем, нагруженные хворостом, тюками с рисом, всевозможной домашней рухлядью. Они идут и по блестящим улицам нового Лахора или Карачи с такой же невозмутимостью, с какой они рвут колючки в пустынях Белуджистана или у форта Джамруд.

Их не пугает соседство автомобилей, свет электрических фонарей, грохот поезда, проносающегося рядом.

Они опрятны и воздержанны в пище. Пропитание они должны найти себе, где хотят, так как хозяева их не кормят. Ослы сами идут искать свои колючки и тень для отдыха.

Водят ли они дружбу между собой? Это неизвестно; но можно подчас увидеть, как идущие друг другу навстречу ослы вдруг останавливаются и начинают быстро кричать один другому какие-то новости. Так же быстро они расходятся и продолжают свой путь. Я редко видел дерущихся ослов.

Но на длинном узком мосту через реку Рави я увидел осла с повышенным чувством собственного достоинства.

Дело в том, что мост через Рави не рассчитан на большое движение. А по этому мосту подчас движется множество грузовиков, тонга — высококолесных легких экипажей, легковых машин, повозок и прицепов.

Для прохода ослов и верблюдов сбоку отведено место, чтобы они не вставали в общую колонну колесного транспорта.

В этот вечерний час, когда на зеленые окрестности Лахора уже ложилось последнее сияние ноябрьского солнца, грея спину на этом остатке животворного тепла, шел осел, нагруженный дровами. Он считал, что его путь уже лежит к дому и к отдыху. Он шел тихо, не торопясь, по отведенному ему проходу, а рядом с ним медленно двигались тяжело нагруженные машины.

С ослом поровнялся серый «додж», в котором сидел скучавший американец. Увидев мирно шествующего

осла, он приподнялся и с размаху отпустил ему такой удар толстой палкой, что осел присел на задние ноги от неожиданности. Потом он взглянул печальными глазами на обидчика, перед которым ничем не провинился, решительно шагнул, встал поперек моста, загородив дорогу «доджу».

Он встал со своими дровами так крепко и как раз посередине моста, что движение остановилось. Разойтись на мосту уже не могла ни одна машина. Сзади кричали: «Что там случилось? Почему остановились?» Шум и крик поднялся со всех сторон. Погонщик схватил осла за уши, но не мог сдвинуть его с места. Американец ударял его палкой, но осел стоял неподвижно, и град ударов как будто падал на кого-то другого, но не на него. Образовалась пробка.

Его тащили за хвост, его били сбоку, шоферы гудели ему в уши, брань сыпалась на его серую голову, его толкали и руками и ногами — он стоял, как дерево.

Длинные хвосты машин протянулись с двух сторон моста, и никто не знал, что делать.

Американец кричал: «Сбросьте его в реку, проклятого!» Проклятый стоял как ни в чем не бывало и отгонял хвостом мух, кружившихся над ним.

Англичане и американцы орали изо всех сил, смешливые крестьяне отпускали разные шутки по их адресу, машины ревели на всю длину моста. Можно было со стороны подумать, что на мосту идет рукопашный бой, столько людей столпилось вокруг осла. Один он смотрел невозмутимо на всю человеческую суматоху.

Тогда четверо широкоплечих грузчиков подошли к нему, плюнули на руки, присели, каждый взял ослиную ногу в руку. Они приподняли осла и понесли его в сторону. Они несли его, как несут памятник, до мостовых перил, к которым его и прислонили.

Машины сдвинулись с места. Путь был свободен. И когда осел увидел, что «додж» с его обидчиком исчез среди других машин, он вздохнул, насупился, повертел ушами и пошел дальше, оглядываясь изредка на то место, где он нарушил только что правила движения, — на мост через быструю и светлую реку Рави.

АМЕРИКАНСКИЙ КОНСУЛ

Американский консул в Лахоре в день, когда открылась конференция прогрессивных писателей Пакистана, послал одного из своих агентов послушать, что будут говорить на этой конференции.

Хотя у этого агента было много разных имен, мы будем называть его Махбуб, как его называл и его хозяин. Так вот Махбуб пришел с конференции и, чинно оглаживая бороду, смиренно доложил, что выступающие писатели ругают американских и английских поджигателей новой войны.

— Не может быть! — воскликнул консул. — Как они смеют? Может быть, ты не так понял?..

— Уши господина слышали то, что я сказал, и я был бы рад усладить его слух радостным сообщением: но если идешь в дом неверия и мятежа, что можно принести оттуда, кроме мрака и горечи?..

Он хотел распространяться дальше, но консул резко прервал его и сказал:

— Ты можешь устроить так, чтобы я видел этих людей, а они меня — нет?

— Могу, — отвечал, подумав, Махбуб, — там рядом есть отдельное помещение, откуда вы увидите все, что происходит.

Консул, как всякий американец на Востоке, считал себя чуть ли не полубогом, а всех восточных людей — существами низшей расы. Он стоял и жадно вглядывался в президиум, в ораторов, выступавших перед микрофоном, в народ, переполнявший зал. Он видел людей всех возрастов, от молодых поэтов до седебородых писателей. Он видел женщин — иные из них чуть прикрывали лица, иные из них, в европейском платье, сидели с открытыми лицами и писали в записных книжках. Пестрое зрелище представляли собравшиеся, так как на конференцию съехались делегаты со всех концов большой страны и каждый отличался и цветом и покроем одежды.

Но их всех объединяла общая решимость: сделать литературу действительно полезной народу, орудием просвещения. Да, они выступали против тех, кто хочет бросить народы в пламя новой мировой войны.

Американец плюнул, вернулся домой и позвал Махбуба.

— Вот что, Махбуб, ты поставишь своих людей так, чтобы они слушали, что говорят в зале, что говорят выступающие, что говорят в президиуме. О каждом выступлении, где затрагивается политика Америки, сейчас же доносить мне. Я хочу все знать. Ступай!

Это был очень неприятный день для господина консула, потому что, выполняя его приказание, агенты Махбуба бежали каждые двадцать минут, как только кончалось очередное выступление, и приносили одни и те же донесения: пакистанские писатели громят американских и английских поджигателей войны, громят колонизаторскую политику империалистов при общем одобрении всего зала.

Консул, щеки которого от ярости покрылись рыжими пятнами, ударил кулаком по столу, потом поднял кулак вверх, так что посланец закрыл лицо рукой, ожидая, что американец его ударит, но удара не последовало. Он хрипло закричал:

— Пришли мне Махбуба!

Махбуб, предупрежденный о гневe американца, встал на почтительном расстоянии и склонил голову, ожидая приказа. Консул заорал на всю комнату:

— Продолжают ругать, да?

— Да,— отвечал тихо Махбуб,— и Трумэна, и Эттли, и вас...

— Я не спрашиваю, кого именно ругают. Можешь не говорить лишнего. Этот базар надо разогнать, и немедленно. Вот тебе деньги,— он швырнул Махбубу пачку рупий,— найми здоровых молодчиков, и пусть они сейчас же ворвутся в зал и палками разгонят всю конференцию. Жаль, что здесь не Америка и они не могут стрелять. Но ничего, палки тоже хорошее оружие, если им пользоваться умело. Я не буду тебя учить. Пусть бьют всех, и женщин первых. Это их излечит от глупостей.

Когда Махбуб ушел, консул еще минуту разговаривал сам с собой.

— Это будет большой скандал и большой урок. После него они поймут, кто настоящий хозяин в их стране. До

чего англичане их распустили! Но я не склонен поощрять распущенность!

Он закурил сигару и взялся за текущую почту. Но мысли его все возвращались к виденному на конференции. «Это не так серьезно,— думал он,— эти коричневые джентльмены и их чернощекие дамы вообразили себя писателями. Вот им и напишут небольшой рассказ на их спине». Он даже засмеялся собственному остроумию.

Время шло. Махбуб не возвращался. Наконец, когда терпение американца истощилось, вошел Махбуб, но в этом мрачном бродяге с трудом можно было узнать франтоватого, подтянутого Махбуба. Тюрбан его висел ключьями, белая одежда была в грязи и в пыли, точно он валялся на базаре, играя с собаками. На лице было множество кровоподтеков, нос распух и походил на синий баклажан.

— Махбуб, ты сошел с ума — являться ко мне в таком виде! Что случилось?

— Господин, Махбуб не виноват. Все шло хорошо. Сначала молодчики взяли палки и, не задерживаясь, направились в зал. Я следил поблизости. И когда они бросились с криком,— оказалось, что конференцию охраняли рабочие, господин. У них было так много палок, что они моих молодчиков молотили, как молотят зерно. Я бросился помочь им и воодушевить, но вот что сделали со мной. Я катался по земле, сцепившись с каким-то мужиком, и он не щадил меня. Я съел столько пыли, посмотри на меня, прибежище правды, сын справедливости...

— Чем все кончилось? Вы обратили их в бегство?

— Увы, господин! Мы хотели спастись бегством, но было поздно. Нас били беспощадно. И тогда я увидел полицию и знакомого мне офицера. Я сделал ему знак, и он спас наши избитые тела, и душа осталась при нас. Он велел арестовать нас, как будто мы устроили незаконную демонстрацию, и его полицейские довели нас до участка. Правда, они вели иных не очень вежливо, и офицер потом извинился и сказал, что это надо было для того, чтобы люди поверили, что нас посадят в тюрьму. Но все устроилось. Мы все на свободе. И я сразу прибежал рассказать вам, как все было! Посмотрите на мои ссадины, господин.

Консул схватил его за плечи, и Махбуб застонал от боли. Консул смотрел ему в глаза жестоким, холодным взглядом. Потом он отпустил плечи Махбуба и сказал:

— Я знаю, в чем дело. Все подстроено русскими, которые как гости присутствуют на конференции. Это рука Москвы!

— Господин,— ответил Махбуб,— если вы говорите про мои ссадины, то это не рука Москвы, а рука рабочего с парашютной фабрики, я его узнал. Он старый смутьян. А русских гостей нет. Они еще не приехали...

— Как? Русских нет на конференции?

— Нет, господин, на конференции нет иностранцев, только свои...

— Значит, они сами все организовали и все придумали и даже били вас, как собак? Все они сами?..

— Выходит, что так, господин. И там еще кричали, что это нападение — тоже провокация с вашей стороны. Не знаю, как они узнали, но кричали так, именно так, поверьте мне, о сокровище бедных и отец мудрости...

— Пошел вон, скотина,— сказал американец,— и не попадайся мне на глаза, пока я сам тебя не позову!

М А С Т Е Р

Пакистанский поэт Икбал, которого пакистанцы называют великим, умер в преклонном возрасте. Я не знаю стихов Икбала, кроме тех, что переводились мне лахорскими друзьями. Даже по этим отдельным стихотворениям можно судить, что это был великолепный поэт.

Кроме того, как только мы вышли из машины и ступили на пакистанскую землю в теснине Хайбера, первый же пограничный чиновник приветствовал нас стихами Икбала.

Народ Пакистана воздвигает над прахом поэта большой красивый мавзолей, который еще не закончен. Однажды вечером мы направились в эту часть города. На холме, с которого видно все разноцветное скопление построек Лакхора разных столетий, возвышается мавзолей Икбала.

Это каменный прямоугольник, обложенный плитами, покрытыми замечательной резьбой. Надо иметь настоящий талант большого мастера, чтобы так оживить камень, сделать воздушным каменный рисунок, вдохнуть жизнь в эти сложно переплетающиеся линии узора. При этом надо иметь сильную руку и безошибочный глаз.

— И сердце, тронутое поэтическим огнем,— сказал кто-то из присутствующих. Пакистанцы любят образный язык, но эта фраза здесь не прозвучала преувеличенно.

Мавзолей не был еще закончен отделкой. Вокруг лежали отдельные глыбы камня, отдельные плиты с начатыми и незаконченными рисунками и барельефами.

Вечер был теплый, и теплота его заливала стены мавзолея, как легкая волна, набегающая на вечерний берег. Прямо перед мавзолеем подымал свои розоватые стены древний форт, в который вела высокая лестница с широкими ступенями.

За мавзолеем высоко подымались минареты старинной мечети. Еще дальше чуть видные шпили говорили о храме джайнов, где сейчас были только пустота и запустение, потому что он был разгромлен фанатиками мусульманами и его поклонники бежали в Сринагар.

Голуби, слетая с карнизов мечети, пронеслись над головой. Чтобы лучше видеть окрестности мавзолея, мы снова поднялись по лестнице и снова не могли не полюбоваться каменной резьбой окружавших нас плит.

— Но все-таки кто же этот прекрасный мастер, который так понимает душу камня?

— О, это один из лучших мастеров... Он работает день и ночь, чтобы скорей закончить мавзолей.

— Можно его видеть? Можно с ним поговорить?

— Конечно!

— Когда мы к нему пойдем?

— Это можно сделать сейчас! Он здесь, рядом с вами.

— Где же?!

— Оглянитесь направо.

— Я ничего не вижу, кроме какого-то человека, лежащего под одеялом.

— Это он и есть!

Мы сбегали со ступенек. Под сводчатой аркой, прямо на улице, на деревянной кровати без матраца, лежал

человек — исхудалый, со впалыми щеками, с глазами, в которых горел лихорадочный огонь. У ног его, прямо на камнях, сидела женщина в лохмотьях. Это была его жена.

Мимо этого мрачного ложа проходили прохожие, пробегали собаки, подымая облака пыли. Человек был так разбит припадком малярии, что лежал, как кусок коричневого дерева, рука свесилась, как неживая, почти касаясь земли.

Это и был мастер, резчик по камню, строитель мавзолея Икбала. Рядом с ним были плиты разных размеров с начатыми и неконченными орнаментами.

В окружении этих жизнерадостных камней сам мастер казался трагической скульптурой. Его жена только на секунду подняла большие грустные глаза и снова уставилась в одну точку. Тень от мавзолея упала на больного, лицо которого было покрыто крупными каплями блестящего пота. Жена встала и закрыла его с головой одеялом.

В ГОСТЯХ У КРОКОДИЛОВ

Спасаясь от воскресной скуки, мы решили поехать посмотреть крокодилов в местечке Манхиур, в десяти милях к западу от Карачи. Путь туда ведет по выжженной пустыне, в которой на холмах торчат странного вида деревья, похожие на кактусы. Никто из местных жителей не мог сказать нам, как называются эти изогнутые колючие творения пакистанской флоры.

Мы проехали корпуса строящейся текстильной фабрики и какие-то унылые постройки, перед которыми на столбах висела доска с надписью: «Индустриальный Пакистан». Холмы дальше повышаются, являясь как бы предвестниками Белуджских гор.

Дорога приводит к небольшим воротам. Сторож у этих ворот берет с вас рупию, за что — неизвестно. Машина снова начинает карабкаться по холмам, за которыми видны зеленые верхушки деревьев. Это Манхиур.

В стороне от дороги хорошо видны мазары и мечети. Машина почти вплотную подъезжает к стенке, огоражи-

вающей бассейн. Говорят, что этому бассейну триста лет. У стенки толпятся любопытные, и дети с криками бегают вокруг.

В бассейне тяжелая, мутная зеленая вода. На мокром песке лежат крокодилы. Их не более тридцати. Они спят и только иногда, чуть приоткрыв глаза, смотрят лениво на людей, облепивших стенку.

Сторож, видя иностранцев, подбирает полы своего халата и, вооружившись длинной палкой, переваливается через стенку и мягко соскакивает на песок. Крокодилы спят и ничего не хотят. Кругом на песке валяются похожие на мокрые тряпки куски мяса. Сторож тычет в бок ближайшему крокодилу палку, и тот, к нашему удивлению, начинает хрипло огрызаться. Голос у него напоминает рычание собаки. Наконец, он двигается на сторожа, раскрывая свою длинную пасть. Сторож заученным движением подбирает куски мокрого мяса и, скатав их в толстый ком, одним броском швыряет в широко раскрытую пасть.

Крокодил отползает в сторону. Но сторож хочет согнать крокодилов в воду. Он принимается за следующего. Тот, как и его сосед, бросается на сторожа, но получает в пасть свой кусок мяса и тяжело валится в воду. За ним в воду плюхаются и остальные крокодилы. В мутной зеленой, тинистой воде они плавают, как зеленые бревна.

Тогда сторож перебирается на другой конец бассейна, где лежит какой-то замшелый, длинный и абсолютно неподвижный крокодил. С этим крокодилом у сторожа особые отношения. Он тихонько стучит ему палкой по черепу, совсем так, как вы постучали бы набалдашником трости в дверь.

Глухой звук этих легких ударов дает знать крокодилу, что рядом не чужой человек, а давно опостылевший ему сторож. Постучав несколько раз по черепу, сторож раскрывает пасть крокодилу и начинает чесать толстый шершавый язык всей пятерней.

— Это лидер! — говорит он, торжествуя. — Ему семьдесят пять лет!

Старый лидер охотно дает чесать свой язык. Потом сторож ласкает его морду, глядя ее сверху вниз. Он ста-

новится спиной к бассейну, в темной мути которого неслышно движутся крокодилы. Но одним глазом сторож следит за тем, что происходит у него за спиной.

И вдруг из воды высовывается совершенно чудовищная морда. Верхняя челюсть цела, нижней не хватает половины. Язык тяжело плещется по воде. Как-то наклонившись набок, крокодил нацеливается на сторожа, чтобы сцапать его за ногу. Но сторож уже увидел этот маневр. Он швыряет мокрое мясо с такой силой, что оно залепляет наглухо пасть. Крокодил вылезает на песок и начинает втягивать мясо судорожными глотками.

От воды пахнет сыростью болота. Знойное солнце нагревает ее, и бассейн напоминает глиняный котел с прокисшим супом, в котором лежат отвратительные твари с замученным видом, равнодушные ко всему на свете.

Но вам хочется узнать, как же потерял этот крокодил половину нижней челюсти. Вот что мне рассказал один пакистанец, знаток этих мест.

В жаркий вечер несколько подвыпивших английских офицеров, возвращавшихся с охоты из Белуджистана, заехали посмотреть на манхиурских крокодилов. Перегнувшись через стенку, они увидели, что эти мрачные обитатели древнего водоема лежат на боку и погрузились не то в сон, не то в глубокое раздумье. Это не удивило офицеров. Крокодилов они видели много, и они им не показались интересней их собратьев на берегу Инда или Ганга. Но их удивило другое.

Сидя верхом на крокодильей шее, голый факир чертил на черепе крокодила какой-то рисунок. У него в одной руке была баночка с тушью и кисточка в другой.

— Что он делает? — спросил один из офицеров.

— Это факир, давший обет начертить на черепе крокодила священную молитву. Он скоро кончит, молитва невелика, и он к тому же пишет ее сокращенно.

Офицеры с удивлением следили за небывалым всадником, оседлавшим крокодила. Как бы ни было, но факир кончил рисовать молитву, вытер кисточку о крокодилюю спину, соскочил с шеи и, погладив животное, вылез из бассейна и пошел своей дорогой.

Тогда одному из офицеров пришла рискованная мысль. Он перегнулся через стенку, и прежде чем его

товарищи успели его задержать, он легко спрыгнул на песок и направился к крокодилам.

— Что ты делаешь? — закричали товарищи.— Назад! Они все проснутся сейчас!

— Я напишу на его башке свои инициалы. Вот будет разговору в клубе! Этот паршивый факир просто обманщик. Они спят, как мертвые!

Так как офицеры были пьяны, то они, захохотав, аплодировали храбрецу, который уселся на крокодила и вынул толстый карандаш. Но едва он успел провести им два раза по голове крокодила, крокодил сбросил его на песок, и, к счастью, удар этот был такой сильный, что англичанин отлетел к самой стенке. Крокодил приподнялся, и его раскрытая пасть блеснула всеми зубами. Один из офицеров, старый опытный охотник, вскинул к плечу штуцер и выстрелил. Облако дыма заволокло бассейн. Слышно было только, как крокодилы бросались в воду. Потом дым рассеялся. Огромный крокодил с разбитой нижней челюстью вертелся на месте, погрузив морду в воду и стуча хвостом о песок. Офицера вытащили из бассейна.

Разбитая челюсть крокодила стала гнить. От боли крокодил бросался на своих твердокожих собратьев, и в одной драке сильный его противник надломил ему разбитую пулей нижнюю челюсть, и она отвалилась, лопнув на самой середине.

Может быть, рассказчик и присочинил кое-что, но какая-то доля правды в этом рассказе есть, потому что крокодила, потерявшего половину нижней челюсти, я видел собственными глазами, а, как известно, крокодилы зря полчелюсти не теряют.

КУРОРТ

Курорты, построенные над целебными источниками, не обязаны иметь хороший запах. Маеста, столь прославленная и известная широко, тоже пахнет не фиалками. За километр от Талгинского курорта у вас в кармане чернеют серебряные деньги, а в воздухе пахнет тухлыми яйцами.

Поэтому горячие ключи Пир-Манго, популярные среди простого народа, пахнут отвратительно. Воздух пропитан запахом горячей серы, как будто поблизости помещается вход в ад. Жрецы, поклонники индусских богов, говорили, что эти горячие сернистые потоки есть один из подземных рукавов реки Рави, прорвавшийся здесь наружу.

Глухая глиняная стена окружает источник. В этой стене две двери. На левой написано: «Для леди», на правой: «Для джентльменов». Эти надписи делал шутник, потому что ни один англичанин и ни одна англичанка не переступали порога этих ванн.

Этот курорт замечателен тем, что он не имеет ни одного врача, ни одного санитаря, ни одного здания, ни палат, ни постелей для лечащихся. Поскольку левая дверь для нас запретна, заглянем в правую.

Перед вами большая глиняная яма, заполненная водой сернистого источника. В этой воде лежат, стоят, сидят голые люди. Каждый занимается своим делом. Один тщательно размачивает колтун на голове, другой промывает какие-то застарелые опухоли, третий так изукрашен нарывами, что на него жутко смотреть; четвертый медленными глотками пьет воду, повидимому считая ее полезной против какой-то внутренней болезни, пятый полощет горло, шестой просто стирает белье и вешает его для просушки на низкую стенку, разделяющую мужскую и женскую половины курорта.

Людей в воде много. Они задевают друг друга руками и ногами, не обращая никакого внимания на вид соседа. Ведь каждый хочет освободиться от своего недуга, и живая очередь проходит через источник без всяких пререканий. На женской половине тоже стирают белье и платья, потому что и оттуда протягиваются мокрые руки и перекидывают свое белье на стенку рядом с мужским.

На лицах больных сосредоточенность и ожидание чуда. Вот он выйдет из этой чудесной купели, и все язвы отпадут или боль, мучившая живот годами, пройдет наконец.

К этому источнику идут пешком, как на богомолье, приезжают издалека. Тут же в воде копошатся дети с кривыми ножками, со скрюченными руками. Даже ста-

рый слепой пробует промывать глаза — в надежде, а вдруг он все-таки прозреет!

Запах пота, грязного тряпья, сернистой вони, как облаком, накрывает эту яму.

Проводник любезно говорит вам:

— Если у вас болит что-нибудь, попробуйте этой воды. Она помогает от язвы желудка, от ревматизма, от нервной экземы, от всех болезней. Вы можете испробовать и убедитьсяся.

В это мгновение вы замечаете, как человек, очень похожий на прокаженного, медленно выходит из воды.

— Спасибо! — спешите вы ответить любезному проводнику. — Если у меня были бы все перечисленные вами болезни, то они прошли бы сразу при одном виде этого источника.

— Вот видите! — говорит он, торжествуя.

Он не имеет чувства юмора, этот человек.

К РАЗГОВОРУ

Как-то к разговору мы спросили одного простого пакистанца, который расспрашивал нас о жизни советских людей: много ли знают пакистанцы о Советском Союзе?

— Пакистанцы знают о Советском Союзе, конечно, меньше, чем знают о нем народы Европы. Но даже самый темный человек знает, что Советский Союз — могучая страна, где хорошо жить простому человеку, что Советский Союз стоит за мир во всем мире, короче говоря: рядовой пакистанец симпатизирует Советскому Союзу с давних пор.

Потом у нас есть коммунисты, у нас есть профсоюзы, у нас есть интеллигенция, которая хочет вывести народ из темноты. Очень много узнали пакистанцы о Советском Союзе и Советской Армии во время войны, когда наши глаза раскрылись. Английский флот японцы перетопили, авиацию уничтожили, забрали Сингапур, прогнали англичан отовсюду, и даже Индию со стороны Бирмы защищали не англичане, а китайцы. Это было всем известно. И вот тогда они начали расхваливать

мощь Советского Союза, расхваливать Советский Союз как главного союзника, который бьет фашистов и тем самым не даст им прийти в Индию.

Теперь они клеветуют день и ночь на Советский Союз, но народ-то понимает главное. Что такое англичане, пакистанцы знают хорошо. Задал ли вам хоть один простой человек в Пакистане глупый вопрос о советских людях?..

— Нет, не задавал...

— А вопросы такие были не со стороны народа?

— Сколько угодно. Можно было только поражаться невежеству задававших эти вопросы, хотя они и причисляли себя к самой высокой интеллигенции.

— Это люди, обманутые пропагандой или обманывающие сами себя. Или продавшиеся англичанам и американцам. Или боящиеся народа... Однажды я на дороге встретил почти нищего, есть такие странствующие философы. Мы заговорили о жизни. Он взял палку и начертил на легком песке большой дом. «Это,— сказал он,— губернаторский дворец». Потом он начертил дом поменьше и автомобиль. «Это,— сказал он,— так живут важные чиновники, помещики и купцы». Потом начертил маленькие домики: «Это,— сказал он,— так живут клерки и служащие, слуги богатых». Потом взял большой плоский камень и положил внизу, под домиками. «А это живет народ. Теперь смотри,— он лег на живот и дунул на рисунки; песок смел черты домов и автомобиля.— Видишь — сказал он,— а камень остался. Народ — это камень, а все остальное построено на песке...

А я,— сказал он мне,— я человек народа. Я в дороге, но я дойду. Я из такого же камня, как и народ. Я не боюсь бури. Они ее боятся!»

ЧЕЛОВЕК И МАШИНА

Зафар каждый вечер проходил по этой улице, между стеной английского клуба и стеной большого отеля, потому что на два квартала дальше строился новый дом и там было много стружек и опилок. В них так

хорошо зарыться и так сладко спать до утреннего прохладного ветерка человеку, прикрытому только собственной кожей.

В остальное время дня он ходил по стоянкам экипажей, где всегда можно подобрать немного того товара, каким снабжают лошади таких продавцов, как Зафар. Правда, там есть и соперники по торговле, и особенно шустры дети, которые всегда опередают взрослого.

Так и шел Зафар с лотком на голове, унося свою добычу на базар или продавая ее садовникам большого отеля. Он шел совершенно голый и не стеснялся своей наготы, потому что сколько бы он ни заработал анн, все равно их не хватит, чтобы купить хорошие штаны или передник.

Так как он не один так ходил, никто на него не обращал внимания. Утром, когда после тепла опилок немного знобит кожу, он бежал по улице, чтобы согреться. Навстречу ему бежал человек в одних трусах с таким белым цветом кожи, как у вымытого поросенка. Но этот человек, когда они ровнялись, всякий раз при виде Зафара отворачивал голову, и Зафар делал то же самое. Он знал, что это англичанин, который бегаёт по улице каждое утро, ему противно смотреть на голого туземца; но Зафару тоже противно смотреть на это сырое, дряблое тело.

Бывало, что Зафар сидел на пустыре перед отелем и смотрел. Это заменяло ему кино, где он никогда в жизни не был, но слышал рассказы о каких-то людях, тени которых живут на полотне, и он боялся этого зрелища, потому что считал его колдовством.

Сидя так, поджав колени к подбородку, он смотрел часами, как пробегают мимо педикапы — велосипеды с привязанной коляской. В коляске сидят, развалившись, люди в бархатных жилетках, в тюрбанах, концы которых стоят, как петушиные гребни; сидят женщины, закрыв покрывалом лицо, и только черные, яркие глаза просвечивают сквозь тонкую пешаверскую кисею; они сидят, раскрыв зонты, расписанные цветами.

Дробно постукивая, пробегают коляски, и лошади с разноцветными султанами на голове красивы, как попугаи. На этих тонга тоже сидят мужчины и женщины, с которыми никогда в жизни Зафар не скажет ни слова.

Проходит факир в пиджаке с пышным галстуком, певуче крича, что он может показать чудеса. За ним мальчик в туземном платье несет плоскую желтую корзинку, в которой скрючилась страшная кобра. На плече у факира сидит серый мангуст, этот неустрашимый истребитель всех гадов. Его маленькие, как бусинки, глаза утонули в жесткой, как метелка, шерсти, и его хвост равен по длине его туловищу.

Проезжают на велосипедах молодые люди, на ходу рассказывая друг другу веселые истории. Проходит сумасшедшая, которая время от времени останавливается, просовывает в решетку отельного сада голову в черном платке и кричит пронзительно что-то непонятное. Садовники равнодушно пересыпают землю в горшки; она проходит мимо, как привидение, являющееся в полдень.

К отелю подъезжают машины, из них выходят белые господа. Они поднимаются по широкой, устланной коврами лестнице на верхнюю террасу и там садятся за столы, едят и пьют, сколько хотят, потом снова спускаются вниз; шоферы открывают им двери машин, и они уезжают в какие-то таинственные места, о которых он не имеет понятия.

Вот из ворот отеля выезжает большая роскошная черная машина. Рядом с шофером сидит тот человек, который по утрам бегаёт в одних трусах по улице — не для того, чтобы согреться: ведь он не спит в опилках и стружках.

Зафара очень интересуется эта машина, потому что он сам видел, как ее на ночь укутывают, как в огромное одеяло, в теплые попоны, укутывают так плотно, что даже черного кусочка не видно. Она очень большая неженка, эта машина, она боится простуды, она очень дорогая, ее берегут не так, как другие машины.

И вот в голове Зафара рождается мысль, которой он сначала боится и гонит ее прочь, но потом снова возвращается к ней, и она начинает укрепляться в его сознании.

..Как это ему раньше не приходило в голову! Как ни тепло спать в опилках, но тебя будят собаки, и разные ночные бродяги, и сторожа, которые могут прогнать тебя

с теплого ложа среди ночи. А если забраться под эти уютные попоны, которыми окутывают машину, какие удивительные сны приснятся в эту волшебную ночь!

Надо только подкараулить, когда все стихнет и сторож, шагающий по двору, отойдет в другой конец двора, затем неслышно мелькнуть в тени старых ореховых деревьев и юркнуть в мягкую попону, прижаться к борту, гладкому, как черная кожа, и заснуть до рассвета.

Зафар дождался самого темного часа, когда затихают все звуки, луна заходит за облако, в отеле гаснут последние огни и сторож начинает дремать там, где у садовников сложены лопаты и совки, грабли и ножницы,— в маленькой глиняной будке.

Зафар движется в темноте, неотделимый от темноты. Он дотрагивается до заветной попоны, шарит, где можно скользнуть под нее, находит место, где сходятся концы попоны, расширяет отверстие и слышит глухое ворчание навстречу. Сначала волосы поднимаются у него на голове от страха, как будто он увидел демона.

Ворчание все ближе и злее. Луна выходит из облака, и Зафар видит, что его место занято. Старая уличная собака, которую он часто видит, раньше него пронюхала, где можно выспаться. И хотя он хорошо знает ее — хромя, с полуоторванным ухом, с длинной свалаявшейся шерстью, но она не уступит ему этого теплого места.

Минуту Зафар стоит в растерянности, собака рычит уже громко. Зафар слышит, как сторож поднялся на это рычание в своей будке; ничего не поделаешь, надо уходить.

Он плюет на собаку и одним прыжком снова скрывается в черной тени ореховых деревьев. Немного погодя он шагает грустно туда, где за два квартала отсюда его ждут знакомые опилки и стружки. А вдруг и там кто-нибудь уже улегся?

Зафар идет и бормочет: «Проклятая собака, как она додумалась раньше меня, как это я опоздал! Зачем Аллах дал собаке человеческий разум! Все на свете так непонятно и так сложно! Трудно жить бедному человеку!»

САРАНЧА .

Мы шли по Эльфинстон-стриту в Карачи, как вдруг небо потемнело. Но это была не туча. Это двигался серосиний, отливавший сталью полог, непрерывно шуршавший и трещавший. Это наводящее тоску шуршание наполняло полнеба. Вглядевшись, вы различали миллионы микроскопических существ — крошечные самолетики, построенные в бесконечные эскадрильи. Как будто пилоты этих микроскопических самолетиков все время палили из невидимых крошечных пулеметов, и вся эта армада стремилась неудержимо в одном направлении. Иногда, как будто сбитые огнем, сотни самолетиков бессило падали на землю, но остальные продолжали полет. Это летела саранча.

Я видел мертвую саранчу в свое время в Туркмении, в предпустынной полосе. Мы перешли с товарищем по шатающейся доске широкий канал и увидели кусты, где буграми лежала мертвая саранча — миллионы насекомых, похожих на воинов, одетых в зеленые плащи с красной подкладкой. Нападение этой страшной армии было отбито колхозниками-туркменами.

Но эта победоносно летевшая над громадным городом саранча представляла зловещее зрелище. Как будто повинувшись сигналу, она поворачивала в сторону, меняла курс и бросалась на сады, которые исчезали, как будто их никогда не было.

Мы видели голые ветви, обглоданные дочиста, мы видели деревья, с которых как будто буря унесла всю листву до последнего листочка.

Саранча носилась, как исступленная, и ее жуткое шуршание непрерывно стояло в небе. Из дворцового сада губернатора раздавались звоны, крики, шумы, грохоты. Слуги и стража, садовники и солдаты били в сковородки, в гонги, в кастрюли, в звонкие металлические доски. Они боролись за губернаторский сад. И саранча ринулась за город, в пригородные сады. Кто мог спасти от нее сады простых горожан?

Птицы бросались на саранчу и клевали ее на лету и на земле.

Саранча, севшая на рельсы, остановила движение. Поезд сойдет с рельсов, если врежется в полчища саранчи. Ее называют на востоке брадобреем садов и нив. Она бреет все растущее, оголяя цветущую землю.

Люди испуганно останавливались на улицах и смотрели вверх. Маленькие дети громко плакали от страха. Собаки лаяли в воздух, как бы предчувствуя угрозу.

Согнанная с одного места, саранча снова летела на город и пронеслась над домами. Она падала на головы прохожим, на мостовые, у лавок, под ноги регулировщиков и лошадей.

Я видел, как один человек в ярости топтал саранчу, скользких зеленых насекомых с красными пятнами.

— Это огромное бедствие! — сказал торговец, вышедший из лавки и смотревший в небо, прикрыв глаза ладонью.

Человек, топтавший саранчу, ответил:

— Эта саранча что — пожрет и улетит! Есть другая саранча, прожорливей этой!

Торговец посмотрел на говорившего равнодушным взглядом:

— Все беды от Аллаха. Велик Аллах, не нам идти против его воли. Я не знаю, о какой саранче ты говоришь!

«ФИЛОСОФ САИД»

В синей строгой курточке, застегнутой на все пуговицы, в белых широких штанах, тщательно выбритый, с мягкими, предупредительными движениями, бесшумно меняющий тарелки, Саид был только официантом и не больше.

У него был веселый нрав, он понимал шутку, сам мог в меру пошутить; и за его веселую расторопность мы прозвали его философом. «Философ Саид» — для Востока это подходит.

Тем более, что когда мы спросили его, не означает ли его имя принадлежности к потомкам Магомета, он подтвердил наше предположение, сказав с довольной улыбкой, что он действительно из рода тех знаменитых Саидов.

Саид был добрый человек и даже с нежной душой. Мы видели, как он кормит птиц, бросая им оставшийся от обеда хлеб, как он, улыбаясь, смотрит, когда по столу между тарелок расхаживают воробьи и даже вороны, как он гладит по голове маленького сына садовника, как он любит цветы.

Раз за чашкой чая мы перебирали вслух наши впечатления от Лахора. Между прочим, вспомнили, как приехали в разгромленные кварталы, где нас окружили развалины домов, разбитая мебель, обгорелые вещи и куски одежды. Мы были сначала в полном недоумении: во время войны Лахор не бомбил ни один вражеский самолет, откуда эти дикие разрушения? Тут явные следы жестоких уличных боев, так выглядят кварталы городов, из-за которых дрались не один день. Но кто же сражался на улицах и в домах этой части Лахора?

Землетрясение тоже не могло причинить такие разрушения. Потопа не было. Один пакистанец, умный и образованный человек, сказал:

— Вам кажется, что это следы войны, вернее — резни. Да, это так! Когда англичане уходили из Индии, а уходили они потому, что иначе их бы выгнали, они решили хлопнуть дверью. Они предложили всем мусульманам переселиться в Пакистан, а всем индусам — в Индостан. Тогда по всей Индии вспыхнули страсти. Мусульмане столкнулись с индусами, индусы бросились на имущество, на дома мусульман. Были пролиты реки крови. Миллионы были ранены и убиты. Миллионы стали нищими беженцами. Через Карачи прошли несчетные полчища разоренных людей. Двести пятьдесят тысяч живут и сейчас в Карачи, и вы видели, как они живут.

Да, мы вспомнили эти огражденные фанерой, шкурами, кошмами жилища на окраине города, где уже нет домов и улиц, в каменистой степи.

Разговор наш за чашкой чая невольно остановился на этой мрачной теме. Кто-то вспомнил, как с ненавистью говорили пакистанцы об Англии и Америке: «Это они устроили массовую резню в Пенджабе, они спровоцировали резню в Кашмире и в Бенгалии».

Постепенно разговор перешел на другое. Саид предложил налить еще по чашке чая. Он наливал из чайника

с видом человека, всецело погруженного в обслужива-ние сидящих за столом. Один из наших товарищей ска-зал, обращаясь к Саиду:

— А ты откуда сам? Из какого города?

Саид хотел убрать со стола и уже взял было нож, ко-торым резали фрукты. При вопросе он остановился и стоял, не положив ножа.

— Я из Дели! — сказал он.

— О, ты из Дели, значит ты беженец, Саид!

— Да! — ответил он, и лицо его окаменело.

— А ты пострадал при резне, когда уходили из Дели?

Саид стоял перед нами совсем другим человеком. Его глаза стали серьезны и губы сжались. Нож в его руке слегка дрогнул.

— Да, пострадал, у меня индусы убили двоюродную сестру и тетку...

При этих словах смуглое лицо его как будто посыпали металлической пылью. Потом оно вспыхнуло каким-то серым огнем, он сделал ножом движение, как будто наносил удар, и сказал:

— Но я им отомстил. Я сам собственной рукой заре-зал двух индусов!

Страшная ненависть была в его голосе. Вдруг он по-чувствовал, что больше говорить об этом перед нами не надо. Он положил каменной рукой нож на тарелку, по-клонился и стал собирать чашки и тарелки со стола.

Когда он ушел с террасы, унося посуду, кто-то сказал тихо:

— Вот тебе и добрый Саид, вот тебе и философ!

КАК СОЖГЛИ НОВОЕ КИНО В КАРАЧИ

Пакистанцы охотно посещают кино. Несмотря на то, что с Индостаном у них плохие отношения, они смотрят индийские фильмы, где актеры играют на урду, на языке, понятном пакистанцам. Кроме того, это главным образом музыкальные комедии, где много поют и танцуют.

Американские фильмы пакистанцы смотрят поневоле, потому что других кинокартин американцы не позволяют

покупать. Американские фильмы выбираются такие для пакистанцев, где много бессмысленного, идиотского треска и шума, драк, в которых неизменно побеждают американцы, много дикарей-зверей, чепухи, стрельбы, крови и джаз-банда.

Кинотеатры, несомненно, приносят доход их владельцам. Вот почему один ловкий предприниматель решил выстроить новый кинотеатр на самой главной улице Карачи — на Бандер-Роод.

Он построил лучший кинотеатр в городе с целью приобрести много посетителей и убить своих конкурентов роскошью отделки, считая, что на эту роскошь, как на приманку, придут тысячи.

Он каждый день любовался почти законченным зданием. Он рекламировал его в газетах и афишах. Он расхаживал перед театром и с удовольствием потирал руки, представляя, какие барыши потекут к нему в карман, когда откроется театр, а он должен был открыться вот-вот. Остались пустяковые доделки.

И вот, когда он разгуливал перед театром в лучшем расположении духа, к нему подошел некий господин, очень солидный, толстый, пожилой. Этот господин остановился с ним рядом. Владелец театра сказал ему:

— Не правда ли, красивый театр, такого второго в Карачи нет!

— Брат мой, — отвечал незнакомец, — в хорошем ли месте ты поставил свой театр? Прилично ли рядом с мечетью прославленного светоча ислама, великого столпа веры, видеть этот дом неверия и соблазна? Мы живем на святой мусульманской земле. Ты знаешь, что Пакистан — значит «страна чистых». Надо ли было так небрежно отнестись к тому, чтобы пренебречь правилами веры и рядом с домом молитвы поставить дом, где будут правоверные слушать музыку кяфиров (язычников) и смотреть голых женщин?

Хозяин кинотеатра растерялся:

— Но кто вы такой, что так говорите? Разве я не правоверный мусульманин? Я исполняю все правила и хожу в мечеть.

— Кто я такой? Я простой верующий, но в руке моей меч веры!..

— Но я имею разрешение от властей на открытие театра именно здесь!

— Я говорю не о светских, а о духовных властях, брат мой...

— Я могу пожертвовать духовным властям кое-что, сделать святой вклад...

— Я думаю, поздно, брат мой! Грешник, идущий в рай по острию бритвы, уже не может побриться этой бритвой по дороге туда, где ему уготовано блаженство.

— Но разве мы живем не в двадцатом веке? — воскликнул в отчаянии владелец театра.

— Мы живем в четырнадцатом веке нашего священного летоисчисления. Не забудь об этом...

И он ушел, не оглядываясь.

Через два дня театр был весь окончен. Он сиял цветной иллюминацией. А на другой день тысячная толпа фанатиков, орущих проклятия безбожникам, вооруженная топорами, палками, поджигательными средствами и факелами, несколько часов крушила все убранство театра. Хлопали разбитые электрические лампочки, рвались ковры, ломались стулья и диваны. Потом затрепал экран, потом все облили бензином и подожгли.

Таким он стоит и сейчас, этот выгоревший дом, черный, как смоковница, в которую попала молния.

— Почему они все-таки сожгли этот театр? — спросил я.

— Чтобы напомнить о себе, о том, что они, служители ислама, еще сила, которая нет-нет да показывает когти. А кроме того, владелец кинотеатра дал взятки не им, а гражданским властям. Этого они ему не простили!

КАК ДЕЛИЛИ ЗВЕРЕЙ

— Посмотрите, саиб, там тигры!

— Я и без вас вижу, что там тигры! Можете ко мне не приставать...

— Как хотите, саиб, но вы не должны пройти мимо львов! Вот они там, направо...

— Вы напрасно трудитесь, потому что, если бы я даже усомнился, что это тигры и львы, — на каждой

клетке написано название животного. На то это и зоологический сад. Вот если бы вы мне показали хоть одного оленя или хоть одну птицу...

— Птиц у нас в саду немного, саиб! Оленей нет. Индусы взяли их у нас, когда мы делили с ними зоологический сад.

— Как? Делили зоологический сад?

— Мудрость саиба велика, и он не смеется надо мной, тем более что сейчас я честно получу свою рупию, потому что никто не сможет рассказать саибу то, что расскажу я. Делиться с индусами хуже, чем делить имущество с негодной женой: жена хочет унести с собой из дому и постели, и платья, и кастрюли, и ковры, по которым ты ходил всю жизнь. Так и индусы. Они сказали, что мы не любим зверей, потому что убиваем и едим коров. Это верно, мы убиваем коров, но так положено по закону. А по какому закону сказано, что все птицы принадлежат индусам? Каких они оставили попугаев? Вон они — совсем больные и дряхлые или кричат гадости, которым их научили язычники. Мы отдали им оленей, но быков поделили пополам. Мы предложили им змей, они сказали, что с ними в дом вползет все коварство ислама. Они хотели забрать льва, но тут вышел большой спор. Мы отстаивали льва, потому что он наш и ничего общего не имеет с этими поклонниками священных быков и обезьян.

— Значит, вы не отдали им ни львов, ни тигров?

— Мы не могли отдать, саиб, потому что — взгляните на тигра, — разве это не мусульманин с рождения? Посмотрите на его усы и на его плечи. Так сильны могут быть только сыны пророка. Тогда они сказали, что они докажут, что у нас в клетках сидят звери из Соединенных Провинций, из Рохилькенда и Гудваны, и, значит, они индусы. Мы проверяли каждого зверя, и того, который родился индусом, отдавали им под расписку. Птиц нам было не жалко. Их у нас много. Вон сколько в небе чили, и воронов, и синиц...

Мы отдали им даже медведя из Гималайских предгорий, но медведя — вон того, посмотрите немного влево, он высунул обе руки из клетки и просит хлеба, — мы не отдали, потому что он из Кашмира. Они настаивали, что он гималайский, но документы говорили, что если

он даже гималайской породы, все равно он пойман в Кашмире и там родился. Они сказали, что Кашмир их, но мы сказали, что, пока небеса не упали на землю, никто еще не доказал, что Кашмир не наш.

Так мы делили поровну и по справедливости весь зоологический сад. Не думайте, саиб, что мы были пристрастны. Мы не любим индусов, это истина. Мы любим и уважаем только одного из них, великого индуса, потому что он говорил правду — что надо уничтожить все школы, и железные дороги, и все фабрики, и всех врачей, инженеров и ученых, потому что от них все зло, они только делают жизнь тяжелой, а надо работать в поле и ткать себе самим платье без всяких фабрик. Вот он так говорил и сам ходил, как святой: только жаль, что он не был магометанином. Подумайте: лучший индус — и тот не мог понять света ислама, хотя о многом говорил правильно — не надо заводов, и фабрик, и газет, и книг. Напрасно индусы нас ругают, как грубых и хищных людей, которые хотят индусской крови. Мы любим мир и труд, и мы даже этот сад, так опустошенный индусами, назвали в честь его — именем Ганди. «Махатма Ганди» — так называется наш зоологический сад. Вы даете рупию, вы признаете, что я заслужил ее. Спасибо, саиб, большое спасибо! Да, я уйду, я больше ничего не скажу. Я скажу только одно слово, пусть простит саиб: все-таки тигры налево по той дорожке, и лучше идти отсюда не прямо, потому что там пустой крокодилий бассейн, он закрыт, крокодилы в ремонте, они спят — сейчас зима! Поэтому, пожалуйста, налево к тиграм, и милость Аллаха пусть будет с вами!

ВЕСЕЛАЯ ШУТКА

Они возвращались из Хайдерабада. Их было четверо: трое купцов из Карачи и немолодой американец, приехавший за партией джута. Купцы предложили ему в день воскресного отдыха прокатиться в Хайдерабад, в гости к их приятелю.

Американец был первый раз на Востоке, и все казалось ему необыкновенным. Сейчас, развалиясь на сиденье,

еще не совсем трезвый, он как в полусне вспоминал подробности хайдерабадского времяпровождения: прогулку на тонгах в загородный домик, фонтаны в саду, ковры под пальмами, непонятные кушанья с фруктовыми соусами, удивительных женщин, похожих на картинки, завернутых в красные и синие ткани, с желтыми розами в черных волосах, с алмазными и рубиновыми кольцами и серьгами, свисавшими до плеч, изображавшими виноградные ветки, с голыми коричневыми ногами, между пальцев которых были вложены цветы, похожие на большие незабудки.

Мужчины же были одеты в черные сюртуки и белые панталоны. И хотя купцы были мусульмане, но в уединении этого сада, когда женщины ушли, они пили стаканами джин, виски и коньяк и пели веселые песни, хитро подмигивая друг другу. Иностранца они не стеснялись, потому что он был, как они, немолод, похож на знакомых им англичан. Они же заключили хорошую сделку, после которой нужно обязательно повеселиться.

Теперь они возвращались в Карачи.

Машина резво бежала между рисовых полей с их причудливыми очертаниями, мимо пальмовых рощ и жалких деревенок, раскиданных по зеленой равнине, по которой извиваются воды бесчисленных арыков.

Наконец, показался Инд. Рыжие и фиолетовые отмели вонзались в мутную, чуть кипящую воду, насыщенную илом, потому что, начиная с поворота у Аттока, прорвав горные преграды, Инд течет к морю, не встречая преград и смывая могучей волной мягкие, крошащиеся берега.

Шофер обернулся и попросил разрешения остановиться. Ему надо посмотреть что-то в моторе. Машина остановилась у самого берега. Купцы, размяная ноги, вышли на берег. Они стояли и смотрели, прищурив глаза, как кровавый диск солнца, окруженный огненной свитой облаков, почти касался рыжей земли, как будто тоже охваченной пожаром.

Под их ногами, на отмели, лежала старая лодка. Около нее возился с сетью рыбак, и его почти черная спина сгибалась пополам, точно он кланялся реке, благодаря ее за милость. Он хватал рыбу из сети и

бросал ее широким движением в неглубокую яму на берегу.

Эта яма была полна трепещущей рыбы, и даже отсюда, откуда смотрели купцы, было видно, как, переливаясь всеми огнями, горят на заходящем солнце чешуйчатые извивы рыбьих спин. Они горели ярче и богаче, чем алмазы и рубины в ушах хайдерабадских красавиц.

Пахло мокрыми водорослями, сырым песком, рекой. Ветер приносил откуда-то сладкий запах костра и горький аромат прибрежных трав. Американец дышал всей грудью после машины, в которой столько курили сигар и сигарет. Хмель еще блуждал в его голове, и было приятно это прохладное незнакомое дыхание чужой вечерней реки, чужих берегов и неба, похожего на взрыв вулкана.

Рыбак и его сеть казались нарисованными тушью на шелковом белом песке. А рыба, которая извивалась в яме, как будто там свернулась и трепетала радуга, вселяла желание сбежать туда с берега и дотронуться до этих живых сияний, чтобы убедиться, что это не обман зрения.

— Я хочу рыбы! — закричал он и, прыгнув с небольшого выступа, стал спускаться к рыбаку.

— Он хочет рыбы! Ты мало его кормил сегодня, — сказал купец постарше.

Второй засмеялся и, разгладив мягкую аккуратную бороду, ответил:

— Он жаднее, чем англичане. Что ж, дадим ему рыбы. Желание гостя — закон. Хорошо, что он немолод, а то попросил бы что-нибудь другое...

Они переглянулись, как опытные старые волки. Третий купец, роя песок палкой с серебряным набалдашником, произнес с насмешкой:

— Когда имеешь дело, которое будет жить и завтра, — нечего скупиться сегодня! — Он закричал шоферу: — Азис, иди сюда!

Шофер оставил машину, подошел к ним:

— Машина в исправности. Можно ехать!

— Погоди, — сказал третий купец, которого звали Ага-хан, — открой багажник. У тебя найдется большой мешок?

— Мешок у меня есть, он не очень чистый...

— Ничего, возьми мешок и иди за мной!

Они все спустились к рыбаку. При виде американца он стоял в нерешительности, бормоча приветствие, но, увидев перед собой трех высоких, широкоплечих, богато одетых людей, от которых пахло сигарами и джином, он почтительно поклонился, призвав на них благословение Аллаха, не зная, зачем понадобилось таким важным господам смотреть, как он кончает удачный улов, на который у него особые виды. Старая крыша совсем рухнула, надо менять солому, за этот счастливый улов на базаре можно хорошо выручить.

Так как господа остановились именно у ямы, где барахталась рыба, и американец наклонился к яме, рыбак подумал: «Вот большие люди, а интересуются трудом простого рыбака. Верно, у них доброе сердце!»

Американец рассматривал рыбу в яме. Никакого сказочного блеска больше не было. Радуга, которую он видел с берега, померкла. Теперь перед ним в песчаной яме билась большие и маленькие рыбы, названий которых он не знал. Они делали всевозможные усилия, чтобы выскочить из ямы, и от этой рыбьей тесноты становилось скучно глазам.

Шофер подошел с мешком. Ага-хан сказал:

— Мы берем эту рыбу! — Он похлопал американца по плечу. — Для гостя нам ничего не жалко. Азис, переложи ее в мешок!

Рыбак сделал шаг к яме, он не знал, что подумать, что сказать. Эти сильные господа могут сделать с ним все, что захотят. Кто он и кто они? Не жалкому рыбаку сопротивляться желанию таких людей. А крыша, которая сгнила? Он хотел сказать о своей нищете, об этой несчастной крыше, но слова не шли у него с языка.

Шофер встал на колени и швырял теперь рыбу в мешок тем же широким движением, каким рыбак швырял ее из сети в яму. Рыбы широко раскрывали рты и пучили свои слюдяные глаза, корчились и изгибались, и американцу стало скучно, — все было обыкновенно, как в рыбной лавке. Шофер работал не останавливаясь. Рыбы было много, и когда яма опустела, шофер, сгибаясь под тяжестью мешка, понес его к машине.

Американец, проваливаясь по щиколотку в песок, тоже начал взбираться по откосу к машине. Он влез в машину, закурил сигарету и смотрел теперь вперед, где красная полоса легла по горизонту, как итог этого веселого и не совсем понятного дня.

Купцы, пересмеиваясь, влезли в машину и заняли свои места. Машина пошла. Никто не оглянулся на рыбака, стоявшего перед пустой ямой.

Ага-хан повернулся с переднего сиденья к американцу:

— Теперь ваше желание исполнилось, вы можете выбрать лучшее, остальное выбросить...

— Как выбросить! Столько рыбы! И потом вы за нее дорого заплатили!

— Признаться, да,— сказал Ага-хан,— я дал ему на счастье рупию!

— Как рупию? — воскликнул американец.— За мешок рыбы — рупию!

— Но мы же бедные люди, дорогой, а он такой богач! К его услугам целый Инд!

Сигара в руке Ага-хана закачалась. Он весь скрючился в припадке смеха.

— Ага-хан — известный шутник,— сказал второй купец.— Он всегда любит весело пошутить!

— Завтра будет смеяться весь город,— сказал купец,— шутки Ага-хана веселят сердце. Подумать, за мешок рыбы — рупию на счастье! Хо! Хо!

— Рупию на счастье за мешок рыбы! — воскликнул американец. И тут все начали хохотать, как сумасшедшие. Американец хохотал, расстегнув пояс, чтобы не задохнуться.

«Да,— думал он,— рупию — за мешок рыбы! Это смешно. Вот он, настоящий Восток, непонятный и таинственный. Здесь можно делать дела!»

Машина набирала полную скорость. Впереди была темнота, прорезаемая светом фар.

В ПАКИСТАНСКОЙ ДЕРЕВНЕ

Как печальны пакистанские деревни! Какое-то безмолвие тягостного труда висит над ними. Кажется, что здесь труженик земли навсегда склонен над своим

полям и ничто не радует его: ни прекрасные деревья по краям поля, ни бирюзовое небо над его головой, ни пение бесчисленных птиц, ни даже урожай, собранный его руками.

Вы не услышите веселого голоса, не то что песни. Вы не услышите оживленного разговора, не увидите улыбки на лице. Как будто обет молчания дали эти тихие красивые люди, которые с таким удивлением смотрят на вас, как на выходца из другого мира.

Вы попали в другой, далекий век, в котором автомобиль кажется измышлением дьявола, колдовством, пугающим человека.

А бык, идущий по дороге, тяжело переступая с ноги на ногу,— это средоточие заботы, это нечто дорогое и особенное в жизни. Он несет на своей могучей шее столько пестрых лент, столько наговорных ниток с бирюзой, костяшек, ракушек,— это амулеты. Он убран цветами. Амулеты, висающие на его шее,— против дурного глаза, против плохой воды, против укуса кобры, против диких зверей, против вора, против всех болезней, против злых духов.

Он кормилец. Он первый работник. Он идол крестьянской жизни. Эта крестьянская жизнь похожа на картинку из учебника о средневековье. На пригорке, прикрытый тенью ореховой рощи, виден дом. Это жилище земиндора — помещика. Дом стоит высоко. С его балкона можно окинуть взглядом поля, принадлежащие помещику.

Сбоку, забравшись в кустарник, притаился домик управляющего. Он ближе к полям, и из него видно, кто как работает на поле. А в стороне от полей, ближе к дороге,— глиняные хижинки крестьян. И среди них маленькая саманная халупа с одним окном. Здесь живет сельский староста, который ближе всех к крестьянам и который беспощадно следит за исполнением всех работ.

Помещик может одеваться по-европейски, может ездить в коляске, может вообще только наведываться в свое поместье. Управляющий может иметь дело со старостами и не опускаться до разговора с простыми крестьянами. Староста знает, что если он будет снисходителен к подчиненным, он сам перейдет из своей саманной

постройки в глиняное логово, станет бесправным, лишится всех своих привилегий и милости помещика.

Миллионы батраков работают, не имея своей земли. Они получают столько, сколько им захочет уплатить помещик. Он может их выгнать в шею, и никакой суд не восстановит правды.

Иные крестьяне арендуют землю. Угроза, что их согнут с этой земли, висит над ними непрерывно. Другие имеют такие клочья земли, что все равно должны работать на помещика, и этот заколдованный круг кончается только смертью.

В пыли глиняных дорожек копошатся дети. Они предоставлены самим себе. Их родители на работе. Они повесили на шею детям бирюзовые бусинки на шелковом шнуручке,— это их забота о том, чтобы ребенок не заболел, чтобы с ним не случилось беды.

Деревня не знает ни школы, ни больницы. Это крепостное право, это рабство, каким оно было в далекие времена.

По большой дороге шагает полуголый крестьянин с палкой в руке. Это пакистанский Антон Горемыка идет в город искать правду.

Устав, он садится у дороги, вынимает из-за пояса платок, где лежит чапатти — блин из затхлой муки, и ест его, наблюдая жизнь на дороге, как нечто глубоко ему чуждое.

И в самом деле: он никогда не проедет в экипаже, никогда не будет иметь такого конька, как у управляющего, никогда не сядет в машину. Отдохнув, он снова плетется в пыли, изнуренный голодом и жарой. Он может упасть и умереть. Труп его сбросят с дороги. Этим все и кончится...

ПРОЩАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР В КАРАЧИ

Зал Халлик Холл в Карачи никогда не видел в своих стенах столько разнообразного народу, как в этот вечер. С трудом могли мы пробиться на сцену, которая на высоту человеческого роста возвышается над залом.

Сцена была так тесно заполнена людьми, что едва нашлось место поставить стулья для нас. Я смотрел в зал и видел, что в зале не только сидят на стульях — сидят на полу, в проходах, стоят у стен.

Я узнавал немногих друзей, с которыми познакомился в Карачи. В зале были писатели, журналисты, представители профсоюзов, очень много рабочих. Я не ожидал, что так много народу придет нас приветствовать. Пришли тысячи.

Не успел председатель объявить об открытии вечера, как из толпы закричал какой-то фанатичный поклонник официальности:

— А где молитва?!

Дело в том, что в Пакистане ни одно заседание или публичное собрание не может начаться без произнесения краткой молитвы.

Чтобы не задерживать начала вечера и успокоить рьяного исламиста, какой-то старик вышел на сцену, повязал голову поспешно платком, так как молитву нельзя читать с непокрытой головой, пробубнил в микрофон что-то насчет Аллаха, и вечер открылся.

Нам надели на шею венки из красных и желтых роз. На столе стояли серп и молот, сделанные из проволоки, обвитой зеленью и красными розами. Затем начались приветствия. Они читались на урду и переводились тут же. Приветствия были написаны на картоне каллиграфическим, очень искусным почерком.

В этих приветствиях, сквозь затейливые узоры восточного красноречия, чувствовалась настоящая, большая любовь к советским людям. Взрывы приветственных криков оканчивали каждое выступление.

Выступали мы все по очереди, благодаря пакистанский народ, прогрессивных его деятелей и общественность за дружбу и гостеприимство. Что делалось в зале — трудно описать. Народ вскакивал с мест, к нам тянулись тысячи рук. Крики: «Да здравствует Советский Союз!», «Да здравствует Москва!» — гремели даже откуда-то с боков. Мы не знали, что двери раскрыты и тысячи людей стоят на улице. Они подхватывали возгласы, пронесившиеся по залу, и повторяли их, как громовое эхо.

Я видел, что в зале люди искренне и горячо расположены к нам. Когда была провозглашена здравица в честь товарища Сталина, поднялся такой ураган криков, что, казалось, стены Халлик Холла рухнут нам на голову.

Все, что мы слышали в многочисленных беседах на дорогах и в комнатах, все, что мы пережили и почувствовали за свое пребывание в стране, все соединилось здесь в такое могучее дружеское признание, что слезы навертывались на глаза при виде такого народного энтузиазма.

Рукоплескания и крики сливались в гул реки, волны которой били с улицы в зал через широко раскрытые двери.

Хотелось сказать как можно больше этим людям, которые так мечтали, чтобы их народ вышел из вековой темноты, сбросил все цепи того беспримерного гнета, который лег на тела и умы, на народ, который так здоров душевно, так красив и талантлив.

Читались стихи, пелись стихи, казалось — не будет конца этому вечеру, но часы пролетели незаметно, и надо было расходиться по домам.

Как только все в зале и на сцене встали, толпа захлестнула нас. Мы потеряли из виду друг друга. Мне жали руку налево и направо. Совали книжки, тетрадки, блокноты, прося расписаться. Хватали за плечо, кричали в уши какие-то приветствия.

Я помнил, что сцена поднята над залом на высоту человеческого роста, и тщетно я искал края сцены, боясь в этой суতোлке упасть прямо в зал. Наконец, моя нога нащупала этот опасный край. Тут не было лестницы, чтобы сойти в зал.

Я был подхвачен в одно мгновение десятками людей и перенесен по воздуху, как на крыльях, через зал на улицу. В лицо после жаркой духоты ударил свежий ветер ночи.

На улице чернел народ. Его было так много, что остановилось движение. Ни трамвай, ни машины не могли пробиться сквозь живую стену. Все эти люди кричали приветствия.

Конечно, никаких машин отыскать в этом бурном потоке было невозможно. Я стал пробиваться к тонгам

на другой стороне улицы. Народ окружил меня. Едва я влез в тонгу, как ее колеса схватили множество рук. Возница, растерявшись, с испугом глядел по сторонам.

Ко мне пробрались товарищи. Но тонгу держали. Всюду я видел восторженные лица и поднятые для приветствия сжатые кулаки — пакистанский рот-фронт.

Наконец, тонга двинулась и пошла, окруженная народом. Мы боялись, что кого-нибудь раздавим. С большим трудом тонга выбралась из гущи на свободное пространство.

Мы оглянулись. Народ бежал за нами, и его крики не ослабевали. Мы махали руками в ответ и тоже кричали. Тонга уносила нас. Толпа шумела за нами, как прибой.

Газеты написали, что народу было более семи тысяч.

В пять часов утра мы должны были ехать на аэродром. Мы улетали домой. На аэродроме не было ни одного провожающего.

Провожать нас массой было нельзя. Провожать в одиночку — тоже. Мы сели в самолет, полные этим необыкновенным вечером, посвященным дружбе советского и пакистанского народов!

МЫ ЛЕТИМ ДОМОЙ

В комнатах авиапорта Карачи было всего десять пассажиров. Один из них разложил прямо на полу молитвенный коврик и начал молиться, кланяясь в сторону Мекки. Мы ушли в соседнюю комнату.

На стенах были развешаны виды Кашмира, повидимому оставшиеся от времен, когда Пакистан и Индостан назывались еще Индией. Теперь в Кашмир летают только из Дели.

Настал срок отлета. Мы прошли на летное поле и сели в самолет. Точно по расписанию самолет, пробежав по коридору цветных лампочек, пошел в воздух; небо было совершенно черное. Под нами в темноте роились зеленые, желтые, красные, белые огни Карачи.

Мы шли на северо-запад. Справа я видел черную плоскость, чернее ночного мрака. Это было правое крыло

нашего самолета. Потом его ребро начало выделяться из мрака, потом оно засверкало.

Тьма как будто становилась тоньше. Я взглянул и увидел как бы тень крыла. Мы мчались в сизой, синеватой мгле, и из нее выходило наше крыло мутным, потом в этом сумраке выросло целиком все крыло. Правда, очертания его были расплывчаты.

Солнца не было видно. Черная туча висела направо. Под ней протянулась на неизмеримое пространство оранжевая полоса. Она переходила в красную и все больше расширялась между тучей и землей.

Вдруг небо посветлело сразу — не сбоку, где полоса, а сверху и впереди. Открылась под нами земля. Она была мутного цвета, и на ней ничего нельзя было разобрать.

Из-под черной и лохматой тучи появился очень красный, сразу ставший пурпурным, полукруг солнца. Я стал различать серые полосы полей, и темные пятна роц, и бледную широкую полосу реки.

Вдруг, как бесшумный взрыв, прорвав черную тучу, ставшую теперь синей, вырос шар такой ослепительной силы, что смотреть на него было невозможно.

Даже сквозь зеленую занавеску окна он пылал, как раскаленный. Самолет набрал высоту, и на земле стали хорошо видны нитки дорог и тусклый блеск изумрудного Инда.

Солнце шло выше с изумительной скоростью. Начался день. Я взглянул на часы. Они были поставлены на местное время. На них было семь с половиной часов утра.

Мы летели на север, к Лахору. Под нами лежала страна, которую мы узнали в своей поездке, страна, полная старых пережитков, страна, у которой все в будущем.

Когда самолет взял курс на Равальпинди, справа от самолета начали вырисовываться горы. Один за другим, как кулисы, вставали хребты, подымая синие и голубые изломы, один выше другого. Они уходили на восток, к еще более высоким хребтам.

Приглядевшись, вы могли насчитать девять таких горных стен, которые повышались к северо-востоку. Вы уже смотрели, не в состоянии оторвать глаз от открывшейся вам картины.


За последними голубыми высотами почти тенью последних вершин вставали великаны Гималайских предгорий, вечно белые вершины Кашмира. Их ледяные стены, башни, пики блестели холодным, тяжелым светом, они возвышались один за другим так могущественно, что все остальные горы казались лишь ступеньками, ведущими к их недоступной высоте.

Над ними подымались тяжелые белые, чудовищной высоты, облака.

Они принимали форму домов, крыльев, слонов, вытянувших хоботы, крокодилов, разинувших пасти. Нас тоже окружили облака. Одно было как летящий демон, весь исчерченный черными молниями, раскинувший узкие, сквозные крылья. Нельзя было оторваться от этого зрелища облаков и гор.

А самолет продолжал путь на север, к Пешаверу, к горам, которые мы должны были дважды пересечь, к грозным снежным высям Гиндукуша, с которых самолет спускается прямо к Аму-Дарье. А там, за ней, мы видели мысленным оком цветущие пределы нашей милой родины — великой Страны Советов!

*1950. Август — сентябрь.
Москва — Паланга*



РАССКАЗЫ
ГОРНОЙ СТРАНЫ

1953-1954

*

ЗА РЕБОЙ

Из своего детства Худроут помнит желтый осыпающийся глиняный дувал, большой старый многоветвистый тут, ворота, у которых он играл с мальчишками, дорогу, проходившую мимо дувала; помнит, как он впервые в жизни испугался так сильно, что весь покрылся потом и в глазах потемнело.

Всадник на такой высокой лошади, что она показалась маленькому Худроуту выше дувала, кричал на его отца, стоявшего у ворот, кричал долго, пронзительно, громко, трясая над ним своей жесткой красной бородой, потом взмахнул толстой плетеной камчой над головой отца, который стоял неподвижно и смотрел в лицо всаднику.

Тогда-то и испугался маленький Худроут. Ему показалось, что одним ударом этой высоко поднятой камчи неизвестный убьет отца, разрубит пополам его голову, выбьет ему глаза. Мальчик закричал, но всадник звонко щелкнул камчой в воздухе, ударил коня, который сделал прыжок, и, повернув коня, еще раз крикнул что-то с ходу и исчез за поворотом стены.

А отец разжал кулак, и на дорогу упал камень, длинный и острый, который он зажал в кулаке, пока кричал на него так внезапно наехавший помещичий приказчик.

Помнит еще Худроут, как чужие люди выносили из отцовского дома, тесного, темного, с земляным полом, кошму, котел, одеяло, какие-то тряпки и мать умоляла

их, кланяясь им, просила о чем-то, но эти молчаливые торопящиеся люди с сонными лицами и остановившимися глазами, казалось, ослепли и оглохли. Они не глядели на бедную, в слезах, Сафармо и не слушали ее просящих слов. За воротами они бросили вещи на арбу, переполненную всяким скарбом, и сами влезли и сели поверх него, молчаливые и непреклонные.

Солнце заходило, и далеко было видно, как едет в красной пыли темная арба, увозящая нищее крестьянское добро. Но Худроут был еще мал, чтобы понимать, что произошло, и он хотел утешить мать и прижимался к ней. Она, вытирая слезы тыльной стороной левой руки, правой рукой гладила его по голове и шептала непонятные слова.

Потом Худроут помнит слонов. Розовым весенним утром два огромных животных шагали по дороге мимо деревни. Посмотреть на них сбегались люди со всех сторон. Слоны остановились, важно оглядываясь. Вожак одного из них, сидя почти на самой слоновой голове, разговаривал с крестьянами, спустив свои ноги так, что ступни их были спрятаны за широкими шершавыми слоновыми ушами. Слоны, видимо, были на простой прогулке, потому что на них не было корзин — гауд — и они были покрыты только толстой красной попоной с золотистой бахромой. В руках у Худроута было несколько соломенных жгутов, из которых он хотел сделать кукол для игры. Но слон так осторожно, что Худроут не успел даже вскрикнуть, взял кончиком хобота у него из руки соломенный жгут, взглянул на мальчика своими маленькими хитрыми глазами, точно подмигнул ему, высоко поднял в воздух жгут, раскрошил его и соломенной крошкой посыпал себе голову. Он сделал это так быстро и весело, что все вокруг засмеялись, а Худроут протянул другой соломенный жгут второму слону, и тот, похлопав ушами, взял у него жгут так же, как и первый слон, раскрошил его, но, прежде чем посыпать себя, вытянул хобот и посыпал сначала голову Худроута соломенной крошкой.

Все развеселились еще больше, но вожаки что-то сказали слонам, и два гиганта, грузно ступая сильными, тяжелыми ногами, раскачиваясь, как бы лениво пошли

по дороге. Но долго еще смотрел им вслед Худроут и долго встряхивал головой и с удивлением рассматривал соломенные крошки, которыми была посыпана его голова.

Худроуту шел уже седьмой год, когда в селении наступили какие-то шумные дни. Взрослым было не до детей. И дети бродили, где хотели. Худроут научился лазить на дувал по выбоинам в глиняной стене и смотреть оттуда на дорогу. Раз он увидел, как по дороге шло много людей, и все они шли к зеленой лужайке у тех трех ореховых деревьев, которые были много старше самого старого старожила, много старше самого селения.

Вместе с мальчишками Худроут пробрался к старым ореховым деревьям, и мальчишки помогли ему вскарабкаться на толстый сук, с которого хорошо было видно, что делается на лужайке. Там сидели и стояли, разговаривая, крестьяне. Женщин не было. Были только мужчины. У многих было оружие. То один, то другой выходил на середину и говорил резким, гортанным, сильным голосом что-то такое, на что все остальные отвечали такими же резкими, сильными криками и трясли винтовками в воздухе. Кое-где сверкали обнаженные кинжалы и шашки. Потом тихим, почти вкрадчивым голосом говорил низкоплечий толстый человек в большом тюрбане. Он говорил, временами пел и, ведя свою речь все более тонким и гнусавым голосом, закончил криком, таким пронзительным и долгим, что птицы поднялись с деревьев и заметались над головами в начинавшем угасать вечернем небе. После этого крика старик сел и как бы впал в сон, потому что голова его склонилась набок и вся фигура погрузилась в покой.

Тут вышел, как танцовщик, перебирая ногами, дerviш. На его впалых, лиловых от загара и грязи щеках виднелись клочья рыжих волос. Он царапал землю ногами, похожими на спицы. Его глубокие и скользящие по сторонам глаза горели холодным, каким-то голодным блеском. Вдруг, точно ужаленный, он подскочил на месте и простер руки.

Рыжая мохнатая шапка его опустилась до бровей, глаза закрылись. Он дико крикнул, и этот крик долетел до вершин многоветвистых, масляно-черных на закате деревьев.

Дервиш начал медленно кружиться, как будто ввинчивался в землю. Потом, точно отброшенный землей, он высоко подпрыгивал и кружился, как волчок, пущенный непонятной силой.

Когда он останавливал свое кружение, все видели, что пена текла по его сизой бороде, обнажались неровные длинные зубы, один глаз полуоткрылся и был злобен и страшен. Все быстрее и быстрее кружился он, выкрикивая по временам какие-то клятвы или ругательства.

Люди шумно вздыхали, кое-кто всхлипывал от переживаний, кое-кто ударял себя кулаком в грудь. Иные плакали от умиления. Ужаснее всего были руки дервиша. Они то взвивались, как палки, над головами, то складывались, как будто ломались надвое, то извивались и раскачивались в стороны, касались земли.

Они устремлялись вперед, душили и сжимали невидимого врага. Они рубили невидимой шашкой, падали и снова бились над головой.

Маленький Худрут смотрел, весь дрожа, ничего не понимая и только чувствуя, что все его существо напряглось и насторожилось и если он чуть разожмет пальцы, то упадет с дерева и разобьется о землю, не почувствовав боли.

Каждый из крестьян не раз видел подобные неистовства захожих нищих-дервишей. Они особенно никого не страшили и не удивляли. Люди знали, что после всех этих прыжков и завываний дервиш попросит чаю и лепешек; богатый подарит ему платок или туфли, накормит пловом.

Но сегодня — и все понимали это — дервиш не просит ни подарка, ни чаю, ни туфель. Сегодня дервиш требовал другого.

Остановившись и только слегка покачиваясь, дервиш выхватил из-за пояса нож и ударил себя по голому, почти черному плечу. Все видели, как на белом лезвии ножа свернулась и прыгнула в сторону темная капля, за ней другая и третья. Дервиш, все еще покачиваясь, ударил себя по другому плечу, и снова кровь брызнула на его лохмотья. Тогда он нагнулся и подал нож ближайшему из сидевших, захлопал в ладоши, издал воющий вопль и упал, как мешок, на землю.

Тут все вскочили, всё смешалось в крике и шуме. Худроут не помнил, как его сняли с дерева, кто принес его домой. Он только на всю жизнь запомнил круглую, совершенно круглую луну, стоявшую над домом, отца, которого окружили вооруженные люди, мать, которая плакала в стороне, закрывшись с головой покрывалом, присмиривших собак и звон и лязг оружия, которого было так много, что казалось, звенит вся земля вокруг. Отец обнял Худроута, поднял его в воздух, прижал к своей колючей щеке его лицо и опустил на землю, сказал что-то непонятное — что-то о воде, о земле, о нем, Худроуте, и о том, что надо наказать предателей ислама.

Потом вся толпа куда-то двинулась, звеня оружием, и остались только Худроут и мать. Маленькая сестра спала в колыбели, и ее не касались ни дурная бестолочь этой ночи, ни внезапная пустота села и тишина. Издали долетал смутный гул и далекий, приглушенный собачий лай.

Проходили месяцы. Деревня жила тревожно. Приходили разные люди, возвращались крестьяне, ушедшие в ту ночь, но уже не было ни оживления, ни крика. Наоборот, теперь собирались по домам и дворам, говорили тихо и боязливо оглядывались. Мать плакала с утра до вечера. Маленькая Сабзбагор — Цветок весны — кричала в колыбели. Худроут понял своим детским умом, что отец больше не вернется обратно, никогда не вернется. Раз пришел в селение высокий худой человек с таким же высоким худым ослом. Худроут никогда раньше не видел его.

— Я твой дядя Хурам, — сказал он ласково Худроуту, рассматривая пристально мальчика, — я брат твоей матери, и я пришел помочь вам.

Но недолго этот грустный и ласковый человек жил в доме. Не прошло много времени, как снова пришли те молчаливые, озабоченные и равнодушные люди, что приходили и раньше, и снова вынесли из дому последние кувшины, чашки и тряпки. Только теперь уже мать не плакала. Она взяла на руки маленькую Сабзбагор и ушла к соседям, а дядя молча стоял на дворе, загородив загон с высоким худым ослом, как бы готовый защищать его до последней капли крови.

А немного позже Худроут пошел с дядей в поле. Там уже стояли кое-где люди, и нельзя было понять, о чем они думают, так неподвижно стояли они над тесными канавками, глядя в них, точно видели там что-то необыкновенное.

Над такой же канавкой стоял и дядя с Худроутом. Дядя оглядел поле, длинной палкой, с которой никогда не расставался, потрогал потрескавшуюся горячую, рассыпающуюся в порошок глину и сказал:

— Вот и все, Худроут...

— Что все, дядя Хурам? — спросил мальчик.

— Отняли у нас воду, мальчик. Не будет больше воды в этих арыках...

— Что же мы будем делать без воды, дядя?

— Без воды здесь нечего делать, дорогой. Ну, пойдём...

И они тихо, как с кладбища, шли по этим печальным полям домой, и земля шуршала у них под ногами, точно жаловалась на свое горе.

А через три дня дядя Хурам сказал Худроуту:

— Надо уходить отсюда, сынок; помоги мне навьючить осла.

— Что же это такое, дядя? — спросил мальчик, боясь чего-то ужасного, что должно случиться, но дядя просто ответил, как будто не случилось ничего особенного:

— Когда вырастешь, Худроут, все узнаешь. А сейчас долго рассказывать. Надо уходить...

— А мама? — сказал упавшим голосом Худроут.

— Маму с Сабзбагор возьмет к себе сестра, а ты будешь со мной.

И они ушли в тот же вечер по каменистой неровной дороге на восток, когда солнце стало спускаться за выси далеких сизых, прозрачно-голубых хребтов. Копыта осла гулко и легко стучали по пустынной, тихой дороге. Мальчик шел рядом с ослом, а впереди шагал коротким шагом опытного пешехода высокий худой человек с большой бородой, печальными ласковыми глазами, сжимая крепкими коричневыми пальцами высокую палку, придававшую ему вид пастуха.

Начались годы долгой кочевой жизни среди таких дебрей, куда вели только узкие тропинки, где вставляли

над головой такие горы, что не видно было неба из темных, сжатых каменными стенами ущелий, где леса охватывали в жаркий день осенним холодом, а в пропасти лучше было не глядеть.

Дядя Хурам нанялся помогать кочующему продавцу, который торговал в этих мрачных краях, не боясь, что его ограбят, или что его товар утонет в одной из здешних бешеных речек, или осел сорвется с кручи в бездонную щель, поскользнувшись на обледенелом камне.

В тюках предприимчивого торгаша были и шукры — черные шерстяные халаты, и дешевые шелка, и шелковые разноцветные ленты, деревянные и металлические гребешки, стеклянные бусы, иголки и нитки, оловянные кольца, медные запястья, красивые коробочки и рукоятки для ножей.

Вместе с дядей странствовал по этой неуютной стране и Худруут, ведя дядиного осла через животрепещущие горные мостики и отдыхая в каменных холодных домах высокогорных селений. Иногда дядя оставлял его на попечение своих друзей, оберегая мальчика от слишком утомительного или опасного пути.

Мальчик рос, как растут деревья в этих горах, так же естественно принимая все перемены климата, как и эти питомцы дикой горной флоры, украшающие каменистые склоны.

Сидя в жалкой горной хижине перед огнем, разложенным прямо на полу, слушая рассказы любителей поговорить на языке, который он сначала почти не понимал, он засыпал, прижавшись к мешку с кукурузными початками или к старому, выцветшему чавалу.

В этом горном мире не существовало школ, учителей, книг. Дни были похожи один на другой, и только смена времен года вносила разнообразие в суровую, бедную, темную жизнь ущелий и долин, население которых совсем не представляло себе, что происходит на свете, — да это его и не очень интересовало.

Худруут подружился с местными мальчишками, очень ловким, сильным и независимым народцем. Раз дядя, вернувшись после одного из своих головоломных путешествий, нашел его лежащим на старом одеяле, с

лихорадочным блеском в глазах. Дядя Хурам перепугался, решив, что Худроут серьезно заболел.

Но мальчик признался, что он попробовал принять участие в игре местных мальчишек и ему не повезло. Он сел на одеяле и, размахивая худыми руками, волнуясь, рассказывал, что не мог не принять участия в забаве, раз его пригласили. И пусть дядя не думает, что он подвел свою партию,— нет, ему просто не повезло.

Игра заключалась в том, что нужно было отстоять от нападающей стороны начертанный на плоской крыше круг. Но защитники и нападавшие не просто толкали друг друга,— нет, каждый должен был схватить правой рукой большой палец левой ноги и прыгать только на одной ноге и действовать только одной рукой. Если бы дядя знал, как это весело! Нельзя выпустить пальцы ни в каком случае. Можно было только в пылу игры переставлять ногу и перехватывать другой рукой.

Нападение и защита дрались ожесточенно. Можно было хватать противников за волосы и, уж конечно, получив ссадину или царапину, не показывать вида, что тебе больно. Но так как игра происходила на крыше горного дома, то нужна была немалая ловкость, чтобы не слететь с нее вниз. И он, решительно отбив атаку противника, поскользнулся, наступив на орех, потерянный кем-то из игроков. А это случилось у самого края крыши, и он полетел вниз и упал с головой в большой сугроб мягкого снега. Он нырнул в него, как в речку, и все же сам вылез оттуда, без посторонней помощи, и только дома все тело разболелось, и он спал почти сутки. На его лице, руках и ногах было много порезов и ссадин, и дядя решил не оставлять его больше в такой глуши, где даже в игре можно сломать голову, и взял его с собой.

Время шло. Дядя нашел другую работу. Он не отпускал от себя Худроута, и они теперь жили вместе в горных лесах, в тех местах, где срубали большие деревья и пускали их, обрубив ветви, вниз по громко шумевшей реке. В самом конце ее эти бревна вылавливали и, как говорили люди, отправляли их в Кабул и даже в далекую Индию.

Густые сосновые и кедровые леса с их меланхолической величественностью, дубовые леса с подлеском из

боярышника и дикого миндаля, такие же простые и гордые люди, которые боролись с огромными деревьями и побеждали их, жизнь на берегах летящей день и ночь реки, крутящейся среди скал,— все это не могло не отразиться на характере юного Худроута.

Он сам охотно принимал участие в битве с гигантским кедром, и когда с треском поверженного лесного владыки сливался грохот падавших в реку камней, Худроут обрубал огромные зеленые ветви, стоя по уши в холодной, живой хвое, трепещущей, как будто что-то желающей рассказать ему перед тем, как она умрет, отделившись от тяжелого, великолепного в своей даже поверженной мощи ствола.

Он не боялся ни отвесных уступов, ни стремительных вод, как бы приглашающих храбрецов испытать их силу, ни горных духов, о которых лесорубы любили поболтать перед сном у лесного костра.

Им часто приходилось, переходя с участка на участок, останавливаться среди пастушьих кочевий, и тогда они ночевали с пастухами в особых домах — загонах, называемых в этой стране пшалами.

Однажды, утомленные длинным подъемом по отвесным скользким тропам, они добрались до большой цветущей поляны, окруженной скалами причудливой формы и с широким видом, который заставил их забыть усталость и остановиться. Большими волнами подымались горы, покрытые лесами и кудрявыми кустарниками, зелеными лужайками и покатыми полянами, за ними вставали голые темноликие скалы, кое-где украшенные соснами, за ними высоко подымали свои головы горы, осыпанные новым снегом, ослепительно блестящим своими изломами.

Пшал был прислонен к скале с большим каменным навесом и хорошо предохранен от дождей и от катящихся со скалы камней, смытых дождями. Снаружи пшала лежали горки козьего помета, внутри на огне трещала сухие ветки. Перед огнем сидели пастухи. Дядя Хурам нашел знакомых, и они приветствовали его, как полагается по обычаю.

Худроут, напившись молока с горячими прекрасными лепешками, сначала слушал, как пастухи расspra-

шивали дядю про сплав леса, про виды на урожай в Бокковой долине, мешая сучья на огне своими черными крепкими пальцами, потом стал дремать и незаметно уснул.

Когда он проснулся, огонь уже догорел. Все спали, как кто нашел наиболее удобным. Полумрак стоял в помещении, храп и хрип спящих смешивались с бляением козлят в загоне, шорохами и вздохами спящих животных, шевелившихся во сне. Худроут ощупью нашел засов, открыл дверь и вышел из помещения.

Он прошел по поляне к ее краю и лег на траву. Луна стояла над дальним хребтом, и снега излучали голубоватый острый свет, который дрожал, как легкий туман, отделившись от снежных стен. Зубцы лесов, залитые лунным сиянием, побелели, а нижние ярусы леса падали в разрезы ущелий, сливаясь с их чернотой. Травы пахли резко и крепко, напоминая чем-то запах цветущей джиды. Худроут лежал, вдыхая в себя благодатный, освежающий холод ночи, вбирая в себя этот ошеломляющий широкий простор, это звездное небо, на котором, переливаясь, мерцали холодные, чистые большие звезды. Огромность и тишина горного ночного мира делали Худроута маленьким, растворенным среди спящих громад, великодушно допустивших его в свое общество великанов.

Худроут в то же время испытывал большое, непонятное ему волнение. Восторг перед всем, что он видел, переполнил все его существо. Он чувствовал, как будто стал больше, сильнее, крепче. Он очень вырос за последнее время. Его тонкие железные ноги не боялись ни острых камней, ни ледяной воды, ни колючих кустарников. Ночной ветерок оведал его крепкую грудь, а рукам было приятно сжимать колючую, жесткую траву поляны.

Он не мог бы сказать, сколько он так лежал, не думая ни о чем, весь во власти смутных ощущений, не отводя глаз от тех перемен, которые производила луна в горном мире.

Она передвинулась к востоку, и там, где были блески снегов, стояло теперь зеленоватое, блещущее иглами облако, как будто снега дымились. Дальние ущелья осветились, и их отвесные стены забелели, а чернота перекинулась на другую часть хребтов, и там уже все потонуло во мраке.

Худроут перевел глаза на поляну, и ему показалось, что какая-то вихляющаяся тень направляется к скалам, у которых он лежал. Мгновенно рассказы о горных духах пронеслись в его голове. Но он только резко вскочил на ноги и прислонился к камню. И как только он встал во весь рост, тень стала определенно приближаться и сгущаться, и, присмотревшись внимательно, Худроут увидел дядю Хурама, медленно и неуверенно идущего к нему.

Тогда он сам пошел навстречу и скоро стоял рядом с дядей, смущенным и не опирающимся на свою высокую палку.

— Это ты, Худроут? — спросил дядя, подходя.

— Я, дядя, — ответил Худроут. — Вас тоже выгнала духота? Там, в пшале, очень душно...

— Я плохо сплю, Худроут, — сказал тихо дядя, и тут Худроут первый раз за все годы увидел, как постарел дядя Хурам.

Они сели у тех же скал, где лежал на траве Худроут, и смотрели на горный простор несколько минут молча. Худроут разглядывал дядю Хурама, как будто видел его впервые.

Перед ним сидел старый человек, с глубоко запавшими глазами, с усталым лицом, с бородой, в которой лежали серебряные нити, с худыми руками, на которых выступали жилы, в поношенной одежде и в полурваном плаще, который носят жители Боковой долины, отправляясь в дорогу. Резкие черты лица под луной еще больше заострились. Большие глаза смотрели печально.

Худроут взглянул на луну, и она вдруг напомнила ему ту ночь, когда отец уходил из дому неизвестно куда.

Никогда Худроут не спрашивал об этом дядю Хурама, и никогда тот не разговаривал с мальчиком о тех давних днях.

Сейчас Худроут заговорил первый:

— Помнишь, дядя Хурам, ты мне раз сказал, давно-давно, что придет время и я все узнаю? Дядя Хурам, время пришло!

— Я сказал не так, — дядя Хурам повернул к нему свое усталое лицо, и на нем мелькнула тень улыбки, —

я сказал: когда ты вырастешь, ты все узнаешь. Разве ты уже вырос?

Худроут посмотрел в широко открытые глаза, смотревшие на него с каким-то новым выражением.

— Дядя Хурам, потрогай мои колени, потрогай мои руки, плечи и грудь. Я вырос.

Дядя Хурам молча коснулся его руки. Он сидел так тихо, что Худроуту начало казаться, что он засыпает, прислонившись к камню.

С закрытыми глазами сказал дядя Хурам:

— Он отошел к милости Аллаха в битве, твой отец. Тогда ты был мал. Народ поднялся против неправды и голода. И твой отец был с народом. Мы выиграли битву, и мы проиграли ее. Нас обманули дважды. Нас обманули сын Водоноса — Баче-и-Сакао — и муллы, шедшие с ним. Они обещали, что у крестьян будет земля и вода, будет жизнь. Но, став эмиром, сын Водоноса стал еще больше угнетать нас. И когда его повесили в Кабуле, его и его помощников, снова обманули нас, говоря, что теперь будет жизнь. А потом чиновники пришли и отняли воду... Земля высохла, люди ушли кто куда...

— Что же будет дальше, дядя Хурам? Ты все знаешь, скажи.

Старик открыл глаза, и теперь они были почти веселые.

— Ничего я не знаю, сынок. Я брожу, как могу. Но я стал уставать, сынок. Ты это, наверное, заметил. Я уже не тот, что был. Раньше, в молодости, я возил оружие в эти горы, а теперь мы с тобой привозим стеклянные бусы, и перочинные ножи, и складные зеркальца. В молодости я сражался в этих лесах, а теперь мы рубим эти деревья и бросаем в реку их трупы, чтобы потом там, в Индии, из них сделали дорогу, по которой идут большие ящики на колесах, которых ты никогда не видел.

Помнишь ты того доброго работника, высокого осла, что вез тебя в горы, когда ты был совсем маленький?

— Помню, дядя... Я очень любил его.

— Помнишь, как раз он лег у дороги и больше не встал? Но он довез порученный ему груз... Так и я. Я не знаю день, когда я доведу груз, но я так же лягу у дороги, как он, а ты, сынок, пойдешь дальше...

Худроут встал и сказал со всем пылом юности:

— Дядя Хурам, я вырос, я сильный, я буду еще сильнее, и я буду работать, а ты будешь отдыхать.

Дядя Хурам встал тоже и обнял его. Под большим ночным небом на большой поляне стояли две маленькие фигурки так неподвижно, что их можно было принять за камни, которые так ловко ставятся на крыше пшала, что их принимают за людей.

Дядя Хурам отступил от Худроута, осмотрел его тонкую, крепкую фигуру и пошел по поляне. Худроут шел рядом с ним.

— Мы уйдем из лесов,— сказал дядя Хурам.— Мы поищем другой жизни, может быть нам будет лучше, хоть немного лучше...

У самого пшала их остановил пастух в раскрытом тулупе, он шарил по земле, ища оброненную трубку. Увидев дядю Хурама, он забыл, что делал, и, похлопав его по плечу, сказал:

— Э, старый, звезды смотришь? Гадаешь? А знаешь, что я тебе покажу? — И, задерживая дядю Хурама сильной рукой, он показал другой рукой на небо и сказал: — Видишь эти звезды? — Он показал на Большую Медведицу.— Видишь четыре звезды? Это кровать, а первая звезда в хвосте — это муж, вторая — жена, а третья — любовник. Хо-хо-хо! Так и бывает, запомни, старик,— сказал он и, вспомнив, что потерял трубку, снова начал шарить между камнями.

Дядя же, миновав пьяного пастуха, сказал Худроуту:

— Мы уйдем из лесов, сынок!

И они ушли из лесов и некоторое время жили среди людей, занимающихся перегоном скота с высокогорных пастбищ в долины через перевалы, и помогали им в этом трудном деле. Теперь они жили среди быков и овец, коз и баранов, среди трав и ручьев, низких голых гор и бедных деревень Бадахшана.

Дядя Хурам имел такой открытый характер, умел так просто объяснить какой-нибудь сложный спор скотоводов, так хорошо знал скот, как только может знать крестьянин, лишенный своего крестьянского хозяйства.

Овечье молоко с растопленным маслом, это любимое кушанье горцев, Худроут пил теперь в гостях у старых пастухов, советовавшихся с дядей Хурамом о состоянии перевалов, через которые приходилось перегонять отары.

После той ночи у горного пшала Худроут разговаривал теперь с дядей Хурамом, как взрослый со взрослым, и ему было приятно, что дядя Хурам внимательно слушает его и серьезно отвечает на его иногда очень наивные вопросы. Он спрашивал у него совета или хотел убедиться, что правильно поступил в том или другом случае.

— Дядя Хурам,— обычно начинал он издали,— если вы имеете время меня послушать, я хочу вас спросить...

И всегда дядя Хурам говорил:

— Говори, сынок, я тебя слушаю.

— Дядя Хурам, в прошлом году там, в лесах, я шел как-то вечером мимо деревни. И меня окликнули с дерева. Меня не позвали по имени, но позвали, как зовут у них путника. Я не остановился, потому что думал, что это относится не ко мне. Но опять раздался голос с дерева, и я увидел, подойдя ближе, что на тутовом дереве стоит молодая женщина и ест спелые тутовые ягоды. Она улыбалась мне и звала с собой. Когда я сказал ей, что не хочу лезть на дерево, она соскочила и стала приглашать пойти с ней. Она очень волновалась, но я не пошел. Хорошо ли я сделал, что не пошел с ней?

— Женщина! Что ты знаешь о женщине, мальчик! Ты сделал хорошо,— сказал дядя Хурам,— потому что тебе жениться на ней нельзя: жители гор не признают такого брака; а если она замужняя, то тебе пришлось бы платить большой штраф или твоя жизнь была бы в опасности. Сынок дорогой, вот подожди, мы разбогатеем и тогда найдем тебе такую жену, что нет лучше... У меня есть кое-какой план, и если он удастся, то мы будем с тобой есть на серебре, как сам эмир... Подожди немного, у нас будет и на жизнь и на жену.

Двигаясь с отарой овец, пришли они в такое населенное место, что у Худрута широко раскрылись глаза. Ничего подобного в жизни он еще не видел.

Это был просто большой кишлак, но для Худроута, знавшего бедные и неудобные жилища горцев, здешняя жизнь показалась великолепной.

«Так, наверное, выглядит преддверие Арка, дворца, где живет эмир», — подумал Худроут.

По улицам ходило много людей в разноцветных халатах. Проезжали всадники, проходили тяжело нагруженные верблюды. Запахи горячего плова, жареного мяса и разных вкусных соусов щекотали нос. Над всем царствовал запах горячего бараньего сала.

В чайхане, в облаке пара, стоял огромный начищенный самовар. На коврах молча сидели с пиалами чая посетители, а от лавок шел такой гул, как будто дыни, арбузы, абрикосы, гранаты были предметом яростного спора, который никак не мог кончиться.

Оставив дядю Хурама в чайхане, Худроут, как игла, прошивал толпу, наполнявшую базар, и все никак не мог надивиться и всем шумам и всей пестроте, окружавшим его. То он смотрел на красивый палас, выставленный у ковровой лавки, то уличный фокусник привлекал его внимание, то продавец сластей так расхваливал свой товар, что нельзя было не заслушаться, — словом, наконец, чтобы немного отдохнуть от непривычных впечатлений, он пошел по кишлаку в сторону базара.

Он шел быстро и скоро оказался в тихих узких улочках, куда уже не долетали крик и шум базара. Тут был небольшой арык с журчавшей светлой водой, и над ним стоял старый карагач с тяжелой, душистой папахой темнозеленой листвы.

Худроут присел на корточки, подставил ладони, и холодные струйки вбежали в ладони, как бы резвясь. Он выпил немного этой хорошей, прозрачной воды, поднял глаза и увидел, что против него, в нескольких шагах, стоит женщина, вся закрытая покрывалом, спадающим самыми причудливыми складками по ее тонкой фигуре.

Он смотрел на эту женщину с таким же странным чувством любопытства, с каким он только что смотрел на фокусника, там, на базаре. Ему казалось, что и здесь он увидит что-нибудь удивительное.

И он увидел. Из-под покрывала показались тонкие пальцы, такие тонкие и розовые, каких он ни у кого не

видел, и эти тонкие пальцы откинули покрывало, и перед ним засияло такое лицо, что появление его можно было отнести к любому колдовству или фокусу.

Правда, все это длилось мгновение. На него с тонкого, продолговатого, с легчайшим налетом волнения, разумянившегося лица смотрели большие, прямо в сердце идущие глаза с высокими бровями, как бы в удивлении поднявшимися над неиссякаемо ярким светом двух звезд, которым они служили чудным дополнением. Пунцовые губы сначала были сжаты, потом они раскрылись в такой улыбке, перед которой та горская женщина с тутового дерева могла заплакать от бессильной зависти.

Эти глаза смотрели на него, эти губы улыбались ему, а что же он? Правда, они не приглашали его за собой, и когда он сделал движение перепрыгнуть арык, чудное видение скрылось за стеной с быстротой ускользающей маленькой птички, и только захлопнутая под носом дверца ясно и жестоко говорила о том, что именно отсюда это видение только что появилось.

Худроут долго сидел у арыка, не сводя глаз с крепко запертой дверцы в дувале, потом он грустно встал и пошел в шум базара, к чайхане, где ждал его дядя Хурам.

И когда он, полный смятения и трепета, хотел сразу же просить совета у дяди Хурама, тот в полном экстазе, возбужденно и порывисто, чего с ним никогда не случалось, сам схватил его за руку, увлек в сторону и, не дав ему сказать ни слова, заговорил быстро, так быстро, что первых слов его Худроут даже не разобрал. А дядя Хурам говорил о том, что теперь они близки к тому, что будут, наконец, богаты. Пусть он никому не проговорится, но знакомый и друг Хурама открыл в долине реки Кокчи такое место, где золото чуть не под каждым камнем. Но это тайна, этого никто не должен знать. И сначала туда пойдут только тот человек и Хурам, а потом он даст знать о себе Худроуту, и он тоже пойдет туда. Но сейчас он устроил пока Худроута в помощники к тому старому чабану, который его хорошо знает. Они будут недалеко кочевать со стадами и все ближе к реке Кокче, а там они объединятся и купят себе все, что хотят, и жену конечно. Он же не раздумал, Худроут, жениться...

Он сказал это смеясь, но Худроут уже ничего не мог рассказать о своей встрече в кишлаке. Что-то мешало ему сказать об этом, особенно после последних слов дяди. Он, привыкший слепо слушаться и советов и указаний дяди; не мог ничего возразить против того, что предлагал делать дядя Хурам.

А тот, разгоряченный тем, что его старый план разбогатеть, повидимому, близок к выполнению, весело говорил:

— Да, сынок. Добрые вести пришли от матушки Сафармо и твоей сестрички Сабзбагор! Они живы и здоровы и шлют тебе приветы. Я встретил тут человека из наших мест... Ну, пойдем теперь к тому другу; но помни, о нашем разговоре ни слова. Это наша тайна. Никто не должен знать... — И он взял слово с Худроута, что тот будет молчать как могила.

В тот год, когда пришло известие о том, что матушка Сафармо отошла к милости Аллаха, а маленькую Сабзбагор — Цветок весны — выдали замуж за сельского сапожника и дядя Хурам утонул в реке Кокче, так и не добыв золота, Худроута взяли в солдаты.

Его учили и днем и ночью. Днем он лежал на пыльной, горячей земле, и офицер оттаскивал его за ногу, как тюк, если он занимал неправильную позицию при стрельбе лежа. Потом он выполнял ружейные приемы стоя и с колена.

Он учился ходить, выкидывая далеко вперед носок, потом останавливался по команде и сразу, ударив прикладом, резко поворачивался и продолжал маршировать в другую сторону.

Ночью он нес караульную службу. То он охранял старый пустой склад, то конюшню, то стоял у квартиры командира батальона.

Когда он достаточно преуспел в своем деле, его отправили на границу, и он был первое время вестовым при субадоре — помощнике командира роты, так как обнаружилось, что он понимает толк в лошадях.

Жизнь на границе была тосклива и скучна. Каждый день субадор в сопровождении вестовых, из которых один был Худроут, выезжал на объезд участка.

Узкое ущелье с нагроможденными скалами, до неба поднимавшими свои могучие камни, перерезалось рекой, сжатой так, что клочья пены взлетали над ревушим потоком, тщетно пытавшимся расширить свое русло. Полу-мрак и водяная пыль стояли над нависшими сводами береговых уступов. Лошади пугливо трясли ушами при грохоте реки, похожем на канонаду.

Бывали места потише, где стены ущелья расступались, точно сговорившись, и раз в таком месте впервые в своей жизни Худроут увидел самолет. Самолет уверенно шел по ущелью, и рокот его мотора далеко разносился по сторонам. На его крыльях были красные звезды.

Субадор смотрел вверх, некоторое время следя за полетом, потом плюнул и сказал, внезапно рассердившись: «Гуди, гуди, у нас в Кабуле тоже есть два таких».

Как уже заметил Худроут, субадор часто сердился по самым непонятным причинам. Так, он, расспрашивая как-то Худроута, откуда он и кто был его отец, страшно вспылал, узнав, что отец погиб в сражении за Кабул при Баче-и-Сакао, и, хлеща стеклом по столу, закричал: «Уж эти кугистанцы! Все они собаки и разбойники!» И выгнал Худроута из комнаты.

Субадор был зол на весь мир: он считал, что начальство отправило его сюда, в эту каменную дыру, по каким-то проискам его врагов, и солдат посылает ему нарочно ненадежных или тупых, вроде этого кугистанца, и что булюк-мишр — взводный командир — приставлен к нему, чтобы следить за ним и доносить обо всем начальству.

Вечером он выходил за ворота своего маленького укрепления и снова сердился: из-за того, что у него была большая печень, из-за того, что идти было совершенно некуда, так как в чухлой рощице лежал жаркий кишлак, собаки которого всегда бросались на его лошадь, когда он проезжал через него, — и это были самые гнусные собаки на свете.

Так стоял он и тоскливо оглядывал пустое, унылое поле и дикие склоны, над которыми, как бы грозя, высовывался страшный ледяной кулак какой-то вершины.

И вдруг он услышал песню. Резкие, но сильные звуки молодого голоса доносились откуда-то из-за реки. Что-то воинственное и дико-веселое было в этой непонятной

песне, что-то оскорбительное для его начальственного могущества, как представителя власти. Гордая, резкая песня как бы оспаривала его власть над зловещим молчанием этих забытых Аллахом мест.

— Кто поет?— рассердившись, закричал он.

Солдат, звякая ружьем, побежал к берегу и через минуту-другую вернулся с Худроутом.

— Опять этот кугистанец! Нет от него покоя!

Солдат доложил субадору, что пел вот он, Худроут.

— Что ты пел? — спросил субадор, чувствуя, что его душит ярость, что он не может видеть без злости этого красивого, статного, крепкого, как горный козел, юношу.

— Это поют горцы Боковой долины,— сказал Худроут,— это боевая песня...

— Эти проклятые кугистанцы будут еще у меня под ухом распевать свои проклятые песни?! Чтоб я больше ее не слышал! И никаких песен чтоб здесь не было! Понял? Давай лошаадь!

Тут же выяснилось, что его любимая лошадь захромала.

— Это невозможно! — закричал субадор и с яростными ругательствами пошел в свое жилище.

Там его ждало единственное забвение: он курил анашу. Когда он глотал горьковатый усыпляющий дым, заволакивавший все черные мысли, он чувствовал себя удивительно сильным, храбрым и счастливым. Исчезали неуверенность, подозрительность и злоба на мир. Хорошую анашу достали ему в этот раз!

Но едва он протянул руку за маленькой трубочкой и коробочкой с анашей, как вошел ненавистный булюкмишр — взводный командир, его тайный завистник и шпион.

— Вы не можете ехать завтра на вашей лошади.

— Почему? — спросил так резко субадор, что булюкмишр чуть отодвинулся.

— Потому что она расшибла ногу при поездке и ее нужно лечить...

— Кто выводил ее? — спросил уже тише субадор, злясь еще и оттого, что ему помешали погрузиться в состояние чудного опьянения.

— Худроут, этот молодой горец.

— Они мне шею перережут, эти проклятые кугистанцы,— сказал субадор уже спокойно, но в глазах у него бегали злобные, острые огоньки.— Он мне испортит жизнь здесь вконец.

— Он хороший, исполнительный, скромный юноша,— сказал булюк-мишр, знавший все особенности характера своего начальства.— Он не виноват. Лошадь испугалась верблюжонка и бросилась на камни.

— Вы все не виноваты,— сказал субадор,— вы все не виноваты, что я тут пропадаю по неизвестной причине! Они там в Кабуле веселятся...

Тут он замолчал, чтобы не сказать лишнего; и вдруг ему пришло в голову одно решение, которое показалось выходом.

— Отправь этого кугистанца на пост...

— На какой? — спросил булюк-мишр.

— Отправь его на пост Пещера.

— Пещера! Но там мы давно не ставим часовых. Там нехорошее место. Бывают обвалы... Раз там замерз часовой,— помните, когда упала лавина...

— Да, да,— сказал субадор,— вот именно, отправь его в Пещеру и не снимай сутки. Пусть он оставит свой дерзкий вид, проклятый кугистанец! Иди!

На другой день к вечеру Худроут в сопровождении солдата и молчаливого авальяндора — отделенного — подымался по узкой, едва вмещающей солдатские сапоги тропке, и только его привычные к горным переходам ноги не дрожали. Еще перед подъемом солдат сказал:

— Пещера — худое место.

— Почему? — спросил Худроут.

— Там нехорошо. Туда раз послал солдата субадор, и его засыпал обвал.

— А еще что там? — спросил Худроут.

Но солдат твердил только одно:

— Там нехорошо человеку...

— А ты сам стоял там?

— Я — нет,— сказал солдат.— Там замерз один часовой, его засыпало снегом.

— Эй, вы там, пошли! — сказал авальяндор, и они начали подыматься по козьей каменистой тропе.

После недолгого, но утомительного подъема они вышли на скалу, где был пост, именуемый солдатами — Пещера.

Сначала, когда вышли на эту маленькую площадку, Худроут увидел под ногами обрыв. Полный неясных мыслей, ошеломленный всей неожиданностью происшествия, он не огляделся как следует и только следовал за ведущим его аваяндором. Пещера была скорее навесом, но в ней были каменная скамья, каменный стол, на столе лежала ржавая банка из-под каких-то консервов, несколько стреляных гильз и надтреснутая пиала.

— Вот это Пещера, — сказал аваяндор. — Ты будешь следить за тем и этим берегом, — сказал он, подводя Худроута к обрыву. — Если будет опасность или ты заметишь кого-нибудь, кто хочет переправиться на ту сторону, стреляй. Стреляй только при тревоге: помни, что по этому сигналу мы придем к тебе на помощь. Если хочешь пить, тут есть пиала, а тут есть родничок. Он был раньше лучше расчищен, но тут давно не было поста, и ты его можешь снова расчистить. Ночью тебе особо холодно не будет. Луна еще светит, но ночи темные, будь начеку. И стреляй только по тревоге...

Солдат, до последней минуты боявшийся, что его все же оставят вместе с Худроутом, искренне обрадовался, когда узнал, что он уйдет с аваяндором, и не скрывал своей радости. Поэтому он похлопал добродушно Худроута по плечу и сказал, подмигивая: «Ты горец, у тебя, наверное, есть заговоренные камушки». И они ушли, оставив Худроута одного на скале.

Худроут обошел еще раз маленькую, заваленную камнями площадку. За спиной Худроута висели скалы; там, где в скалах был прорыв, виднелись близкие неприветливые горы, за которыми вдали блестели на вечернем небе снежные глыбы какого-то большого ледника. Все, что было вокруг, — все это скопление каменных глыб, нагроможденных друг на друга, нависших над рекой, разбитых на куски и стекающих каменным потоком в реку, — было безотрадно и сурово.

В ту сторону, где расположился пост, видны были склоны, у подножия которых лежал нищий маленький кишлак, так ненавидимый субадором. Но отсюда не

было его видно, и только куски маленьких полей намечались, как черные заплатки, внизу сиренево-черной горы, уже подернутой вечерней тенью.

Угрюмая и суровая природа, казалось, презирала человека и давила его своим каменным величием. Внизу перед Худроутом, бесконечно шумя, проносились волны той реки, которая день и ночь бросалась на берега, вся в пене и в водоворотах, точно все ее нутро клокотало от нестерпимой обиды и она мстила окружающему миру, изрыгая проклятия и стоны. Ярость, с которой она проносилась в теснине, пугала человека и заставляла его с тайным страхом глядеть в ее бешеные волны, непрерывно взлетавшие над камнями в середине реки и ударявшиеся с силой молота в каменные уступы берегов.

Эта река отделяла два государства, два мира, и Худроут теперь смотрел на неизвестный ему мир, так близко лежащий против него, на другом берегу пограничной реки.

И этот новый мир был так удивителен, что Худроут больше не смотрел по сторонам. Его глаза впились в открывшееся ему пространство за рекой.

И там, за рекой, стояли горы, дымчато-фиолетовые гребни которых, как бы зовя за собой, уходили на север, где блистали далекие скалы, уже полузакрытые облаками. Но, спускаясь к реке, горы образовывали впадину, в которой, как в зеленой чаше, лежал кишлак. Его светлые дома подымались по взгорью между бегущих красивых пенистых петель ручья и множества зеленых деревьев, которые то выстраивались аллеями, то соединялись в группы, образуя сады.

Светлая лента дороги проходила по самому берегу, чуть выше реки, и далее поднималась в селение и пересекала его, уходя в горы, и долго еще виднелась среди срезанных углов горы, подымаясь все выше и выше, пока не закрывали ее громады.

В этом селении и на этой дороге шла непонятная и неизвестная Худроуту жизнь. По дороге шли большие машины, проезжали люди на велосипедах, шли женщины и дети, в садах и на улицах — всюду, в тени деревьев и в домах, люди делали свое привычное дело; и чем больше всматривался в это живое движение Худроут, тем

более ему казалось это чем-то и знакомым и очень близким.

Этот светлый, так красиво раскинувшийся в тени садов кишлак напоминал далекое селение в долине, никак не похожее на это место, и вместе с тем он казался все же тем селением детства, перенесенным чудесной силой сюда и так преображенным, что сердце сжималось от грусти и боли.

Проходившая по самому берегу женщина несла маленького мальчика. Разве он не узнавал в этой женщине матушку Сафармо, а разве не он был крохотным мальчиком, которого она так нежно прижимала к груди?

Потом взгляд его, переходивший с жадностью с предмета на предмет, останавливался на мальчиках, шедших группой, в полосатых халатах и широких штанах. Они держали в руках книги и тетради.

Худрут, неграмотный и только несколько раз в жизни видевший книгу, все же сразу узнал их; и новое волнение охватило его. Ему казалось, что он видит сам себя, но в каком-то другом виде — мальчиком, который возвращается из школы.

Да, и он мог быть таким... Пока он рассматривал все, что происходило в горном селении над рекой, в небе заметно потемнело, горы как бы надвинулись, верхи их, только что горевшие розовым золотом, стали зеленовато-холодными, и уже трудно было уловить, различить особенности уступов. В ущелье вошли тени, и тени упали с ближайших склонов.

Надвигался вечер. Неожиданно в небе показались высокие блестящие звезды, прикрытые полупрозрачным зеленым туманом, и в селении над рекой вспыхнули длинные, рассыпанные по горе огни. Они светились так ярко и тепло, что было видно ясно все, что происходит на улице, особенно на большой площадке, окруженной квадратом огней.

Худрут почувствовал холод. С гор тянуло ветром, пронизывающим до костей. Худрут посмотрел на гору за спиной. От этого нелюдимого пространства исходило такое чувство одиночества, сиротливости, заброшенности и даже какой-то скрытой угрозы, что он невольно сжал карабин. Там не было ни одного огонька. Никакой,

самый маленький луч света не блестел в этой сырой, холодной сплошной тьме, которая докатилась до реки и погрузила все окрестности в безмолвие ночи, и только река, беснуясь, гремела как-то глухо из своего черного провала.

А в подгорном селении на том берегу началась новая, вечерняя жизнь. На площадку, освещенную ярким светом, выехали большие машины, украшенные широкими полосами из красной материи, и с этих машин со смехом и веселыми восклицаниями соскакивали молодые люди.

На юношах были тубетейки, на девушках — большие белые платки. Серые халаты, черные пиджаки, светлые платья, цветные шаровары, даже узорные джуробы, даже разноцветные шерстяные кисточки в волосах у девушек, скинувших платки, видел он так близко, как будто сам стоял среди них и прислушивался к их быстрому и легкому разговору.

Потом, несмотря на несмолкающий шум реки, он услышал тонкий серебристый звук, который пронесся через реку как вызов мраку и горам. Девушка играла на инструменте, который был знаком Худроуту. Это был рубоби.

И под звук этого сильного и чистого потока дрогнуло что-то в сердце Худроута. И он как будто впал в странное забытье, при котором он понимал и то, что стоит на посту с оружием на скале перед Пещерой, и то, что перед ним проносятся, как куски снов, картины его собственной жизни.

Темный кишлак там, у заставы, где только худые, страшные псы хрипло кричат во сне, дома в горах, где люди в старых овчинах при свете маленького чирака копошатся над грудой старого тряпья, темные дороги, баранта, голые, холодные скалы, дядя Хурам со своим пастушьим посохом...

Там, на том берегу, пели и танцевали. Оттуда лились звуки рубоби, а вокруг него стояла тьма, которая как бы охватила его голову и плечи и давила его к земле.

Что ему до тех красивых девушек на том берегу! Перед ним прошло спокойное, освещенное каким-то внутренним солнцем лицо молодой горской женщины, звав-

шей его, стоя среди ветвей тута, прошло продолговатое, с ускользящими, чуть скошенными глазами лицо девушки из базарного кишлака. Что они ему? Жениться ему все равно нельзя. Где деньги на калым? Где его молодость, где его жизнь? Он вспомнил отца, — и то, что тот убит в битве, сделало воспоминание тяжелым; вспомнил матушку Сафармо — и у него защемило сердце от тоски. Он не вспомнил Сабзбагор — Цветок весны, свою сестру, потому что так давно не видел ее, что не мог бы узнать ее, даже если бы встретил.

И он снова посмотрел на заколдованный берег, полный голосов и музыки, которая побеждала шум реки. «А кто же там правит? — подумал он. — Если нет там эмира и нет царя, как говорил субадор, как же они живут без эмира и без царя? Да, там живут совсем, совсем по-другому».

И как только он так спросил себя, он впал в тоску, раздиравшую душу. Ему стало так больно, что музыка и пение уже не подымали его куда-то в высоту и не радовали его, а стали непереносимы и болезненны, как будто кололи, как острием кинжала, его грудь.

И он закричал в простор ночи, чтобы там услышали:
— Прошу вас, не пойте, не танцуйте!

И хотя он кричал сильным голосом, но река заглушала его крик. И напрасно он кричал снова:

— Пожалейте меня! Не пойте, не танцуйте, прошу вас!

Никто на том берегу, даже слыша крик, не мог бы разобрать, что кричит человек. И только скалы за его спиной отзывались, повторяя его голос, искажая его как нарочно, как будто издевались над его отчаянием.

И он понял, что он один среди ночи, на скале, над дикой рекой и что темнота вокруг пялит на него черные глаза и смеется над его жалким криком. Он видел в этой тьме, там, где висела в воздухе козья тропинка, самые угрюмые лица ночных духов и среди них желтое, злое, перекошенное лицо субадора, пославшего его в эту пещеру демонов. Им овладела страшная ярость, злоба и страх. Ему показалось, что все эти чудовища лезут на скалу за ним и сейчас прыгнут на него.

Тогда он начал стрелять в эту тьму. Посылая выстрел за выстрелом, он приходил в себя все больше. И когда

расстрелял всю обойму, ему стало почти спокойно, но он уже не смотрел на другой берег и был так взволнован, что не мог бы сказать, поют ли там еще, или уже давно перестали. Он плакал от тоски и злости неизвестно на кого, от обиды за свою потерянную молодость.

Он не знал, сколько прошло времени, когда ему послышался далекий конский топот.

Потом еще шли минуты, он перезарядил карабин и встал у края площадки.

Кто-то, роняя камни, карабкался по тропинке. Но Худроут уже знал, что это не демоны, а люди. Он слышал знакомые голоса, в темноте перекликавшиеся у скалы.

Потом люди появились как-то сразу, и впереди них стоял субадор. Увидев Худроута, он осветил его фонариком с ног до головы и спросил раздраженным и взволнованным голосом:

— Почему ты поднял тревогу? Почему ты стрелял?

И злым и тоже взволнованным голосом Худроут, ненавидя его и не скрывая этого, сказал:

— Не я стрелял, горе мое стреляло!

И, к его удивлению, субадор не ударил его, не набросился с руганью. Он был сам не очень храбр в этой непонятной тьме, в этом диком месте. Он только отступил от края площадки и хрипло сказал:

— Ух, эти мне кугистанцы! Все они разбойники и воры!

В УЩЕЛЬЕ

— Вера Антоновна, все в порядке, начальство разрешило. Собирайтесь, через полчаса выезжаем,— сказал Сивачев Вере Антоновне, сидевшей ранним кабульским утром около старого-престарого чинара на посольском дворе и смотревшей, как две неизвестные ей птицы бегали по его могучим ветвям.

— Я уже давно готова,— ответила она,— еще с вечера собралась. Могу хоть сейчас.

— Сейчас рано,— засмеялся Сивачев,— мы с Кузьмой Прокофьевичем машину посмотреть должны, как

там все уложено. Груз деликатный... побьется еще в дороге.

Груз действительно требовал особого внимания. Тогда не было еще воздушного сообщения Кабул — Индия. А между тем при всех природных богатствах этой замечательной страны иные вещи нужно было доставлять в Дели прямо из Москвы через Кабул, потому что в Индии нельзя достать ни черной, ни красной икры, ни нашей копченой рыбы, ни балыка, ни семги, ни папирос, ни наших вин, ни нашей водки, ни нашего коньяка.

Все эти папиросы, бутылки, коробки с икрой, доставленные самолетом из Москвы, упаковывались в Кабуле и на легковой машине доставлялись через Хайберский проход в Пешавар, оттуда в Лахор и там, в Лахоре, перегружались на самолет, который через полтора-два часа доставлял их в Дели. Другого пути не было. Очередная машина собиралась сейчас из Кабула в далекий пробег по горам и долинам, через перевалы и реки Загиндушской стороны.

С этой машиной, сопровождая зыбкий и прекрасный груз, ехал служащий посольства по хозяйственной части Илья Петрович Сивачев, опытный человек, хорошо знавший афганскую землю и не раз совершавший долгий путь от столицы Афганистана до древнего города Лахора. Машину вел старый специалист по замысловатым дорогам Востока — Кузьма Прокофьевич Слепцов, который, принадлежа к отважному племени шоферов, не терялся ни при каких обстоятельствах, и его трудно было удивить и совершенно невозможно было чем-нибудь испугать. Насмотрелся он в своих бесчисленных поездках такого, что мог бы составить целую книжку, если бы записывал свои рассказы о том, что он видел и пережил за свое многолетнее пребывание за рубежом, в чужих и любопытных краях. Сивачев и Слепцов могли считаться людьми, вполне готовыми к случайностям поездки, но этого никак нельзя было сказать про спутницу, Веру Антонову.

Если они знали Афганистан, можно сказать, практически, то она его никак не знала, так как жила в Кабуле всего несколько дней и ничего как следует не видела. Муж ее служил в посольстве в Дели, и она ехала к нему, чтобы жить и работать в Индии. Самолет, перенесший ее

через Гиндукуш, улетел домой, дальше на юг он лететь не мог, и она осталась в Кабуле ждать оказии, так как направиться дальше одной ей не хотелось. И вот теперь со своим чемоданчиком и портпледом она вернулась во двор, чтобы ехать в еще более далекую, таинственную, волновавшую ее даль. Смотря на синевшие где-то на краю неба снега Гиндукуша, как бы спадавшие потоками с легкой белой пирамиды Саланга, торжественно встававшего над тяжелыми дымчатыми каменными нагромождениями, загородившими горизонт, она чувствовала, как далеко уехала от родной земли, от привычной кипучей советской жизни.

Она так живо представила себе шумные московские улицы, гул движения, новые дома, такие знакомые липы, уже пожелтевшие и осыпающиеся под первыми холодными ветрами поздней осени, что, задумавшись, не слышала голоса Кузьмы Прокофьевича, который звал ее к машине. Когда она подошла, он, уложив вещи, оглядел ее внимательно и, оставшись доволен бодрым видом, сказал:

— А какого-нибудь пыльника у вас не будет?

— Пыльник? — сказала она удивленно. — Да ведь сухо как! И прохладно.

— Это ничего, что сухо. В пыли будете с ног до головы. Ну, нет так нет. Оставайтесь в пальто, а голову все-таки платочком прикройте.

Сивачев усадил Веру Антоновну на переднее сиденье, с шофером, сам сел рядом с уложенными плотно коробками и легкими ящиками с папиросами на заднее сиденье, и они поехали под дружные пожелания счастливого пути со стороны нескольких посольских женщин, которые оказали гостеприимство Вере Антоновне в эти короткие дни ее пребывания в Кабуле.

Сначала она сидела молча, во все глаза рассматривала улицы, по которым ехала машина. Она была первый раз на Востоке, и все ей казалось таким интересным, таким неповторяемым, что обязательно все это нужно было запомнить.

Лошади, которые пили воду из мутной желтой реки рядом с ишаками и собаками; дома с такими плоскими крышами, как будто их не было вовсе, с вылезавшими из

серых стен длинными деревянными балками; загорелые до черноты люди, одетые очень по-разному; рыжие горы, как безжизненные декорации, стоявшие на заднем плане,— все бросалось в глаза своей новизной, мелькающей, как на экране.

Точильщик точил ножи так, что искры летели в глаза ослу, и тот задумчиво следил за их полетом, вздрагивая и чихая, как будто искры залетали ему в ноздри; грузчик тащил такой огромный ковер и мягкий матрац, что сзади были видны только лиловые ноги в жестких, как железных, туфлях с длинными носками.

Встречались стайки неслышно скользящих женщин, упакованных в серые и черные паранджи, из-под которых торчали только ступни,— и не разберешь, старухи это спешат на базар или молодые афганки идут в гости.

Одни прохожие были в европейских костюмах, но с мерлушковыми шапками на голове, другие были в невероятно закрученных тюрбанах, в широчайших, как у запорожца, шальварах, в черных жилетках и белоснежных рубашках, бродяги в невозможных лохмотьях, полуголые люди и люди, закутанные с головой в одеяла, в сопровождении ишаков, лошадей, верблюдов.

Когда машина выехала из безжизненно желтых дувалов, миновала ипподром и покатила по ровной, уходящей на юг дороге, стали попадаться велосипедисты, которые в городе не так бросались в глаза. Теперь было видно, что их много, что этот вид транспорта пользуется особым вниманием населения.

Стало попадаться больше всадников, то в одиночку, то группами, сидевших с гордой уверенностью в высоком седле и, как показалось Вере Антоновне, с некоторым презрением смотревших на проходившую мимо машину.

Проезжали двухколесные экипажи, которые она уже видела в Кабуле. Они ей понравились своей игрушечной легкостью, но ей сказали, что они выглядят тяжело против действительно легких тонга, которые она увидит в Лахоре и в Индии. А эти назывались гадди, и сидеть в них нужно было по-особому: два пассажира сзади, спиной к вознице, а один впереди, рядом с возницей.

Сильные лошади, везшие эти крепкие экипажики, бодро стучали своими тонкими ногами, подымая легкую

пыль, смешивавшуюся с густыми облаками пыли, которыми обдавали их высокие автобусы, чьи стены были размазаны самым удивительным образом, и даже сразу было не разобрать, что такое изобразил веселый художник на этих ящикоподобных машинах, украшенных и сзади и спереди разными надписями и разноцветными лентами.

«Вероятно, весело ехать в этом автобусе»,— сначала подумала Вера Антоновна, но когда она увидела совсем близко подобный автобус, а в окнах его мелькнуло невозможное множество людей, ей уже не хотелось путешествовать с ними.

Высунувшись из машины и оглянувшись, она увидела город уже где-то далеко; он еще на какое-то мгновение показался и исчез со всем своим глиняным великолепием. И она вынула из сумочки платок, чтобы чихнуть от пыли, и вдруг засмеялась так весело и заразительно, что Кузьма Прокофьевич даже посмотрел на нее с удивлением, а Сивачев спросил:

— Что такое смешное вспомнили?

— А ведь правда, вспомнила того купца, что мы вчера с вашей женой видели. Мы гуляли и зашли в одну лавку просто так, посмотреть, а купец сейчас же раскланялся, велел своим приказчикам показывать нам и шелк, и полотно, и бархат, и чесучу, и при каждом новом сорте материи он показывал на него пальцами и, делая удивленное лицо, громко спрашивал по-русски: «И что это такое, и что это такое?» И сам себе отвечал сейчас же: «И это очень хорошо, и это очень хорошо!» Как китайский фарфоровый болванчик, правда? Я вспомнила и не могла удержаться от смеха...

— Да мы все его знаем,— сказал, тоже засмеявшись, Сивачев,— он покупателя хочет привлечь всеми способами. А вы, наверное, очень рано встали, Вера Антоновна, так вы подремлите.

— Я хочу смотреть в окно,— сказала она; но он был прав: ее слегка укачивал быстрый и плавный ход машины, и она действительно очень плохо спала эту ночь; от усталости или от чужого места — ей снились всякие кошмары, и она заснула немного только под утро. Но она храбро добавила: — Я боюсь что-нибудь красивое пропустить...

— Да вы не пропустите. Красивое еще впереди будет. А здесь, по правде говоря, и смотреть нечего...

Но она все-таки глядела и видела, как все пустынное делается местность, какие-то ржавого цвета горюшки быстро выстраиваются по сторонам, как будто одни и те же дувалы пронесаются друг за другом.

Бледнозеленые деревья над сухими канавами, маленькие мосты, одинокие пешеходы и всадники, изредка тяжело груженные грузовики, с пыхтением идущие навстречу, — все это стало сливаться в одну странную картину, которая то разворачивалась, как ковер, перед нею, то, как ковер, свертывалась, и тогда наступал блаженный миг тишины и отдыха. Потом этот ковер скатали, и он уже больше не развертывался.

Сколько она проспала, она не могла бы сказать. Она проснулась от ощущения, что езда почему-то прекратилась. Так оно и было. Машина стояла.

— С добрым утром, — сказал ей Сивачев. — Вот и правильно сделали, что поспали как следует. Силы сэкономили. Хотите чаю?

— Откуда здесь чай? — спросила она.

— Да вон в том домике дают, — ответил он. — Кузьма Прокофьевич уже пошел туда похлопотать, чтобы чай подали.

И действительно, Слепцова не было у машины.

— Что это за остановка? — Вера Антоновна взглянула с недоверием на Сивачева. — Это вы все выдумали.

— Ничего я не выдумал. Здесь построена гостиница для проезжающих иностранцев. Мы в такой еще сегодня в Джелалабаде ночевать будем.

Они поднялись по лестнице и вошли в большую комнату. В ней стояли маленькие лакированные столики и низкие мягкие диванчики и табуретки. Молчаливый афганец принес им на подносе чайник и чашки и удалился, приложив руки к груди и кланяясь.

Вошел не спеша, по-хозяйски, оглядывая комнату, Кузьма Прокофьевич. Чай все трое пили долго, медленно; он был крепкий, почти черный, горьковатый на вкус. Оставив мужчин разговаривать между собой, Вера Антоновна обошла всю комнату и обнаружила в ней нечто вроде прихожей и в конце ее дверь. Толкнув дверь, она

оказалась на широкой площадке и остановилась пораженная.

Сидя в большой комнате за чаем, она не могла предполагать, что рядом с ней происходит сцена совсем из другого мира.

С той площадки, на которой она стояла, вниз вела широкая лестница на дорогу, повидимому обходившую дом; за поворотом дороги начинался склон к реке. Река текла, как на картинке, в резко обозначенных берегах; за рекой, куда ни посмотри, стояли горы. Они как будто пришли к реке и остановились. Из-за плеч передних высот высывались другие — желтые, пустынные, нелюдимые. Редкие кусты росли вдоль того берега реки. На этом же берегу целая роща подходила к воде.

Из темного горла ущелья, которое было закрыто поворотом горы, выходил караван. Верблюды шли, связанные по четыре. Они были нагружены разными тюками и высоко поднимали головы, как бы удивляясь реке и недоумевая: неужели безрассудные хозяева погонят их в эту воду?

И Вера Антоновна смотрела, как школьница, будто ожила картина в учебнике географии. Человек, шедший рядом с первым верблюдом, положил его на песок, вскочил на него. Верблюд поднялся и пошел прямо в воду. За ним тронулись и другие верблюды. Они все дальше входили в реку, и в реке, как в полированной, блестящей доске, отражались и облака и верблюды, идущие длинной цепочкой, которой не видно было конца.

Передовой верблюд уже вступил в глубокую воду, и человек, сидевший на нем, поднял ноги повыше, но вода достигла снова его пяток, и верблюд погрузился еще немного. Вера Антоновна чуть не закричала. Ей казалось, что она присутствует при катастрофе, что сейчас все верблюды один за другим утонут в этой медленной, тяжелой, пустынной реке и она одна будет свидетельницей их гибели. Но верблюды не утонули. Они переходили реку один за другим, и вдруг из ущелья вышли еще верблюды, но они не пошли в реку, а повернули и стали подыматься в гору. И стало так, что одни верблюды полностью перегородили реку, а другие полностью заняли тропу, уходившую вдоль реки вверх, к гребню желто-

серой горы, которая вытягивала свои стены прочь от воды.

В эту минуту на площадку вышли Сивачев и Слепцов. Они тоже остановились и смотрели, как рассортировались караваны.

— Почему они так? — спросила Вера Антоновна. — Почему они идут в разные стороны? Как танцуют, правда?

Перешедший реку первый верблюд остановился у ближайшего дерева и лег. Человек сошел с него и стал выжимать мокрый край своего плаща. Выходившие из реки верблюды ложились друг за другом.

Воздух чуть-чуть пригревался зимним солнцем, которое освещало горы и реку ровным, неподвижным светом, и от этого весь пейзаж был холодным, и казалось, что воздух имеет какой-то металлический привкус.

Сивачев показал Вере Антоновне на чуть видную башенку на вершине горы за рекою:

— Этому каравану, что переправился, надо в Кабул, а тот идет в Джелалабад и выбрал путь через горы, вон через ту башенку. Там есть для верблюдов пропитание, а тут ничего не найдешь. Этим что! Они сегодня будут в Кабуле. А тому еще надо идти и идти.

Они посмотрели, как исчез за поворотом тропы последний верблюд каравана, сели в машину и поехали дальше.

Некоторое время ехали молча. Потом Вера Антоновна спросила тихим голосом:

— Простите меня за любопытство, Кузьма Прокофьевич: а как же вы объяснились там, в чайном доме, со слугой?

Кузьма Прокофьевич не успел ответить, как Сивачев громко рассмеялся и сказал:

— Да он здесь все языки превзошел. Он же старый азиат... Скажи что-нибудь по-ихнему.

И Слепцов сделал серьезное лицо и ответил:

— Афгани нэ миданем, ама фарси кем-кем мигуэм...

— Что это! На каком языке? — спросила Вера Антоновна.

— Это по-персидски, — сказал Слепцов так же серьезно и перевел: — Это значит: по-афгански не знаю, по-персидски кое-как понимаю.

— Да вы молодец! — закричала Вера Антоновна. —

А главное, как красиво звучит! Вот буду в Индии — научусь по-ихнему разговаривать, кое-как понимать, кем-кем мигуэм... А я вот университет окончила, два языка знаю, но Азию как-то не представляла, и не думала о ней, и ничего о ней не знаю.

— Я тоже не думал, а вот который год в ней работаю,— сказал Кузьма Прокофьевич.

— Илья Петрович,— сказала Вера Антоновна,— расскажите мне что-нибудь про эту страну...

— Да что рассказывать... Я ведь не ученый специалист, а больше по хозяйственной части. Что вам сказать? Вот вы ехали и смотрели. Земля здесь трудная, работать над ней надо с умением. Камень и камень по всем косогорам. Песок все глушит. Народ бедный, но гордый, замкнутый. Живут уж очень скромно, скромней нельзя. Вечер придет, солнце скроется, ночь упадет — и вы уже ни одного огонька не увидите. И люди все, как солнце ушло, тоже на боковую. Чуть свет — и они на ногах. Народ трудолюбивый, крестьянский, но воды нет, орудий производства нет. И об этом я не в книгах читал, а сам видел. Я же поездил тут дай бог! Заслуженный, можно сказать, азиат. И на севере был, и на юге, и на западе. Вот в эти горы не ездил, — он махнул рукой налево, где стали все выше нагромождаться скалы.

У дороги сидел человек в рваном халате, круто обвязанный чалмой, бывшей когда-то белой, а теперь от пыли приобретшей серо-желтый оттенок. Опершись рукой о колено, он положил пальцы на лоб, так согнул руку, точно из-под нее высматривал что-то на дороге. Крепкие лилово-медные морщинистые пальцы были неподвижны, как будто окаменели. Вся его фигура выражала крайнюю задумчивость. Глаза с каким-то тусклым, холодным сосредоточием были направлены в одну точку. В бороде его, рыжей и всклокоченной, но не очень густой, как соль, высыпала седина. Ничего не существовало для этого одинокого путника, даже не обратившего внимания на проехавшую мимо рядом с ним машину и на то, что из машины смотрят на него люди.

— Ну о чем он думает? — спросила Вера Антоновна. — Сидит один-одинешенек в этой пустыне. А если волки нападут! Волки тут водятся?

— Откуда я знаю, о чем он думает! — сказал Сивачев. — Овцу потерял, что ли?

— Не овцу, — сказал сурово Слепцов. — Не обратили внимания: за камнем верблюд, но уже без вьюка, лежит на боку. Ну, а верблюда потерять — задумаешься. Караван поди перевьючил тюки и ушел вперед, а он остался. Про жизнь думает. Тут задумаешься...

Машина крутила по каким-то извилинам дороги, влезавшей на большую возвышенность. Вере Антоновне начало казаться, что они въехали в какой-то безотрадный, каменный, сухой, желтый мир и ему уже не будет конца. Одна суше другой, выходили за поворотом все новые горы, все безотрадней и угрюмей, без зелени, без тени; и когда машина выбралась на спуск, Вера Антоновна увидела сразу так много людей, что это зрелище заставило ее почти закричать:

— Кто это?

— Это? — сказал равнодушно Кузьма Прокофьевич. — Это кочевники.

И на самом деле это были кочевники, которые и раньше попадались им на дороге, но часть дороги Вера Антоновна проспала и не видела их, а потом не очень обращала внимание, так как они шли разорванными группами и она принимала их за караванщиков или просто путников, идущих из селения в селение.

Теперь перед ней жила вся дорога, куда бы она ни смотрела. Шли верблюды, овцы, лошади, ишаки. Все это было так необыкновенно, что она даже попросила ехать потише, чтобы посмотреть получше.

Глаза невольно разбегались, наблюдая это живописное движение людей и животных. Машина обгоняла верблюдов, нагруженных самыми разнообразными вещами: тут были среди тяжелых тюков, ковров и палаточных войлоков ведра и сковородки, лопаты, большие медные блюда, корзины. На горбах верблюдов сидели, привязанные за ногу, куры и раскачивались, чтобы не потерять равновесие.

На больших мышастых ишаках, среди всякого домашнего барахла, в устроенной специально корзине сидели дети — девочки с черными, как бусинки, глазами, с толстыми красными щеками, с разноцветными ленточ-

ками в волосах; маленькие мальчики в черных и серых куртках, кричавшие что-то собакам, шедшим рядом с ишаками.

Мальчики постарше шли рядом со взрослыми мужчинами. Девочки постарше держались женских групп или шли самостоятельно, одни, следя за движением порученных им животных.

Теперь машина обгоняла все время кочевников, и, сколько бы она ни ехала, этот поток не оскудевал, только иногда он прерывался или так сгущался, что проезжать было трудно, так как дорога была переполнена кочевниками, и только резкие сигналы заставляли их отводить в сторону животных и давать проезд.

Вера Антоновна не знала, куда смотреть. Все было так занимательно, так удивительно! Девушки шли, взявшись за руки. Их оранжево-красные халаты светились издалека; большие серебряные монеты, прикрепленные к тяжелому металлическому полукругу, полуприкрытому большим красным покрывалом, казалось, звенели мелодичным звоном, а туфли с лихо загнутыми носками молодо ступали по шершавой, точно из наждачной бумаги сделанной дороге.

Они что-то кричали высунувшейся из машины Вере Антоновне, и вдруг ей самой стало весело и как-то вольно. Ей захотелось выпрыгнуть из машины, подождать этих стройных девушек с железными ногами, с энергичными, резкими движениями людей, проводящих всю жизнь среди скал и дорог, с блестящими бронзовыми щеками, благоухающими свежестью горных лугов, со смеющимися зелеными, кошачьими, глазами, тонким, упрямым ртом, и идти с ними, не думая ни о чем, спокойным, легким шагом из долины в долину, от реки к реке, спать на чистом воздухе и просыпаться от холодного утреннего, хрустящего ветерка. Она засмеялась своим мыслям и прослушала, о чем вели разговор ее спутники.

Слепцов говорил:

— Понимаешь, Илья Петрович, все дороги были забиты разными войсками. Они тогда с Индией из-за Кашмира повздорили. Машины идут и стоят, их регулировщики в трусиках и в беретах сердито машут им: давай, давай! А нашей машине все честь отдают — два пальца,

по английской манере, к голове прикладывают. А ездил я с Парамоновым; помнишь, солидный такой, потом уехал по болезни? Он удивляется: «Что такое?» А я говорю: «Это анекдот настоящий. У них главные командиры, высокие начальники, красный флажок на машине имеют, а вы сидите такой представительный, что вас за начальство принимают. Так уж прошу вас, так и выдерживайте». Он хохочет, а я умоляю: «Не смейтесь, а то в смятение введете регулировщиков. И всем дорога закрыта, а нам— пожалуйста».

— Так это нас могут за англичан и здесь принять,— сказала Вера Антоновна.— Но здесь это тоже будет приветствоваться?

— Не сказал бы,— ответил быстро Кузьма Прокофьевич,— тут с англичанами сложная история. Нет, тут лучше пусть нас за англичан не принимают. Так что я вам не советую с этими товарищами,— он кивнул на дорогу,— говорить по-английски...

— Смотрите, смотрите! — закричала Вера Антоновна.

Все взглянули, куда она указывала, и увидели упавшего у дороги верблюда. Его развьючивали. Он лежал, и его большую мохнатую шею обхватила девочка и прижалась к его голове так, что ее волосы смешались с его бурой высокой шерстью. Она плакала, и слезы капали на голову верблюда, который раскрывал и закрывал свои лиловые огромные глаза, как будто понимал своего маленького друга и не знал, как его утешить. Кочевники молча толпились вокруг него и умелыми движениями освобождали его от груза.

Через мгновение эта сцена исчезла за поворотом дороги, и открылось новое: к дороге с соседних гор вели узкие-узкие тропинки. В другое время они показались бы козьими тропами и только. Но сейчас было видно, что это сократительные тропы, протертые тысячами ног в течение многих лет. По этим тропам спускались к главной дороге старики и старухи в сопровождении мальчишек, которые стайками лихо сбегали вниз, но их почтенные дедушки и бабушки не отставали от них,— опираясь на длинные палки, они спускались с завидной скоростью, как люди, с детства привыкшие ходить по горам.

Шли быки с врожденной важностью и лениво пожеывая толстыми черными губами.

Лежали раздавленные грузовиками собаки. Собаки так яростно бросались на встречные машины, что отозвать их было невозможно. Они хотели допрыгнуть до высокого кузова, и их прыжки и вой становились все более и более жуткими, пока грузовик не сшибал их, и они летели, кувыркаясь, через голову и оставались лежать неподвижно, как бы говоря: мы выполнили свой долг до конца, мы не знаем, что это были за чудовища, с которыми мы сражались, но мы сражались, как могли.

Кое-где на полянах над дорогой уже останавливались на ночевку. Черные войлочные шатры быстро росли под руками женщин, хлопотавших с кольями, веревками и кошмами. Верблюды уже лежали, пощипывая жесткие колючки; дети бегали за курицами; красный тонкий огонек уже бежал по гряде хвороста; синий дым поднимался узким языком в холодном, ясном воздухе.

Проходили женщины в яркокрасных шальварах, в яркокрасных накидках. Они были нарядные, и что-то хищное было в их мягких, упругих шагах, в позвякивании многочисленных браслетов, в резкости красивых ртов, в смелом разрезе глаз, в длинных, удивительно мягких ресницах.

— Вот так они и идут целыми днями, — сказал Сивачев, — одно слово — кочевники. Это те же афганцы. Но они нездешние. Они не имеют земли здесь и приходят из Пакистана, идут почти к Аму-Дарье со своими стадами; а как повернет на холод, они уходят, как они говорят, кормиться солнцем опять на юг. Так всю жизнь и ходят эти Адамы и Евы.

— Жизнь здоровая, — сказал Кузьма Прокофьевич, — только уж больно дикая. Уж такая дикая! Посмотрите, так первобытные люди жили, никак не лучше.

— А правда, как же они живут? — спросила Вера Антоновна.

— Да как живут... Ну, семья есть, знакомые. Вот на дороге и дружат и ненавидят. И что им больше делать, кроме как идти, разговаривать, сидеть у костра? Чуть что — оружие в ход. Все вооружены. Свободу любят — это так. Сто лет, рассказывали, англичане с их племе-

нами по ту сторону прохода воевали, не могли победить. У них упорство такое, что редко встретишь. Вот и собаки у них такие: бросятся на машину и до тех пор готовы ее грызть, пока их не раздавят. Народ с характером.

— А как, они не опасны? — спросила Вера Антоновна.

— В каком рассуждении? Вы хотите сказать: могут ли напасть на нас?

— Да.

— Видите, сказать честно, лучше ночью между Лое-Даккой и Латабандом не ездить: в это время, когда они идут, мало ли что ночью бывает. Но сколько я ни ездил, ни одного серьезного случая не было. Правда, позапрошлый год возвращались мы с товарищем Парамоновым тоже из Пакистана. Вечер застал в Лое-Дакке. Комендант советовал без конвоя не ехать. Ну, мы не послушались. Поехали. Действительно, есть тут глуховатые места. Смотрим, — луна немного светила, — поперек дороги цепь из людей. Ну, думаю, если они еще камней навалили позади себя, худо нам будет. Разогнал машину, дал сигнал, поревел как следует, — расступились, пропустили, только вслед камнями похлопали. Проехали мы, как галопом проскочили. Говорят, это все-таки было покушение, за англичан нас приняли. Англичан они не любят. У них даже поговорка есть: «Убить англичанина, как паука, — сорок грехов простится». Это от столетней войны у них осталось...

Тут и Сивачев начал рассказывать всякие истории о бывших в горах случаях, большей частью смешных — о неопытности и наивности путешественников и о том, что ушли те времена, когда здесь ущелье называлось ущельем тьмы и смерти. А теперь грузовики идут по этому ущелью, как по улице Горького; ну, не совсем, но в общем этому средневековью приходит конец, и с кочевниками в конце концов разберутся, — закончил он свое философствование.

День между тем как-то посерел, когда они въехали в ущелье, о котором недавно говорил Сивачев. Выглянув из машины, увидела Вера Антоновна, что дорога стала совсем узкой, рядом река, за ней такие стены, что не видно неба, а по другую сторону гора, не такая отвесная,

как напротив, но вся как будто сложена из громадных карнизов, выступов, балкончиков.

И как-то так получилось, что они въехали в большой караван, и спереди, и сзади, и сбоку машину окружили верблюды. Кочевники, сопровождавшие их, хватали животных за веревки, продетые в их ноздри, и прижимали к камням; животные бросались на камни, пытались уйти с дороги, налезали друг на друга. Кочевники кричали так, точно проклинали кого-то; и, наконец, когда один верблюд поскользнулся и упал перед машиной, ударившись боком о крыло, Вера Антоновна, с испугом и волнением наблюдавшая все, что происходит, закричала:

— Кузьма Прокофьевич, остановите машину! Остановите, вы же его задавите!..

Верблюд не мог подняться сам. К нему подбежали афганцы. Машина остановилась. Афганцы выравняли верблюдов. Теперь шедшие вперед не жались к краю дороги, а смело переходили на противоположный край, наклоненный к реке, и закрывали проезд. Сзади напирали все нозые и новые верблюды, их по очереди обводили вокруг машины. Прошло несколько времени, пока в караване все пришло в порядок. Упавшего верблюда подняли и поправили съехавший выюк, а афганец, поднимавший его, ударил концом веревки по машине, как бы наказывая ее за беспорядок, внесенный ею в ущелье.

Кузьма Прокофьевич приоткрыл дверь машины и крикнул ему:

— Ихтият кун, беист! Это я ему сказал, чтобы он осторожней был и остановился, — пояснил он своим спутникам.

Афганец не понял его слов, подошел к машине и знаками начал просить дать ему покурить. Он так отчетливо указывал на папиросу, которую курил Слепцов, и на свой рот, что не понять было нельзя.

Несмотря на то, что Слепцов открыл перед ним коробку, афганец неловко, засмеявшись своей неловкости, взял две папиросы и потянулся прикурить у Кузьмы Прокофьевича. Тут же он окликнул другого и, когда второй подошел, протянул ему папиросу, и тот долго прикуривал, сплевывая на дорогу. Затем подошли еще двое, и к ним присоединились еще трое, прогнавших вперед своих верблю-

дов. Они показывали пальцами на машину, что-то говорили друг другу, потом один из них с рыжими волосами и грубым лицом, точно вырезанным из цветного мыльного камня, указывая на всех, попросил папирос.

Кузьма Прокофьевич зло посмотрел на него, но Вера Антоновна сказала примиряюще, предчувствуя ссору:

— Да дайте им покурить. Ну что, вам жалко, что ли?

И она взяла коробку и протянула ее горцу. Он взял не папиросу, а коробку, и они, разобрав папиросы, сели на камни около машины, а кто не сел, те стали вокруг машины и начали курить и разговаривать.

Они курили не спеша, папирос в коробке было много. Вера Антоновна хорошо рассмотрела их. Больше других ее внимание привлек бородатый афганец, темнолицый, с широким носом, с немного грустными глазами, в белой чалме. Длинные волосы почти достигали плеч. На белую до колен рубаху была надета жилетка из коричневого мохнатого сукна, обшитая золотистым позументом. На поясе у него висел патронташ, из-под которого виднелся широкий нож в кожаных ножнах, с роговой рукояткой; из-за пояса свисал длинный ремешок — такой, на каком носят пистолеты. Ружье было закинута за плечо дулом вниз, и его приклад с двумя кольцами хорошо видела Вера Антоновна. На плечи он накинул зимний плащ, широкий, без рукавов, какие она видела у многих по дороге.

Он смотрел на машину и на ее пассажиров каким-то отсутствующим взглядом, и этот взгляд очень напугал Веру Антоновну. Другой горец сидел на камне и заглядывал в машину, совершенно явственно осматривая все, что в ней находилось. Но в его лице как раз не было ничего неприятного, скорее дикое любопытство читалось на нем; и длинный кусок кисеи, свешивавшийся с его чалмы, болтался как-то наивно. На нем почему-то была пестрая рубашка, в отличие от остальных. Курил он без затяжек, скорее из подражания более старшим, готовый поддержать все их действия.

Тут же стоял красивый молодой горец, тот, который ударил веревкой машину. Он стоял так близко от Веры Антоновны, что она могла дотронуться до его плеча. Он все время поворачивал голову и смотрел на машину и на Веру Антоновну. У него были маленькие черные

усы, аккуратно подстриженные, большие черные с зеленоватым огнем глаза, тонкие черты лица, красивые небольшие руки, стройная, гибкая фигура горца. Та часть кисеи, которая свешивалась у других с чалмы, была у него переброшена через голову и висела, не достигая высокого темнокоричневого лба.

Остальных она уже не рассматривала. Горцы заглядывали теперь в машину, не скрывая своего любопытства. По временам они перекидывались какими-то быстрыми фразами; одни смеялись, другие что-то говорили и показывали на машину и на дорогу. Ясно было одно — они не собирались уходить.

— Да,— проговорил посеревший от злости Кузьма Прокофьевич,— как говорит наше начальство: «На ковер ожидания положи подушку терпения». Зря мы вас послушались, Вера Антоновна. Вот теперь и сиди, не зная, до чего досидишься...

— Но вы...— сказала прерывающимся голосом Вера Антоновна, уже испытавшая угрызения совести, уже видевшая картину нападения, убийства,— и все из-за ее необдуманного поступка. Но она не хотела верить, что в этой в общем такой не очень страшной теснине — правда, не такой страшной,— она кончит свою молодую жизнь.— Но вы,— продолжала она,— вы знаете немного их язык. О чем они говорят? Может быть, они сидят просто так, отдыхают...

— Нет, они не отдыхают,— сказал Слепцов.— Насколько я понимаю, они говорят, что в машине много добра, папирос много. Вот еще курильщики выискались!

— Вы думаете, могут разграбить машину? — спросил доселе молчавший Сивачев.

— Все возможно!

— А если вдруг взять и поехать?

— Так я же их столкну. Ну, тут они стрельбу подымут! Это уже будет — обиду я им причинил.

— А если дать еще немного папирос и откупиться от них?— сказала Вера Антоновна; но не успела она произнести эти слова, как молодой горец с маленькими черными усами что-то сказал бородатому, и тот, потянувшись, ленивым движением вынул наполовину и бросил обратно в ножны свой горский нож.

Молодой засмеялся и начал что-то говорить сидевшим и стоявшим. Все слушали его. Наступила такая тишина, что было слышно, как трется какая-то муха о стекло и не может выбраться из машины.

В этой тишине был слышен только голос молодого горца. Он не успел еще сказать и десяти фраз, как из-за поворота на дорогу, которая давно была свободна, вышла женщина. С того мгновения, когда она вышла, Вера Антоновна уже не спускала с нее глаз.

Женщина шла сильной, медленной походкой. Она шла, как будто ее ничто не интересовало из окружающего. Но, приближаясь к группе горцев и машине, она взглянула на них только раз, внимательно и долго остановив свой взгляд на сидевших и стоявших кочевниках и на Вере Антоновне. Эта женщина была так хороша собой, что Вера Антоновна при виде ее забыла все свои страхи и невольно любовалась ею — и ее лицом, и ее фигурой, и ее походкой.

«Ведь не с чем сравнить ее, — думала она, — можно только смотреть и смотреть. Глаза ее огромные, руки тонкие, походка — ну, старые сравнения только и можно вспомнить. Лицо светится, губы как цветы. Волосы расчесаны на пробор, какие-то изумительно простые серьги висят в ушах, на руках большие браслеты, красный плащ одевает ее, как в пылающую рамку. Ну пусть она хоть на секунду задержится, хоть на секунду!»

Она смотрела на нее с таким восхищением, забыв все, так любовалась ею и чувствовала, что женщина эта сама знает цену своей красоте. Вера Антоновна заметила еще с чисто женским инстинктом, что эта женщина, увидев ее, еще более приосанилась, подобралась, сделала свою походку еще более гордой.

Не убавляя шага, она поровнялась с машиной и, проходя мимо горцев, что-то сказала быстро и гневно и подняла руку движением, как потом рассказывала Вера Антоновна, неповторимым по быстроте, гибкости и пластике.

Горцы молча вскочили с камней и, не оглядываясь, пошли вперед, а она, тоже не оборачиваясь, как бы наслаждаясь своей властью и прелестью, медленно шла в каменном коридоре, в котором уже явственно потухал день.

Все это случилось так неожиданно, что сидевшие в машине не сразу поняли, что происшествие, грозившее им всяческими осложнениями, позади, что они одни в этой теснине и только брошенные на дорогу окурки напоминают о том, что действительно тут сидели горцы. И Вера Антоновна почему-то запомнила неуклюжий, тяжелый башмак из толстой шероховатой кожи с сильно загнутым кверху носком и задником. Этот башмак только что топтал окурки, и она вздрогнула при мысли, что этот башмак может ей присниться. Нет! Лучше не думать.

Поехали не сразу, как будто чего-то ждали. Потом машина тихо пошла по ущелью, сигналивая на поворотах. И вдруг неожиданно для себя они увидели снова всю компанию, которая только что поставила их в безвыходное положение. Горцы шли друг за другом, и никто из них даже не посмотрел на проносившуюся мимо машину.

Когда они уже остались далеко позади, Вера Антоновна сказала:

— Как все это удивительно! Как удивительно! Прямо как в романе. Мне никто не поверит, когда я буду это рассказывать в Москве, у себя на Арбате.

— Поверят! — мрачно сказал Слепцов. — Все в наш век кое-что видели. Вы только, как будете рассказывать, скажите обязательно, как мы дешево отделались: одной коробкой «Казбека». Деталям поверят, всему поверят.

— Да, — сказал Сивачев, — происшествие черт его знает какое! Как будто в кино видел. А женщина? Да, кстати, что она им такое могла сказать?

— Насколько я понял, а понял я не очень все, как вы догадываетесь, — сказал Кузьма Прокофьевич, — она им сказала: «Это русские. Дайте им дорогу. Уходите сейчас же».

— Откуда она взяла, что мы русские?..

— Ну, тут они знают больше, чем вы думаете. Газет у них нет, а все известно...

— Я догадалась! — вскричала Вера Антоновна. — Она увидела красный флажок на машине.

— И это верно! А потом англичане или американцы в таком положении не были бы. Или они уже стреляли бы как сумасшедшие, или их машина вон там, в реке, уже лежала бы. Угощать папиросами кочевников они не будут,

будьте спокойны,— сказал Кузьма Прокофьевич.— В общем, как бы то ни было, рахи шума эмвар бахейр — или: счастливого пути, милая женщина, которая нас избавила от напасти...

— Ну кто она, кто она, по-вашему? — допытывалась Вера Антоновна.— Что у них, королевы, что ли, есть? Может, она какая знатная? Ну кто она? Почему ее послушали?

— Вот этого я уж не знаю,— сказал Кузьма Прокофьевич,— но одно верно: у них женщина пользуется большой властью в семействе. Женщин они не смеют обижать. Да вы видели, как они послушались, как маленькие... Не послушайся, она тебе даст дома — не обрадуешься...

— У них нет дома!

— Ну в шатре в этом черном, какая разница!

Вера Антоновна сказала, как будто думала вслух:

— Какая странная жизнь! На этой неделе Москва, троллейбусы с синими искрами, метро, Большой театр — и вдруг какие-то кочевники, дикие ущелья, а завтра тропики, Индия. Куда же это я заеду? — И сразу, без всякого перехода, она спросила Кузьму Прокофьевича:— Скажите, из чего была ручка ножа у того бородатого, там, когда остановились?

— Какие вы глупости, ей-богу, спрашиваете: из чего ручка от ножа! А я и ножа никакого не видел. Да вы знаете, что я вам скажу: они вовсе и не собирались на нас нападать — так, забавлялись, и все.— И, помолчав, он добавил: — А из той женщины какого можно человека сделать, золотого человека можно сделать!

Сивачев сказал:

— Хороша, действительно хороша. Естественное воспитание. Вы что думаете! Она и стрелять умеет. Она все умеет — и шатры ставить и верблюдов вьючить. Может, на таких женщинах и все их кочевье стоит. Как она их шуганула!

Но тут Вера Антоновна, почему-то непонятно обидевшись, сказала:

— Вы говорите, они нас хотели только напугать. Так я вам скажу, если бы не та женщина, я бы их сама, как вы говорите, шуганула...

— Сумели бы? — сказал, смотря на ее порозовевшее лицо, Кузьма Прокофьевич.

— Еще как! Вы меня совсем не знаете...

— Правда, — сказал Слепцов, — я вас не знаю. Точно.

— Ну, не будем ссориться, — примиряюще сказал Сивачев, — все храбрые, все замечательные...

Пока они так разговаривали, все время возвращаясь к происшествию, наступил вечер. С этого времени только фары освещали бледным светом дорогу, державшуюся в узком ущелье над рекой, голос которой то совершенно затихал, то вдруг гудел и захлебывался. В темноте иногда, на повороте, освещенные светом фар, вспухали белые пузыри пены у черных камней.

То вдруг светлело, и тогда вычерчивались зубья выступов, за которыми в ущелье угадывалось черное небо со звездами, прикрытыми какой-то дымкой. В ущелье пахло сыростью, было холодно и темно. Там, где оно расширялось, отступая от дороги, краснели костры, в воздухе летали искры, виднелись силуэты лежащих верблюдов, ишаков, бродивших вокруг шатров, у которых хлопотали женщины. Иногда пламя костра закрывали подошедшие к огню фигуры мужчин.

Шатры эти стояли так близко, что Вере Антоновне захотелось выйти из машины и подойти к ним, протянуть руки над пляшущим огнем и так стоять долго, долго, вслушиваясь в голоса темноты и ощущая за спиной мирное чавканье ишаков и глубокие вздохи засыпающих верблюдов.

Потом ей казалось, что она оглянется и увидит рядом с собой ту красивую кочевницу, что прошла, как тень, мимо нее. Она знала, что это невозможно, что та, как пропетая песня, отзвучала и не вернется, но все-таки чувство, овладевшее ею, требовало какой-то разрядки, и, не выдержав этой внутренней борьбы, она начала просить Кузьму Прокофьевича остановить машину.

— Но зачем? — спросил вместо Слепцова Илья Петрович. — Что же тут интересного? Темнота, холод.

— Ну остановитесь, — просила Вера Антоновна, — выйдите покурить на воздухе. Ну пожалуйста...

И Кузьма Прокофьевич, решив, что ей нехорошо и

она хочет подышать воздухом, остановил машину, откатив ее к правому краю дороги, прижав к скале.

Они все трое вышли из машины. Прямо против них горел костер, он стоял на поляне и освещал край порыжевшей шатровой кошмы, толстую веревку, выходявшую из-под нее, и усеянную мелкими камнями землю, на которой лежали выгнутые верблюжьи седла и скатанные ковры, стояли ведра и котел.

У костра сидели дети, прижавшись друг к другу, точно слушали то, что им говорило пламя. Вся картина как-то странно становилась все ясней и ясней. И тогда Вера Антоновна, сделавшая несколько шагов в сторону костра, увидела сиявшую сквозь голубое облако луну, которая вдруг преобразила погруженное в тьму ущелье. Вера Антоновна хотела обогнуть высокий камень и подняться на небольшой пригорок, чтобы увидеть реку, и чуть не столкнулась с девушкой, шедшей ей навстречу и подымавшейся к дороге от реки.

Эта девушка несла на плече высокий, с длинным, тонким горлом кувшин и вся блестела, освещенная косым лучом луны. Блестели ее масленисто-тяжелые косы, блестели нестерпимо большие монеты на подвеске на лбу, ожерелье на шее, ее цветистый халат, и даже рука была как золото, — рука, которой она охватила горлышко кувшина. Она стояла перед Верой Антоновной и без всякой растерянности смотрела на нее. Ее большие пунцовые губы полуоткрылись; свет костра заиграл на крыле носа, в которое была вделана маленькая бирюзовая звездочка. Казалось, что девушка ждала, что с ней заговорит эта высокая, хорошо сложенная, большая женщина с чуть широким незагорелым, нежным лицом, розовым от бликов пламени, игравших на нем.

Не дождавшись вопроса, девушка тихо и легко, чуть покачиваясь и плотно ступая всей пяткой, как ходят кочевницы, начала спускаться к полянке, где стоял шатер.

Вера Антоновна смотрела ей вслед и думала, что для нее, проезжего человека, это ущелье, и эта ночь, и все вокруг такое чужое, даже в нем есть что-то тревожное и что, оставь ее здесь на ночь на этой лужайке ее спутники, ей было бы неуютно и просто плохо. А для этих людей там, у костра, для этой девушки все это привычно, обык-

новенно и даже наскучило. И она будет там среди подруг у шатра рассказывать о смешной встрече с проезжей иностранкой, так непривычно для них одетой, и они будут искренне смеяться над этим рассказом, как будто они сидят на диване в теплой комнате, у чайного стола, а не на камнях под луной, на холодной ночной земле.

Когда Вера Анотоновна вернулась к машине, мужчины бросили свои папиросы, и их красные огоньки горели, не тускнея, еще несколько мгновений среди жесткой низкой травы и потом погасли.

«Погасли, как эти мои встречи», — подумала Вера Антоновна.

И уже в машине Сивачев сказал ей:

— Ну, как вы себя чувствуете?

— Очень хорошо, — ответила она, — и даже, я скажу, эта страна, такая мрачная, мне чем-то нравится. Она какая-то цельная, и люди в ней цельные, как эти горы...

— Ну, хорошо, если так. А мы тут говорили, что, может, вы от всех этих дорожных трудностей так устанете, что вам уже ни до чего дела не будет. А вы крепкая, оказывается.

— Крепкая, — сказала она, и они начали разговаривать о московском быте, о своих привычках, о детстве, о семейной жизни и о многом, что случайно вбегало в беседу.

Кузьма Прокофьевич вставлял свои замечания, порой критического характера, и так они проводили время, несясь по долине, освещенной уже широким, льющим во все стороны, победно царящим над землей светом луны.

Лунная ночь торжествовала. В ее прозрачной, совершенно дневной ясности, погруженная как на дно зеленовато-голубого озера, покоилась земля с домами, деревьями, полями и арычками. Можно было считать песчинки и линии жилок на листьях неподвижных деревьев. Пахло влажными южными неизвестными растениями. Тепло после холодного пути по высотам было каким-то домашним, успокаивающим, как будто вы сидели у хорошо протопленной днем печки.

В долину выбегала каменная гряда, похожая на дракона, наблюдающего за дорогой. Гребень горы был фиолетово-розовым, и дальний край его уходил в зеленую мглу.

И когда машина поехала по аллее с вычурными деревьями, Вера Антоновна спохватилась, присмотрелась к этим новым для нее стволам, сложенным из толстых дощечек с пропущенной между ними войлочной прокладкой, свешивающейся на сторону, к узорным синим теням, лежавшим на белой, как посыпанной мелом, дороге, и громко сказала:

— Что это? Пальмы! Куда мы приехали?

— Куда мы приехали? — сказал Слепцов, уверенно ведя машину среди города, утонувшего в густой зелени. — Это и есть Джелалабад. Здесь стоп! Здесь будем ночевать.

МОГИЛА БАБУРА

— Чудный сегодня день! Какой холодный и чистый воздух! И пахнет он не то сухими и пьяными травами, не то хорошим белым вином, прямо из подвала. А вон они стоят, горы, — не то верблюжьи горбы, не то каменные шатры, заснувшие на зиму. Небо высокое, строгое, просторное, для такой суровой страны и небо правильное. Без шуток, здесь хороший уголок. Хорошо, что я придумал пойти именно сюда...

Так разговаривал сам с собою советский ученый Коробов, медленно поднимаясь по лестнице к гробнице султана Бабур.

Он поднимался не торопясь, часто останавливался, с удовольствием вдыхал горный воздух и оглядывался по сторонам. Спешить ему было некуда.

Он возвращался из Индии с делегацией ученых. Сейчас одни из них поехали в музей, недалеко от города, где предались всестороннему рассматриванию старинных мечей и ружей, вышитых тканей, минеральных коллекций, изделий из слоновой кости; другие отправились знакомиться с городом.

Он был в Афганистане не впервые и хорошо был знаком с достопримечательностями Кабула. Поэтому он поехал в место, которое ему нравилось как тихий, уединенный уголок, где хорошо побродить и подумать наедине.

Вот почему он с самой серьезной сосредоточенностью осматривал ограду из белого мрамора, всю изрезанную тончайшими узорами и надписями, снова постоял над беломраморной плитой, под которой лежал прах основателя огромной Могольской империи, существовавшей несколько столетий.

Могила эта находилась как раз между старым городом и тем новым Кабулом, который не успел построить Аманулла-хан. К несуществующему городу вели прекрасно разросшиеся большие аллеи пирамидальных тополей и крепких, с могучими ветвями карагачей.

С высокого склона, занятого старым парком, над которым господствует могила Бабура, была видна Кабульская долина, погруженная в холодный покой зимнего утра.

Прогуливаясь вдоль ограды, Коробов наслаждался тишиной пустынного места, широкой панорамой окрестностей; и то, что окрестности эти представляли скопление невысоких угрюмых гор, внизу которых темнели бурые кустарники и оголенные деревья, ничуть его не смущало.

Он отдыхал и после утомительной дороги и после множества людей, которых видел в своей поездке. Конечно, если бы он был первый раз в Кабуле, он тоже отправился бы в музей или на базар. Теперь же он хотел одиночества.

Но с одиночеством у него не вышло. Неожиданно к нему подошел высокий старый афганец в европейской одежде, свободно владевший английским языком, так же как и Коробов. После поклона и нескольких учтивых любезностей, обязательных для восточного человека, он сказал:

— Простите меня великодушно, но мы с вами знакомы. Нас познакомили в советском посольстве, на приеме.

— Да, да,— сказал удивленный Коробов, рассматривая темное, шафранного цвета лицо с живыми большими глазами и чуть крючковатым носом.

Афганец погладил седую, аккуратно подстриженную бороду, и на его пальце Коробов увидел толстое серебряное кольцо с геммой. По этому кольцу он вспомнил все. Да, его познакомили с этим человеком, который бе-

седовал с ним об Афганистане, о зеленом драконе мечети Аннау, разрушенной последним землетрясением, о борьбе с пустынной саранчой и о многом другом.

Гемма была настоящая, стоящая, прекрасной работы. Теперь, вспомнив все подробности вечера, Коробов сказал просто, что он узнал почтенного своего собеседника и очень рад, что судьба снова свела их, так как тот разговор в посольстве был интересен для них обоих.

— Я подошел к вам,— сказал старик,— не только потому, что видел вас тогда мельком. Я подошел к вам потому, что мне понравилось ваше внимание ученого и философа, оказанное этому месту, которое я очень люблю и почитаю. Я видел, что вас привело сюда не праздное любопытство, и даже если бы я не знал, что вы ученый, я все равно отдал бы дань уважения тому, что вы выбрали для своего раздумья место, избранное поэтом как пейзаж, который может украсить само бессмертие...

Коробов, скрыв свое удивление, скрыв и истинную причину, приведшую его сюда, пробормотав, что исторические места всегда привлекают и в них есть что-то, что ты уносишь в памяти с благодарностью.

Афганец посмотрел на него внимательно, с мягкой улыбкой и сказал:

— Я хожу сюда часто, я очень люблю Бабура!

— За что вы любите Бабура? — машинально спросил Коробов, совершенно равнодушно услышавший это имя, но его уже интересовал этот странный афганец, его спокойная, уверенная речь, его настойчивость.

— Я люблю Бабура за то, что он любил Кабул. Если у вас есть время, мы можем прогуляться вместе, я не люблю сидеть, а вы?

— Я тоже,— сказал Коробов.— У меня есть время, потому что я условился с моими товарищами, что после осмотра музея они заедут за мной или пришлют машину. Но, простите, вы ученый историк?

— Нет,— сказал, сделав отрицательный жест, его собеседник,— нет, я не ученый историк. Я патриот своей страны, я учился и жил много в Европе и даже занимался политикой. Но я ушел от нее. Я живу искусством и философией, я изучаю Бабур-намэ. Я чуть-чуть хромаю, как вы видите, и в шутку зову себя Азис-лэнг —

хромой Азис; я хромой, старый любитель истории, не больше. Хромой шайтан — есть такой французский роман. Мы сошлись с Бабуром на нашей общей любви к Кабулу. Он любил его, как женщину. Он, повелитель Индии, султан красивейших городов, выбрал его не только для жизни, но и для вечного покоя. Это место, где мы сейчас с вами, он назвал при жизни как место для своей гробницы. Он был молод в Кабуле. Пусть его породила ваша Фергана, но он стал настоящим кабульцем. Он воспел его по-разному, помните его стихи:

Пей же вино в замке Кабульском, чашу за чашей пей,
потому что он город, и река, и степь, и гора над ней.

Нет, это не Мулла Мухаммед, не Таиб Муамман сочинил этот стих. Это он сам. А как он писал прозой: «Климат Кабула восхитителен, и нет другой страны в мире, которая могла бы сравняться с ним в этом отношении!»

Он воевал и писал во много раз лучше Юлия Цезаря, с которым его неудачно сравнивают на Западе. Он ездил на лошади, как лучший джигит. Он был замечательный пловец: он переплывал Ганг. А как он понимал стихи! Когда великий Алишер-бек, которого он назвал бесподобным человеком, написал «Весы стихотворных размеров», и это отметил Бабур в своих записках. «Она очень несовершенна, эта книга,— написал он,— приведя размеры двадцати четырех рубаи, он сделал ошибку в четырех размерах, в некоторых других метрах он тоже ошибся. Человеку, осведомленному в просодии, это будет заметно».

Заметьте, что он сам слагал стихи только по определенным, важным случаям, когда у него было полно сердце и ум приходил в волнение. Он не писал пустых стихов. Когда злобный Хасан Якуб, задумав ночное предательское нападение, сам был по ошибке поражен стрелой своего же солдата, Бабур написал:

Не думай, сделав зло, что спрячет мир безбрежный,
Везде — закон природы неизбежный.

Он был широк. Он понял Нанака. Кто в Европе знает Нанака? Гуру Нанака, этого просветителя индийцев и основателя религии сикхов, который имел смелость в то время заявить: нет ни индуса, ни магометанина. Вспомните ужасную судьбу бабидов в Иране и поражитесь тому,

что Бабур отпустил Нанака на свободу, разрешив ему проповедовать свою веру всем желающим его слушать. Неповторимый Бекзад изобразил Бабура читающим книгу в весеннем саду. Так и должен был он изобразить его. Кстати, Бабур направил послов из Индии в Москву с предложением быть в дружбе и братстве с Россией. Я прошу простить меня за то, что я рассказываю о Бабуре вам, которого, может, все это совсем не интересует...

— Что вы, что вы! — сказал Коробов, невольно зараженный искренним волнением Азис-хана. — Я слушал вас с большим вниманием, потому что, по правде говоря, первый раз в Афганистане я беседую с таким пламенным поклонником старины.

— Первый раз! — в свою очередь воскликнул афганец и, остановившись, внезапно спросил: — Вы же бывали у нас неоднократно, вы, верно, уже знакомы с нашими древностями? Вы видели Бамиан, вы посещали Балх?

— Бамиана я не видел, имею о нем слабое представление, в Балх я раз совершил прогулку, свернув с маршрута, — правда, очень давно это было. Видите ли, если бы я был ученым-археологом, то я, может быть, влюбился бы в памятники древности, какими переполнен Афганистан. Но я ученый, можно сказать, прозаического уклона, я специалист по борьбе с пустынной саранчой — этим худшим врагом земледельцев и садоводов. Это совсем другая вещь. В старину в этом было еще что-то от романтизма: саранча — бич божий, наказание Аллаха, но теперь мы, повозившись с этими бледнозелеными ордами, добились того, что, если они снова появятся у вас ли в Афганистане, у нас ли в Средней Азии, мы встретим их во всемогуществе сегодняшней науки и техники. А когда мы много лет назад начинали борьбу, картина была ужасающая, вроде нашествий тех древних завоевателей.

Я помню такой Мервский оазис, в котором не осталось ни бахчей, ни полей, ни деревьев. Ну, потом мы саранчу разгромили по всем правилам науки, но для этого мне и моим товарищам-специалистам пришлось долго заниматься изучением ее особенностей, и не только у себя, на советской территории, но и в Афганистане, в Ираке, Иране, Пакистане, Индии, даже на благословенных берегах Аравии. Вот почему я хорошо знаю, как живут афганские

крестьяне, кочевники там, на юге, я знаю ваши города и деревни. Да, я бы не сказал, что это легкая жизнь. Между прочим, я побывал и в Балхе.

Это было в самый жар лета. В какой-то старой книге я прочел о зное: «Если бы тень можно было продавать и удобно свертывать, за нее могли бы брать какую угодно цену. Даже клочок тени под лошадиной подпругой и тот был бы предметом сбыта». Вот такая жара окружала меня на раскаленных песках, когда я обходил стены Балха, осматривал Башню разведчиков. Я унес только хорошее воспоминание о мечети Парса, которая светилась своей голубой мозаикой, побеждавшей голубизну неба. Но тени не хватало. Мы не располагали ни временем, ни возможностью подробно рассматривать эти мертвые стены и курганы, под которыми погребены тысячелетия...

— Я понимаю, что вы человек, которого не может интересовать история пустынного города развалин, как археолога, но вы ученый советской культуры, и я хочу с вами поговорить о другом. Мы подошли к мысли, которая меня одно время очень мучила,— сказал Азис-хан,— и вот такая эта мысль. Вот вы сказали: ужасные груды щебня... а это Балх, где много веков назад был расцвет наук и искусств. Балх, где сменились греки, буддисты, христиане, мусульмане. Арабы называли город матерью городов. Там, как вы сказали, раскаленный песок. В древние времена можно было проехать от Балха до Мерва дорогой, обсаженной деревьями, тенистой в самую страшную жару. А вы сегодня хотели купить там любой клочок тени за любые деньги. Жаль, что вы не видели Бамиана. Там до сих пор стоят одни из самых удивительных статуй в мире, по высоте и величию не имеющие себе равных. Стали бы воздвигать статуи, подобных которым не знает просвещенное человечество, люди-пастухи, люди-невежды? Бамиан! В этом месте встречалась греко-бактрийская культура с культурой буддийской, индийской. Греция там подавала руку Индии и Китаю. Волна эллинизма была так сильна, что доплеснула до глубин индийского искусства. Где все это? Все исчезло. Когда Европа видела ребяческие сны человечества, здесь создавались великие государства, великие культуры. Вы знаете, что Тимур-лэнг назвал несколько селений у Самарканда име-

нами европейских столиц, и, между прочим, там были селения Мадрид и Париж. Он считал, что надо назвать эти селения именами отдаленных маленьких государств, расположенных так далеко от его необъятной империи. Теперь Балх и Бамиан — пустыня.

Афганистан не мог развиваться. Его торговое значение рухнуло в тот день, когда португальцы бросили якорь у берегов Индии. А потом пришли англичане в Индию, и с этого времени больше не ищите роста культуры или искусства. Восток был унижен, раздавлен, ограблен. Я думаю сейчас о времени и о народе. И вот, когда я так думаю, мне кажется, что только коммунисты в Средней Азии положили начало удивительному расцвету жизни с бесконечными возможностями в будущем. Вы впервые после упадка Средней Азии, который становился глубже и безнадежней, сделали все для развития в ней настоящего прогресса.

— Видите, — сказал несколько смущенный таким поворотом разговора Коробов, — если взять Среднюю Азию последних лет царизма и сегодняшнюю, то можно подумать, что вы находитесь в совершенно другой стране. Между ними нет ничего общего. Если тридцать пять лет назад азиатские долины погружались в темноту с наступлением вечера, то теперь всюду сияет электрический свет. Там, где люди задыхались от безводья, вы увидите большие волны Узбекского моря. Каналы пересекли Голодную степь, и перед первой водой, пущенной в эти каналы, танцевали лучшие артистки, каких ранее не знала Азия. Автомобили идут по дорогам Памира, проходящим через перевалы на высоте вершин Гиндукуша, чтобы доставить грузы туда, где столетиями вилась жалкая ишачья тропа. Там, где люди умирали с голоду, стоят колхозы-миллионеры. Это значит, что у этих колхозов миллионные доходы от урожая. Хлопок, о котором редко кто знал в горных краях, залез в такие места, где шлялись только волки да тигры. И урожайность этого хлопка в семь с половиной раз выше индийского, а Индия — родина хлопка. Арбы скрипели по всем дорогам, а теперь знаменитый поэт пишет поэму о последнем арбакеше своей республики. Нет старого Ташкента — есть грандиозный город, полный садов, театров, школ, парков, магазинов, в нем

много фабрик и заводов. Вы увидите всеобщую грамотность. Училища имеются в самом маленьком кишлаке. Из деревни идут учиться в Ташкент, в Сталинабад, в Алма-Ату, Ашхабад, Фрунзе, в Москву наконец! Куда хотите! Пустыня! В любом ее уголке — ученые и пастухи, инженеры и ирригаторы; и люди в пустыне живут, не замечая, что она мрачная и ужасная. Они ее хозяйева, и она боится их, а не они ее. Вся прошлая жизнь этих мест сгинула бесследно, и с трудом вы набредете на ее слабые следы. Из Термеза в Кабул самолет летит полтора-два часа, через Гиндукуш. Это ведь не расстояние! Право, стоит прилететь посмотреть страну, которая никогда так не жила, как сейчас. Я еще не умею рассказывать, да всего и не расскажешь. Я только по мере сил ответил на ваш вопрос...

— Да, это так и есть, — сказал Азис-хан, — вы хорошо ответили мне.

Азис-хан замолчал, и несколько времени они прохаживались молча. Потом он начал говорить, как показалось Коробову, несколько иным голосом, ровным и более уверенным. То ли он постеснялся своего волнения, то ли устал от длинных речей, но он заговорил сначала очень тихо, потом снова голос его приобрел силу:

— Я много думал и думаю о своей родине. Я прихожу сюда, на могилу Бабура, и здесь мне думается легче и глубже. Был большой эмир, отошедший в свое время к милости Аллаха. Я назову имя Абдуррахмана. Он думал о будущем страны. Он рассуждал так: если у нас нет больше силы расширить свои владения, если слишком могущественны наши соседи, мы будем развиваться мирно, жить тихо и процветать, став Швейцарией Азии. Но так как мы больше Франции и некоторых других стран, то мы привлечем к себе туристов тем, чем не обладает Швейцария — маленькая, скучная, всем надоевшая. Я ее видел.

У нас горы выше, и вершины их не видели альпинистов. У нас есть такие развалины, такие раскопки, каких нигде не найдете. У нас можно ловить форель в быстрых речках и охотиться на медведей, леопардов, тигров, на фазанов, на уток, на кого угодно. Приезжайте, и мы разведем для вас молочное хозяйство на таких лу-

гах, каких вы не увидите в вашей карманной Европе. Вот и решен вопрос, как и чем жить. Столько отелей и охотничьих хижин, столько лавок с древностями, столько альпийских лагерей и стадионов для конькобежцев и дорожек для лыжников!.. Хорошо, правда?

Да,—сказал он, вдруг засмеявшись отрывистым смехом,— все хорошо, одно плохо: Афганистан не Швейцария, афганский народ не захочет так жить. И не будет. Меня спрашивал один приезжий путешественник, почему так много кладбищ в долине Кабула в пустынных местах. Он думал, что это древние какие-то кладбища, остались после живших давно людей. «Нет,—сказал я,— это кладбища героев, защищавших Афганистан от чужеземных нашествий. Это могилы воинов, которые не пустили иноземцев в страну. Зачем их потомкам становиться слугами потомков этих иноземцев? Афганский народ — другой народ, суровый, бедный народ».

Вы ехали по стране, вы видели ее и ее людей не раз. Вы видели, как крестьянин обмолачивает собранные в мешок уже после уборки, подобранные в поле колосья, колотя деревянным молотком по мешку, положенному на камень. Вы видели, как тяжело живет простому человеку. И все-таки наши мужчины свободолюбивы, а женщины у нас такие, что недаром говорят еще со старых времен: поезжай обогащаться в Индию, веселиться в Кашмир, а жену бери себе у афганцев. Я вас не утомил своей беседой?

— Я слушаю вас с большим интересом,—сказал Коробов,—но, мне кажется, своеобразие страны мешает вам добиться того, что облегчило бы положение народа, особенно бедных, простых людей.

— И на это я отвечу вам небольшим рассказом, который я слышал от серьезного человека и действие которого происходит в наш век. Еще совсем не так давно в старой славной Бухаре правил эмир, и этот эмир был жестокий и мрачный повелитель. Его боялись, как огня, беки, сидевшие в своих бекствах далеко от Бухары,—они знали, что рука эмирского гнева достанет до них в их глубоких горных норах.

И вот, чтобы задобрить эмира, бек, живший на земле около Пянджа, послал ему в подарок замечательного

барана, такого большого, такого красивого, такого жирного. Двум крестьянам-беднякам велели отвести его эмиру в Бухару. «Но,— сказали им,— смотрите за бараном так, чтобы он был всем доволен. Если он не дойдет живым до Бухары, помрет по дороге, будете сами в Бухаре повешены. Вы отвечаете за барана головой».

Крестьяне-бедняки повели барана. Им дали на дорогу гребень — расчесывать его шерсть, и золотой песок — посыпать ему рога, чтобы все видели, что это баран, предназначенный самому эмиру.

Каждый день они ухаживали за бараном, как за родными детьми не ухаживают: расчесывали шерсть, мыли его, рога посыпали золотым песком, пасли на отборной траве, пить давали только родниковую воду. Можете представить себе ужас крестьян, когда баран вдруг отказывался пить и есть: ему не нравилась трава или вода была не по вкусу. Они спали рядом с ним, чтобы его не украли. И так они шли, все дальше удаляясь от родных мест и все ближе подходя к Бухаре, которая снилась им то милостивой, то страшной.

Наконец, настал вечер, когда они вошли в кишлак, очень близкий к городу Бухаре. Их поразило то, что, несмотря на вечер, народ так шумел, столько было вооруженных людей; и бедняки со страху подумали, что кишлак захвачен разбойниками.

Сначала на них не обращали внимания, потому что все слушали речи и веселились, кричали, стреляли в воздух из ружей. Но когда они с бараном подошли поближе, чтобы узнать, что это за *тамаша*, то их барана схватило несколько человек.

— Стойте, стойте, дорогие! — закричали в испуге бедняки. — Что вы делаете? Не хватайте нашего барана — беда будет большая всем.

— Какая беда? Да кто вы такие? Откуда вы пришли? Сами нищие, а баран с позолоченными рогами!

— Мы ведем этого барана эмиру от нашего бека...

— Вот это хорошо, — закричали все вокруг, — теперь баран пойдет нам на ужин! Плов будет на весь кишлак.

И они потащили барана, несмотря на крики бедняков.

— Нельзя трогать барана, — кричали они, — эмир нас повесит за него!

— Эмира нет,— закричал народ,— эмир убежал из Бухары! Бухара наша. А раз Бухара наша, и баран наш...

— А бек нас убьет за барана! — плакали бедняки.

— А бек сбежит, как эмир, пока вы домой доберетесь. Помогайте лучше нам приготовить барана.

И крестьяне-бедняки пошли с народом, таша барана на лужайку, где уже разводили большой костер.

Это рассказал мне бывший здесь один ваш советский ученый, таджик. Рассказ подлинный, так как один из этих двух бедняков был его отец.

— Что вы хотите сказать этим рассказом? — спросил Коробов.— Это почти восточная притча...

— Это правда наших лет. Я хотел бы, чтобы у нас, скажем через тридцать лет, у тех крестьян, что вы видели молотящими зерна в мешках, сыновья стали учеными.

— Что я могу вам сказать на это?—отвечал Коробов.— Конечно, будет замечательно, если придет такое время, что сын крестьянина-бедняка сможет стать ученым. У нас в Советском Союзе это уже не вопрос. Вы сами в этом убедитесь...

Азис-хан сказал:

— Я не буду утомлять вас рассказами о своей семье. Это слишком сложно, и для вас не представит интереса. Поэтому я скажу вам только о моем племяннике Амуре, которого я воспитываю в своем доме, как родного сына. Я хочу, чтобы он стал настоящим афганцем, он должен проникнуться нашими народными традициями и быть верным духу любви к нашей истории.

Воспитание молодого, горячего человека, имеющего деньги, самостоятельного и красивого,— нелегкое дело. Как говорит народная мудрость: «Человек, жадно хватающийся за богатство и удовольствия или жаждущий их, похож на ребенка, который лижет мед с острия ножа. Не успеет он почувствовать вкус сладости, как уже ощущает боль от раны на языке»

Я учу его скромности, гордости, храбрости и, главное, честности. Он не смеет лгать мне. И он, уверяю вас, никогда не лжет. Я могу гордиться Амуром. Он не похож на современных молодых людей, которые кутят с англичанами или американцами и далеки от своего народа.

Но я сумел внушить Амиру любовь к истории нашей родины и к ее великим людям. Это так. Он любит меня; и жаль, что вы не увидите его. Он сопровождает меня охотно на могилу Бабура, но он уехал в Джелалабад навестить одного своего больного друга...

Азис-хан взглянул на могилу Бабура, мимо которой они уже не раз проходили.

В это время они услышали доносившийся снизу шум, гудок машины, на лестнице послышались веселые, громкие, молодые голоса. По лестнице подымалась к могиле группа молодых людей.

— Отойдите в сторону, — сказал брезгливо Азис-хан, — есть сорт туристов, которых я не переношу. Мне противны даже их голоса, в которых вы слышите только самодовольную пошлость. Я бы запретил таким людям посещать места исторического значения.

Они отошли и стали, скрытые старыми деревьями с холодными коричневыми стволами. Одним глазом Коробов увидел, что в группе две американские девушки и два молодых афганца в европейских костюмах, очень модных. Пестро одетые девушки широко, по-мужски, шагали вперед, за ними следовали два красивых молодых человека. Оживленно и громко разговаривая, поминутно смеясь, они прошли к могиле Бабура. Коробов услышал, как защелкали фотоаппараты, потом раздался голос одной из молодых туристок:

— Это и все? О, я уже видела много таких могил в Индии и в Персии! Кто же это здесь теперь? Как он называется?

— Это Бабур, — ответил ей молодой человек. — Я предупреждал, Бетти, что тут будет скучно. Конечно, могила есть могила.

— В общем они все одинаковы, — сказала другая девушка, — ничего нового. Разница в деталях. Вы согласны, Амир?

— Мне тоже кажется, — ответил Амир, — что все могилы одинаковы, как одинакова смерть. И все старые и скучные...

— Я устала, Амир, и хочу пить. Тут нет бара поблизости? Ну что я спрашиваю! Какой тут может быть бар?! Почему это у вас все так еще не устроено? Дикая все-таки

у вас страна, дружок. Тут-то и надо, чтобы все было под рукой. Такой прелестный холм и старинный памятник! Ну, становитесь, Амир, я вас сниму, так и быть, на фоне этой доски. Это, кажется, мрамор. Вот так. Благодарю вас, но больше не возите нас на могилы.

Другая девушка почти закричала:

— Хватит, поехали в город! Мы, кажется, сегодня заслужили, чтобы вы нас повеселили как следует.— И, сделав шутливый полупоклон могиле, она сказала: — До свиданья, дядюшка *Бабур! Покойной ночи!

Так же шумно, как и появилась, компания сбежала по лестнице, и скоро гудок возвестил об ее отбытии в город.

Коробов, наблюдавший за всей происшедшей сценой сквозь сплетения голых ветвей, не глядел на Азис-хана и только сейчас, взглянув, увидел потемневшее лицо и сверкавшие глаза, блеск которых выдержанный афганец тщетно хотел потушить.

И вдруг Коробов понял, что племянник Амир, который должен был быть сейчас в Джелалабаде, покорный, влюбленный в старину,— только что был здесь с двумя разбитными американками, для которых ничего не значил осмотр одной лишней могильной плиты.

Так они стояли молча, точно Бабур только что закопан и им хочется побыть у его могилы. Но снизу снова загудела машина, и Коробов, узнав гудок, сказал, несколько даже растерявшись:

— Это за мной. Разрешите мне с вами попрощаться...

Азис-хан, углубленный в свои мрачные мысли, не сразу понял его, потом пожал ему руку, прижал обе руки к груди, сказал: «Счастлив день, когда встречаешь друга по сердцу»,— и отступил на шаг назад, все еще кланяясь; но было видно, что спокойствие стоило ему дорого и давалось с трудом.

И если бы, дойдя до лестницы, Коробов оглянулся, он бы увидел, что старый афганец стоит неподвижно и смотрит в сторону печальных сизых зимних гор, рассматривая их так пристально, точно видит их в первый раз.

Но Коробов не оглянулся. Он спустился с лестницы большими шагами и пошел к автомобилю, откуда его уже приветствовали товарищи по делегации.

ЛОЕ-ДАККА

Тот, кто едет в Пакистан через Хайберский проход или возвращается из него на север, не может миновать Лое-Дакки. Не думайте, что это город, где на тенистом бульваре, под цветным тентом в кафе вы получите завтрак, аперитив и в добавление чашку крепкого кофе.

В Лое-Дакке нет ни одного кафе, очень немногих домов и жителей, но зато она имеет новый форт, таможню, солдат и чиновников, которые пропускают торговые караваны и следят, чтобы не было вооруженных конфликтов на границе.

Лое-Дакка в недалеком прошлом была местом ожесточенных сражений, но сегодня вы не услышите в ней ни одного выстрела. Окрестности ее пустынные, летом над ними стоит марево зноя, зимой прохладный ветер с гор шевелит сухие травы, которые чуть слышно шуршат, и острая холодная пыль летит вам в глаза.

Когда мы приехали в Лое-Дакку, мы, к своему удивлению, увидели, что весь берег реки кишит людьми. Чиновник, который угостил нас чаем, объяснил, что некоторые сложные обстоятельства, ему не очень хорошо известные, задержали здесь этих кочевников, которые иначе бы давно перешли границу и исчезли в ущельях своих родных Сулеймановых гор.

Тогда мы вышли из таможни и отправились бродить среди кочевников. Один из нас хорошо владел персидским языком, и его понимали некоторые из номадов, что давало нам возможность перекидываться короткими фразами об их житье-бытье.

Странное чувство овладело нами, когда мы очутились в самой гуще этого неопишуемого табора. Мы точно провалились в какой-то далекий век. Можно было вообразить себя во времена Бабура или снимать сцены из сикско-афганских войн.

Одни из кочевников чинили хотабы — большие верблюжьи вьючные седла, меняли рамки, стягивали деревянные стойки, держа в зубах ножички для резки кожи, другие разбирались в разноцветной гряде вещей, только что снятых с ишаков, третьи чистили оружие, и этого оружия было много, так как они не ходят невооруженны-

ми. Один юноша открыто носил на груди перекрешенные пулеметные ленты. Один старик, завернув полу халата, обнаружил под ним матовую синеву маузера. Кочевники отдыхали под пологам своих раскидистых шатров, стояли у реки, наблюдая быстрое, обрывистое мелькание струй, разговаривали о чем-то жарко группами, спорили или просто молча сидели на камнях у дороги, впад в полусонное созерцанье нахмуренных шершавых голых склонов, ограничивавших долину.

Повсюду бродили лошади, покрытые серыми с красными полосами толстыми попонами, ишаки без вьюков, собаки, большие, как волки, с взлохмаченной шерстью, кровавой пастью и глазами восточных деспотов; лежали верблюды, меланхолически закатив большие и лиловые, как сливы, глаза, уставившись в одну точку.

Женщины гремели тазами и котлами, разжигали костры, кормили грудью младенцев, наклонив лицо и спустив платок так, что он позволял видеть только низ смуглого лица; дети бегали с криком у костров, гоняясь за курицей; хрипло и отрывисто лаяли собаки, кричали петухи и ржали лошади, на длинных арканах ходившие по поляне, немного в стороне от шатров, ближе к реке.

Одни из кочевников были закутаны в плащи и одеяла, другие ходили в белых рубашках и черных жилетках, со спускающимися концами тюрбанов. Они имели выразительные лица людей, не знающих комнатной жизни, проводящих свои дни под открытым небом, овеваемых всеми ветрами, обжигаемых зноем длинных горных дорог. Запах кунжутного масла, горячих лепешек, риса и подгорелого молока смешивался с запахом старой седельной кожи, пота и кислой шерсти.

Веселые огоньки костров, как бы подмигивая, появлялись из камней и снова прятались в камни.

Сбросив тяжелые грубые чапли — туфли, подбитые гвоздями, имеющие такие острые края, что они выведут из строя неопытного ходока через час, — афганцы сидели, поджав голые ноги и охватив руками колени.

Во всем этом пестром и шумном таборе не было никакого беспорядка. Какая-то спокойная хозяйственность, домовитость чувствовалась в каждом движении. Если присмотреться внимательно, то тут было не больше бес-

порядка, чем в любом многолюдном месте большого города.

Каждый занимался своим делом, и порядок своего дня знали не только люди, но и животные, которые лежали, отдыхая, бродили, или ели, или шли к реке напиться светлой, прозрачной ледяной воды.

Мы вышли на дорогу и поровнялись с группой людей, сидевшей на камнях и состоявшей из афганцев самого разного возраста. Один был пожилой человек с хитрым выражением лица, и даже глаза его были какие-то лукавые.

Нам захотелось поговорить с этими людьми.

Когда они узнали, что мы из Москвы, они дружелюбно закивали головами, шумно обменялись какими-то словами, и между нами завязался разговор.

— Как же вы тут живете, в пустом месте? Ни лавок, ни базара, купить нечего, достать нечего.

— У нас все есть,— отвечал тот, что с хитрыми глазами.

— А что у вас есть?

— У нас есть мука, соль есть, лук есть; больше ничего нам не надо!

— А что же вы пьете?

— Что мы пьем? Воду. Вон она там, в реке. Пей, сколько хочешь.

— А чай разве не пьете?

— Чай! — сказал лукавый афганец. — Чай не надо пить здоровым людям. Это больные люди пьют чай. Вот, — он показал на худого афганца с завязанной тряпкой шеей, — он пьет чай, потому что больной человек. А другие не пьют чай, потому что они здоровые, не такие хилые, им не надо пить чай...

Этот содержательный разговор не мог продолжаться, так как афганцы, оживясь, начали показывать на тропу, сбегавшую с горы. Тут склон был недалеко, и, взглянув туда, я сначала подумал, что с горы спускается большой горный баран. Присмотревшись, я разобрал, что спускается с горы горец, несущий на плечах большие, круто изогнутые рога архара.

Афганцы начали шумно обсуждать приход этого охотника; и мы поняли, что это выдающийся охотник и силач,

который такие тяжелые рога тащил по горам, — а идти вниз с ними не легче, чем подыматься.

Охотник спустя немного времени приблизился к нам; снял рога с плеч и обтер лоб тыльной стороной ладони. Вблизи рога производили еще более сильное впечатление. Узнав, кто мы и откуда, охотник пожал нам руки и сел на камень, предложив купить у него рога.

Рога были замечательные, но мы с великим сожалением объяснили ему, что купить не можем: очень далеко нам еще ехать до дому, и нам не увезти их. Но мы сели рядом, разглядывая знаменитого, как нам сказали, охотника. Он сидел, сухощавый, подвижный, с сильными тонкими, как у юноши, ногами. Волосы в бороде его были пегие, глаза молодые. Был он среднего роста, но с такими широкими плечами, как будто они специально созданы природой для переноски особых тяжестей. Обветренное до черноты лицо, перерезанное морщинами, не старило охотника, потому что эти морщины были так энергичны и красивы, что только подчеркивали его мужественность. Острые глаза смотрели прямо на говорившего и были глубоко спрятаны, как в костяные пещеры, и лобная кость выступала над ними, как свод. Вольностью веяло от этого старого горного охотника, который гонялся по самым высоким кручам за архаром, что долго не подпускал к себе и потом упал, сраженный метким выстрелом, а охотник мучился с его рогами, тащил их столько времени по скользким головокружительным подобиям тропинок — и, когда принес, оказалось, что эти рога никому не нужны и неизвестно, за какие гроши он отдаст их, чтобы снова уйти в родной простор снегов и скал, где снова он будет мучиться в поисках и в погоне за новым архаром.

Оставив охотника отдыхать у дороги, я пошел посмотреть на верблюдов, которые мне очень нравятся. Верблюды Афганистана не похожи на верблюдов других стран. Не забудьте, что в Афганистане нет ни метра железнодорожного пути и вся масса торговых грузов перевозится верблюдами.

В Северном Афганистане верблюдов так много, что кажется иногда, что Северный Афганистан в основном населен ими, что их больше, чем людей. Идут шесть вер-

блюдов, с ними один человек, идут восемь верблюдов, десять — опять с ними один человек. И верблюд здесь — не забитое, напуганное животное, а гордый, самостоятельный зверь, который понимает, что он значит в жизни афганца.

Вы можете видеть верблюдов не только за исполнением их тяжелой работы — в пути, но вы увидите, как на зеленой лужайке, шутя, борются два молодых верблюда, схватив друг друга за шею, стараясь повалить соперника на траву; вы увидите вечером идущих куда-то двух-трех верблюдов, без людей, без груза; вы увидите пляшущих верблюдов; верблюдов, украшенных лентами, колокольчиками, разноцветными султанами и серебряными подвесками.

Верблюд очень привязывается к людям. Он слушается даже ребенка, если чувствует, что этот ребенок любит его и не даст в обиду. В общем это замечательные звери, связанные, как братья, общей жизнью с кочевниками и не представляющие иной жизни.

Словом, я пошел смотреть верблюдов. Я толкался между лежащими зверями. Их спины по цвету и очертаниям походили на окружающие горы. Это сходство всегда меня поражало и в нашей Средней Азии. Верблюды лежали, положив шею на землю, в позе полного покоя, закрыв глаза и нюхая траву и камешки.

Когда я вернулся к дороге, наши друзья-кочевники обступили каких-то людей в европейских костюмах. Мои товарищи были здесь же и сбоку наблюдали происходившее. Знакомый уже нам старик охотник что-то говорил, указывая на человека в дорожном костюме, в широких зеленых, в клетку, гольфах и в синих квадратных очках от пыли и солнца.

Приезжий тоже что-то объяснял своему переводчику, судя по всему — пакистанцу, говорившему и по-английски и на пушту.

— Сагиб говорит, что он не будет покупать этих рогов. Они ему не нужны, — сказал переводчик по-английски.

Старик, казалось, не слышал того, что он говорил. Тогда переводчик повторил это на пушту. Афганцы в толпе быстро заговорили, но старик не смотрел на рога,

лежавшие у ног проезжего, он смотрел прямо на него, смотрел в упор, и этот взгляд становился все ожесточеннее.

Человек в клетчатых зеленых гольфах начал сердиться. Он уже сделал шаг к своей машине, стоявшей недалеко, но старик повелительным жестом остановил его. Его лицо выражало крайнюю настороженность, а рука нетерпеливо сжимала и разжимала кулак.

Афганцы еще теснее сомкнулись вокруг иностранца и его переводчика. Переводчик был очень молодой человек, он умоляюще сказал что-то хозяину и сразу заговорил с афганцами.

Со стороны трудно было понять, что происходит. Но кочевники лезли вперед, отталкивая один другого, чтобы получше видеть и слышать. Иные из них задавали какие-то вопросы старику, и он очень серьезно отвечал на них.

Он стоял так близко от приезжего, что мог, вытянув руку, достать до него. Иностранец сказал, наконец, с раздражением:

— Мне надоели эти люди! Чего хочет этот старик? Спросите у него. Может, он хочет, чтобы я дал ему денег? Скажите ему еще раз, что мне не нужны его рога. Я сам охотник.

Переводчик, делая от волнения совсем ребяческое лицо, сказал, поговорив со старым афганцем:

— Он не хочет денег. Он хочет, чтобы вы посмотрели на него, сняв очки...

Приезжий с тяжелым, мягким, глиняным от загара лицом повернулся к переводчику, как будто хотел его схватить за руку.

— Я правильно понял вас, — спросил он, — он хочет, чтобы я посмотрел ему в лицо?

— Да! Без очков!

— Зачем? Это какая-нибудь религиозная церемония?

— Нет, без всяких церемоний... Простите, я тут немного не понимаю сам. Сейчас я все окончательно выясню...

Но, обменявшись со стариком охотником несколькими фразами, он в недоумении сказал:

— Нет, он хочет видеть ваше лицо.

— Оно ему так понравилось? — ядовито сказал приезжий.

— Нет,—наконец, с усилием выговорил переводчик,— он, видите ли, ищет того, кто убил его сына...

— Он сумасшедший? — с оттенком испуга сказал приезжий.

— Нет, сагиб, они все здесь такие...

— Но вы понимаете, что вы говорите! — воскликнул приезжий. Он взглянул на мрачные лица кочевников, окружавших его, на их грубые черные руки с большими ногтями, увидел, что они все вооружены,— и ему стало неуютно.

— Да, сагиб,— как заученные слова, повторял теперь переводчик,— и я ничего не могу сделать... Они все хотят, чтобы вы сняли очки...

— Я не хочу на него смотреть,— со злобой сказал приезжий.

Переводчик перевел взгляд со своего начинавшего наливаться яростью хозяина на окаменевшее лицо охотника, и ему стало страшно. Почти плача, он произнес:

— Я вас очень прошу посмотреть, или, они говорят, вы их обидите...

— Вы сошли с ума! — закричал иностранец.— Вы все сошли с ума! Что за страна безумия? Но я не убивал его сына... Это бред!

— Это бред,— повторил переводчик,— но я вас умоляю снять очки и посмотреть, или могут быть большие неприятности...

Кочевники стояли насупившись, и было не совсем ясно, волнует ли их по-настоящему эта странная сцена или они, любящие приключения и разного рода происшествия, с удовольствием включились в происходящее со всем пафосом зрителей, переживающих все вместе с основными лицами.

Приезжий чувствовал, что его нервы сдают.

«Чертовы эти азиатские нелепости, чертовы места, чертовы люди, но что будешь делать!» — такие мысли были у него в голове, но он испугался этого неподвижного взгляда горца и сказал вдруг спокойно:

— Но ведь я не убивал его сына, чего он ко мне пристал? Я, кажется, понимаю его чувство дикаря, но не до конца. Скажите ему, что я снимаю очки...

И он, как на сцене, чуть отвел голову вбок, быстро сдернул синие громадные квадратные очки и повернулся к охотнику.

Общий вздох пронесся в толпе кочевников. Охотник смотрел в лицо проезжего так внимательно, точно хотел, как по следам в горах, прочесть историю его жизни по бесцветным глазам, мясистым большим губам, глиняно-красноватой рыхлости щек, по врезанным в широкий лоб морщинам, по нездоровому оттенку кожи на висках, где набухали, как нарисованные пастелью, синие жилки. Так долго длилась эта минута, что кочевники, затаив дыхание, схватились за свои пояса и вцепились в них пальцами.

Наконец, охотник не сказал ни слова, отвернулся от проезжего и отошел на несколько шагов. Он стоял и смотрел, точно перед ним рисовалось что-то, чего никто, кроме него, не мог увидеть.

Тогда приезжий, с кривой усмешкой снова нацепив свои очки и толкнув толстым носком своего башмака рога архара, сказал переводчику:

— А все-таки спросите их: кто же убил его сына, когда теперь, как видно, выяснилось, что не я.

Переводчик спросил кочевников и перевел:

— Они говорят, что его сына убил англичанин...

— Как англичанин? — воскликнул, останавливаясь и вынимая большой синий платок, приезжий. — Но ведь я американец! Почему же они остановили меня?

— Для них все говорящие по-английски — англичане.

— Когда же убили его сына?

— Десять лет назад.

— Что? Десять лет назад? Нет, это поистине страна безумия, — сказал, вытирая пот, американец. Он не чувствовал раньше, в пылу переживаний, что пот выступает у него на шее и на лбу, и он пошел к машине, вытирая шею и лоб большим синим платком.

Старого охотника обступили кочевники, но он, ни на кого не посмотрев, наклонился к рогам архара и, легко взвалив их на плечи, пошел от дороги. Скоро он скрылся за стеной караван-сарая, там, где начиналась тропинка в гору.

Кочевники, так долго молчавшие, заговорили теперь, перебывая друг друга. Наконец, они уселись снова на камнях у дороги, и тут в относительной тишине (я говорю относительной, потому что со стороны табора доносились самые различные шумы и крики) наш товарищ, говоривший по-персидски, попросил, чтобы кто-нибудь складно рассказал эту давнюю историю.

Кочевники посовещались. Наш знакомец, который прежде уже объяснял нам, как они пьют воду, то есть не пьют чаю, вызвался говорить. И вот что он рассказал:

— Десять лет тому назад около Лое-Дакки, на границе, было какое-то темное ночное дело. Толком никто не помнит, что за история произошла в этом ущелье, но в стычке был убит англичанином сын старого охотника. Это бесспорно. Этому есть свидетели. Старый охотник поклялся, что он разыщет убийцу. С тех пор он, когда спускается с гор у Лое-Дакки, всегда смотрит в лица всех проезжающих англичан. Теперь здесь стало проезжать больше американцев, чем англичан. Ну что же, он тоже заставляет их снимать темные очки и смотреть ему в глаза...

— Но ведь он же не может узнать убийцу просто так, без всяких доказательств? — спросил кто-то из молодых кочевников.

— Он говорит, — пояснил рассказчик, — что его сердце безошибочно укажет ему убийцу, так же безошибочно, как он знает, что нынче убьет архара.

— Но ведь англичанин изменился. Он за десять лет сам стал старым?! — сказал один из моих товарищей.

— Он говорит, что узнает, даже если тому будет сто лет... Видите, — сказал кочевник, — если на глазах у верблюдицы убьют верблюжонка и уведут ее из этих мест и приведут через год, то она сразу придет и будет плакать в том точно месте, где была пролита кровь ее верблюжонка. Но если ее приведут еще через год в те же самые места, она уже не найдет места, где убили ее первого верблюжонка, потому что у нее уже будет новый верблюжонок и она забудет первого. А у человека это не проходит с годами.

— А почему он сразу не отомстил тому англичанину? — спросили снова рассказчика.

— Как только совершилось убийство, он перешел

границу и пошел в Пешавар: искал того англичанина. Он решил убить его и следил за ним, но как только он приходил в Пешавар, так не заставал того человека на месте, потому что этот англичанин все время разъезжал в горах... А потом совсем уехал из этих мест...

— Но, может быть, этот англичанин давно умер?— сказал самый скептический из моих товарищей.

Афганцы зашумели, когда перевели этот вопрос. Но рассказчик был на высоте. Он знал эту историю со всеми подробностями. Он сказал:

— Охотник говорит, что он жив. Охотник ходил в Камдеш, он далеко ходил в горы, за Кунар, и там ему гадали. Там сильные колдуны, в Камдеше, и они гадали ему, покачивая лук с натянутой тетивой, и, убив черного козла, они сказали охотнику, что убийца жив и он его встретит лицом к лицу...

Рассказчик замолчал. Один из кочевников показал на гору. Мы все увидели, как старик, неся на плечах изогнутые рога архара, легко и безостановочно подымается все выше в гору, не оглядываясь и с каждым шагом становясь все меньше и меньше.

Нас отыскал человек из таможни и сказал, что машина готова и что надо немедленно ехать, если мы хотим засветло добраться до Джелалабада.

Мы пошли за проводником к таможне и, сделав несколько шагов, не могли не оглянуться на гору. И мы еще раз увидели старика, который шел и шел, все выше и выше, рога блестели на солнце. Он шел, как будто хотел вернуть их тому красивому горному зверю, у которого он их отнял.

СОДЕРЖАНИЕ

ПУТИ ВОСТОКА

Друг народа	7
Вамбери	20
Халиф	57
Горькая застава	65
Клятва в тумане	91
Мираб	157
Симон-большевик	163
Кавалькада	188

ВОЕННЫЕ КОНИ

Веселые лошади	213
Черт	232
Фриц	243
Бетховен	257

МАЛЕНЬКИЕ РАССКАЗЫ

Вилла «Мечта» (<i>Из рассказов о первой мировой войне</i>)	281
Легкий завтрак (<i>Из рассказов о первой мировой войне</i>)	286
Шары (<i>Из рассказов о первой мировой войне</i>) . . .	291
Генеральская охота (<i>Из книги «Ксчевники»</i>)	299
Как я был актером	301
Волшебная бумажка	306
Мост (<i>Из войны с белофиннами</i>)	311
«Тропа смерти» (<i>Из войны с белофиннами</i>)	316

ЛЕНИНГРАДСКИЕ РАССКАЗЫ

Поединок	321
Люди на плоту	323
Мать	327
Карлики идут	331
Костер	335
Кукушка	338
Девушка на крыше	343
Низами	348
Зимней ночью	352
Дети гор	355
«Я все живу»	359
Весна	366
Старый военный	371
Мгновение	374
Девушка	382
Новый человек	386
Встреча	388
Львиная лапа	391
Семья	394
Руки	397
Яблоня	400

РАССКАЗЫ О ПАКИСТАНЕ

Ночной въезд в Лахор	407
Завоеватель	409
«Великий курьез нашего времени»	412
В рабочем квартале Лахора	416
Как вам нравится?	419
Птицы и дети	421
«Дикий горец»	424
Разговор	426
Коробка сигарет	428
Чему учат в школе	431
Осел	433
Американский консул	435
Мастер	438
В гостях у крокодилов	440

